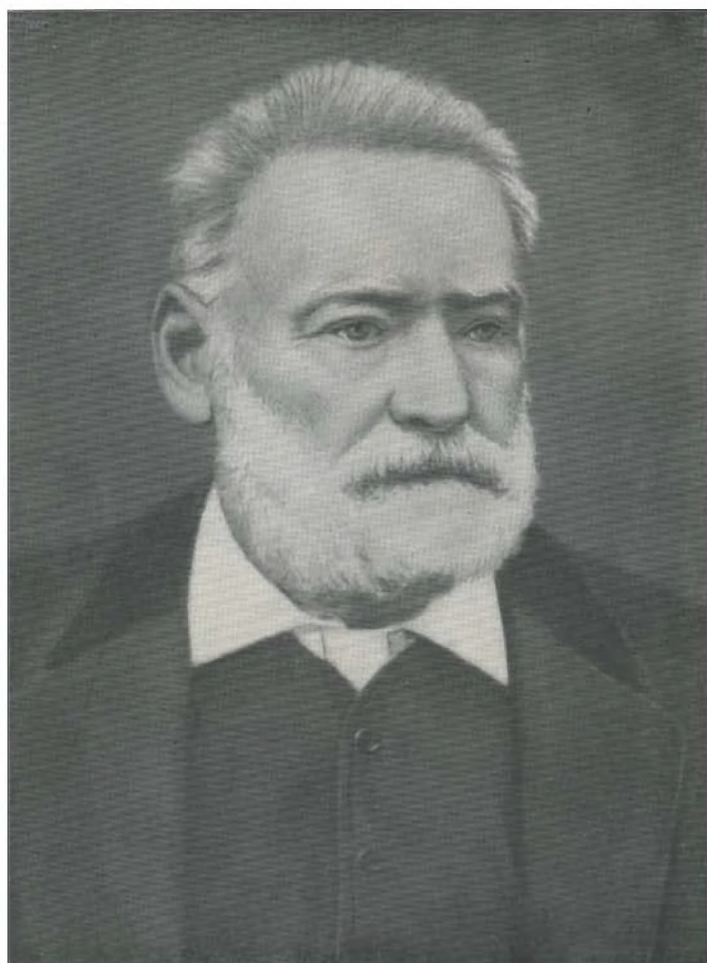




**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ВИКТОР ГЮГО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 15 ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1953

ВИКТОР ГЮГО

ТОМ ПЕРВЫЙ



БЮГ ЖАРГАЛЬ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПРИГОВОРЕННОГО
К СМЕРТИ

КЛОД ГЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1953

*Издание осуществляется под редакцией
В. Н. Николаева, А. И. Пузикова,
М. С. Трескунова.*

Переводы с французского.

*Вступительная статья
В. Н. Николаева.*

ВИКТОР ГЮГО — ВЕЛИКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Имя Виктора Гюго по праву стоит в одном ряду с именами лучших представителей мировой культуры. Выдающийся писатель и общественный деятель, Гюго заслуженно пользуется любовью миллионов людей. В своих прославленных романах он отразил и мечтания утопических социалистов, и революционную бурю эпохи, показал силу и слабость широкого демократического движения, развернувшегося во Франции в XIX веке.

С глубоким уважением и любовью относится писатель к народу. Он сравнивает его с океаном, что

...полон грубых сил и грации могучей.
Он вековой утес в песок громит порою,
Былинку он шадит. И пеною седую
Он хлещет до вершин, как ты, народ державный...
Но не обманет он волною своенравной
Того, кто, с глади вод очей не отрывая,
С надеждою стоит, прилива ожидая.

Гюго верил в этот великий прилив, в счастливое будущее человечества. Он встал на сторону борющегося народа, воспел его революционный героизм, его высокие моральные качества, трудолюбие и творческую одаренность.

Виктор Гюго родился 26 февраля 1802 года в городе Безансоне, в восточной части Франции. Его отец, выходец из среды простого народа, сын столяра из Нанси, был обязан своим быстрым возвышением французской революции. Участник подавления контрреволюционного восстания в Вандее, капитан Сижисбер Гюго через несколько лет стал бригадным генералом и инспектором наполеоновской армии.

Детство Виктора Гюго прошло в постоянных разъездах и странствованиях: Сижисбер Гюго всюду возил с собой свою семью. Мно-

жество ярких впечатлений детства остались памятным писателю на всю жизнь. Впоследствии в своих одах Гюго писал о «колыбели, поставленной на барабан», о ночах, когда приходилось засыпать «под звуки канонады».

Из Безансона семья Гюго попадает на Эльбу, с Эльбы — в Геную и Париж, затем Рим и Мадрид, где Сижисбер Гюго получает высокий пост губернатора города. В Мадриде Виктор Гюго учится в коллеже для молодых дворян, в Париже в дворянском лицее изучает философию и математику. Увлекаясь литературой, он рано начинает писать и в пятнадцать лет уже получает награду Французской академии за свои юношеские стихи. Еще в те годы Виктор Гюго приходит к твердому убеждению посвятить свою жизнь литературе.

Если отец будущего писателя по своим политическим взглядам — противник Бурбонов, то мать Гюго, из богатой буржуазной семьи, — роялистка, активная сторонница монархической власти.

Влияние матери на юношу-поэта усиливается модной в светских кругах литературой реакционного романтизма. Виктор Гюго подражает произведениям Шатобриана, наиболее видного реакционного романтика того времени, яростного противника революции. Отвергая материалистическое учение французских просветителей и французскую буржуазную революцию, Гюго в первом сборнике своих стихотворений «Оды и другие стихотворения» (1822) воспекает монархические идеи и католицизм.

Два романа Гюго, написанные им в начале двадцатых годов: «Бюг-Жаргаль» и «Ган Исландец» — первый опыт писателя в создании прозаических произведений.

Острая социальная тема «Бюг-Жаргалья» — восстание негров в Сан-Доминго в 1791 году — превращается у Гюго в сентиментальную историю безнадежной любви верного раба к своей госпоже, любви, развертывающейся на фоне кровавых жестокостей восстания. Множество мелодраматических моментов значительно снижает важную социальную тему. Однако Гюго оправдывает это восстание, считая его правомерным выражением протеста черных невольников против их угнетателей-плантаторов. Вместе с тем в эти годы еще сказывалось в творчестве Гюго его отрицательное отношение к буржуазной революции конца XVIII века. В послесловии к роману можно видеть искаженное изображение представителя революционного Конвента.

Во второй половине 20-х годов Гюго порывает с легитимистскими иллюзиями.

Поэт нередко обращается теперь к образу Наполеона. Если в годы увлечения монархией он резко порицает его, называя тираном и узурпатором, «чей похищенный пурпур обагрён королевской

кровью», то уже в оде «Два острова», написанной в 1825 году, рядом с изображением хора, проклинаящего Наполеона за пролитые «юной крови реки и реки материнских слез», есть и хвала «владыке полвселенной», в которой поэт выражает восхищение военным талантом Наполеона. Отношение Гюго к Наполеону в последующие годы было противоречивым: он часто противопоставляет Наполеона узости и мелочному меркантилизму июльской монархии, жалкой трусости и ограниченности буржуазии как выдающуюся яркую личность, как полководца, высоко поднявшего славу Франции, и в то же время говорит о нем, как о носителе тирании, деспотизма, которые в конце концов и привели его к гибели.

Причины, обусловившие разрыв писателя с идеями реакционных романтиков, приблизившие его к народу, коренились в особенностях политической и социальной жизни страны. Французская буржуазная революция нанесла решительный удар дворянству, но, как известно, ничему не научила возврагившихся Бурбонов. Своей политикой они стремились воскресить старую Францию. Недовольство политикой Бурбонов проявляется со стороны рабочих крупных городов и самых различных слоев крестьян, буржуазии и офицерства. К середине двадцатых годов среди буржуазной интеллигенции Франции широко разворачивается либеральное движение, появляются новые журналы и газеты, выражающие протест против реакционной политики Карла X. Замечательные политические памфлеты Поля-Луи Курье, стихотворения Беранже, завоевавшие огромную популярность, — все это были веяния нового времени, расшатывающие восстановленный трон Бурбонов.

Общественному оживлению во Франции способствовало нарастающее освободительное движение в других странах. Борьба народов Греции, Испании за свою независимость, восстание декабристов в России, движение карбонариев в Италии — все эти факты свидетельствовали о том, что никакие международные реакционные организации, подобные «Священному союзу», не в силах остановить дыхание революции.

Возмущение масс реакционной политикой роялистов, свободолюбивые идеи современности не могли не захватить молодого поэта и драматурга, который к тому же прекрасно понимал, что с французским дворянством у него не было каких-либо существенных связей. Он становится на сторону прогрессивного лагеря, борющегося против политических реакционеров, яростно пытавшихся возродить феодально-монархический строй.

Еще до Июльской революции Гюго приходит к убеждению, что время старого режима миновало: «сколько бы ни объединялись разные

ультраконсерваторы, — классики и монархисты, — в своем стремлении целиком восстановить старый режим как в обществе, так и в литературе, — всякий прогресс в стране, каждый успех в развитии умов, каждый шаг свободы будут опрокидывать все их сооружения» (Предисловие к «Эрнани»).

Результаты французской революции вызывали недовольство не только дворянства, но и широких слоев народа: «...установленные «победой разума» общественные и политические учреждения, — писал Энгельс, — оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей»¹.

Реакционная политика Бурбонов приводила к тому, что революция снова «трепетала в воздухе». Романтический пафос Гюго конца двадцатых годов — проявление этой приближающейся революции.

Могучая фантазия художника, противопоставляемая сухим, логическим правилам классической поэзии, сковывающим искусство, связывала писателя с живой современностью.

Гюго борется за новое искусство, приближающееся к реализму. В том и заключается важная специфическая особенность демократического романтизма в европейских странах первых десятилетий XIX века, что еще на ранней ступени своего развития он сыграл большую роль в становлении реализма. Знаменитое предисловие Гюго к пьесе «Кромвель», впоследствии названное самими же романтиками «скрижалями романтизма», было не только романтическим манифестом. Оно во многом перекликается с требованиями реалистического искусства. Написанное с большим вдохновением и страстью, предисловие содержало свежие и глубокие мысли, приближающие литературу к правдивому изображению действительности.

Относясь с уважением к выдающимся представителям классицизма — Корнелю и Расину, гений которых сумел себя проявить, невзирая на сковывающие правила формальной поэтики, Гюго подвергает резкому осмеянию и уничтожающей критике произведения эпигонов, жалких подражателей форме и букве классицизма. Разоблачая лишенную жизни литературу, Гюго тем самым наносил удар и по реакционному романтизму, который нередко смыкался с эпигонствующим классицизмом не только политически, но и эстетически. «Мученики» — воинствующее произведение, созданное Шатобрианом в защиту христианства и монархии, было написано с ориентацией на поэтику классицизма.

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные произведения в двух томах, Госполитиздат, 1952, т. II, стр. 111.

Гюго выдвигает принципы новой романтической литературы. Он требует отказаться от искусственной гармонии, соразмерности, присущей произведениям классицизма. В свободном сочетании контрастных явлений жизни Гюго видит могучий источник развития искусства. Нет низких, недостойных искусства предметов. Шекспир — вершина поэзии нового времени, драма его изумительна и должна служить примером мастерства для писателей.

Искусству нужен живой язык жизни. Изысканный язык двора не может удовлетворить требований новой литературы. Гюго любит и ценит язык как великое творение народа. Смело и решительно вводит он в свои произведения речь простых людей, для него нет низких и неблагородных слов: «Нет слов-патрициев и нет плебеев-слов». В простом и богатом языке народа Гюго видел наилучшее средство приближения литературы к жизни.

Если французские романтики с первых лет девятнадцатого века утвердились в области художественной литературы, то в театре до пьес Гюго господствовала классическая трагедия. Французский театр оставался цитаделью классицизма.

Дидро своей эстетикой и своей драматургией нанес мощный удар аристократическому театру, но не лишил классическую трагедию того первого места, которое она в нем занимала. Гюго это сделал. Его предисловие к «Кромвелю» и романтические пьесы сыграли решающую роль в борьбе с классицизмом.

С чувством человека, освободившегося от пут, молодой драматург ломал и отбрасывал правила, требующие строгих единств, уничтожал размеренное развитие действия, вводил в свои пьесы новых героев из народа, сопоставлял честность низов с бесчестностью двора. Гюго создал новый вид драматургии — романтическую драму. Драма «Эрнани» начинала бой с классицизмом, она была «первым камнем здания».

Одна за другой появлялись пьесы Гюго, в которых он претворял принципы романтического искусства. «Король забавляется» (1832), «Лукреция Борджа» (1833), «Мария Тюдор» (1833), «Анжело» (1835), «Рюи Блаз» (1838).

Белинский, внимательно следивший за французской литературой, писал: «Никогда не проявлялось в Европе такого дружного и сильного стремления сбросить с себя оковы *классицизма, схоластицизма, педантизма* или *глупицизма* (то все одно и то же)... Во Франции явился Виктор Гюго с толпою других мощных талантов...»¹

¹ В. Г. Белинский, Собрание сочинений в трех томах, Гослитиздат, 1948, т. 1, стр. 55.

А С. Пушкин также высоко ценил творческий дар молодого Гюго и его пьесу «Эрнани». «Это одно из произведений современности, — замечает Пушкин, — которое прочел я с наибольшим удовольствием».

Многие из пьес, поставленных Гюго в тридцатые годы прошлого века, сохраняют свой интерес и обаяние и для зрителей наших дней. Возвышенные и благородные человеческие чувства, мораль, близкая своей гуманностью любому простому человеку, делают их ценными произведениями искусства

Куртизанка Марион де Лорм бросает великосветское общество и уходит с «незнатным» Дидье. Не добившись отмены приказа неумолимого Ришелье, она готова погибнуть с любимым человеком.

Безобразный и жалкий королевский шут Трибуле в пьесе «Король забавляется» потрясен гибелью своей дочери; мы не можем ему не сочувствовать, проникаясь отвращением к порокам и разложению королевского двора и самого короля, погубившего дочь Трибуле.

В пьесах Гюго проявилось большое гражданское мужество художника. Его герои — люди из народа, отверженные «обществом» — противопоставлены миру порочных аристократов.

К концу двадцатых и началу тридцатых годов поэтический дар Виктора Гюго значительно окреп. Резко изменяется идейное содержание его стихотворений, новые темы, богатство красок появляются в его стихах. Как бы в противовес меланхолическим произведениям реакционного романтизма в поэзию Гюго врывается жизнь с ее волнующими и бурными страстями. В колоритных и звучных стихах сборника «Восточные мотивы» (1829) наличествует художественная игра «цветных великолепий»: гаремы и дворцы, лазурные купола минаретов, цвета моря и неба, кораблей и штандартов. Но не ради «цветных великолепий» создаются эти стихи. Поэт выражает в них свое отношение к борьбе греческого народа против турецкого ига, воспевает мужество людей, отдающих свою жизнь за независимость родины.

Июльская революция 1830 года всколыхнула всю Францию. Восставший народ уничтожил власть Бурбонов. На смену дворянам-роялистам к власти пришли представители французской буржуазии.

Гюго с сочувствием отнесся к народному восстанию. Прославляя июльские дни, поэт создает реквием павшим в борьбе за революцию, публикует восторженную оду «Молодой Франции».

Несомненно, предреволюционным подъемом и самой революцией 1830 года можно объяснить появление крупнейшего из всех произведений Гюго, написанных до пятидесятых годов, — романа «Собор Парижской богородицы» (1831).

Сюжет, да и все повествование романа типично романтические: здесь и необыкновенные герои, действующие в необыкновенной среде, и случайные встречи и узнавания, и преувеличения, доходящие до гротеска.

Блестящий мастер искусно претворяет в своем творчестве выдвинутые им требования колорита места и времени, рисуя старый Париж времен царствования Людовика XI.

Перед читателем — море крыш: шиферных, черепичных; купола и ажурные шпили, вонзающиеся в небо; густая сеть причудливо перепутанных улиц, площадей, мостов; улицы — узкие, страшные по ночам; площади: Правосудия, где судят преступников, и Гревская, где их казнят. В разных планах, с разных сторон, даже с высоты птичьего полета встает перед нами живописный средневековый город.

Пламенное воодушевление писателя распространяется не только на изображение архитектуры Парижа: его зданий, соборов, мостов. Гюго показывает жизнь людей, обычаи и нравы этого города, когда «не проходило недели, чтобы не сварили фальшивомонетчика, не повесили ведьму или не сожгли бы еретика на каком-либо из бесчисленных лобных мест Парижа».

Роман захватывает читателя сразу живым изображением шумного торжества в день крещения. Картины, полные драматизма, следуют одна за другой. Над бурной, кричащей жизнью царит Собор Парижской богородицы.

Писатель воссоздает этот непревзойденный памятник национального искусства Франции с таким высоким творческим воодушевлением, что страницы его романа становятся величественным гимном творческому гению французского народа.

Собор — сердце средневекового Парижа, сюда стянуты все нити романтического сюжета. Гюго искусно пользуется приемами совпадения, случайных встреч, связывая в один драматический узел судьбы столь различных людей. В неожиданных драматических ситуациях романа много надуманного и искусственного, и тем не менее он захватывает.

Останавливает внимание богатое идейное содержание романа, и прежде всего — демократизм писателя, в творчестве которого крупным планом выступает народ.

С сочувствием изображает Гюго мир отверженных. Простые люди выгодно отличаются от мира знати. Образы капитана-аристократа Феба де Шатопер или Флер де Лис — прямое олицетворение пошлости и эгоизма светского общества. Они «изящны и бесчеловечны».

Бездомные обитатели Двора чудес способны на героизм: выступая в защиту Эсмеральды, они мужественно идут на штурм Собора.

В картине восстания против духовенства и королевского суда, нарисованной Гюго с большим темпераментом, живой кистью художника, увлеченного грозным народным бунтом, ощущалось дыхание современности. Произведение Гюго приковывало читателя своей социальной злободневностью.

«Собор Парижской богородицы» — произведение, типичное для Гюго и по своей идее. В нем выражено характерное для Гюго мировоззрение, которое складывается у писателя под влиянием учений утопического социализма. Любовь, добро, милосердие представлялись Гюго этическим началом, способным преобразовать буржуазное общество. Подобно последователям утопического социализма, исходившим из основных положений французских просветителей, Гюго считает, что «каждый человек рождается добрым, чистым, справедливым и честным... Если сердце его стало холодным, то потому, что люди потушили его пламя; если крылья его надломлены и ум поражен, то потому, что люди стеснили его в узкой клетке. Если он изуродован и ужасен, то потому, что его бросили в такую форму, из которой он вышел преступным и страшным».

Гюго старается убедить читателя: спасти человека могут только любовь, добро, милосердие; любовь всемогуща, чудотворна ее преобразующая сила.

В «Соборе Парижской богородицы» идея всемогущества любви и милосердия одна из основных идей романа. Несмотря на трагическую развязку произведения, в нем торжествуют добро и любовь.

Капля воды превращает прикованного к позорному столбу умирающего от жажды Квазимодо в беззаветно преданного, способного на любые жертвы человека: «За эту каплю воды, за эту каплю жалости я могу заплатить лишь всей моей жизнью», — говорит он сжалившейся над ним Эсмеральде. Милосердие поднимает Квазимодо до восторженной любви, из жестокого и озлобленного человека преобразует его в бесстрашного, гуманного героя, противостоящего огромной вооруженной толпе.

Уже здесь, в первом большом романтическом произведении Гюго, можно видеть характеры, нарисованные пером настоящего реалиста. Мы имеем в виду образы фламандского купца Жака Коппеноя и короля Людовика XI. Король Людовик XI, одетый в простую и дешевую одежду горожанина, в старой засаленной шляпе «из самого скверного черного сукна», окаймленной свинцовыми фигурками, настойчиво и последовательно прибирающий к рукам французских

феодалов, в изображении Гюго приобретает изумительную живость и реалистическую многогранность

Жестокая расправа с чернью дает полное основание философу Гренгуару характеризовать Людовика XI с меткой иронией как благочестивого тихоню, превосходно справляющегося со своим делом: одной рукой грабит, другой — вешает. «У знатных отнимают сан, а бедняков без конца обременяют новыми налогами».

Справедливым размышлениям Гренгуара вполне соответствуют взгляды Жака Коппенюля, чулочника Гента, уверенного в том, что народ еще будет торжествовать, его час не пробил, но он пробьет. Указывая Людовику XI на Бастилию, Коппенюль рисует перед ним картину будущей революции: «Когда с вышины понесутся звуки набата, когда загрохочут пушки, когда с адским гулом рухнет башня, когда солдаты и горожане с рычанием бросятся друг на друга в смертельной схватке, вот тогда-то и пробьет этот час».

Тридцатые годы для Франции были годами, когда ее простой люд, ее рабочие и ремесленники все решительнее выступали в политической и социальной жизни страны. Достаточно указать на знаменитое восстание лионских ткачей в 1831 году, выступления парижских пролетариев в 1832 году, их баррикадные бои против июльской монархии Луи-Филиппа.

Гюго явился одним из первых французских писателей, который поднял в те годы острую тему социальной несправедливости, тяжелого положения эксплуатируемых классов капиталистического общества.

В новых поэтических сборниках, изданных в тридцатые годы, «Осенние листья» и «Песни сумерек», имеются стихотворения глубокого социального содержания.

В стихотворении «Размышления прохожего о королях» Гюго говорит о всемогущем народе, твердо убежденном в своей силе.

Пируют короли. Меж тем под их ногами,
Как зыбкий океан под легкими судами,
Волнуется, бурлит, подобен бездне вод,
Непроницаемый для королей народ.

Поэт предупреждает королей, говоря об их незавидной участи:

Попробуйте понять, что вас в грядущем ждет:
Вы видите, народ час от часу растет...
Народ идет. Настал его прилива час.
Смывая прошлое, навек он смоев вас!

В сборнике «Песни сумерек» Гюго, озабоченный тяжелым положением народа, требует внимания к трудящимся людям, голодным и нуждающимся.

Правители страны! Не лучше ль нам скорей
Заняться ранами и нуждами людей,
Воздвигнуть лестницу, чтоб нас вела к вершине,
Работу дать цехам и отдых гильотине,
Дать детям-сиротам и пищу и приют,
Дать обездоленным и веру в жизнь и труд,
Чем разбросать цветы по залам озаренным
И тешить праздный сброд весельем пустозвонным!

Две небольшие повести — «Последний день приговоренного к смерти» (1829) и «Клод Ге» (1834) — свидетельствовали об искренних симпатиях Гюго к простым людям Франции.

В предисловии к новому изданию повести «Последний день приговоренного к смерти», появившемуся в 1832 году, Гюго выступает противником социального неравенства. Высказываясь против смертной казни, он клеймит лицемерие собственников, готовых лить слезы, если опасность угрожает людям их класса. Он иронизирует над палатой, устроившей слезливые дебаты по поводу отмены смертной казни, угрожавшей четырем министрам. Палата не хотела вязать веревками министров и везти их в телеге на Гревскую площадь. Но было бы лучше, замечает Гюго, если бы палата подумала о народе и предложила уничтожение казни не ради четырех министров, а ради милосердия к народу, к людям без различия их социального положения. Гильотина, по мнению Гюго, должна быть заменена добром и милосердием.

В повести «Клод Ге» писатель ставит одну из основных социальных проблем — проблему положения рабочего класса. История Клода Ге — это подлинная история рабочего, осужденного на казнь в 1832 году. Гюго пытался предотвратить казнь, хлопотал о смягчении наказания, но все его попытки были безрезультатны. На примере Клода Ге писатель показывает, как буржуазное общество губит человека.

Речь Клода Ге, произнесенная на суде, — великолепный авторский монолог, в котором писатель выступает против жестокого отношения буржуазного общества к простым людям. Правительство и палата выносят и обсуждают законы, судьи приговаривают к тюрьме и смертной казни, но они не знают народной нужды.

Осуждая капиталистическое общество, негодуя против бесчеловечного отношения к рабочим, Гюго и здесь наивно полагал, что милосердие и гуманность могут облегчить положение трудящихся.

Мелкобуржуазное мировоззрение Гюго не могло не сказаться на общественной и творческой деятельности писателя. Уже в сборниках стихотворений, относящихся к концу тридцатых годов, — «Внутренние голоса» (1837) и «Лучи и тени» (1840), — можно видеть, как сокращается количество стихотворений, написанных поэтом на социальную тему. В сборниках преобладают стихи созерцательного характера, лирическое изображение природы, поэт обращается к воспоминаниям детства, призывает нести людям любовь и добро.

В начале сороковых годов, когда революционные восстания были подавлены, ограниченность мировоззрения писателя проявилась с особенной силой. В 1841 году, при избрании во Французскую академию, Гюго произносит речь в защиту устоев конституционной монархии. В 1845 году королевским декретом Гюго возводится в графское достоинство и получает титул пэра. Консервативные взгляды писателя отразились и на его творчестве. Именно к этому времени относится книга путевых заметок «Рейн» (1842) и пьеса «Бургграфы» (1842), получившая заслуженно резкую оценку в русской революционно-демократической критике. Чудовищное нагромождение разного рода случайностей, необычайных ситуаций, обилие мистики в этой драме, рисующей жизнь владетельных князей средневековой Германии, свидетельствовало об отходе писателя от позиций демократического романтизма. Белинский справедливо подверг резкой критике эту пьесу Гюго, убедительно показав, что подобная фантастическая драма — пример падения таланта писателя, пошедшего по ложному пути.

Решающую роль в дальнейшем развитии жизни и творчества писателя сыграли 1848—1851 годы.

В эти годы Гюго принимает активное участие в политической жизни страны. В 1848 году он был избран членом Учредительного собрания, в 1849 году, как депутат Парижа, Гюго участвовал в работе Законодательного собрания.

Грандиозный размах борьбы, развернувшейся в дни февральской революции и особенно в июньские дни 1848 года, показал все великое значение пролетариата. Четыре дня ожесточенных июньских боев народа с контрреволюционным правительством буржуазии явились знаменательным событием. Впервые в истории Франции рабочий класс играл столь большую роль в революции, был ее движущей силой, настоял на провозглашении республики.

Гюго не понял значения июньских дней, но они были для него днями «священной ярости труда, взывающего о своих правах», днями, ознаменовавшимися событиями, невиданными до той поры в истории народов.

Июньское рабочее восстание 1848 года — «первая великая гражданская война между пролетариатом и буржуазией»¹, — как характеризовал его Ленин, оказалось тем историческим рубежом, когда буржуазия, испуганная революционным движением пролетариата, резко повернула вправо. Ее защитники и апологеты, выступающие в философии и литературе, открыто переходят в лагерь контрреволюции.

Но именно с этого времени, когда все антидемократические силы объединяются в борьбе против народа, Гюго решительно становится на его сторону. Несмотря на ожесточенные нападки, на злобу и клевету реакционеров, отныне он на всю жизнь сторонник народа.

Поводом, послужившим к резкому разрыву Гюго с контрреволюционной буржуазией, явился монархический переворот, совершенный Луи Бонапартом в декабре 1851 года. Писатель был вынужден покинуть Францию. Девятнадцать лет находился Гюго в эмиграции, не желая возвратиться в страну, захваченную узурпатором. Все эти годы он не прекращал борьбы с империей Наполеона III. В 1852 году он публикует книгу «Наполеон Малый», в этом же году заканчивает вторую свою книгу против Наполеона, напечатанную лишь в 1877 году, «История одного преступления». Произведения эти — настоящий обвинительный акт против декабрьского переворота Луи Бонапарта.

Герцен верно оценивает Гюго, когда говорит, что до своего изгнания «Гюго никогда не был в настоящем смысле политическим деятелем. Он слишком поэт, слишком под влиянием своей фантазии, чтобы быть им». И лишь «2 декабря 1851 года он стал во весь рост...»

Сборник «Возмездия», появившийся в 1853 году, — шедевр политической лирики поэта.

Владимир Ильич Ленин, — вспоминает Н. К. Крупская, — находясь во второй эмиграции в Париже, «...охотно читал стихи Виктора Гюго «Châtiments», посвященные революции 48 года, которые в свое время писались Гюго в изгнании и тайно ввозились во Францию. В этих стихах много какой-то наивной напыщенности, но чувствуется в них все же веяние революции»².

Поэт проклинает черную декабрьскую ночь переворота, когда тиран, «плюгавый и презренный», задушил республику. «Каким безумием весь этот бред измерить!» — восклицает Гюго.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 283.

² «Ленин о литературе», Гослитиздат, 1941, стр. 248—249.

Строфы стихотворений дышат убийственным сарказмом:

Вперед, орда! Припрятав
Поглубже стыд, вяжи народных депутатов...
...пусть власть достанется бандитам.

Гюго полон негодования, и может ли быть иначе, когда «нация сгибается под игом деспотизма». В королевском замке устраиваются пышные празднества, а народ голодает и нищенствует.

Поэт воссоздает правдивые картины ужасной жизни народа, свидетелем которой он стал, побывав в подвалах Лилля, где ютится фабричная беднота.

Грозным предупреждением звучат его слова:

О, смейтесь, палачи,
Над павшей Францией! Она родится снова.

Стихи «Возмездий» полны зажигательных призывов к народу. Франция должна восстать, сбросить с себя иго порабощителя:

Проснитесь же! Стыда довольно!
Презрите вражескую рать.
Пусть море встанет бурей вольной, —
Сограждане! Довольно спать!

Тайно распространяемые во Франции стихотворения «Возмездий» пользовались большой любовью народа.

«Я вспоминаю, — рассказывает Ромэн Роллан, — как ребенком я шел с отцом по полям и отец разговаривал со своими друзьями — обывателями захолустных городков и крестьянами. Вдруг один из них, просяив, принялся читать какое-то стихотворение из «Возмездий», а другие стали ему радостно подсказывать. А я, еще не знавший в то время этой книги, но часто слышавший ее название, признаю так, точно это была библия бойцов, отдельные страницы которой словно прихотью ветра были рассеяны по всей стране, — слушал, затаив дыхание, с бьющимся сердцем, героическую риторику вместе с пением жаворонков, раздававшуюся над пашней.

Я постиг тогда царственную власть поэта, который правил народами, угрожая тиранам».

В изгнании Гюго написал свои лучшие социальные романы. «Отверженные» (1862), «Труженики моря» (1866), ~~Мизантроп~~ который смеется (1869) создали ему необыкновенную славу.

Революция 1848 года оказала плодотворное воздействие на творчество В. Гюго.

Революционное движение трудящихся помогло понять Гюго великий долг писателя — служение народу.

«Судьба рабочего везде, в Америке, как и во Франции, — писал Гюго в 1870 году, — приковывает мое самое глубокое внимание и волнует меня. Нужно, чтобы страдающие классы стали счастливыми классами и чтобы человек, который до сего дня работал в темноте, — работал отныне в свете».

Писатель страстно желал видеть тот день, когда будет уничтожено зло капиталистического общества: рабочий будет жить в человеческих условиях, женщина не пойдет на улицу продавать себя, дети не будут гибнуть от беспризорности.

Большие социальные проблемы нашли свое выражение в его замечательных романах и прежде всего в «Отверженных».

История жизни Жана Вальжана, Фантины, Козетты — не просто укор буржуазному обществу, это гневный протест писателя, начинающего понимать, что недостаточно одного милосердия, одной любви и филантропии, чтобы решить величайшую проблему XIX века — проблему жизни трудящихся масс.

Однако филантропия и идея всемогущества любви занимает в романе большое место.

Как известно, «Отверженные» Гюго писал на протяжении почти двадцати лет. Еще в 1847 году он читал своим друзьям некоторые главы этого романа.

По первоначальному замыслу автора роман должен был носить характер проповеди добра и милосердия. Главная роль в романе отводилась епископу Мириэлю Бьенвеню. После революции 1848 года прежний замысел романа не удовлетворяет писателя. Он значительно расширяет его. Роман достигает огромных размеров, представляя эпическую картину социальной и политической жизни Франции. В «Отверженных» разворачивается весь колоссальный талант Гюго.

С большой художественной силой и вдохновением рисует Гюго Париж, овеянный духом революционной борьбы. Он показывает народ, воздвигающий баррикады, требующий свободы и справедливости.

«Отверженные» — целый мир самых разнообразных событий. Париж тридцатых годов, народное восстание, баррикадные бои, жизнь буржуазии и простого народа — все это с блестящим талантом изображается писателем.

Малоправдоподобную историю рассказывает Гюго, когда рисует превращение отверженного человека в крупного предпринимателя и мэра города. Став богатым человеком, Жан Вальжан преобразует край. Как промышленник и мэр города, он устанавливает неви-

данные для капиталистического общества отношения с рабочими, благосостоянию которых он намерен посвятить всю жизнь.

Но и в эти наивные картины романа, навеянные учениями утопического социализма, врывается подлинная правда. Именно в то время, когда Жан Вальжан озабочен участью простых людей, все ниже и ниже опускается работница его фабрики Фантина. Рядом с нетипичной и романтической историей Вальжана-Мадлена разгрызается типичная, реалистически изображенная трагедия Фантины, работницы, вынужденной продавать себя. Ее судьба — горькая участь многих женщин капиталистического города.

Мэр хочет спасти Фантину от тюрьмы. Она плюет ему в лицо, не веря в добрые намерения мэра. Горький опыт жизни раскрыл ей глаза на страшный мир, окружающий ее: в нем только бесчеловечность и обман. Общество погубило жизнь Фантины, выбросило ее на улицу, для него характерны жестокость, враждебное отношение к людям. Неумолимый и жестокий полицейский Жавер — символ буржуазного общества, безжалостного к простому и бедному человеку.

Для шестидесятых годов XIX века наивно решать социальный вопрос, пользуясь утопическими идеями тридцатых годов. Это ощущает и сам Гюго, и в «Отверженных» он выступает не столько последователем ложной идеи всемогущества добра и милосердия, сколько замечательным художником, прекрасно изобразившим народные бедствия и революционную борьбу. Пафос романа — в его большом социальном содержании, в идеях воинствующего демократизма, в реалистических картинах жизни простого народа, незабываемых парижских баррикад.

Главы, повествующие о восстании парижского народа, наиболее страстные и животрепещущие в романе. Прославление революции связывает Гюго с лучшими людьми как прошлого, так и последующего века.

Величественным гимном революции звучат многие страницы романа: вдохновенный пафос Гюго сливается с живостью прекрасного реалистического описания. Картина восстания 1832 года предстает как исполненный героизма стремительный взрыв народного гнева. «Восстание — это взрыв ярости, охватившей истину; уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права».

Наряду с республиканцами герои эпопеи — рабочие Сент-Антуанского предместья, которое еще накануне восстания «приняло угрожающий вид».

Обаятельные образы простых людей правдиво изображаются Гюго. Парижский простолюдин — патриот, не задумываясь, стано-

вится солдатом; чтобы спасти отечество, он разбирает мостовую и строит баррикады.

«Берегитесь его, — восклицает писатель. — Пробьет час, и этот обитатель предместья поднимется во весь рост, и взгляд его станет грозным, дыхание станет подобно буре».

Изумителен Гаврош, написанный с глубоким чувством и большой любовью. Привлекательные стороны характера задорного уличного мальчишки, его простота, общительность, смелость в сочетании с детской непосредственностью создают обаятельный образ парижского гамэна.

Чувство живейшей симпатии вызывает этот маленький «рыцарь», самоотверженный защитник слабых и обиженных. Забота Гавроша о подобранных им на улице беспомощных малышах, которым он великодушно предлагает кров и хлеб, необыкновенно трогательна. Неподражаемое детское лукавство и юмор, простосердечие и доброта, смелость и невозмутимость восхищают, заставляют полюбить Гавроша.

«Будем драться, чорт побери! Хватит с меня деспотизма!» — кричит он, захваченный духом народного восстания, размахивая старым поломанным пистолетом.

Гаврош светится радостью, он воодушевлен борьбой народа. Постоянный обитатель парижских улиц, он становится их героем и погибает, как герой, под градом пуль, собирая патроны для защитников баррикад. Морис Торез с большим теплом отзывался об этом незабываемом образе Гюго. «В «Отверженных», — писал он в своей книге «Сын народа», — меня особенно восхищал изумительный Гаврош, насмеявшийся над солдатами правительства с высоты баррикад, Гаврош, чьей песенки не могли заглушить ружейные залпы»¹.

Роман о несчастных, отверженных капиталистическим обществом людях дышит светлой верой в счастливое будущее человека. Республиканец Анжольрас на баррикаде перед своей героической смертью вдохновенно говорит о будущем счастье людей.

«Отверженные» по своему революционному духу и социальному оптимизму, по правдивому изображению жизни французского общества тридцатых годов — выдающийся роман французской литературы XIX века.

Труду простых людей посвящает Гюго свой следующий роман «Труженики моря». «Труженики моря» — гимн человеческому созиданию, вечной борьбе человека с природой.

¹ Морис Торез, Сын народа, Изд-во иностр. лит-ры, 1950, стр. 29.

Глубокое чувство привязанности к ламаншским островам, ставшим родными для писателя, вынужденного провести там девятнадцать лет своего изгнания, сквозит во всех описаниях и картинах природы, быта и нравов народа, населяющего эти острова. В романе имеются великолепные реалистические картины морского урагана, подобные лучшим полотнам художников-маринистов. Только художник большого размаха с такой правдивостью и силой мог воспроизвести бешенство разбушевавшегося моря, страшную фантастическую пляску разъяренных волн. «Описание жизни на море, — вспоминает Морис Торез, — и борьбы Жильята в «Тружениках моря» наполнили меня восторгом»¹.

Бедняки-рыболовы, населяющие убогие кварталы, где бродят голые ребятишки и плохо одетые женщины, отличаются радушием и приветливостью. В них высоко развито чувство товарищеской солидарности.

Велики силы и способности простого человека. Жильят — рыбак и прирожденный лощман, олицетворение упорства трудового народа, его настойчивости, преодолевающей все преграды. Творческий пламень в глазах этого рыбацкого Прометея, воля и мужество делают возможным, казалось бы, самое невозможное. Единоборство Жильята с морской стихией, титанический труд в скалах Дувра ради спасения машины и, наконец, борьба с морским чудовищем — все эти драматические события захватывают читателя.

В «Тружениках моря» Гюго правдиво раскрывает тлетворное влияние буржуазной морали. Стремление к барышу и наживе разлагает сознание людей, ведет к преступлению. Образы Рантена и Клюбена, ради обогащения вставших на путь грабежа и убийства, типичны. Только уродливое, буржуазное общество могло создать подобных преступников.

«Сделать честность ставкой в рулетке жизни, прослыть безупречным человеком и, начав с этого, выжидать счастливого случая, удваивать ставку, искать лучшего способа предугадать подходящий миг, не итти ощупью, а схватить разом: нанести один единственный удар, сорвать банк и всех оставить в дураках». Эта мораль Клюбена, мораль циничной наживы, характеризует не только убийц и грабителей. Она типична и для «уважаемых» людей капиталистического общества, носителей его «нравственности» и «совести». Пастор Жакмен Эрод не покупает револьвера, подобно Клубену, он не убивает, его оружие — крест, сфера его деятельности — мирное христианское благословение и чтение проповедей. Но этот «пастырь» народа, не

¹ *Морис Торез*, Сын народа, Изд-во иностр. лит-ры, 1950, стр. 29.

пачкая своих рук в крови, получает большие барыши от поставок оружия русскому царю для подавления восстания в Польше. Пронрыливый барышник знает и другие способы обогащения. Он знает страну, рекордную по добыче богатства и хищничеству. Правда, это республика, но он не возражает против такой «республики», которая позволяет хорошо наживаться и грабить народ. Разоренному Летьери он предлагает ехать в Америку, эксплуатирующую труд негров:

«В Соединенных Штатах месс Летьери еще быстрее восстановит свое богатство, чем в Англии. Пожелай он удесятерить то, что у него сохранилось, ему стоит лишь приобрести акции крупнейшей компании, занимающейся эксплуатацией техасских плантаций, на которых работает более двадцати тысяч негров.

— Не хочу рабства, — сказал Летьери.

— Рабство, — возразил преподобный Эрод, — установление священное. Ибо сказано в писании: «Если господин ударит своего раба, то не понесет наказания, ибо это его деньги».

Роман становится большим реалистическим полотном, разоблачающим капиталистические нравы, но и в нем Гюго отдал дань слабым сторонам романтизма. Жильят преодолевает невероятные трудности, спасая паровую машину Летьери, ради любви к его дочери. Мысль, что Дерюшетта будет его женой, помогает ему совершить нечеловеческий подвиг. И когда, казалось бы, все испытания судьбы преодолены, Жильят, узнав, что он нелюбим, смиренно отдает себя тому же самому морю, над которым он только что одержал такую большую победу.

Картины тяжелой жизни простых людей разворачиваются писателем и в романе «Человек, который смеется». С большой выразительностью в романе воспроизводится жизнь Англии конца XVII и начала XVIII века, предстают бедствия неимущих классов, роскошь и разложение в верхах общества. Лорд Дэвид Дерри-Мойр и герцогиня Жозиана — представители английской аристократии, извращенные и морально опустошенные люди. Настоящие люди — это простые люди труда, но их жизнь тяжела и беспросветна.

Пользуясь документами и исторической литературой, Гюго дает правдивое изображение социального неравенства. Богатства и все привилегии сосредоточиваются в руках небольшой кучки английского общества, народ бедствует. Государственная власть — сборище потевших совести и честь людей.

Социальное неравенство должно быть уничтожено — мысль, пронизывающая весь роман. В выступлении Гуинплена в палате лор-

дов — этой драматической вершине произведения — слышится голос народного возмущения. Народ так же изувечен, как и изуродованный компрачикосами Гуинплен. Правосудие, истина, разум в этом проклятом обществе обезображены так же, как лицо бродячего актера, превращенное в чудовищную маску смеха. Гуинплен говорит о жизни, подобной смерти, о рабочих угольных копей, которые жуют угольную пыль, чтобы хоть чем-нибудь наполнить желудок и обмануть голод, о нищете, которой нет предела, о безработице, об английских городах, где в хижинах нет кроватей, где вырывают в земляном полу ямы, чтобы укладывать в них детей. Близок и неумолим час расплаты, народ уничтожит несправедливый мир.

Еще с конца двадцатых годов, следуя своему романтическому манифесту, Гюго в пьесах и в романе «Собор Парижской богоматери» показывал борьбу добра и зла как основных антагонистических начал. Прием контраста, противопоставления стал его излюбленным художественным приемом. Он непосредственно связан с гиперболизмом, естественно возникавшим у художника, стремившегося к изображению исключительного, необыкновенного добра, так как именно оно может произвести наибольший эффект, сыграть действенную роль в возрождении человека. Зло также изображается у Гюго исключительным злом, чтобы вызвать отвращение к нему и стремление его уничтожить.

Герои Гюго беспредельно добры, самоотверженны и честны. Они умирают от любви и жертвуют всем для того, чтобы спасти человека во имя добра и милосердия. Или же они воплощают злое начало. Таков Баркильфедро в романе «Человек, который смеется».

Но если приемы контраста и гиперболизма в творчестве Гюго первой половины XIX века играли исключительно большую роль и были самым тесным образом связаны с идеей произведения и содержанием его материала, то в социальных романах шестидесятых годов они не играют столь большой роли.

В «Отверженных» сюжетная линия, раскрывающая не типичный образ идеально доброго епископа Мириэля, отступает перед правдивостью изображения жизни нищеты, перед высоким совершенством реализма в изображении восставшего народа.

Какие бы сомнения и колебания ни испытывал подчас Гюго, он все же постоянно среди социальных и политических схваток своего времени. Противник реакционной буржуазии, защитник демократии, будучи большим писателем, он не мог не поставить в своем творче-

стве важнейших проблем века. Разоблачая буржуазное общество, Гюго показал народ в его революционной борьбе.

Гюго принимает активное участие в политической жизни, в борьбе народов за их независимость.

В мае 1856 года, находясь на Гернсее, Виктор Гюго получил письмо от Мадзини, находившегося в то время в Лондоне. Мадзини просил Гюго сказать свое слово об Италии: «Она склоняется в этот момент в сторону королей. Предупредите ее». В ответ на это письмо Гюго 1 июня в английских и бельгийских газетах публикует обращение «К Италии».

«Италия волнуется, — писал Гюго, — она пробуждается, она беспокоит королей, и они торопятся вновь ее усыпить. Берегитесь, — предупреждал Гюго итальянский народ. — ...Они хотят вашей летаргии, вашей смерти. Он писал итальянцам, что близок час их освобождения. «Мы живем в годы гигантских шагов истории, они называются революцией». «Народы теряют века, но могут наверстать их в один час... Будем верить. Никаких ухищрений, никаких компромиссов, никаких полумер, никаких полупобед».

Он называет гнусными попытки буржуазной дипломатии считать Италию географическим понятием, а не нацией, и призывает итальянцев к борьбе за свободную Италию. «Вы несете в себе революцию, которая поглотит прошлое и создаст основу будущего». В 1859 году Гюго выступает с обращением к Соединенным Штатам Америки, требуя освобождения Джона Брауна, вождя восстания против рабовладельцев Виргинии, приговоренного к смертной казни.

Уже тогда он разоблачает лицемерие американской буржуазной демократии, заявляя, что палачом Брауна является не какой-то отдельный прокурор или судья, и даже не маленький штат Виргиния, — палачом Брауна «является вся огромная американская республика». «Да, — восклицает Гюго, — пусть Америка знает и подумает об этом: есть нечто более ужасное, чем Каин, убивающий Авеля: это Вашингтон, убивающий Спартака».

В 1860 году английские и французские войска вторглись в Китай. Заняв Пекин, они разграбили Летний дворец, в котором хранились национальные реликвии китайского народа, а затем подожгли его. Разбойничья англо-французская «экспедиция» вызвала глубокое возмущение Гюго «цивилизованными» колонизаторами. В письме к капитану Бутлеру Гюго называет ее налетом двух бандитов, из которых один грабил, другой жег. «Один из этих бандитов наполнил свои карманы, другой — свои сундуки... Такова история о двух бандитах».

С горькой иронией Гюго писал:

«Мы, европейцы, цивилизованы, и китайцы для нас варвары. Вот что цивилизация дает варварству.

Перед историей один из этих двух бандитов будет назван Францией, другой — Англией».

С энтузиазмом писатель откликнулся на восстание жителей Крита, он полностью за народ, борющийся за свою независимость. И когда в 1870 году на острове Куба вспыхнуло восстание против испанского насилия, Гюго всеми своими мыслями был с восставшими. «Я буду защищать Кубу, — писал Гюго, — так же, как я защищал Крит. Ни одна нация не имеет права накладывать свою лапу на другую нацию!.. Никакой народ не вправе владеть другим народом, так же, как никакой человек не вправе владеть другим человеком!»

Гюго гневно говорит об Англии, подавляющей Ирландию, об Австрии, подавляющей Венгрию, о Турции, наложившей свое иго на Герцеговину и Крит, о царской России, жестоко расправлявшейся с революционным движением в Польше. Он выступает против колонизаторской политики империалистических государств.

Гюго постоянно и последовательно доказывает, что в преступлениях против народов виноваты правители. В своем обращении по поводу войны в Мексике Гюго заявил, что в Мексике воюет не Франция, а воюет империя. В истязаниях населения Кубы виноват не испанский народ, — виновато испанское правительство. «Народ Испании великодушный и добрый. Избавьте его историю от священника и короля, и вы увидите, что народ Испании делал только добро».

Порицая деспотизм царской России, Гюго высоко ценил ее демократических деятелей. В одном из писем Гюго писал: «Нет более возвышенного сердца и более благородного ума, чем Александр Герцен. Я счастлив теми свидетельствами симпатии, которые от него получаю. Я рукоплещу успеху «Полярной Звезды», которую, к несчастью, не могу читать».

В ряде своих выступлений Гюго развивает мысли о Соединенных Штатах Европы. Однако это утопическое стремление Гюго никакого отношения не имеет к замыслам о военном объединении Европы.

В своей речи о филладельфийской выставке в 1876 году, говоря о значении культурного и экономического общения между народами, Гюго имел в виду единение народов, а не объединение империалистов с их агрессивной политикой.

Ради нерушимого мира для всех народов Гюго мечтал о мирном объединении демократических республик. Он призывал к уничтоже-

нию армий, к уничтожению деспотической власти. «Уничтожьте армию, вы уничтожите войну. Но как усунуть армию? Только устранением деспотизма. Республика и социализм должны быть едины».

Гюго — активный сторонник мира. Начиная с 1849 года, когда он председательствует на первом Международном съезде мира, он неоднократно выступает в защиту мира. Гюго убедительно доказывает: народы хотят мира. «Перед грозным призраком мобилизуемых армий, перед всей этой мрачной военной вакханалией я заявляю: кто хочет войны? — Короли. Кто хочет мира? — Народы.

Мне кажется, что в настоящий момент готовится столкновение между войной, к которой стремится прошлое, и миром, которого жаждет настоящее.

Граждане, мир победит!»

Слова пламенного трибуна, постоянно выступавшего в защиту мира, живут и сейчас. Его призывы к миру дышат уверенностью в силе народов, способных предотвратить войну.

Великое культурное наследство должно служить борьбе народов за мир и демократию. В речи о Вольтере Гюго показывает, какой большой вклад в борьбу народов вносят великие люди прошлого своими лучшими творениями и примером своей активной политической деятельности.

Гюго выступает против громадных затрат на армию. Он убеждает: «Миллиарды франков, брошенные на вооружение, могли бы быть с большей пользой употреблены на мирное строительство». И вместе с тем Гюго не пацифист. Война постыдна, если она захватническая, война против народа, против его прав, против цивилизации. Такую войну Гюго называет преступлением.

Но он выступает в защиту тех войн, которые ведутся за независимость и свободу народов. В романе «Отверженные» Гюго пишет:

«...вновь утвердить социальную правду, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте... какое дело может быть более справедливым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны создают мир. Огромная крепость предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихоимства, злоупотреблений, насилий, несправедливостей и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависти. Нужно ее ниспровергнуть».

На другой же день после падения Империи, 5 сентября 1870 года, Гюго возвращается в Париж.

На Северном вокзале Гюго, обращаясь к народу, встречавшему писателя, произносит пламенную речь.

«А вы знаете, почему Париж является городом цивилизации? — спрашивает Гюго.

— Потому, что Париж — город революции...»

В грозный час защиты своего отечества Гюго обращается к французам. Он напоминает им великие примеры освободительной борьбы народов: швейцарские крестьяне имели только секиры, а польские — косы, но и те и другие проявили беззаветное мужество, отстаивая независимость своих стран.

Гюго не смог понять все значение и величие Парижской коммуны, но после ее поражения он становится активным защитником преследуемых коммунаров.

Когда 25 мая бельгийское правительство объявило, что оно воспрепятствует предоставлять убежище коммунарам в Бельгии, Гюго публикует статью, в которой предлагает побежденным убежище у себя в доме.

На другой же день толпа монархистов выбила стекла в доме Гюго, а бельгийское правительство предложило всемирно известному писателю немедленно покинуть Бельгию. Гюго уезжает в Люксембург.

Возвратившись в Париж в октябре месяце, он страстно борется за амнистию осужденным коммунарам.

В 1872 году Гюго публикует сборник стихотворений «Грозный год». Поэтический дневник писателя-патриота запечатлел его чувства и мысли в годы войны с немцами и в дни Парижской коммуны. Здесь и призывы писателя к священной защите своей родины, и его сомнения и колебания в отношении к Парижской коммуне, и пламенная защита поверженных коммунаров.

Стихотворение «Пушке «Виктор Гюго» прекрасно передает идею высокого назначения искусства, его служения народу. В час опасности для родины, для человеческой культуры поэт должен стать в первые ряды борющегося народа.

Гюго гневно клеймит палачей Коммуны. Осуждая Коммуну, они осуждают «пришествие зари».

...тот, кто кровь пролил, сам
захлебнется кровью... —

предупреждает Гюго версальских палачей.

Яростные нападки на Гюго в связи с его мужественной защитой коммунаров и бесстрашие поэта в борьбе с разнузданной реакцией — все это также нашло место в стихотворениях сборника.

В семьдесят лет Гюго сохранил не только всю свою творческую мощь, но и мужество бойца и гражданина.

Через два года после опубликования сборника стихов «Грозный год» в Париже появляется последний большой роман Гюго «Девяносто третий год» (1874).

«Девяносто третий год» — роман о французской революции, ее кульминационном и героическом этапе.

Уже в XIX веке буржуазная Франция резко ополчается против французской революции 1789 года, она считает ее первопричиной всех последующих социальных «беспорядков». Проклятия, когда-то посылавшиеся революции со стороны французского дворянства, теперь исходят от людей, богатству и благосостоянию которых буржуазная революция способствовала. Озлобленные нападки на революцию 1789 года значительно усилились после Парижской коммуны. И именно в эти годы в романе «Девяносто третий год» Гюго с пафосом говорит о революции. Рисуя два противоположных лагеря — монархию и республику, — Гюго противопоставляет их как мрак и свет.

При анализе этого произведения нередко доказывалось, что якобы всем развитием сюжета Гюго прокламирует торжество милосердия в классовой борьбе народа. На первый взгляд это почти убедительно. Лантенак, вождь вандейского восстания, ради спасения детей, оставшихся в горящем замке, добровольно отдает себя в руки революционных войск. Говэн — молодой начальник республиканских войск, пораженный гуманностью Лантенака, отпускает его на свободу, тем самым давая ему возможность продолжать черное дело контрреволюции. Симурдэн, комиссар при отряде республиканцев, прекрасно понимает человеческий порыв, побудивший Говэна отпустить вождя Вандей. Симурдэн — воспитатель Говэна, безгранично любит его, но он должен выполнить волю революционного правосудия и казнить командира, отпустившего на свободу врага народа. Он предаст казни Говэна, но в тот самый момент, когда голова Говэна скатилась в корзину, Симурдэн выстрелил себе в сердце.

Казалось бы, в романе — апофеоз всепрощающего милосердия. И, однако, это не так. «Девяносто третий год» — роман более сложный и пропагандирует отнюдь не идею мелкобуржуазного гуманизма. В нем наиболее резко сказались противоречия мировоззрения Гюго. Ни в одном из романов так открыто не противопоставлены идеи милосердия и справедливого наказания, как в романе «Девяносто третий год». Логика суровой действительности оказывается более великой правдой, чем иллюзии писателя. Вслед за каждым актом «милосердия»

в романе следует и его жестокое разоблачение, вскрывающее всю ответственность этого милосердия.

Симурдэн предает казни Говэна за его тягчайшее преступление против революции, безжалостно отбросив всю огромную личную любовь к своему воспитаннику. Говэн в свою очередь на суде признает, что он поступил неправильно и совершил преступление, поддавшись чувству вредного и ненужного по отношению к врагам родины и революции милосердия.

«Доброе дело, увиденное мною вблизи, скрыло от взоров моих сотню преступных дел... Я забыл про сожженные деревни, про опустошенные поля, про умерщвленных пленников, про добытых раненых, про расстрелянных женщин, про Францию, с головою выданную англичанам, — и освободил убийцу отечества. Я виновен...»

Признает себя виновным и раскаивается в своем «милосердном» поступке и другой персонаж романа — Тельмар.

Тельмар, нищий и философ, желавший стоять над схваткой, не вмешиваясь в борьбу, спасает Лантенака, когда тот еще только высаживается с английского корабля на берег Франции. Он доверчиво полагает, что Лантенак не будет причинять зла. Узнав о расстрелах, совершенных по его приказу, он горько раскаивается в своем «человеческом» поступке.

«О, если бы я это знал», — говорит Тельмар.

Не может быть места жалости, когда речь идет о судьбе революции. Революция беспощадна к своим врагам, она не прощает их, если враг не сдается. И может ли быть иначе, когда она имеет дело со старым миром, бешено сопротивляющимся. Слова Симурдэна: «У революции один серьезный враг — дряхлый, отживший мир, и она должна относиться к нему безжалостно, точно так же, как безжалостно относится хирург к своему врагу — гангрене», — слова великой правды.

Революция безжалостна ради победы великого гуманизма, реакция жестока в своей ненависти к гуманизму. Разве не Лантенак, организуя восстание против революции, требует уничтожения своих врагов — республиканцев?

Не давать пощады — его первое требование. Высадившись с английского корабля на берег Франции, дворянин-эмигрант намерен с помощью англичан пройти по всей стране огнем и мечом. По его приказу сжигаются деревни и безжалостно расстреливаются патриоты Франции.

Укротить ярость своих врагов и добиться победы революция может только уничтожая силы контрреволюции. Уничтожение врагов

революции — непереносимое условие ее успеха, успеха великого дела. Революция во всех ее проявлениях — свет и добро. Жестокость реакции — только зло, только мрак. Гюго пишет: «Вандея — это возмущившееся духовенство, союзник этого возмущения — лес. Мрак помогает мраку».

Барбюс в своем произведении «Сталин» говорит об огромной проницательности Гюго, который еще в «Отверженных» сказал о революции: «Из самых жестоких ее ударов рождается ласка человечеству».

Эта же мысль проведена и в романе «Девяносто третий год». Гюго признает необходимость для революции уничтожения своих врагов. И в то же время, и в этом сказывается противоречивость Гюго, он не может избавиться от глубокой внутренней боли, рисуя картины классовой борьбы. Как часто ему хочется крикнуть, что права женщина, найденная отрядом Красной Шапки в лесах Вандеи, которая на вопрос:

«К какой ты принадлежишь партии?.. Ты с синими? С белыми? С кем ты?», сказала: «Я со своими детьми».

Народ справедлив и добр по своей натуре, ему не присуща жестокость. Гюго постоянно это подчеркивает. Но для того чтобы расчистить путь к новой жизни, чтобы революция восторжествовала, она должна беспощадно подавлять своих врагов.

Еще в «Отверженных» Гюго писал: «Вандея — это огромный католический мятеж. Голос права, приведенного в движение, распознать нетрудно, но он не всегда исходит из потрясенных, взбудораженных масс; есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола; но не во всяком набате звучит бронза. Колесование страстей и невежества — нечто иное, чем толчок прогресса. Восставайте, пусть; но только для того, чтобы расти! Укажите мне, куда вы идете. Восстание — это только движение вперед. Всякое другое вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж; движение вспять — это насилие над человеческим родом».

Революция — глубокая борозда, которая даст урожай, движение вперед. Она победоносна: ее творцы и защитники — люди высоких моральных качеств. Простые солдаты революции, подобно Радубу, гренадеры из батальона Красной Шапки, или военные командиры этих солдат, подобно Говэну, восхищаются своей преданностью делу революции.

Девиз Говэна — постоянно идти вперед, к светлому будущему, всегда смотреть в сторону зари. «Человек создан не для того, чтобы влечь за собой цепи, но для того, чтобы расправлять крылья. Долой пресмыкающегося человека».

Молодой командир республиканских войск думал о счастливом будущем Франции, когда не будет голодных, страдающих людей, когда земли его страны смогут прокормить население в триста миллионов человек. Энтузиаст, разговаривающий языком утопических социалистов, никак не мог предполагать, в какую жалкую карикатуру вырождаются результаты буржуазной революции, которую он так самоотверженно защищал.

Ряд замечательных сцен жизни революционного Парижа, написанных с большим вдохновением, свидетельствуют о чувствах глубокой симпатии Гюго к революции. Энтузиазм освобожденного народа, когда «босоногие мостовщики останавливали тележку торговца обувью, делали складчину и покупали пятнадцать пар башмаков, которые они посылали Конвенту «для наших солдат», когда волонтеры стекались со всех сторон, а каждая улица выставляла по батальону, — эта героика революции волнует и восхищает.

Гюго рисует Конвент — сердце французской революции; огромный зал оперы со статуями деятелей античной республики вмещал до двух-трех тысяч человек. Представители Конвента, несмотря на все различие их между собой, «шли к одной цели — к прогрессу». Там были эгоисты и трусы, но там были и титаны буржуазной революции: «Робеспьер, не сводивший глаз с справедливости, Кондорсе, не спускавший глаз с долга». Конвент, пригводивший к смерти Людовика XVI, пользовался любовью народа. Туда прибывали делегаты парижских округов «с блюдами, чашами, кубками, ковчежцами, грудями золота, серебра и драгоценных камней, предлагаемыми отечеству», требуя в виде награды лишь позволения проплясать «Карманьолу» перед Конвентом.

С присущим ему пафосом Гюго раскрывает прогрессивную роль Конвента, который действовал, «имея во внутренностях своих такую гидру, как Вандея, и чувствуя на своих плечах такие тигровые когти, как монархическая коалиция».

Тема революции волнует Гюго до последних лет его жизни. В 1880 году в книге стихотворений «Четыре духа времени» напечатана поэма Гюго «Революция». Поэма — блестящий памфлет против королей, на протяжении столетий угнетавших французский народ.

В поэме звучит гнев против злодеяний королей, залитых кровью «от шляпы до шпор». Страдания простого народа, людей, которым Мальтус «повелел покорно умирать», голодных и хилых детей, скрывающихся у мрачных и грязных стен, вызывают о возмездии. В скорбь-

ном взгляде нищеты поэт видит гнев революции. Не напрасно народ рубит головы королям. Они вполне заслуживают этого.

Гюго мечтает о будущем, когда:

Поэт и рудокоп,
С пером один, другой с киркою, гордый лоб
Склонят над золотом единых достижений.
И братством расцветет народов новый день.

В 1883 году выходит в свет третий том грандиозного поэтического произведения Гюго «Легенда веков», над которой поэт начал работать еще с пятидесятых годов. Первая часть этого произведения появилась в 1859 году, когда Гюго находился на Гернсее, вторая — в 1877 году.

«Легенда веков» — большой цикл стихотворений и поэм, где в ярких образах предстает жизнь народов различных стран и эпох.

По мере того как создавалась эта грандиозная эпопея, в ней все большее место занимали обличительные мотивы, она приобретала все большее политическое звучание.

Наиболее ярко реализована в «Легенде веков» тираноборческая тема. Гюго создает образы монархов, неизменно подчеркивая, что королевская власть была всегда враждебна народным массам. Он сравнивает королей с людоедами:

Что значит мир для них? Они важней стократ,
И в пушечном жерле их доводы лежат.
Мозги их? — Сдавлены. Их воля, их желанья? —
Чудовищны...
Терзает жажда их, — кровь подает на стол
Им ведрами война; их голод мучит тоже, —
Что ж наций несколько они пожрут.

Поэт обличает деспотическую тиранию и выражает светлую веру в торжество справедливости, прогресса и свободы.

Умер Гюго 22 мая 1885 года. Он был погребен, несмотря на протест архиепископа, в Пантеоне — усыпальнице великих людей Франции.

Но сразу же после его смерти, так же, как это было и при жизни Гюго, реакционеры, враги французского народа и его культуры, подняли ожесточенную кампанию клеветы против писателя. Буржуазным реакционерам Франции ненавистно великое демократическое наследие Гюго. «Преступление» Гюго перед французской буржуазией в том, что он не хотел служить и не служил алчным интересам наживы и угнетения человека, что свое могучее дарование он посвятил народу.

Он ненавистен реакции потому, что в своих статьях и речах предавал позору захватнические войны.

В произведениях Гюго отразились сильные и слабые черты его мировоззрения. Он увидел передовых людей — республиканцев тридцатых годов, подобно другому выдающемуся писателю Франции, Бальзаку, и показал этих республиканцев, боровшихся на баррикадах парижских улиц. Он выразил ненависть демократической Франции к Наполеону III, уничтожившему республику. Он постоянно восхищался революционным народом Парижа, простым людом его рабочих предместий, но он не сумел понять всего великого значения ни июньских дней 1848 года, ни Парижской коммуны. В этом сказалась слабость его мировоззрения, но отнюдь не испуг перед революционным движением пролетариата, как об этом нередко писали критики. Испуг мог вести только к реакции и к спаду творчества, а для Гюго активные выступления пролетариата были той живительной силой, которая помогала писателю создать его лучшие произведения: «Отверженные» и «Девяносто третий год».

Идеи утопического социализма, близкие писателю, не могли не отразиться на его произведениях, на его отношении к революционной борьбе народа.

В шестидесятые и семидесятые годы, когда Гюго пишет свои прославленные романы, все более широкое значение приобретала подлинно научная теория, указывавшая единственно верный путь — путь решительной революционной борьбы за новое, социалистическое общество. Гюго не сумел понять всей важности этого великого учения. Не зная марксизма, Гюго сохранял свои эклектические взгляды на развитие общества. Филантропия, призывы к милосердию и гуманности, казалось ему, имеют исключительное значение в деле преобразования общества.

Французский прогрессивный журнал «Ла нувель критик» в июне 1951 года справедливо отмечал: «Марксистско-ленинская критика, неизменно подчеркивая слабости и противоречия Гюго, указывая на его ограниченность, воздавала должное его боевому гуманизму, его бунту против капиталистического беззакония, его пониманию социальной роли писателя».

Творчество Гюго было порождено и согрето любовью к человеку. Мы благодарны ему за то, что властной силой своего дарования он заставляет читателя волноваться за судьбы обездоленных людей. Мы разделяем его гнев и ненависть к душителям свободы и независимости народов.

Творчество Гюго живет, сила его произведений не ослабевает. Великий источник его творческой силы, его демократизм, патри-

тизм и гуманизм привлекают к писателю и в наши дни миллионы благодарных читателей.

«...Сколько живых людей, произносивших над ним свой приговор, умерло, в то время как он, мертвый, все еще живет, следовательно «становится»! Его существование подтверждается тем, что его отвергают и подвергают страстному разбору. Хулят ли его, или восхваляют, но Гюго никогда не услышит обращенного к нему: «Requiescat!»¹ ...Имя и дух старца веют среди знамен движущейся вперед армии»².

Вся великая правда этих слов Ромэна Роллана становится особенно ясной в наши дни, дни решительной борьбы лагерей мира и войны, борьбы, в которой Гюго заслуженно занял почетное место среди выдающихся гуманистов и демократов прошлого века.

В. Николаев

¹ Да покоится в мире.

² *Ромэн Роллан*, Спутники, Гослитиздат, 1938, стр. 219.

БЮГ-ЖАРГАЛЬ

Р о м а н

В 1818 году автору этой книги было шестнадцать лет; он держал пари, что за две недели напишет книгу. И он написал «Бюг-Жаргалья». В шестнадцать лет держат пари по любому поводу и пишут на любую тему.

Эта книга была, следовательно, написана за два года до «Гана Исландца». И хотя семь лет спустя, в 1825 году, автор переработал ее и значительную часть написал заново, тем не менее она и по существу и по многим подробностям осталась первым творением автора.

Он просит прощения у читателей, что останавливает их внимание на столь незначительных вещах, но он думает, что небольшое число лиц, любящих располагать произведения всякого, даже малоизвестного, поэта по старшинству, в порядке их появления на свет, не будут пенять ему на то, что он сообщил им возраст «Бюг-Жаргалья»; сам же автор, подобно путешественнику, который, идя своей дорогой, оборачивается назад, стараясь в туманной дали разглядеть то место, откуда он начал свой путь, хотел поделиться здесь воспоминанием о далеком времени, полном чистоты, смелости и доверчивости, когда он взял приступом этот грандиозный сюжет — восстание негров на Сан-Доминго в 1791 году, борьбу гигантов, в которой участвовали три мира: Европа и Азия, как противники, Америка же как поле боя.

24 марта 1832

Рассказанный ниже эпизод, основой для которого послужило восстание невольников на Сан-Доминго в 1791 году, кажется написанным в связи с известными событиями¹, что должно было бы помешать автору издавать его. Однако первоначальный набросок этого небольшого сочинения был отпечатан и распространен в ограниченном количестве экземпляров еще в 1820 году, в эпоху, когда политики нисколько не интересовались Гаити, поэтому совершенно ясно, что если его содержание возбуждает теперь особый интерес, то это не по вине автора. События сложились так, что нашли свой отклик в книге, а не книга откликнулась на события.

Как бы то ни было, автор не думал извлекать эту работу из мрака забвения, где она была как бы погребена; но его известили, что один столичный книгопродавец собирается переиздать его анонимный набросок, и автор счел своим долгом предотвратить это переиздание, сам опубликовав свое произведение, пересмотрев его и несколько переделав; эта предосторожность избавит его от уколов авторского самолюбия, а указанного книгопродавца от низкой спекуляции.

Многие видные люди, жители колоний или должностные лица, которых так или иначе коснулись волнения на Сан-Доминго, узнав о готовящемся издании этой работы, пожелали по собственному почину прислать автору разные материалы, тем более ценные, что почти все они не были опубликованы. Автор приносит им здесь самую

¹ Это предисловие, сопровождавшее первые издания, датировано январем 1826 г.

искреннюю признательность. Эти докуменгы были ему чрезвычайно полезны для того, чтобы дополнить рассказ капитана д'Овернэ подробностями местной жизни и проверить все, что вызывало сомнение в исторической правдивости.

Наконец автор должен также сообщить читателю, что история Бюг-Жаргаля — это только одно из звеньев более крупного произведения, которое должно было называться «Рассказы в походной палатке» Он задумал написать рассказы нескольких французских офицеров, которые во время войн эпохи Революции сговорились коротать длинные ночи на биваках, описывая по очереди какие-нибудь события из своей жизни. Приведенный ниже эпизод был одним из серии этих рассказов; его можно легко отделить от них; к тому же произведение, часть которого он должен был представлять, не закончено, никогда не будет закончено и не стоит того, чтоб его написали

Когда пришел черед капитана Леопольда д'Овернэ, он с недоумением поднял глаза и признался присутствующим, что не знает в своей жизни решительно ни одного события, достойного их внимания.

— Что вы, капитан, — возразил ему лейтенант Анри. — Ведь говорят, вы много путешествовали и видели свет. Вы бывали, кажется, на Антильских островах, в Африке, в Италии, в Испании?.. Капитан, смотрите-ка, вот ваша хромая собака!

Д'Овернэ вздрогнул, выронил сигару и быстро обернулся ко входу в палатку; в ту же минуту к нему подбежал, прихрамывая, огромный пес.

По пути пес раздавил сигару капитана, но капитан не обратил на это никакого внимания.

Пес лизал ему ноги, вилял хвостом, лаял, радостно прыгал вокруг и, наконец, улегся у его ног. Взволнованный и растроганный капитан рассеянно гладил его левой рукой, отстегивая правой ремень своей каски, и повторял про себя: «Это ты, Раск! Это ты!» Вдруг он воскликнул:

— Но кто же тебя привел?

— С вашего позволения, господин капитан...

Уже несколько минут сержант Тадэ стоял у входа, откинув край палатки, держа правую руку под полый мундира, и со слезами на глазах молча наблюдал развязку этой Одиссеи. Наконец он осмелился произнести: «С вашего позволения, господин капитан...»; д'Овернэ взглянул на него.

— Это ты, Тад? Чорт возьми, как же ты умудрился?.. Бедный пес! Я думал, что он в лагере у англичан. Где же ты его нашел?

— Слава богу, вы видите, господин капитан, что теперь я так же весел, как ваш племянник, когда вы учили его склонять по-латыни согни — рог, согни — рòга...

— Да ты мне толком скажи, где нашелся Раск?

— Он не нашелся, господин капитан, мне пришлось самому пойти искать его.

Капитан встал и протянул сержанту руку; он не заметил, что Тадэ все так же прятал руку под полой мундира.

— Дело в том... видите ли, господин капитан, с тех пор как бедный Раск пропал, я заметил, с вашего позволения, конечно, что вам чего-то недостает. Сказать по правде, в тот вечер, когда он не прибежал, как всегда, разделить со мной мою порцию хлеба, старый Тад чуть не расплакался, как малое дитя. Но нет, слава богу, я плакал всего два раза в жизни: первый раз, когда... в тот день, что... — и сержант с тревогой взглянул на своего начальника. — А второй, когда этот бездельник Балтазар, капитан седьмого полка, заставил меня очистить связку луку.

— Однако, Тадэ, — воскликнул, смеясь, Анри, — вы, кажется, так и не сказали нам, по какому случаю вы плакали в первый раз.

— Вероятно, это было тогда, старина, когда тебя обнял Латур д'Овернь, первый гренадер Франции? — ласково спросил капитан, продолжая гладить собаку.

— Нет, господин капитан, уж если сержант Тадэ заплакал, то согласитесь, что это могло случиться только в тот день, когда он крикнул: «Пли!» при расстреле Бюг-Жаргалья, по прозвищу Пьеро.

Какая-то тень пробежала по лицу капитана д'Овернь. Он быстро подошел к сержанту и хотел пожать ему руку; но, несмотря на такую высокую честь, старый Тадэ все так же прятал руку под полой мундира.

— Да, господин капитан, — продолжал Тадэ, отступая на несколько шагов от д'Овернь, устремившего на него скорбный взгляд, — в тот раз я заплакал; и даю слово, он этого стоил! Он был черен, это правда, но ведь и порох черен, а... а... все же... все же...

Славному сержанту очень хотелось с честью довести до конца свое странное сравнение. В этом сближении, ви-

димо, было что-то привлекавшее его, но он тщетно пытался выразить свою мысль. После нескольких попыток, так сказать, атаковать ее с разных сторон он, подобно полководцу, которому не удается взять крепость приступом, внезапно снял осаду и продолжал, не обращая внимания на улыбки слушавших его молодых офицеров:

— Помните, господин капитан, как этот бедняга негр прибежал запыхавшись в ту самую минуту, когда его десять товарищей уже были на месте? Сказать по правде, их пришлось связать. Командовал я. И вот он сам развязал их, чтобы стать на их место, несмотря на их сопротивление. Он был непоколебим. Ах, что за человек! Настоящий Гибралтар! А потом, помните, господин капитан, как он стоял спокойно и прямо, точно перед началом танца, и как его пес, вот этот самый Раск, вдруг понял, что хотят сделать с его хозяином, и разом прыгнул мне на грудь?

— Обычно, Тад, — перебил его капитан, — в этом месте ты останавливался и прерывал свой рассказ, чтобы погладить Раска. Взгляни, как он смотрит на тебя.

— Это правда, — ответил смущенно Тадэ, — бедняга Раск смотрит на меня; но... старуха Малагрида сказала, что гладить левой рукой нельзя — это приносит несчастье.

— А почему же не правой? — с удивлением спросил д'Овернэ и тут только заметил, что рука Тадэ спрятана под мундиром, а лицо его очень бледно.

Сержант смутился еще сильнее.

— С вашего позволения, господин капитан, дело в том, что... У вас уже есть хромая собака, боюсь, как бы у вас не оказался еще и однорукий сержант.

Капитан вскочил со стула.

— Как? Почему? Что ты говоришь, старина? Не может быть! Покажи свою руку. Боже мой... однорукий!

Д'Овернэ весь дрожал; сержант медленно отвернул полу мундира, и капитан увидел его руку, обмотанную окровавленной тряпкой.

— Ах, боже мой! — пробормотал капитан, осторожно приподнимая повязку. — Но скажи мне, дружище...

— Да все было очень просто. Я уж говорил вам, что заметил, как вы горюете с тех пор, как проклятые англичане украли вашего чудного пса, беднягу Раска, собаку Бюга... Ну да хватит об этом. Вот я и решил сегодня привести его обратно, чего бы это мне ни стоило, чтобы вече-

ром, наконец, поужинать с удовольствием. Я поручил солдату Матле хорошенько вычистить ваш парадный мундир, так как завтра ждут сражения, а сам, захватив с собой только саблю, незаметно сбежал из лагеря и стал пробираться прямо через изгороди, чтобы поскорее попасть к лагерю англичан. Не успел я дойти до первых укреплений, как, с вашего позволения, господин капитан, увидел в лесочке слева целую толпу красных мундиров. Я подполз поближе, чтобы разнюхать, что там такое; никто меня не заметил, и я вскоре разглядел между ними Раска, привязанного к дереву; тут же рядом два милорда, голые вот до сих пор, как дикари, отчаянно лупили друг друга кулаками; треск стоял такой, будто били в полковой турецкий барабан. Представьте себе, эти два английских джентльмена устроили дуэль из-за вашей собаки! Но тут Раск увидел меня и рванулся с такой силой, что веревка лопнула, и в тот же миг этот мошенник уже мчался за мной по пятам. Вы понимаете, что и вся банда не осталась на месте. Я бросился в лес. Раск за мной. Несколько пуль просвистело у меня над ухом. Раск лаял, но, к счастью, они его не слышали, так как сами вопили: «French dog! French dog!»¹, хотя на самом деле ваша собака — красивый добрый пес из Сан-Доминго. Но это не важно. Я пробрался сквозь чащу и только вышел на опушку, как вдруг два красных мундира выросли передо мной. Моя сабля помогла мне отделаться от одного из них и наверное избавила бы и от второго, если б его пистолет не был заряжен. Вы сами видите мою правую руку. Ну да не беда! Раск бросился ему на шею, как старому другу; ручаюсь головой, что это были крепкие объятия — англичанин тут же свалился задушенный. Что ж, сам виноват! Зачем этот чортов солдат привязался ко мне, как нищий к семинаристу! Ну, а теперь Тад вернулся в лагерь, и Раск тоже. Я жалею только об одном: что господь бог не захотел послать мне эту рану в завтрашнем бою. Вот и все!

Лицо старого сержанта омрачилось при мысли, что он был ранен не в сражении.

— Тадэ!.. — гневно вскричал капитан. Затем он закончил более мягко: — С ума ты, что ли, сошел, что рискуешь жизнью ради собаки?

¹ Французская собака (англ.).

— Не ради собаки, господин капитан, а ради Раска. Взгляд капитана д'Овернэ совсем смягчился. Сержант продолжал:

— Ради Раска, собаки Бюга...

— Будет, будет, дружище Тад! — воскликнул капитан, прикрывая глаза рукой. — Ну, — сказал он после короткого молчания, — обопрись на меня и пойдем в лазарет.

После почтительного сопротивления Тадэ повиновался. Раск, который во время этой сцены от радости наполовину изгрыз прекрасную медвежью шкуру, принадлежавшую его хозяину, встал с места и пошел за ними.

II

Эта сцена привлекла к себе внимание и возбудила живейшее любопытство веселых собеседников.

Капитан Леопольд д'Овернэ был одним из тех людей, которые всегда, на какую бы ступень их ни поставила случайность рождения или события общественной жизни, внушают к себе невольное уважение, смешанное с интересом. А между тем вы не увидели бы в нем ничего замечательного; манеры его были сдержанны, взгляд равнодушен. Тропическое солнце хотя и покрыло загаром его лицо, но не сообщило той живости его движениям и разговору, какая у креолов нередко сочетается с изящной томностью. Д'Овернэ мало говорил, редко слушал и всегда готов был действовать. Он первым вскакивал на коня и последним возвращался в палатку; можно было подумать, что в физической усталости он ищет отвлечения от своих мыслей. Эти печальные и суровые мысли, избородившие преждевременными морщинами его лоб, были не из тех, от которых можно избавиться, поделившись ими с собеседником, и не из тех, которые в пустой болтовне легко вливаются в поток чужих суждений. Леопольд д'Овернэ, не знавший усталости в ратных трудах, казалось, испытывал бесконечное утомление от того, что мы называем состязанием умов. Он избегал споров так же, как искал сражений. Если он иногда позволял втянуть себя в словесный поединок, он говорил всего несколько слов, полных глубокого смысла и ума, а затем, в ту минуту, когда его противник уже готов был

сдаться, он внезапно обрывал свою речь фразой: «К чему все это?» и выходил, чтобы спросить у командира, не найдется ли какого-нибудь дела до наступления или атаки.

Товарищи прощали ему его суровость, скрытность и молчаливость, потому что он всегда оставался храбрым, добрым и благожелательным. Многих из них он спас от смерти, рискуя собственной жизнью, и все знали, что хотя он редко раскрывает рот, зато кошелек его всегда открыт для всех. В полку его любили и прощали ему даже то, что он внушал к себе чувство особого почтения.

А между тем он был молод. На вид ему давали лет тридцать, но на самом деле ему было значительно меньше. Несмотря на то, что он уже довольно давно сражался в рядах республиканцев, никто не знал его прошлого. Единственное существо, не считая Раска, к которому он проявлял живую привязанность, — старый сержант, добряк Тадэ, вместе с ним поступивший в полк и никогда не покидавший его, изредка туманно намекал на некоторые события из его жизни. Было известно, что д'Овернэ жил в Америке, где испытал ужасные несчастья; что он женился в Сан-Доминго и потерял там жену и всю свою семью во время резни, с которой началось восстание рабов в этой богатейшей колонии. В ту историческую эпоху подобные несчастья были так обычны, что по отношению к ним установилось своего рода всеобщее сострадание, куда каждый вносил и откуда черпал свою долю. Капитану д'Овернэ, конечно, сочувствовали, и не столько из-за понесенных им утрат, сколько вследствие мужества, с которым он переносил свои страдания. И правда, под его ледяным равнодушием порой угадывалась боль глубокой и неизлечимой раны.

Как только начиналось сражение, лицо его светлело. Он дрался с такой отвагой, как будто стремился стать генералом, и держался с такой скромностью после победы, как будто хотел остаться простым солдатом. Его товарищи, видя это презрение к чинам и славе, не понимали, почему перед битвой он словно чего-то ждет, и не догадывались, что из всех случайностей войны д'Овернэ призывал только одну — смерть.

Народные представители, присланные в армию, однажды, во время боя, хотели назначить его командующим бригадой; но он отказался, так как, уходя из полка,

ему пришлось бы расстаться с сержантом Тадэ. Через несколько дней он вызвался провести опасную операцию и остался невредим, вопреки ожиданию товарищей и собственной надежде. Тогда он пожалел, что отказался от высокого чина. «Потому что, — говорил он, — если вражеские пули всегда щадят мою жизнь, то, быть может, гильотина, разящая всех, кто возвышается над другими, не обошла бы и меня».

III

Таков был человек, о котором, лишь только он вышел из палатки, завязался следующий разговор:

— Держу пари, — воскликнул лейтенант Анри, вытирая свой красный сапог, на котором Раск, пробегая мимо, оставил большое грязное пятно, — держу пари, что капитану дороже перебитая лапа его собаки, чем десять корзин мадеры, что мы видели на-днях в большом генеральском фургоне.

— Тише, тише! — весело сказал адъютант Паскаль. — Это была бы невыгодная сделка: корзины давно пусты, поверьте, уж я-то знаю об этом; а тридцать порожних бутылок, — прибавил он с серьезным видом, — согласитесь, лейтенант, не стоят лапы бедного пса: из нее, как-никак вышла бы ручка для дверного звонка.

Серьезный тон, каким адъютант произнес последние слова, рассмешил всех. Не засмеялся только молодой офицер баскских гусар Альфред; лицо его выражало неодобрение.

— Не понимаю, господа, что вы тут находите смешного. И собака и сержант, которых я всегда вижу подле д'Овернэ с тех пор, как его знаю, по-моему могут скорее вызвать интерес. Наконец эта сцена...

Паскаль, раззадоренный и недовольством Альфреда и веселостью остальных, прервал его:

— Эта сцена уж очень сентиментальна! Скажите, какая важность — найденная собака и простреленная рука!

— Вы не правы, капитан Паскаль, — возразил Анри, выкидывая из палатки только что опорожненную им бутылку, — этот Бюг, по прозвищу Пьеро, вызывает мое любопытство.

Паскаль, готовый рассердиться, тут же остыл, заметив, что его недавно опустевший стакан уже снова наполнен. В это время вошел д'Овернэ и молча сел на прежнее место. Он был задумчив, но лицо его стало спокойнее. Казалось, он так погружен в свои мысли, что ничего не слышит из того, что говорится вокруг. Раск, вошедший вслед за ним, улегся у его ног и беспокойно поглядывал на него.

— Дайте ваш стакан, капитан д'Овернэ. Попробуйте-ка этого вина!

— О, слава богу, рана не опасна, рука цела, — сказал капитан, думая, что отвечает на вопрос Паскаля.

Только невольное уважение, внушаемое капитаном своим товарищам по оружию, удержало веселый смех, готовый сорваться с губ Анри.

— Раз вы больше не тревожитесь за Тадэ, — сказал он, — а мы условились, что каждый расскажет какое-нибудь приключение, чтобы скоротать эту походную ночь, я надеюсь, дорогой друг, вы сдержите слово и расскажете нам историю вашего хромого пса и Бюга... не знаю дальше его имени... по прозвищу Пьеро, этого «настоящего Гибралтара», как говорит Тадэ!

На этот вопрос, заданный полусерьезным, полушутливым тоном, д'Овернэ ничего бы не ответил, если бы к просьбе лейтенанта не присоединились все присутствующие.

В конце концов он уступил их уговорам.

— Так и быть, я исполню ваше желание, господа; но я расскажу вам совсем простую историю, в которой к тому же играю весьма второстепенную роль. Если, видя дружбу, связывающую Тадэ, Раска и меня, вы ожидаете услышать что-то необыкновенное, то вы ошибаетесь, предупреждая вас. Итак, я начинаю.

Наступило полное молчание. Паскаль допил залпом свою фляжку с водкой, Анри завернулся от ночной свежести в полуизгрызенную медвежью шкуру; затих и Альфред, напевавший галицийскую песенку «Mataperros»¹.

Д'Овернэ на минуту задумался, словно для того, чтоб освежить в памяти события, давно вытесненные другими; наконец он заговорил, медленно, тихим голосом и часто останавливаясь.

¹ Охотник за собаками (исп.).

Родился я во Франции, но еще в юности был отправлен в Сан-Доминго к моему дяде, очень богатому плантатору, на дочери которого я должен был жениться.

Поместье моего дяди находилось по соседству с фортом Галифэ, а его плантации занимали большую часть Акюльской равнины.

Это несчастное местоположение, подробное описание которого вам покажется, наверно, мало интересным, и было одной из главных причин бедствий и гибели всей моей семьи.

Восемьсот негров обрабатывали громадные владения дяди. Должен признаться, что жалкое положение этих невольников еще ухудшалось из-за бездушия их хозяина. Мой дядя был из числа тех, по счастью немногочисленных, плантаторов, сердце которых очерствело от долголетней привычки к неограниченной власти. Он привык, чтобы ему повиновались с одного взгляда, и жестоко наказывал раба за малейшее промедление; заступничество его детей большей частью только разжигало его гнев. Поэтому чаще всего мы были вынуждены лишь тайно облегчать страдания, которые не могли предотвратить.

— Ну, теперь пойдут красивые фразы, — сказал вполголоса Анри, наклоняясь к своему соседу. — Капитан, конечно, не упустит случая, рассказывая о несчастной судьбе так называемых «чернокожих», прочитать нам небольшую диссертацию о нашем долге, гуманности и прочем и прочем. По крайней мере в клубе «Массиак»¹ уж без этого бы не обошлись.

¹ Наши читатели, вероятно, забыли, что клуб «Массиак», о котором говорит лейтенант Анри, был создан обществом негрофилов. Этот клуб, основанный в Париже в начале Революции, был главным виновником восстаний, вспыхнувших в то время в колониях.

Можно удивляться тому немного дерзкому легкомыслию, с каким молодой лейтенант осмеивает «филантропов», бывших тогда еще у власти. Но следует помнить, что во время, до и после террора в войсках сохранялась свобода мысли и слова. За это благородное преимущество время от времени какой-нибудь генерал платился своей головой; но оно не может запятнать славу тех солдат, которых доносчики Конвента называли «господами из Рейнской армии». (Прим. авт.)

— Благодарю вас, Анри, что вы не дали мне попасть в смешное положение, — сказал холодно д'Овернэ, услышавший его слова.

Затем он продолжал.

— Из всех рабов дяди только один пользовался его расположением. Это был карлик, полуиспанец, полунегр, так называемый замбо¹, подарок лорда Эфингема, губернатора Ямайки. Дядя, долгое время живший в Бразилии, приобрел там привычку к португальской роскоши и любил окружать себя дома пышностью, соответствующей его богатству. Толпа рабов, вышколенных на манер европейской прислуги, придавала его дому княжеский блеск. Для полноты картины он сделал раба лорда Эфингема своим «дураком», в подражание старинным феодальным князьям, державшим шутов у себя при дворе. Надо признать, что выбор был сделан необыкновенно удачно. Замбо Хабибра (так его звали) был одним из странных созданий, телосложение которых так необычно, что они казались бы чудовищами, если бы не были так смешны.

¹ Быть может, значение этого слова требует более точного пояснения. Господин Моро де Сен-Мери, развивая систему Франклина, составил классификацию людей с различными оттенками кожи, получившимися в результате смешанных браков цветного населения.

Он считает, что человек состоит из ста двадцати восьми частей — черных у чернокожих, и белых у белокожих.

Исходя из этого принципа, он устанавливает, что человек удаляется или приближается к одному из этих цветов, в зависимости от того, насколько он близок или далек от числа шестьдесят четыре, которое является для него средним пропорциональным.

По этой системе человек, имеющий меньше восьми белых частей, считается черным.

Приближаясь от черного к белому цвету, можно различить девять основных видов, между которыми располагается еще много разновидностей, в зависимости от количества частей того или другого цвета. Эти девять видов таковы: сакатра, замбо, марабу, мулат, квартерон, метис, мамелюк, полуквартерон и человек смешанной крови.

Человек смешанной крови, продолжая соединяться с белыми, под конец, можно сказать, возвращается к этому цвету. Однако утверждают, что на какой-нибудь части своего тела он все же непременно сохраняет неизгладимый след своего происхождения.

Замбо — это результат пяти комбинаций; он может иметь от двадцати четырех до тридцати двух белых частей и от девяти до шести до ста четырех черных. (*Прим. авт.*)

Этот отвратительный карлик, коротконогий, толстый, пузатый, двигался с необыкновенной быстротой на тоненьких и хилых ножках, которые, когда он садился, складывались под ним, как паучьи лапы. На его огромной, тяжелой голове, как будто вдавленной в плечи и заросшей курчавой рыжей шерстью, торчали такие громадные уши, что его товарищи часто уверяли, будто Хабибра утирает ими слезы, когда плачет. Лицо его вечно делало самые неожиданные гримасы, и эта необыкновенная подвижность черт придавала удивительное разнообразие его уродству. Дядя любил это страшилище за его неизменную веселость. Хабибра был его любимцем. В то время как другие рабы изнемогали от непосильной работы, у Хабибры не было иного дела, как только носить за своим хозяином широкое опахало из перьев райской птицы, чтоб отгонять от него moskitov и мух. Ел он у дядиных ног на камышовой циновке, и тот всегда давал ему остатки какого-нибудь любимого кушанья с собственной тарелки. Хабибра, казалось, был очень благодарен за все эти милости; он пользовался своими привилегиями шута, правом делать и говорить все, что ему вздумается, только для того, чтобы развлекать своего господина всевозможными прибаутками и ужимками; проворный, как обезьяна, и преданный, как пес, он бежал к дяде по первому знаку.

Я не любил этого раба. В его подобиострастии было что-то от пресмыкающегося; рабство не позорно, но раболепство унижительно. Я чувствовал искреннюю жалость к несчастным неграм, которых видел целый день за работой полунагими, причем одежда даже не прикрывала их цепей; но этот безобразный фигляр, этот бездельник в дурацкой пестрой одежде, обшитой галунами и усеянной бубенчиками, вызывал во мне только презрение. К тому же карлик ни разу не воспользовался влиянием, которое ценою всевозможных низостей приобрел над хозяином, чтобы облегчить участь своих братьев. Никогда он не заступался за них перед господином, так часто наказывавшим их; однажды кто-то даже слышал, как он, думая, что никого нет поблизости, уговаривал моего дядю быть поостроже с его несчастными товарищами. Однако остальные невольники, которые должны были бы смотреть на него с завистью и недоверием, казалось, не чувствовали

ненависти к нему. Он лишь внушал им какой-то почти-тельный страх, нисколько не походивший на враждебность; и когда они видели, как он шествует мимо их хижин в высоком остроконечном колпаке с бубенчиками, на котором нарисовал красными чернилами непонятные знаки, они говорили друг другу шопотом: «Вон идет obí¹».

Эти подробности, на которых я сейчас задерживаю ваше внимание, господа, в то время очень мало занимали меня. Весь отдавшись волнениям чистой любви, казалось такой безмятежной, — любви, разделяемой девушкой, с детства мне предназначенной, я рассеянно глядел на все, что не касалось Мари. С самых ранних лет я привык смотреть на ту, кто была мне почти сестрой, как на будущую жену, и между нами возникла особая привязанность, характер которой трудно выразить, если даже сказать, что она сложилась из братской преданности, страстного увлечения и супружеского доверия. Мало кто был так счастлив, как я в первые годы юности; мало кто пережил расцвет своих чувств под более прекрасным небом, чудесно сочетая счастье в настоящем с надеждами на будущее. Почти с колыбели я был окружен всеми благами богатства, пользовался всеми преимуществами общественного положения, которое дает в этой стране цвет кожи; я проводил дни подле создания, которому я отдал всю мою любовь; я видел, что наши родные, единственно, кто мог бы помешать ей, покровительствуют нам, — и все это в возрасте, когда кровь кипит, в стране вечного лета, среди восхитительной природы! Разве это не давало мне права слепо верить в мою счастливую звезду? Разве это не дает мне права сказать, что мало кто был так счастлив, как я, в первые годы юности?

Капитан замолк, как будто голос изменил ему при воспоминании о былом счастье. Потом продолжал с глубокой грустью:

— Правда, теперь я имею еще право добавить, что никто не проводит более печально свои последние дни.

И будто почерпнув новые силы в сознании своего несчастья, он продолжал твердым голосом.

¹ Колдун. (Прим. авт.)

Так жил я, полный иллюзий и радужных надежд, когда наступил двадцатый год моей жизни. В августе 1791 года был день моего рождения, и на этот день дядя назначил нашу свадьбу с Мари. Вы, конечно, понимаете, что ожидание такого близкого счастья поглощало меня целиком, и поэтому все политические споры, которые в течение последних двух лет волновали нашу колонию, лишь смутно припоминаются мне теперь. Итак, я не буду говорить вам ни о графе Пенье, ни о господине де Бланшланд, ни о несчастном, так трагически погибшем полковнике Модюи. Не стану описывать соперничество между провинциальным собранием Севера и тем колониальным собранием, которое наименовало себя «генеральным», считая, что слово «колониальное» пахнет рабством. Эти пустые споры, в те времена будоражившие все умы, теперь могут нас интересовать только из-за бедствий, которые они вызвали. Что до меня, то если я имел в ту пору свое мнение об этой борьбе за первенство между Капом и Порт-о-Пренсом, я должен был, естественно, стоять за Кап, на территории которого мы жили, и за провинциальное собрание, членом которого был мой дядя.

Всего один раз довелось мне принять живое участие в споре на злобу дня. Речь шла о злосчастном декрете от 15 мая 1791 года, в котором французское Национальное собрание признавало за свободными цветными такие же политические права, как и за белыми. На балу, данном губернатором в нашем городе, несколько молодых людей горячо обсуждали этот закон, так жестоко уязвивший самолюбие белых, быть может и обоснованное. Не успел я еще вмешаться в разговор, как увидел, что к нашей группе подходит богатый плантатор, которого белые неохотно принимали в своем обществе, ибо цвет его кожи вызывал подозрения относительно чистоты его крови. Я быстро подошел к этому человеку и громко сказал:

— Отойдите отсюда, сударь; здесь говорят вещи, неприятные для того, у кого в жилах течет «смешанная кровь».

Это обвинение привело его в такую ярость, что он вызвал меня на дуэль. Мы оба были ранены. Сознаюсь, я был неправ, оскорбив его; не думаю, однако, что «расо-

вый предрассудок», как его называют, явился единственной причиной, толкнувшей меня на такой поступок: человек этот с некоторых пор имел дерзость заглядываться на мою кухню, и за несколько минут до того, как я неожиданно унизил его, он танцевал с ней.

Как бы то ни было, я с упоением видел, что близится час, когда Мари станет моей, и оставался равнодушным ко все возраставшему возбуждению, охватившему умы окружающих меня людей. Устремив взор навстречу своему счастью, я не замечал зловещей тучи, уже закрывшей почти весь наш политический горизонт, — тучи, которой суждено было, разразившись бурей, разбить всю нашу жизнь. Нельзя сказать, чтобы даже самые пугливые люди в ту пору уже серьезно опасались восстания рабов, — они слишком презирали их, чтобы бояться; но даже между белыми и свободными мулатами царила такая ненависть, что этот долго сдерживаемый вулкан мог дохнуть огнем в любую минуту и опрокинуть всю колонию.

В самом начале этого так нетерпеливо ожидаемого мною августа странное происшествие внесло неожиданную тревогу в мою безмятежную жизнь.

VI

На берегу красивой реки, омывавшей плантации дяди, по его приказу была построена небольшая беседка из ветвей, со всех сторон окруженная плотной стеной деревьев. Сюда Мари приходила каждый день подышать легким морским ветерком, который в самые жаркие месяцы года дует в Сан-Доминго с утра до вечера и свежесть которого увеличивается или уменьшается вместе с дневным зноем.

Каждое утро я сам старательно украшал этот уголок лучшими цветами, какие мог найти.

Как-то раз Мари прибежала ко мне очень испуганная. Войдя, как всегда, в свою зеленую беседку, она с удивлением и страхом увидела, что все цветы, которыми я утром украсил ее, валяются на полу смятые и растоптанные, а на том месте, где она обычно сидела, лежит букет свежесорванных полевых ноготков. Не успела она прийти в себя от изумления, как из чащи, окружавшей беседку,

послышались звуки гитары; затем какой-то незнакомый мужской голос тихонько запел песню, как ей показалось, на испанском языке, в которой она от испуга и, быть может, девической стыдливости ничего не уловила, кроме своего имени, повторявшегося много раз. Тут она бросилась бежать, в чем ей, к счастью, никто не помешал.

Этот рассказ вызвал во мне бурю негодования и ревности. Первые мои подозрения пали на человека «смешанной крови», с которым у меня недавно произошло столкновение; однако я был еще настолько не уверен, что решил ничего не делать сгоряча. Я успокоил бедную Мари и дал себе слово не спускать с нее глаз до того близкого дня, когда я буду иметь право совсем не разлучаться с ней.

Предвидя, что незнакомец, чья дерзкая выходка так напугала Мари, не ограничится этой первой попыткой высказать ей свою любовь, о которой я, конечно, догадался, я в тот же вечер, когда на плантации все заснуло, устроил засаду около той части дома, где была спальня моей невесты. Спрятавшись в высоких зарослях сахарного тростника, я ждал, вооруженный кинжалом. И ждал не напрасно. Около полуночи, в нескольких шагах от меня, в ночной тишине зазвучала грустная и задумчивая мелодия. Услышав ее, я вздрогнул, как от толчка; то была гитара, под самым окном Мари! В бешенстве размахивая кинжалом, я бросился к тому месту, откуда слышались эти звуки, ломая на пути хрупкие стебли сахарного тростника. Вдруг я почувствовал, что меня схватили и бросили на землю с какой-то сверхъестественной силой; кинжал был вырван у меня из рук, и я увидел, как он блеснул над моей головой. В тот же миг горящие глаза засверкали во тьме возле моего лица, двойной ряд белых зубов, выступивший из мрака, разжался, и чей-то голос с яростью произнес: «Te tengo! Te tengo!»¹

Скорее удивленный, чем испуганный, я тщетно боролся с моим грозным противником, и острие кинжала уже проткнуло мою одежду, когда Мари, разбуженная гитарой, голосами и шумом борьбы, внезапно показалась у окна. Она узнала мой голос, увидела, как блеснул кинжал, и вскрикнула в ужасе и отчаянии. Этот горестный крик как будто парализовал руку моего торжествующего

¹ Попался! Попался! (исп. — Прим. авт.)

соперника. Он замер, как замороженный, провел в нерешительности несколько раз кинжалом по моей груди и вдруг отбросил его прочь.

— Нет! — сказал он, на этот раз по-французски. — Нет! Она будет слишком горько плакать!

Произнеся эти странные слова, он скрылся в тростниковых зарослях, и, прежде чем я успел подняться, разбитый этой неравной борьбой, наступила тишина; ни звука, ни следа не осталось от его недавнего присутствия.

Мне очень трудно передать, что я почувствовал, когда пришел в себя от первого изумления в объятиях моей нежной Мари, которой я был так неожиданно возвращен тем самым человеком, который, видимо, собирался оспаривать ее у меня. Меня больше чем когда-либо раздражал этот неведомый соперник, и мне было стыдно, что я обязан ему жизнью. «В сущности, — подсказывало мне самолюбие, — я обязан жизнью Мари, ведь только звук ее голоса заставил его бросить кинжал». Однако я не мог не признать, что чувство, заставившее моего соперника пощадить мою жизнь, было не лишено великодушия. Но кто же был этот соперник? Я терялся в догадках. Это не мог быть плантатор «смешанной крови», на которого вначале указала мне ревность. Он не обладал такой поразительной силой, и к тому же это был не его голос. Мне показалось, что человек, с которым я боролся, обнажен до пояса. В колонии полунагими ходили только рабы. Но он не мог быть рабом: рабу, казалось мне, не свойственно то чувство, которое заставило его отбросить кинжал; к тому же все возмущалось во мне при оскорбительной мысли иметь соперником раба. Кто же он был? Я решил ждать и наблюдать.

VII

Мари разбудила свою старую няньку, заменявшую ей мать, которая умерла, когда Мари была еще малюткой. Я провел подле нее остаток ночи, и, как только настало утро, мы рассказали дяде об этом необъяснимом происшествии. Он был крайне удивлен, но в своей гордости, так же, как и я, не допускал и мысли, что неизвестный

поклонник его дочери мог быть рабом. Няньке было приказано не отходить от Мари; и так как дядя был очень занят — заседания провинциального собрания, хлопоты, доставляемые крупным плантаторам все более угрожающим положением дел в колонии, а также работы на плантациях не оставляли ему свободной минуты, — то он поручил мне сопровождать его дочь во всех прогулках до самого дня нашей свадьбы, назначенной на двадцать второе августа. Кроме того, полагая, что новый поклонник его дочери мог прийти только откуда-то со стороны, он приказал строже, чем когда-либо, и днем и ночью охранять границы его владений.

Приняв все эти предосторожности, я решил, сговорившись с дядей, произвести опыт. Я пошел в беседку над рекой и, прибрав ее, снова украсил цветами, как всегда делал это для Мари.

Когда наступил час ее обычной прогулки, я вооружился заряженным карабином и предложил своей кузине проводить ее в беседку. Старая няня пошла за нами.

Мари, которой я не сказал, что уже уничтожил следы напугавшего ее вчера разгрома, вошла первой в свой зеленый домик.

— Смотри, Леопольд, — сказала она, — мой уголок все в том же беспорядке, в каком я оставила его вчера; все твои труды пропали даром, цветы разбросаны и завяли; но больше всего меня удивляет, — прибавила она, взяв в руки букет из полевых ноготков, лежавший на дерновой скамье, — что эти противные цветы совсем не завяли со вчерашнего дня. Видишь, милый друг, как будто их только что сорвали.

Я остолебенел от удивления и гнева. Действительно, весь мой утренний труд был погублен, а эти жалкие цветы, свежесть которых удивила бедную мою Мари, нагло заняли место разложенных мною роз.

— Успокойся, — сказала Мари, заметив мое волнение, — успокойся; теперь это дело прошлое, дерзкий незнакомец наверное больше сюда не вернется; выбросим вон эти мысли вместе с его гадким букетом.

Я не стал разубеждать ее, из боязни встревожить, и, не сказав, что тот, кто, по ее словам, «больше сюда не вернется», уже вернулся назад, не мешал ей топтать ноготки в порыве детского гнева. Затем, надеясь, что пришло время

узнать, кто мой таинственный соперник, я молча усадил ее между собой и ее няней.

Не успели мы усесться, как Мари приложила палец к моим губам; ее слуха коснулись звуки, приглушенные ветром и плеском воды. Я прислушался; это была та же грустная и медленная мелодия, которая прошлой ночью привела меня в ярость. Я хотел вскочить с места; Мари удержала меня.

— Леопольд, — шепнула она мне, — постой, он, вероятно, запоеет, и из его слов мы, может, узнаем, кто он.

И правда, через минуту из лесной чащи послышался голос, в котором звучала сдержанная сила и какая-то жалоба; сливаясь с низкими звуками гитары, он запел испанский романс, который так глубоко врезался мне в память, что и сегодня я могу повторить его почти слово в слово.

«Почему ты бежишь от меня, Мария? ¹ Почему бежишь от меня, девушка? Почему, услышав мой голос, ты дрожишь от страха? И правда, я очень страшен — я умею страдать, любить и петь!

«Когда между стройными стволами кокосовых пальм на берегу реки я вижу твой легкий и чистый образ, о Мария, волнение туманит мой взор, и мне кажется, что передо мной пролетает дух.

«А когда я слышу, о Мария, дивные звуки, которые льются из твоих уст, подобно мелодии, мне кажется — сердце мое рвется тебе навстречу, гулко стучит в висках и жалобно вторит твоему нежному голосу.

«Увы, твой голос для меня слаще пения птиц, порхающих в небе и прилетевших оттуда, где лежит моя родина.

«Моя родина, где я был королем, моя родина, где я был свободным! Свободным и королем, Мария! И я готов забыть это ради тебя; я готов забыть королевство, семью и долг, и месть, — даже месть! хотя близок час, когда я сорву этот горький и упоительный плод, который так долго зреет!»

Предыдущие строфы голос пропел печально, с частыми остановками; но последние слова прозвучали страшной угрозой.

¹ Мы сочли излишним приводить здесь целиком испанский романс «*Poique me huies, Maria?*» и т. д. (*Прим. авт.*)

«О Мария! ты подобна прекрасной пальме, тихо склоняющей свой стройный стан; ты ищешь свое отражение в глазах твоего милого, точно пальма в прозрачной воде родника.

«Но знай, что в глубине пустыни таится порой ураган, который завидует счастьем того родника; он налетает, и под взмахами его тяжелых крыльев воздух смешивается с песком; он кружится вокруг дерева и ключа огненным вихрем; и родник иссыхает, а пальма чувствует, как под дыханием смерти свертывается зеленый шатер ее листьев, величественный, как корона, и пышный, как кудри.

«Трепещи, о белая дочь Испаньолы! ¹ Трепещи, как бы все кругом не стало ураганом и пустыней. Тогда ты пожалеешь о любви, которая могла привести тебя ко мне, как веселая ката, птица спасения, ведет путника через пески Африки к светлomu источнику.

«Почему отвергаешь ты мою любовь, Мария? Я король, и голова моя возвышается над головами всех людей. Ты белая, а я черный, но день сливается с ночью, чтобы породить зарю и закат, более прекрасные, чем светлый день».

VIII

Последние слова песни закончились протяжным вздохом и долгим трепетным стоном гитары. Я был вне себя. «Король! Черный! Раб!» Тысячи бессвязных мыслей, вызванных этой непонятной песней, кружились в моей голове. Меня охватило яростное желание покончить с неизвестным, который осмеливается вплетать имя Мари в свои песни, полные любви и угроз. Я судорожно схватил свой карабин и бросился вон из беседки. Испуганная Мари протянула руки, чтоб удержать меня, но я уже скрылся в чаще, пробираясь туда, откуда слышался голос. Я обыскал лес во всех направлениях, просовывал дуло своего карабина во все кусты и заросли, обошел вокруг каждое толстое дерево, обшарил высокую траву. Ничего,

¹ Наши читатели, вероятно, знают, что Испаньола — первое название, данное Христофором Колумбом острову Сан-Доминго в год его открытия, в декабре 1492 г. (*Прим. авт.*)

ничего — нигде ничего! Эти бесплодные поиски, соединенные с бесплодными размышлениями о непонятных словах только что слышанной мною песни, добавили лишь смятение к моему гневу. Неужели я никогда не достигну дерзкого соперника, никогда не открою его имени! Неужели я так и не узнаю, кто он, так и не встречу его! В эту минуту звон бубенчиков отвлек меня от моих мыслей. Я обернулся. Возле меня стоял карлик Хабибра.

— Здравствуйте, хозяин, — сказал он, отвешивая мне почтительный поклон; однако его хитрые глаза искоса следили за мной и вспыхнули непередаваемым выражением злобного торжества, когда заметили тревогу, написанную на моем лице.

— Скажи, — крикнул я ему сердито, — видел ты кого-нибудь в этом лесу?

— Никого, кроме вас, сеньор, — ответил он спокойно.

— Разве ты не слышал здесь голоса?

Раб с минуту помолчал, как бы подыскивая ответ. Я весь кипел.

— Отвечай, — крикнул я ему, — отвечай же, несчастный, слышал ты здесь голос?

Он дерзко уставился на меня своими круглыми, как у рыси, глазами.

— Que quiere decir usted ¹, хозяин? Голоса есть всюду и у всех; есть голоса птиц, голос воды, голос ветра в листве...

Я прервал его, жестоко встряхнув:

— Жалкий шут! Не вздумай играть со мной, не то ты сразу услышишь голос моего карабина. Отвечай без уверток. Слышал ли ты в этом лесу голос, певший испанскую песню?

— Да, сеньор, — ответил он, ничуть не испугавшись, — и слова этой песни... Ладно, хозяин, я расскажу вам, как было дело. Я гулял на опушке леса, слушая, что бормочут мне на ухо серебряные бубенчики моей gonga ². Вдруг порыв ветра, вмешавшись в их разговор, донес до меня несколько слов на том языке, который вы называете

¹ Что вы хотите этим сказать? (исп. — Прим. авт.)

² Так называл свой колпак маленький замбо (исп. — Прим. авт.).

испанским и на котором я начал лепетать, когда мой возраст определялся еще месяцами, а не годами, и когда моя мать носила меня за спиной, привязав тесемками из желтой и красной шерсти. Я люблю этот язык: он напоминает мне то время, когда я был просто малышом, но еще не карликом, глупым ребенком, но не шутком; я пошел на этот голос и услышал конец песни.

— А дальше? И это все? — спросил я в нетерпении.

— Все, господин hermoso ¹, но если вы хотите, я могу сказать вам, что за человек тот, кто пел.

Я чуть не бросился обнимать жалкого шута.

— О, говори же, — закричал я, — говори, Хабибра! Вот тебе мой кошелек, и ты получишь еще десять кошельков, набитых ту же этого, если скажешь, кто этот человек!

Он взял кошелек, открыл его и улыбнулся.

— Diez bolsas ², набитых ту же этого! Demonio! ³ Они наполнили бы целую меру добрыми червонцами с портретом del rey Luis Quince ⁴, и их хватило бы, чтоб засеять все поле гренадского волшебника Алторнино, который умел выращивать на нем buenos doblones ⁵. Но не сердитесь, молодой хозяин, я перехожу к делу. Вспомните, сеньор, последние слова песни: «Ты белая, а я черный, но день сливается с ночью, чтоб породить зарю и закат, более прекрасные, чем светлый день». Если эта песня говорит правду, значит замбо Хабибра, ваш смиренный раб, рожденный от негритянки и белого, прекраснее вас, señorito de amor ⁶. Я произошел от союза дня и ночи, я зоря или закат, о которых говорится в испанской песне, а вы — только день. Значит, я прекраснее вас, si usted quiere ⁷, прекраснее белого человека!

Карлик прерывал свои нелепые разглагольствования взрывами смеха. Я снова оборвал его.

— К чему ты болтаешь весь этот вздор? Разве это поможет мне узнать, кто человек, певший в лесу?

¹ Прекрасный (исп.).

² Десять кошельков (исп.).

³ Чорт возьми! (исп.).

⁴ Короля Людовика XV (исп.).

⁵ Прекрасные дублоны (золотая монета) (исп.).

⁶ Возлюбленный господин (исп.).

⁷ С вашего разрешения (исп. — Прим. авт.).

— Конечно, хозяин, — продолжал шут, бросив на меня насмешливый взгляд. — Ясно, что *homme*¹, который пел здесь весь этот «вздор», как вы говорите, мог быть только таким же шутом, как я! Вот я и заработал *las diez bolsas*!

Я уже поднял руку, чтобы наказать обнаглевшего раба за его дерзкую шутку, как вдруг из леса, со стороны беседки над рекой, раздался страшный крик. Это был голос Мари. Я побежал, помчался, полетел на этот крик, с ужасом спрашивая себя, какое новое несчастье могло нам угрожать. Задыхаясь, вбежал я в беседку. Там ждало меня страшное зрелище. Чудовищный крокодил, туловище которого было наполовину скрыто в речных камышах и манглевых зарослях, просунул огромную голову в одну из увитых зеленью арок, поддерживавших крышу беседки. Разинув свою отвратительную пасть, он угрожал молодому негру гигантского роста, который одной рукой поддерживал смертельно испуганную Мари, а другой смело отражал нападение чудовища, воткнув кирку в его зубастую пасть. Крокодил яростно боролся с этой смелой и могучей рукой, которая не давала ему двинуться с места. Когда я появился у входа в беседку, Мари вскрикнула от радости, вырвалась из рук негра и упала в мои объятия с криком: «Я спасена!»

При этом движении и возгласе Мари негр стремительно обернулся, скрестил руки на высоко вздымавшейся груди и, устремив на мою невесту скорбный взгляд, застыл без движения, как будто не замечая, что крокодил уже освободился от кирки и вот-вот бросится на него. Не теряя ни минуты, я опустил Мари на колени к няне, которая все это время сидела на скамье ни жива ни мертва, подбежал к чудовищу и всадил ему весь заряд своего карабина прямо в пасть. Это спасло храброго негра. Смертельно раненное животное еще два-три раза открыло и закрыло свою окровавленную пасть и потухающие глаза, но то было лишь непроизвольное сокращение мышц. Внезапно крокодил с тяжелым стуком опрокинулся на спину и вытянул широкие чешуйчатые лапы; он был мертв.

Негр, которого мне, к счастью, удалось спасти, повернул голову и увидел последние содрогания чудовища; он

¹ Человек (исп.).

опустил глаза в землю, потом, подняв их на Мари, которая снова подошла ко мне, ища успокоения у меня на груди, сказал мне с глубоким отчаянием:

— Porque le has matado? ¹

И, не дожидаясь моего ответа, он удалился крупными шагами, вошел в лес и скрылся в чаще.

IX

Эта ужасная сцена, ее странная развязка, бесконечные волнения, пережитые мной во время, до и после тщетных поисков в лесу, окончательно спутали все мои мысли. Мари еще не оправилась от пережитого ужаса, и прошло довольно много времени, прежде чем мы могли поделиться своими бессвязными мыслями не только при помощи взглядов и рукопожатий. Наконец я нарушил молчание.

— Пойдем, Мари, — сказал я. — Выйдем отсюда; в этом месте есть что-то зловещее.

Она поспешно встала, как будто только и ждала моего позволения, оперлась на мою руку, и мы вышли.

Тут я спросил ее, как попал сюда этот негр, который в минуту смертельной опасности оказался ее чудесным спасителем, и не знает ли она, кто этот невольник, — грубые штаны, едва прикрывавшие его наготу, доказывали, что он принадлежит к самому низшему классу жителей острова.

— Этот человек, — сказала Мари, — наверное, один из негров отца, работавший поблизости от реки в тот момент, когда я вскрикнула, внезапно увидав крокодила; должно быть, он услышал мой крик, который предупредил тебя об угрожавшей мне опасности. Я могу только сказать тебе, что в ту же минуту он выбежал из леса и бросился мне на помощь.

— С какой стороны он прибежал? — спросил я ее.

— Со стороны, противоположной той, откуда минутой раньше слышался голос и куда ты бросился на поиски.

Этот рассказ заставил меня отказаться от невольно сделанного мной сближения между испанскими сло-

¹ Зачем ты убил его? (исп. — Прим. авт.)

вами, сказанными мне этим негром, и песней, спетой на том же языке моим неизвестным соперником. Однако я заметил и другие совпадения. Этот негр могучего телосложения и исключительной силы вполне мог быть тем опасным противником, с которым я боролся прошлой ночью. И то обстоятельство, что он был полуобнажен, могло также служить веской уликой. Лесной певец сказал: «Я черный». Еще одно совпадение. Правда, он заявил, что он король, а этот был только рабом, но я с удивлением вспоминал его суровое чело, полное величия, несмотря на характерные черты африканской расы, блеск его глаз, белизну зубов, сверкавших на черном лице, высоту его лба, удивительную для негра, высокомерные складки у рта, придававшие его полным губам и ноздрям выражение необычайной гордости и силы, благородство движений, красоту его тела, которое, при всей худобе и изнуренности, вызванных тяжелым трудом, сохранило, если можно так сказать, геркулесовские формы; я представил себе весь величественный образ этого раба и должен был признаться, что у него осанка, достойная короля. Тогда, сопоставив множество других подробностей, я, пылая гневом, остановил свои подозрения на этом дерзком негре; я решил тотчас же разыскать его и наказать... Но тут на меня снова нахлынули все мои сомнения. На чем в конце концов были основаны мои догадки? Большая часть острова Сан-Доминго находилась под властью Испании, поэтому многие негры, издавна принадлежавшие местным плантаторам, либо родившиеся в этих краях, примешивали испанские фразы к своему наречию. И разве несколько слов, сказанные мне по-испански этим рабом, были достаточным основанием, чтобы считать его автором песни на этом языке, свидетельствующей о таком уровне духовного развития, который, по моему мнению, был недоступен для негра? Что касается брошенного им мне странного упрека в убийстве крокодила, то он указывал лишь на отвращение невольника к жизни, что легко объяснялось его положением, и не было никакой нужды прибегать к гипотезе о невозможной любви раба к дочери господина. Его присутствие в лесу возле беседки могло быть чистой случайностью; сила и рост его не могли служить доказательством тождества с моим ночным противником. Мог ли я, опираясь на такие шаткие доводы, бросить перед дядей

ужасное обвинение несчастному рабу, с таким мужеством спасшему Мари, и обречь его на жестокую месть надменного хозяина?

Все эти мысли восставали против моего гнева, и Мари окончательно рассеяла его, сказав своим кротким голосом:

— Милый Леопольд, мы должны быть очень благодарны этому храброму негру: если бы не он, я бы погибла! Ты пришел бы слишком поздно.

Эти несколько слов имели для меня решающее значение. Они не изменили моего намерения разыскать невольника, избавившего Мари от смерти, но изменили цель моих розысков. Прежде я хотел найти его, чтобы наказать; теперь — чтобы наградить.

Узнав от меня, что он обязан жизнью дочери одному из своих рабов, дядя обещал дать ему свободу, если я сумею отыскать его в толпе этих отверженных.

Х

До последнего времени, в силу природной мягкости моего характера, я старался держаться подальше от плантаций, где работали негры. Мне было слишком мучительно смотреть на страдания несчастных, которым я ничем не мог помочь. Но когда на другой день дядя предложил мне сопровождать его во время обхода работ, я с радостью согласился, надеясь встретить среди невольников спасителя моей любимой Мари.

В течение этой прогулки я мог убедиться, какую власть имеет над рабами взгляд их господина и, в то же время, какой дорогой ценой дается эта власть. Негры дрожали в присутствии дяди, и когда он приближался к ним, они удваивали свои старания; но сколько ненависти было в их страхе!

Дядя, по обыкновению раздраженный, готов уже был вспылить, не находя к чему придраться, когда его шут Хабибра, всюду следовавший за ним, указал ему на негра, который, свалившись от усталости, заснул на опушке финиковой рощи. Дядя подбежал к бедняге, разбудил его грубым толчком и приказал сейчас же прини-

маться за работу. Когда испуганный негр вскочил на ноги, мы увидели, что он, сам того не заметив, лежал на молодом кустике бенгальских роз, которые дядя любил разводить. Куст был весь изломан. Дядя, уже рассерженный леностью раба, увидев это, пришел в бешенство. Вне себя он отстегнул от пояса кожаную плеть с металлическими наконечниками, которую всегда брал с собой во время обхода плантаций, и занес руку, чтобы ударить упавшего на колени негра. Но плеть не опустилась. Я никогда не забуду этой минуты. Могучая рука внезапно остановила руку плантатора. Высокий негр (тот самый, кого я искал!) крикнул ему по-французски:

— Накажи меня за то, что я сейчас тебя оскорбил, но не трогай моего брата, он задел только твой розовый куст!

Это неожиданное появление человека, которому я был обязан жизнью Мари, его вмешательство, решительный взгляд, властный голос ошеломили меня. Однако его самоотверженность не только не устыдила дядю, а лишь удвоила его злобу, обратив ее с виновного на его защитника. Дядя, кипя негодованием, оттолкнул высокого негра, осыпая его угрозами, и снова замахнулся плетью, чтобы на этот раз ударить его самого. Но тут плеть была вырвана у него из рук. Негр переломил ее толстую, обитую гвоздями рукоятку, как соломинку, и растоптал ногами это позорное орудие мести. Я оцепенел от удивления, а дядя от ярости; никогда его высокий авторитет не подвергался такому неслыханному оскорблению. Его глаза вращались, готовые выскочить из орбит; посиневшие губы тряслись. Невольник с минуту спокойно смотрел на него, затем вдруг протянул ему топор, который держал в руке, и сказал с достоинством:

— Белый, если ты хочешь ударить меня, возьми лучше топор.

Дядя, не помнивший себя от злости, бросился к нему и наверное исполнил бы его просьбу, если бы на этот раз не вмешался я. Быстро выхватив топор, я забросил его в находившийся рядом колодец.

— Что ты делаешь? — гневно закричал дядя.

— Я спасаю вас от несчастья убить защитника вашей дочери. Этому невольнику вы обязаны жизнью Мари. Это тот негр, которому вы обещали дать свободу.

Я выбрал неподходящую минуту, чтобы напомнить дяде его обещание. Мои слова коснулись лишь слуха взбешенного плантатора, но не дошли до его сознания.

— Свободу? — ответил он мне мрачно. — Да, он заслужил, чтобы рабство его кончилось. Свободу! Посмотрим, к какой свободе приговорит его военный суд!

Я похолодел, услышав эти зловещие слова. Вместе с Мари мы умоляли дядю отменить свое решение, но тщетно: негр, чья небрежность была причиной всей этой сцены, был наказан палками, а его защитник был брошен в тюрьму форта Галифэ, по обвинению в том, что он поднял руку на белого. Раб — против хозяина; такое преступление каралось смертью.

XI

Судите сами, господа, как сильно все эти события должны были возбудить мой интерес и любопытство. Я стал расспрашивать о заключенном и услышал много странного. Мне рассказали, что товарищи молодого негра питали к нему глубочайшее уважение. Хотя он был таким же рабом, как и они, невольники подчинялись ему по первому знаку. Он родился не в наших краях; никто не знал его родителей; какое-то рабовладельческое судно высадило его в Сан-Доминго всего несколько лет тому назад. Тем более удивительной казалась та власть, какой он пользовался среди всех своих товарищей, не исключая даже черных «креолов», которые, как вам, вероятно, известно, господа, относились с величайшим презрением к неграм «конго» — не точное и слишком общее название, даваемое в нашей колонии всем невольникам, привезенным из Африки.

Несмотря на то, что он казался постоянно погруженным в глубокую печаль, он был драгоценным работником на плантациях благодаря его необыкновенной силе, сочетавшейся с удивительной ловкостью. Он мог крутить колесо водочерпалки быстрее и дольше самой лучшей лошади. Ему часто случалось делать за день работу десяти товарищей, чтобы спасти их от наказания, грозившего им за нерадивость или усталость. И рабы его боготворили; но уважение, которое они питали к нему, хотя и совсем

не похожее на их суеверный страх перед шутом Ха-биброй, тоже, повидимому, имело какую-то тайную причину; это было что-то вроде поклонения высшему существу.

Станным казалось также, что он был настолько же добр и прост со своими братьями по труду, считавшими за честь повиноваться ему, насколько горд и высокомерен с надсмотрщиками. Правда, следует сказать, что эти пользующиеся поблажками рабы, которые являются как бы связующим звеном в цепи, сковывающей рабство с деспотизмом, и соединяют с низостью положения наглую безнаказанность власти, с особым удовольствием заваливали его работой и всячески притесняли. И все же, казалось, даже они не могли не уважать в нем того чувства гордости, которое побудило его оскорбить моего дядю. Никто из них не осмеливался подвергать его унижительным телесным наказаниям. Если они когда-нибудь и решались на это, тотчас не меньше двух десятков негров вызывались заменить его; а он, неподвижный и суровый, присутствовал при их избииении, как будто они лишь выполняли свой долг. Этот странный человек был известен среди невольников под именем Пьеро.

ХII

Все эти подробности воспламенили мое молодое воображение. Мари, полная благодарности и сострадания, поддерживала мой пыл, и Пьеро так овладел нашими мыслями, что я решил повидаться с ним и помочь ему. Я обдумывал, каким способом поговорить с ним.

Хотя я был еще очень молод, но меня, как племянника одного из самых богатых плантаторов Мыса, назначили капитаном акюльского ополчения. Охрана форта Галифэ была поручена этому ополчению, вместе с отрядом желтых драгун, командир которых, унтер-офицер этого отряда, обычно исполнял обязанности и коменданта форта. Случилось так, что в то время комендантом форта был брат одного бедного поселенца, которому мне посчастливилось оказать очень большие услуги и который был мне предан душой и телом...

Тут все присутствующие прервали д'Овернэ и в один голос назвали Тадэ.

— Вы угадали, господа, — ответил капитан. — Вы понимаете, что я без труда получил у него разрешение посетить негра в его камере. Как капитан ополчения я имел право входить в форт. Но все же, чтоб не вызвать подозрения у дяди, гнев которого еще нисколько не остыл, я отправился туда во время его послеобеденного отдыха. Все солдаты, кроме часовых, спали. Тадэ проводил меня до камеры, отпер дверь и удалился. Я вошел.

Негр сидел: высокий рост не позволял ему выпрямиться и встать на ноги. Он был не один; громадный дог встал и рыча пошел мне навстречу. «Раск!» — крикнул негр. Пес замолчал и снова улегся у ног своего хозяина, где грыз остатки какой-то скудной пищи.

Я был в военной форме; свет, падавший в тесную камеру из маленькой отдушины, был так слаб, что Пьеро не мог разглядеть, кто я.

— Я готов, — сказал он спокойно.

Произнеся эти слова, он привстал.

— Я готов, — повторил он еще раз.

— Я думал... — сказал я, удивленный свободой его движений, — я думал, что вас заковали в цепи.

От волнения голос мой дрожал, и узник, повидимому, не узнал меня. Он толкнул ногой какие-то железные обломки, и они зазвенели.

— Вот мои цепи! Я их порвал.

Его голос, когда он произнес эти слова, прозвучал так, словно он хотел сказать: «Я не создан для цепей». Я продолжал:

— Мне не сказали, что вам оставили собаку.

— Я сам ее впустил.

Я удивлялся все больше. Дверь камеры была заперта снаружи тройным затвором. Отдушина была не шире шести дюймов и перегорожена двумя железными прутьями. Вероятно, разгадав мои мысли, он привстал, насколько ему позволил низкий свод камеры, без усилия вывернул громадную каменную плиту из-под отдушины и вытащил вделанные в нее железные прутья, открыв таким образом отверстие, в которое могли легко пройти два человека. Это отверстие выходило прямо на рощу из бана-

новых и кокосовых пальм, покрывавшую холм, к которому примыкал форт.

Собака, увидев отверстие открытым, решила, что хозяин хочет, чтобы она вышла. Она встала, готовая выскочить, но, по его знаку, снова легла на прежнее место.

Я просто онемел от изумления. Вдруг солнечный луч осветил мое лицо. Узник разом выпрямился, точно он нечаянно наступил на змею, и ударился головой о каменный свод. Тысяча противоречивых чувств — странное выражение ненависти, доброжелательства и горестного удивления быстро промелькнуло в его глазах. Но он скоро овладел собой; через минуту лицо его снова стало холодным и спокойным, и он равнодушно встретил мой взгляд. Теперь он смотрел на меня как на незнакомого человека.

— Я могу прожить еще два дня без еды, — сказал он.

Я вздрогнул от ужаса; тут только я заметил страшную худобу несчастного.

Он продолжал:

— Моя собака ест только из моих рук; если б я не расширил отдушину, бедный Раск умер бы с голоду. Пусть уж лучше умру я, а не он, если мне все равно надо умереть.

— Нет, — вскричал я, — нет, вы не умрете от голода! Он не понял меня.

— Конечно, — сказал он с горькой улыбкой, — я мог бы прожить еще два дня без еды; но я готов, господин офицер; пусть сегодня — это еще лучше, чем завтра; только не обижайте Раска.

Тут я понял, что значили слова «я готов». Обвиненный в преступлении, которое карается смертью, он подумал, что я пришел за ним, чтобы вести его на казнь; и этот человек, обладавший огромной силой, имевший столько возможностей для побега, говорит спокойно и кротко пришедшему за ним мальчику: «Я готов!»

— Не обижайте Раска! — повторил он еще раз.

Тут я не выдержал.

— Как, — вскричал я, — вы не только принимаете меня за своего палача, но сомневаетесь даже в моем сострадании к бедной, ни в чем неповинной собаке!

Он был тронут, голос его смягчился.

— Белый, — сказал он, протягивая мне руку, — прости меня, я люблю свою собаку; а твои, — прибавил

он после короткого молчания, — сделали мне так много зла.

Я обнял его, пожал ему руку и постарался его разубедить.

— Разве вы меня не узнали? — спросил я его.

— Я знал, что ты белый, а для белых, даже самых добрых, черный так мало значит! К тому же ты тоже виноват передо мной.

— В чем же? — спросил я удивленный.

— Разве ты не спас меня два раза от смерти?

Я улыбнулся, услышав его странное обвинение. Он заметил это и продолжал с горечью:

— Да, я могу сердиться на тебя за это. Ты спас меня от крокодила и от плантатора; и, что еще хуже, — ты отнял у меня право ненавидеть тебя. Я так несчастлив!

Странность его мыслей и выражений уже почти не удивляла меня. Она как-то соответствовала всему его облику.

— Вы сделали для меня гораздо больше, чем я для вас, — ответил я ему. — Вы спасли жизнь моей невесты, Мари.

Он вздрогнул, как от электрического тока.

— Мария! — сказал он сдавленным голосом; голова его опустилась на судорожно сжавшиеся руки, широкая грудь вздымалась от тяжких вздохов.

Признаюсь, уснувшие было подозрения снова пробудились во мне, но без гнева и без ревности. Я был слишком близок к счастью, а он слишком близок к смерти, чтобы подобный соперник, если он и правда был моим соперником, мог возбудить во мне иные чувства, кроме участия и жалости.

Наконец он поднял голову.

— Иди, — сказал он, — не благодари меня!

Затем прибавил после короткой паузы:

— Но знай, что я не ниже тебя по рождению!

Эти слова, имевшие, повидимому, какой-то скрытый смысл, сильно подстрекнули мое любопытство; я настойчиво упрашивал его рассказать мне, кто он и что ему пришлось пережить. Но он хранил угрюмое молчание.

Однако мое участие тронуло его; мое желание помочь ему и мои просьбы, казалось, победили в нем отвращение к жизни. Он вышел и принес несколько бананов и громадный кокосовый орех. Затем он снова закрыл отверстие

в стене и принялся за еду. Разговаривая с ним, я заметил, что он свободно говорит по-французски и по-испански и обладает порядочным умственным развитием; он знал много испанских романсов и пел их с большим чувством. Этот человек был так необъясним для меня во многих отношениях, что чистота его языка вначале не удивляла меня. Я сделал новую попытку узнать у него его тайну; он замолчал. Наконец я покинул его, приказав моему верному Тадэ заботиться о нем и оказывать ему всяческое внимание.

ХIII

Я стал видаться с ним каждый день, в один и тот же час. Его дело тревожило меня; несмотря на мои просьбы, дядя упорствовал в своем желании наказать его. Я не скрывал от Пьеро своих опасений; он был равнодушен к моим словам.

Во время наших свиданий к нему прибегал Раск, с широким пальмовым листом, обвязанным вокруг шеи. Пьеро снимал лист, читал написанные на нем непонятные для меня знаки и тотчас рвал его. Я уже привык не задавать ему вопросов.

Как-то раз, когда я вошел к нему, он как будто меня не заметил. Стоя спиной к двери своей камеры, он задумчиво напевал испанскую песню: «Yo que soy contrabandista»¹. Кончив петь, он быстро обернулся ко мне и воскликнул:

— Брат, обещай, если ты когда-нибудь усомнишься во мне, ты отбросишь все подозрения, как только услышишь, что я пою эту песню.

Он смотрел на меня с торжественным видом; я обещал исполнить его просьбу, сам хорошенько не понимая, что он подразумевает под словами «если ты когда-нибудь усомнишься во мне»... Он взял сохранившуюся у него скорлупу от большого кокосового ореха, который сорвал в день моего первого посещения, наполнил ее пальмовым вином, попросил меня пригубить, а затем осушил ее залпом. С этого дня он всегда называл меня «братом».

¹ Я. контрабандист...(исп. — Прим. авт.)

Между тем у меня начали появляться кое-какие надежды. Гнев дяди понемногу утих. Радость по поводу моей скорой свадьбы с его дочерью настроила его на более мирный лад. Мари умоляла его вместе со мной. Я каждый день старался убедить его, что Пьеро не думал его оскорбить, а хотел только помешать ему совершить поступок, быть может действительно слишком жестокий; что этот негр, смело вступивший в борьбу с крокодилом, спас Мари от верной смерти; что дядя обязан ему жизнью дочери, а я — невесты; что к тому же Пьеро — самый сильный из его рабов (теперь уж я не мечтал добыть ему свободу, дело шло о его жизни), что он может работать за десятерых и одной рукой приводить в движение валы сахарной мельницы. Теперь дядя спокойно выслушивал меня и даже намекал, что, быть может, не даст хода обвинению. Я пока ничего не говорил Пьеро о перемене в настроении дяди, желая обрадовать его вестью о полном освобождении, если мне удастся его выхлопотать. Меня особенно удивляло, почему он, думая, что скоро будет казнен и имея много возможностей убежать, не воспользовался ни одной из них. Я сказал ему об этом.

— Я должен остаться, — ответил он мне холодно, — иначе могут подумать, что я испугался.

XIV

Как-то утром пришла ко мне Мари. Ее нежное личико светилось чувством еще более высоким, чем радость чистой любви. То было предвкушение доброго дела.

— Послушай, — сказала она, — через три дня будет двадцать второе августа, день нашей свадьбы. Мы скоро...

— Мари, — прервал я ее, — не говори «скоро», когда осталось еще целых три дня!

Она улыбнулась и покраснела.

— Не смущай меня, Леопольд, — продолжала она, — мне пришла в голову мысль, которая тебе понравится. Ты знаешь, что я вчера ездила в город с отцом, чтобы купить драгоценности к моей свадьбе. Я не могу сказать, что очень дорожу всеми этими уборами и бриллиантами, которые не сделают меня красивей в твоих глазах. Я

отдала бы все жемчужины мира за один цветок из тех, что растоптал в беседке тот противный человек. Но не в этом дело. Отцу хочется осыпать меня всякими подарками, а я делаю вид, что мне это приятно, чтобы доставить ему удовольствие. Вчера нам показали баскину из китайского шелка в крупных цветах, лежащую в ларце из душистого дерева, и я долго рассматривала ее. Это необыкновенное платье и очень дорогое. Отец заметил, что оно заинтересовало меня. Вернувшись домой, я попросила у отца обещания сделать мне свадебный дар, по примеру древних рыцарей; ты знаешь, он любит, когда его сравнивают с древними рыцарями. Он поклялся мне честью, что исполнит мою просьбу, что бы я у него ни попросила. Он думает, что это баскина из китайского шелка; ничуть не бывало, — это жизнь Пьеро! Вот что будет мне свадебным подарком.

Я не мог удержаться и сжал этого ангела в объятиях. Слово дяди было свято; и когда Мари пошла к отцу просить обещанного, я побежал в форт Галифэ, чтобы сообщить Пьеро о его спасении, теперь уже несомненном.

— Брат! — вскричал я, вбегая к нему. — Брат, радуйся! Ты спасен. Мари попросила твою жизнь у своего отца вместо свадебного подарка!

Невольник задрожал.

— Мария! Свадьба! Моя жизнь! Какая связь между всем этим?

— Очень простая, — ответил я. — Мари, которую ты спас от смерти, выходит замуж.

— За кого? — воскликнул он; его блуждающий взгляд был страшен.

— Разве ты не знаешь? — ответил я тихо. — За меня. Его свирепое лицо снова стало приветливым и спокойным.

— Ах, правда, за тебя! — сказал он. — А когда?

— Двадцать второго августа.

— Двадцать второго августа! Да ты с ума сошел! — воскликнул он с выражением ужаса и отчаяния.

Он запнулся. Я смотрел на него с недоумением. Немного помолчав, он крепко сжал мне руку.

— Брат, — сказал он, — ты столько сделал для меня, что я должен дать тебе совет. Верь мне, отправляйся в Кап и обвенчайся до двадцать второго августа.

Напрасно просил я его объяснить мне смысл этих загадочных слов.

— Прощай, — сказал он мне торжественно. — Я и так сказал тебе слишком много; но я ненавижу неблагодарность не меньше, чем вероломство.

Я ушел от него в смятении и тревоге, но вскоре их вытеснили мысли о моем близком счастье.

В тот же день дядя взял из суда свою жалобу. Я вернулся в форт, чтобы выпустить Пьеро из тюрьмы. Тадэ, зная, что он освобожден, вошел со мной в его камеру. Его там не было. Раск, оставшийся один, ласково подошел ко мне; на шее у него был привязан пальмовый лист; я снял его и прочитал на нем следующие слова. «Благодарю тебя, ты спас меня от смерти в третий раз. Брат, помни свое обещание». Внизу, вместо подписи, стояли слова песни: «Yo que soy contrabandista».

Тадэ был удивлен еще больше меня; он не знал тайны отдушины и вообразил, что негр превратился в собаку. Я предоставил ему думать что угодно, но велел молчать об этом.

Я хотел увести с собой Раска, но как только мы вышли из форта, он бросился в чащу и исчез.

XV

Дядя был возмущен бегством невольника. Он приказал разыскивать его и написал губернатору, что отдает Пьеро в его полное распоряжение, если он будет пойман.

Наступило 22 августа. Мой брак с Мари был торжественно отпразднован в акюльской церкви. Каким счастливым был этот день, с которого начались все мои несчастья! Я был опьянен радостью, понять которую может лишь тот, кто сам ее испытал. Я совершенно забыл Пьеро и его зловещие намеки. Наконец настал и долгожданный вечер. Моя молодая жена удалилась в брачные покои, куда я не мог последовать за ней так скоро, как бы мне того хотелось. Я должен был прежде выполнить скучный, но неотложный долг. Как капитану ополчения, мне предстояло в этот вечер сделать обход постов Акюльского форта. Эта предосторожность была в то время необхо-

дима из-за волнений в колонии и нескольких небольших восстаний рабов, хотя и быстро подавленных, но повторившихся в июне, июле и даже в начале августа в поместьях Тибо и Лагосета, а особенно из-за враждебного настроения свободных мулатов, озлобленных недавней казнью мятежника Оже. Дядя первый напомнил мне о моем долге, и мне пришлось покориться необходимости. Я надел свой мундир и отправился. Проверив первые посты, я не обнаружил ничего тревожного; но около полуночи, когда я прогуливался, мечтая, вдоль батарей над заливом, я заметил на горизонте красноватое зарево; оно поднималось все выше и тянулось в сторону Лимонады и Сен-Луи дю Морен. Мы с солдатами вначале объяснили его случайным пожаром, но вскоре пламя так заметно увеличилось, а дым, подгоняемый ветром, до того сгустился, что я поспешил обратно в форт, чтобы поднять тревогу и выслать людей на помощь. Проходя мимо хижин наших невольников, я был удивлен царившим в них необыкновенным волнением. Большинство негров не спали и с большим оживлением разговаривали между собой. В своей непонятной для меня болтовне они часто повторяли странное имя «Бюг-Жаргаль», которое они произносили с большим уважением. Однако я все же разобрал несколько слов, из которых понял, что негры северной равнины восстали все как один и жгут усадьбы и плантации, расположенные по ту сторону Мыса. Проходя болотистым логом, я наткнулся на кучу топоров и кирок, спрятанных в камыше и манглевых зарослях. Сильно встревоженный, я тут же приказал акюльским ополченцам быть наготове и следить за невольниками; на время все успокоилось.

Между тем пожар, казалось, разгорался с каждой минутой и уже приближался к Лимбэ. Оттуда как будто доносился отдаленный гром артиллерии и ружейные залпы. Около двух часов ночи дядя, которого я разбудил, не в силах сдерживать свою тревогу, приказал мне оставить в Акюле часть ополчения под командой лейтенанта, а самому покинуть его; и пока моя бедная Мари спала или ждала меня, я, повинуясь дяде, который, как я уже говорил, был членом провинциального собрания, с остальными солдатами отправился в Кап.

Никогда не забуду, как выглядел этот город, когда мы подошли к нему. Пламя, пожиравшее все окружаю-

щие плантации, заливало его сумрачным светом, затемненным густыми клубами дыма, которые ветер гнал по улицам. Тучи искр, вылетавших из тлеющих остатков сахарного тростника, бешено кружились в воздухе и падали, точно густой снег, на крыши домов и на снасти стоявших на рейде кораблей, каждую минуту угрожая городу пожаром не менее губительным, чем тот, что свирепствовал в его окрестностях. Это было страшное и величественное зрелище; здесь бледные жители с опасностью для жизни еще боролись с бушующей стихией, стараясь отстоять свой кров — все, что у них осталось от прежнего богатства; а там — корабли, боясь той же участи, спешили воспользоваться благоприятным ветром, столь бедственным для несчастных колонистов, и уходили на всех парусах в море, озаренное кровавым отблеском пожарища.

XVI

Оглушенный пушечной пальбой из фортов, криками бегущих людей и отдаленным грохотом рушащихся зданий, я не знал, в какую сторону вести своих солдат, когда встретил на плацу капитана желтых драгун, который согласился быть нашим проводником. Не буду останавливаться, господа, на описании картины горящих плантаций. Другие оставили много рассказов о первых бедствиях, обрушившихся на Кап, и мне хочется пропустить эти воспоминания, полные крови и огня. Скажу вам только, что, по слухам, восставшие рабы уже хозяйничали в Дондоне, Терье-Руж, городке Уанамент и даже на злосчастных плантациях Лимбэ, что очень тревожило меня из-за их близости к Акюлю.

Я поспешил явиться в дом губернатора де Бланшланда. Там все было в полном смятении, даже голова самого хозяина. Я спросил, каковы его приказанья, и убеждал как можно скорей позаботиться о защите Акюля, который, как все считали, уже был под ударом. У губернатора я застал генерал-майора де Рувре, одного из крупнейших землевладельцев острова; подполковника де Тузара, командира капского полка; несколько членов колониального и провинциального собраний и кое-кого

из наиболее видных плантаторов. В ту минуту, когда я вошел, в этом совете происходил шумный спор.

— Господин губернатор, — говорил один из членов провинциального собрания, — к сожалению, это именно так: бунтуют рабы, а не свободные мулаты; мы это предвидели и давно предсказывали.

— Да, предсказывали, а сами не верили своим словам, — едко возразил член колониального собрания, называвшего себя «генеральным». — Вы говорили это, чтобы поднять свой авторитет за наш счет; но вы были так далеки от мысли о возможности настоящего восстания рабов, что в 1789 году ваше собрание, при помощи разных интриг, подстроило знаменитый и смехотворный мятеж трех тысяч негров на капском холме, — мятеж, во время которого был убит всего-навсего один волонтер, да и то его же товарищами!

— А я повторяю вам, — настаивал «провинциал», — что мы лучше вас разбираемся в положении вещей. И это понятно. Мы оставались здесь, чтобы наблюдать за жизнью колонии, тогда как ваше собрание в полном составе отправилось во Францию, в погоне за этой смешной овацией, которая закончилась выговором от национального правительства; *ridiculus mus!*¹

Член колониального собрания ответил с горьким презрением:

— Наши сограждане переизбрали нас единогласно!

— Однако это вы, — возразил тот, — с вашими вечными крайностями, таскали по улицам голову того несчастного, что вошел в кафе без трехцветной кокарды, и повесили мулата Лакомба за его прошение, начинавшееся «необычными» словами: «Во имя отца и сына и святого духа»!

— Неправда! — вскричал член колониального собрания. — Это борьба принципов и привилегий, борьба «горбатых» с «кривобокими».

— Вы «независимый», сударь, я всегда это думал!

На этот упрек члена провинциального собрания его противник ответил с торжествующим видом:

— Вот вы и выдали, что сами принадлежите к «белым

¹ Смешная мышь (лат.). Конечные слова стиха 139 из «Науки поэзии» Горация: «Горы томятся родами, и мышь смешная родится».

помпонам». Предоставляю вам нести всю ответственность за это признание!

Спор, наверно, зашел бы еще дальше, если бы не вмешался губернатор.

— Оставьте, господа! Что общего имеет все это с нависшей над нами опасностью? Посоветуйте, что мне делать, и перестаньте ссориться. Вот донесения, которые я получил. Восстание вспыхнуло сегодня в десять часов вечера в поместье Тюрпен. Рабы, под командой английского негра, по имени Букман, увлекли за собой невольников из мастерских в поместьях Клеман, Тремес, Флавиль и Ноэ. Они подожгли все плантации и перебили колонистов с неслыханной жестокостью. Вы поймете весь ужас происходящего по одной подробности. Знаменем им служит поднятое на копье тело ребенка.

Слушатели губернатора содрогнулись.

— Вот что происходит вокруг города, — продолжал он, — в городе же царит полная неурядица. Многие жители Капа убили своих рабов; страх сделал их жестокими. Самые добрые, или самые храбрые, ограничились тем, что держат своих рабов под замком. «Мелкие белые»¹ обвиняют в этих бедствиях свободных мулатов. И многие мулаты чуть не стали жертвами народного гнева. Я приказал дать им убежище в церкви, охраняемой батальоном солдат. Теперь, чтобы доказать свою непричастность к восстанию негров, мулаты просят меня выдать им оружие и поручить защиту какого-нибудь поста.

— Не делайте этого! — вскричал знакомый мне голос; он принадлежал плантатору, которого подозревали в том, что у него смешанная кровь; с ним-то я и дрался на дуэли. — Не делайте этого, господин губернатор. Не давайте оружия мулатам!

— Вы что же, не хотите драться? — резко спросил его другой колонист.

Тот сделал вид, что не слышит, и продолжал:

— Мулаты — наши злейшие враги. Они одни опасны для нас. Я согласен, что мы могли ожидать мятежа только с их стороны, а не со стороны рабов. Разве рабы годны на что-нибудь?

¹ Так назывались белые, не владевшие землей и занимавшиеся каким-нибудь ремеслом. (Прим. авт.)

Этот жалкий человек надеялся, что своим выступлением против мулатов он окончательно отделит себя от них и разубедит белых, относивших его к этой презренной касте. Его расчет был слишком низок, он не удался. Об этом свидетельствовал общий ропот недовольства.

— Неправда, сударь, — ответил ему старый генерал де Рувре, — неправда, рабы способны на многое; у них сорок человек против троих наших; плохо бы нам пришлось, если бы мы могли послать против негров и мулатов только таких белых, как вы.

Плантатор закусил губу.

— А вы, господин генерал, — спросил губернатор, — что думаете вы о просьбе мулатов?

— Дайте им оружие, господин губернатор! — ответил генерал. — В бурю и рогожа — парус!

И, повернувшись к подозрительному колонисту, он закончил:

— Слышите, сударь? Ступайте вооружаться!

Посрамленный колонист удалился, едва сдерживая бешенство.

Между тем вопли ужаса, которые неслись из города, долетали иногда и в дом губернатора, напоминая участникам этого совещания о цели, заставившей их собраться. Г-н де Бланшланд передал адъютанту набросанный наспех карандашом приказ и обратился к собравшимся, которые в мрачном молчании прислушивались к этим пугающим крикам.

— Итак, мулаты будут вооружены, господа; но нам необходимо принять еще немало других мер.

— Надо созвать провинциальное собрание, — сказал тот из его членов, который говорил, когда я вошел.

— Провинциальное собрание? — подхватил его противник, член колониального собрания. — А что это такое — провинциальное собрание?

— Вы говорите так потому, что вы член колониального собрания, — возразил «белый помпон».

«Независимый» прервал его:

— Не знаю я ни «колониального», ни «провинциального» собрания. Есть только одно генеральное собрание, слышите, сударь?

— Ну, если так, то я скажу вам, — продолжал «белый

помпон», — что существует только одно Национальное собрание, в Париже.

— Подумаешь, созвать провинциальное собрание! — повторял «независимый» со смехом. — Будто оно не было распущено, как только генеральное собрание решило, что здесь будут происходить его заседания.

Тут раздался громкий протест всех присутствующих, которым наскучили эти пустые пререкания.

— Господа депутаты, — закричал один плантатор, — вы тратите время на болтовню, а что будет с моим хлопчатником и кошенилью?

— И с моими четырьмястами тысяч кустов индиго в Лимбэ? — добавил другой.

— И с моими неграми, которые мне стоили по тридцать долларов за голову? — воскликнул капитан невольничьего судна.

— Каждая минута, которую вы теряете даром, — вмешался еще один колонист, — обходится мне по нашему тарифу не меньше десяти центнеров сахара, что составляет, если считать по семнадцать пиастров за центнер, сто семьдесят пиастров, или девятьсот тридцать ливров десять су французской монетой!

— Колониальное собрание, которое вы называете генеральным, действует как узурпатор! — продолжал первый спорщик, стараясь перекрычать другие голоса. — Пусть оно сидит себе в Порт-о-Пренсе и сочиняет декреты для области величиной в два лье и сроком на два дня, а нас оставит в покое. Кап принадлежит северному провинциальному собранию, и только ему!

— Я считаю, — возражал «независимый», — что его превосходительство господин губернатор не имеет права созывать никакого другого собрания, кроме генерального собрания представителей колонии, под председательством господина де Кадюш!

— Да где же он, ваш председатель де Кадюш? — спрашивал «белый помпон». — Где ваше собрание? У вас еще не набралось и четырех человек, а наше все в сборе. Уж не хотите ли вы своей особой представлять целое собрание или целую колонию?

Этот спор двух депутатов, верных отголосков двух соперничающих собраний, снова вызвал вмешательство губернатора.

— Чего вы, наконец, хотите, господа, с вашими бесконечными собраниями — провинциальным, генеральным, колониальным, национальным? Разве вы поможете решениям настоящего совещания, если созовете еще три-четыре других?

— Чорт побери! — вскричал громовым голосом генерал де Рувре, яростно стукнув кулаком по столу. — Проклятые болтуны! Я бы лучше согласился перекричать двадцатичетырехдюймовое орудие! Что нам за дело до этих собраний, которые грызутся за первенство и готовы броситься друг на друга, как две роты гренадеров, идущих в атаку. Ну что ж, созовите оба собрания, господин губернатор, а я сформирую из них два отряда и пошлю их против черных; вот тогда мы увидим, наделают ли их ружья столько треска, сколько их языки.

После этого резкого выпада он наклонился к своему соседу (это был я) и сказал вполголоса:

— Что прикажете делать губернатору, присланному в Сан-Доминго королем Франции и оказавшемуся между этими собраниями, которые оба считают себя верховной властью? Эти краснобаи и адвокаты портят все дело здесь, как и во Франции. Если б я имел честь состоять наместником короля, я выбросил бы за дверь весь этот сброд. Я сказал бы им: «Король царствует, а я управляю». Я послал бы ко всем чертям ответственность перед так называемыми народными представителями, пообещал бы дюжину крестов св. Людовика от имени его величества и выкинул бы всех бунтовщиков на остров Черепахи, где раньше жили пираты, такие же разбойники, как и эти. Запомните мои слова, молодой человек. «Философы» породили «филантропов», которые произвели на свет «негрофилов», а эти плодят пожирателей белых, называемых так, пока для них не подыскали какого-нибудь латинского или греческого названия. Наши мнимо либеральные идеи, которыми так упиваются во Франции, для тропиков просто яд. С неграми надо было обращаться осторожно, а не призывать их к немедленному освобождению. Все ужасы, которые вы видите сегодня в Сан-Доминго, родились в клубе «Массиак», и восстание рабов — это лишь отзвук падения Бастилии.

В то время как старый вояка излагал мне свои политические взгляды, хотя и узкие, но говорящие о его твердо-

сти и прямоте, бурные споры продолжались. Один плантатор, принадлежавший к небольшой кучке колонистов, охваченных неистовым революционным пылом, и требовавший, чтобы его называли гражданином генералом С***, с тех пор как он руководил несколькими кровавыми расправами, воскликнул:

— Казни нужнее сражений! Народы ждут грозных примеров; заставим негров ужаснуться! Я усмирил июньское и июльское восстания, выставив на кольях головы пятидесяти невольников, вместо пальм, по обеим сторонам аллеи, ведущей к моему дому. Предлагаю всем присоединиться к моему предложению. Давайте защищать подступы к городу при помощи тех негров, которые у нас еще остались.

— Что вы! Какая неосторожность! — слышалось со всех сторон.

— Вы не поняли меня, господа, — возразил «гражданин генерал». — Мы окружим город цепью из негритянских голов, от форта Пиколе до мыса Караколь; тогда их мятежные товарищи не посмеют приблизиться к нам. В подобные минуты приходится идти на жертвы для общего дела. Я первый жертвую собой. У меня есть пятьсот не восставших рабов: я их отдаю!

Все содрогнулись от ужаса, услышав это отвратительное предложение.

— Какая гнусность! Какая подлость! — слышалось со всех сторон.

— Подобные меры и погубили все дело! — сказал другой колонист. — Если бы вы не поторопились казнить всех восставших в июне, июле и августе, вы могли бы поймать нити заговора, перерубленные топором палача.

Гражданин С*** несколько минут хранил недовольное молчание, потом пробормотал сквозь зубы:

— Мне кажется, однако, что я вне подозрений. Я связан со многими негрофилами; я переписываюсь с Бриссо и Прюно де Пом-Гуж во Франции; с Гансом Слоан в Англии; Мегоу в Америке; Пецлем в Германии; Оливариусом в Дании; Вадстремом в Швеции; Петером Паулюсом в Голландии; Авенданьо в Испании и аббатом Пьетро Тамбурини в Италии!

По мере того как он продвигался в этом перечне негрофилов, голос его все усиливался. Он закончил, воскликнув:

— Но здесь нет философов!

Губернатор в третий раз попросил, чтобы каждый высказал свое мнение.

— Господин губернатор, — раздался чей-то голос, — вот мой совет: погрузимся все на корабль «Леопард», стоящий на рейде.

— Назначим награду за голову Букмана, — предложил другой.

— Сообщим обо всем губернатору Ямайки, — сказал третий.

— Конечно, чтобы он опять прислал нам смехотворное подкрепление в пятьсот ружей, — подхватил депутат провинциального собрания. — Господин губернатор, пошлите вестовое судно во Францию, и будем ждать!

— Ждать! Ждать! — решительно перебил их г-н де Рувре. — А негры тоже будут ждать? А пламя, уже окружившее этот город, тоже будет ждать? Господин де Тузар, велите бить тревогу, берите пушки и выступайте с вашими гренадерами и стрелками против главных сил мятежников. Господин губернатор, прикажите разбить лагеря в восточных районах; расставьте посты в Тру и Вальере, а я беру на себя защиту равнины у форта Дофин. Я построю там укрепления; дед мой, полковник нормандского полка, служил под начальством маршала Вобана; сам я изучал Фолара и Безу и имею некоторый опыт обороны страны. К тому же равнина у форта Дофин, которая с одной стороны омывается морем, а с другой примыкает к испанской границе, представляет собой как бы полуостров, что послужит ей естественной защитой; полуостров Мольт имеет то же преимущество. Воспользуемся всем этим и будем действовать!

Энергичная и убедительная речь старого вояки разом прекратила все споры и разногласия. Генерал был совершенно прав. Сознание собственного блага заставило всех присоединиться к г-ну Рувре. Губернатор с благодарностью пожал ему руку, давая понять храброму генералу, что понимает, как велика его помощь и как ценны его советы, хотя они и были даны в виде приказов, а все колонисты потребовали немедленного выполнения предложенных им мер.

Только два депутата враждующих собраний, казалось, были несогласны с общим мнением и, сидя в своем углу,

бормотали себе под нос: «захват исполнительной власти», «необдуманное решение», «ответственность».

Я воспользовался этой минутой, чтоб получить от г-на де Бланшланд распоряжений, которых так нетерпеливо дожидался; затем я вышел, чтобы собрать свой отряд и немедленно вернуться с ним в Акюль, несмотря на усталость, которую чувствовали все, кроме меня.

XVII

Начинало светать. Я вышел на плац и стал будить своих солдат, спавших на шинелях вперемежку с желтыми и красными драгунами и беженцами из долины, среди мычащего и блеющего скота и всевозможных тюков и вещей, наваленных тут сбежавшимися в город окрестными колонистами.

Я постепенно собирал свой отряд среди этой сумятицы; вдруг я увидел, что ко мне во весь опор мчится желтый драгун, весь в поту и в пыли. Я бросился ему навстречу и из немногих слов, которые он произнес прерывающимся голосом, с ужасом понял, что мои опасения сбылись: восстание охватило Акюльскую равнину, и негры начали осаду форта Галифэ, где заперлись ополченцы и колонисты. Надо вам сказать, что укрепления форта Галифэ отнюдь не делали его крепостью; в Сан-Доминго каждый земляной вал называли «фортом».

Значит, нельзя было терять ни минуты. Я посадил в седло всех солдат, для которых мне удалось раздобыть лошадей, и, следуя за драгуном, мы к десяти часам утра доскакали до владений дяди.

Я едва взглянул на громадные плантации, которые превратились в море огня, катившее по долине огромные валы дыма и бросавшее вверх целые стволы деревьев, горящие ярким пламенем; ветер подхватывал их, точно искры. Ужасный треск, скрип и гул, казалось, вторили отдаленному вою негров, который уже доносился до нас, хотя мы еще не могли их видеть. Я был целиком поглощен одной лишь мыслью, и гибель всех предназначенных мне богатств не могла отвлечь меня; эта мысль была — спасе-

ние Мари. Спасти Мари — что мне до остального! Я знал, что она в форту, и молил бога только о том, чтобы поспеть во-время. Одна эта надежда поддерживала меня в моей тревоге и придавала мне силу и храбрость льва.

Наконец, за поворотом дороги, мы увидели форт Галифэ. Трехцветное знамя еще развевалось над ним, и стены его были опоясаны плотным огнем ружейной пальбы. Я вскрикнул от радости. «В галоп! Пришпорьте коней! Отпустите повод!» — крикнул я своим товарищам.

И мы понеслись с удвоенной скоростью через поле к форту, рядом с которым виднелся дом моего дяди, пока уцелевший, но с выбитыми окнами и дверями, весь в красных отблесках пожара; огонь не коснулся его, так как ветер дул с моря и он стоял в стороне от плантаций.

Множество негров, устроивших засаду в этом доме, виднелись во всех окнах и даже на крыше; копья, кирки, топоры блестели при свете факелов, кругом стоял гул от ружейных выстрелов; негры не переставая палили по форту, в то время как толпа их товарищей лезла на осажденные стены, падала, отступала и снова карабкалась на них по приставным лестницам. Поток негров, все время отбрасываемый и вновь появляющийся на серых стенах, был издали похож на полчище муравьев, пытающихся взобраться на щит громадной черепахи, — казалось, это медлительное животное время от времени встряхивается и скидывает их с себя.

Наконец мы доскакали до первого вала, окружавшего форт. Я не спускал глаз с поднятого над ним флага и подбадривал своих солдат, напоминая им об их семьях, которые, как и моя, заперлись за этими стенами, о тех, кого мы должны были спасти. Солдаты отвечали мне единым душным криком одобрения, и я построил свой маленький отряд в колонну, готовясь дать сигнал к атаке на осаждающую форт толпу.

В это мгновение из-за ограды форта раздался ужасный крик; крутящийся столб дыма охватил всю крепость, его густые клубы на несколько минут заволокли стены, за которыми слышался гул, похожий на клочкотание пламени в большой печи, а когда дым рассеялся, мы увидели над фортом Галифэ красный флаг. Все было кончено!

Не могу вам передать, что сделалось со мной при виде этого ужасного зрелища. Форт был взят, его защитники перебиты, двадцать семей зарезаны, но, признаюсь, к стыду своему, все эти бедствия в ту минуту мало трогали меня. Я потерял Мари! Потерял через несколько часов после того, как она стала моей навсегда! Потерял по собственной вине, ибо не покинь я ее прошлой ночью, чтобы ехать в Кап по приказанию дяди, я мог бы по крайней мере защитить ее или умереть подле нее и вместе с ней, что все-таки не было бы для нас разлукой! Эти мучительные мысли доводили мое отчаяние до безумия. Моя скорбь слилась с угрызениями совести.

Тут мои потрясенные товарищи яростно закричали: «Мщение!» С саблями в зубах, с пистолетами в руках, мы ринулись в гущу победивших мятежников. Хотя негры были гораздо многочисленнее нас, они бросились бежать при нашем приближении. Все же мы ясно видели, как они справа и слева, впереди и позади нас приканчивали белых и торопливо поджигали форт. Наше бешенство еще усилилось при виде такой низости.

У подземного выхода из форта передо мной появился Тадэ, он был весь изранен.

— Господин капитан, — сказал он, — ваш Пьеро настоящий колдун, или «оби», как говорят эти проклятые негры, а вернее — просто дьявол! Мы крепко держались; вы уже подходили, и мы были бы спасены, как вдруг он пробрался в форт, уж не знаю как, — и видите, что вышло! А ваш дядюшка, его семья и госпожа...

— Мари! — крикнул я, прерывая его. — Где Мари?

В эту минуту из-за горящей изгороди выбежал высокий негр; он нес на руках молодую женщину, которая кричала и отбивалась. Молодая женщина была Мари; негр был Пьеро.

— Предатель! — крикнул я ему.

Я направил на него пистолет; но один из мятежников бросился навстречу пуле и упал мертвый. Пьеро повернулся ко мне и как будто крикнул мне несколько слов; затем он скрылся со своей добычей в зарослях горящего тростника. В ту же минуту за ним промчался громадный пес, держа в пасти колыбельку, в которой лежал младший

ребенок дяди. Я узнал и пса — это был Раск. Вне себя от ярости, я выстрелил в него из второго пистолета, но промахнулся.

Я бросился как безумный вслед за ними; но два ночных похода, много часов, проведенных без отдыха и без пищи, страх за Мари, внезапный переход от полного счастья к глубочайшему отчаянию — все эти душевные потрясения надломили мои силы еще больше, чем физическая усталость. Сделав несколько шагов, я зашатался; в глазах у меня помутилось, и я упал без чувств.

ХІХ

Я очнулся в разгромленном доме дяди, на руках у верного Тадэ. Он с беспокойством смотрел на меня.

— Победа! — закричал он, как только почувствовал, что мой пульс забился под его рукой. — Победа! Негры бегут, а капитан ожил!

Я прервал его радостный крик все тем же вопросом:

— Где Мари?

Я еще не совсем пришел в себя; у меня осталось лишь ощущение, а не ясное сознание моего несчастья. Тадэ опустил голову. Тогда память вернулась ко мне; я сразу вспомнил мою ужасную брачную ночь, и образ высокого негра, уносящего в объятиях Мари сквозь море огня, встал передо мной, точно адское видение. При вспышке зловещего света, который залил всю колонию и показал белым, каких врагов они имели в лице своих невольников, я вдруг увидел, что добрый, великодушный и преданный Пьеро, кому я трижды спасал жизнь, — неблагодарное чудовище и мой соперник. Похищение моей жены в первую же ночь после нашей свадьбы доказало мне то, что я раньше лишь подозревал, и я теперь был твердо убежден, что певец у беседки был не кто иной, как гнусный похититель Мари. Сколько перемен за такое короткое время!

Тадэ рассказал мне, что он тщетно пытался догнать Пьеро и его собаку; что негры отступили, хотя их было очень много и они легко могли бы уничтожить мой маленький отряд; что пожар в наших владениях продолжается, и нег никакой возможности его остановить.

Я спросил его, известно ли, что стало с моим дядей, в чью спальню меня перенесли. Тадэ молча взял меня за руку и, подведя к алькову, отдернул полог.

Несчастный дядя лежал мертвый на окровавленной постели, с кинжалом, глубоко вонзенным в его сердце. По спокойному выражению его лица было видно, что он убит во сне. Подстилка карлика Хабибры, который обычно спал у его ног, была тоже запачкана кровью, такие же пятна были видны и на пестрой куртке бедного шута, валявшейся на полу недалеко от кровати.

Я не сомневался, что шут пал жертвой своей всем известной привязанности к дяде и был убит товарищами, быть может защищая своего хозяина. Я горько упрекал себя за пристрастность, благодаря которой так неправильно судил о характере Хабибры и Пьеро; к слезам, вызванным у меня преждевременной смертью дяди, добавились сожаления о его шуте. Я приказал отыскать тело Хабибры, но его не нашли. Решив, что негры унесли карлика и бросили его в огонь, я велел, чтобы во время панихиды по моему дяде в молитвах поминали и верного Хабибру.

XX

Форт Галифэ был разрушен, от наших жилищ ничего не осталось; дальнейшее пребывание среди этих развалин было бессмысленно и невозможно. В тот же вечер мы вернулись в Кап.

Здесь я свалился в жестокой горячке. Усилие, которое я сделал над собой, чтоб преодолеть отчаяние, было слишком велико. Чрезмерно натянутая пружина лопнула. Я лежал без памяти, в бреду. Обманутые надежды, оскверненная любовь, предательство друга, разбитое будущее и больше всего мучительная ревность омрачили мой рассудок. Мне казалось, что в жилах у меня струится пламя; голова моя раскалывалась, в сердце kloкотало бешенство. Я представлял себе Мари во власти другого, во власти ее господина, ее раба Пьеро! Мне рассказывали потом, что я вскакивал с кровати, и шесть человек с трудом удерживали меня, чтобы не дать мне разбить голову о стену. Зачем не умер я тогда!

Но кризис миновал. Уход врачей, заботы Тадэ и невероятная жизненная сила, присущая молодости, победили злой недуг, который мог принести мне благотворительную смерть. Через десять дней я выздоровел и не жалел об этом. Я был рад, что могу прожить еще некоторое время, чтобы отомстить.

Едва оправившись после болезни, я пошел к г-ну де Бланшланд, с просьбой о назначении. Он хотел поручить мне охрану какого-нибудь поста, но я умолял его зачислить меня добровольцем в один из летучих отрядов, которые он время от времени посылал против мятежников, чтобы очистить от них окрестности.

Кап был наскоро укреплен. Восстание принимало угрожающие размеры. Среди негров Порт-о-Пренса начались волнения; Биасу командовал невольниками из Лимбэ, Дондона и Акюля; Жан-Франсуа провозгласил себя главнокомандующим повстанцев долины Марибару; Букман, вскоре прославившийся трагической гибелью, бродил со своей шайкой по берегам реки Лимонады; наконец банды невольников Красной Горы избрали своим вождем какого-то негра, по имени Бюг-Жаргаль.

Характер этого вождя, если верить слухам, странным образом отличался от жестокого нрава остальных. В то время как Букман и Биасу придумывали тысячи казней для пленников, попадавших им в руки, Бюг-Жаргаль старался дать им возможность покинуть остров. Первые заключали сделки с испанскими судами, плавающими у берегов, заранее продавая им имущество несчастных жителей, которых они вынуждали к бегству; Бюг-Жаргаль потопил многих из этих пиратов. Г-н Кола де Менье и восемь видных колонистов по его приказу были сняты с колеса для пыток, к которому велел их привязать Букман. Приводили тысячи случаев, свидетельствующих о его великодушии, но было бы слишком долго их вам перечислять.

Моя надежда отомстить, казалось, сбудется еще не скоро. Я больше ничего не слышал о Пьеро. Мятежники под командой Биасу продолжали беспокоить Кап. Один раз они даже попытались занять холм, господствующий над городом, и крепостная пушка лишь с трудом отогнала их. Губернатор решил оттеснить их во внутреннюю часть острова. Ополченцы Акюля, Лимбэ, Уанамента и Мари-

бару, вместе с капским полком и грозными отрядами желтых и красных драгун, составляли нашу действующую армию. Ополченцы Дондона и Картье-Дофена, подкрепленные ротой добровольцев, под командой негоцианта Понсиньона, составляли городской гарнизон.

Губернатор хотел прежде всего отделаться от Бюг-Жаргаля, наступление которого тревожило его. Он послал против него ополченцев из Уанамента и один капский батальон. Через два дня этот отряд вернулся, разбитый наголову. Губернатор упорствовал в желании сломить Бюг-Жаргаль; он снова отправил против него тот же отряд, дав ему в подкрепление полсотни желтых драгун и четыреста ополченцев. Со второй армией Бюг-Жаргаль расправился еще решительней, чем с первой. Тадэ, участвовавший в этом походе, был взбешен и, вернувшись, поклялся отомстить Бюг-Жаргалю.

Глаза д'Овернэ наполнились слезами; он скрестил руки на груди и на несколько минут, казалось, погрузился в горестные думы. Затем он продолжал.

XXI

Мы получили известие, что Бюг-Жаргаль покинул Красную Гору и повел свое войско горными переходами на соединение с Биасу. Губернатор подскочил от радости. «Теперь он наш!» — воскликнул он, потирая руки. На другой день колониальная армия выступила из Капа. В одном лье от города мы увидели мятежников, которые при нашем приближении поспешно покинули Порт-Марго и форт Галифэ, где они оставили сторожевой пост, защищенный крупными орудиями, снятыми с береговых батарей; все их отряды отступили к горам. Губернатор торжествовал. Мы продолжали двигаться вперед. Каждый из нас, проходя по этим бесплодным и опустошенным равнинам, хотел бросить последний взгляд на свои поля, свое жилище, свои богатства; но часто мы даже не могли узнать место, где они прежде были.

Иногда дорогу нам преграждали пожары, ибо с обработанных полей пламя перекидывалось на леса и саванны. В этой стране, с ее девственной почвой и буйной расти-

тельностью, лесной пожар сопровождается странными явлениями. Еще издалека, часто даже до того, как его можно увидеть, слышно, как он ревет и грохочет, подобно чудовищному водопаду. Стволы деревьев раскалываются, ветви трещат, корни в земле лопаются, высокая трава шипит, озера и болота, окруженные лесом, вскипают, пламя гудит, со свистом пожирая воздух, — и весь этот гул то затихает, то усиливается вместе с пожаром. Иногда вы видите, как зеленый пояс из еще не тронутых огнем деревьев долго окружает пылающий очаг. Внезапно огненный язык пробивается сбоку, сквозь эту свежую ограду, голубоватая огненная змейка быстро скользит по траве между стволами, и в одно мгновение лесная опушка исчезает за зыблущейся золотой завесой; все вспыхивает сразу. Только время от времени густая пелена дыма под порывом ветра опускается вниз и окутывает пламя. Дым клубится и растекается, взлетает и опускается, рассеивается и вновь сгущается, становясь вдруг совсем черным; затем края его внезапно разрывает огненная бахрома, снова слышится оглушительный рев, бахрома бледнеет, дым поднимается и, улетаая, долго осыпает землю дождем из раскаленного пепла.

XXXII

На третий день вечером мы вышли к ущелью Большой реки. Все считали, что черные находятся в горах, в двадцати лье отсюда.

Мы разбили лагерь на небольшом холме, повидимому служившем мятежникам для той же цели, судя по тому, что он был весь истоптан. Эта позиция была не из лучших; но, по правде сказать, мы были тогда совсем спокойны. Над холмом со всех сторон вздымались высокие скалистые горы, заросшие густым лесом. Непрístupность их отвесных склонов была причиной странного названия «Усмиритель мулатов», данного этому месту. Позади лагеря протекала Большая река; сдавленная между двумя откосами, она была в этом месте узка и глубока. Ее обрывистые берега щетинились густым кустарником, непроницаемым для взгляда. Во многих местах река исчезала под гирляндами лиан, которые цеплялись за ветви растущих среди

кустарника кленов, усеянных красными цветами, перебрасывали свои плети с одного берега на другой и причудливо сплетались, образуя над водой широкие зеленые навесы. Тому, кто смотрел на них с вершин соседних утесов, казалось, что он видит лужайки, еще влажные от росы. Лишь глухой плеск воды да быстрый чирок, неожиданно вспорхнувший и раздвинувший эту цветущую завесу, обнаруживали течение реки.

Вскоре солнце перестало золотить острые вершины далеких Дондонских гор; постепенно мрак окутал лагерь, и тишина нарушалась лишь криком журавлей да мерным шагом часовых.

Вдруг у нас над головой раздались грозные звуки песен «Уа-Насэ» и «Лагерь в Большой долине»; высоко на скалах запылали пальмы, акомы и кедры, и при зловещем свете пожара мы увидели на ближних вершинах толпы негров и мулатов, медные лица которых казались красными в отблесках яркого пламени. Это были банды Биасу.

Нам грозила смертельная опасность. Наши начальники, спавшие крепким сном, сразу вскочили и бросились поднимать своих солдат; барабанщик бил тревогу, трубач играл сбор; солдаты торопливо строились в ряды, а мятежники, вместо того чтобы воспользоваться нашим смятением, стояли на месте, смотрели на нас и пели «Уа-Насэ».

Громадный негр появился один на самом высоком из окружающих Большую реку утесов; огненное перо трепетало над его головой; в правой руке он держал топор, в левой — красное знамя; я узнал Пьеро! Если б у меня под рукой оказался карабин, быть может, не помня себя от бешенства, я совершил бы низкий поступок. Негр повторил припев «Уа-Насэ», закрепил знамя на вершине утеса, метнул свой топор в гущу наших солдат и прыгнул в реку. Горькое сожаление поднялось во мне при мысли, что теперь он умрет не от моей руки.

Тут мятежники начали скатывать на наши ряды громадные каменные глыбы; пули и стрелы градом осыпали наш холм. Солдаты, не имея возможности схватиться с нападающими, в бессильной ярости погибали, раздавленные обломками скал, пробитые пулями и пронзенные стрелами. Ужасное смятение охватило наше войско. Вдруг страшный

шум слышался как будто из самой глубины Большой реки. Там происходила необыкновенная сцена. Желтые драгуны, жестоко пострадавшие от огромных камней, которые скатывали на них сверху мятежники, решили укрыться от них под упругими сводами из лиан, нависших над рекой. Тадэ первый придумал этот выход, кстати сказать, очень остроумный...

Здесь рассказчик был внезапно прерван.

XXIII

Уже больше четверти часа назад сержант Тадэ, с связанной правой рукой, проскользнул никем не замеченный в угол палатки, где только жестами выражал, какое горячее участие он принимает в рассказе капитана; но в эту минуту, считая, что уважение к д'Овернэ не позволяет ему принять прямую похвалу, не высказав благодарности, он пробормотал смущенно:

— Вы слишком добры, господин капитан...

В ответ раздался дружный взрыв смеха. Д'Овернэ обернулся и крикнул строго:

— Как! Вы здесь, Тадэ! А ваша рука?

От этого непривычно строгого окрика лицо старого сержанта омрачилось; он пошатнулся и откинул голову, точно стараясь удержать слезы, наполнившие его глаза.

— Я не думал, — сказал он, наконец, тихим голосом, — я никогда бы не подумал, что господин капитан может так рассердиться на своего старого сержанта, что станет говорить ему «вы».

Капитан стремительно вскочил.

— Прости меня, дружище, прости, я не подумал, что сказал; ты больше не сердишься, Тад?

Слезы брызнули из глаз Тадэ.

— Это в третий раз, — пробормотал он, — но теперь уж от радости.

Мир был заключен. Последовало короткое молчание.

— Но скажи, Тад, — ласково спросил капитан, — зачем ты ушел из лазарета и пришел сюда?

— Потому что, с вашего позволения, я хотел спросить вас, господин капитан, надо ли завтра седлать чепрак с галунами на вашего коня.

Анри рассмеялся.

— Вы бы лучше спросили у полкового лекаря, Тадэ, надо ли завтра положить две унции корпии на вашу больную руку.

— Или узнали бы, можно ли вам выпить немного вина, чтоб освежиться, — подхватил Паскаль. — А пока выпейте водки, это будет вам только на пользу. Вот попробуйте-ка, сержант!

Тадэ подошел, отвесил всем почтительный поклон, извинился, что берет стакан левой рукой, и осушил его за здоровье всех присутствующих. Он оживился.

— Вы остановились на том, господин капитан, на том, как... Да, верно, это я предложил спуститься под лианы, чтоб добрых христиан не убивали камнями. Наш офицер не умел плавать и боялся утонуть, что вполне естественно, поэтому он никак со мной не соглашался, пока не увидел, с вашего позволения, господа, как громадный камень, который чуть не раздавил его, полетел в реку, да застрял в лианах, а в воду не попал. «Уж лучше умереть смертью египетского фараона, — сказал он тогда, — чем смертью святого Этьена. Мы не святые, а фараон был тоже солдат, как и мы». Вот видите, хоть мой офицер и был ученый, а согласился с моим предложением, но при условии, что я первый попытаюсь выполнить его. Я иду. Спускаюсь с берега, прыгаю под навес, держась за лианы, и вдруг, представьте, господин капитан, я чувствую, что кто-то хватает меня за ногу; я отбиваюсь, зову на помощь, на меня сыплются сабельные удары; тут наши драгуны, злые как черти, сломя голову бросаются под лианы. Оказалось, что там засели негры Красной Горы; они незаметно пробрались туда, как видно для того, чтобы в нужную минуту обрушиться на нас с тыла и захватить, как в мешок. Вот уж была бы плохая минута для рыбной ловли! Все дрались, кричали, ругались. Они были голые и потому проворнее нас; зато наши удары были верней. Мы плыли, гребя одной рукой, а дрались другой, как полагается в таких случаях. Те, кто не умели плавать, держались одной рукой за лианы, — ловко, господин капитан? — а негры тащили их за ноги. В самой гуще свалки я увидел громад-

ного негра, который отбивался, как дьявол, от восьми или десяти моих товарищей; я подплыл к ним и узнал Пьеро, или Бюга... Но это откроется позже, не правда ли, господин капитан? Я узнал Пьеро. После падения форта мы были с ним в ссоре; я схватил его за горло; он хотел было отделаться от меня ударом кинжала, как вдруг взглянул мне в лицо и сдался, вместо того чтобы меня убить; это было большое несчастье, господин капитан, потому что, не сдайся он тогда... Но об этом узнается после. Как только негры увидели, что он взят в плен, они ринулись на нас, чтобы его отбить, а ополченцы тоже бросились в воду, к нам на помощь. Тут Пьеро, должно быть увидев, что все негры будут перебиты, сказал им несколько слов на каком-то тарабарском языке, после чего они сразу кинулись бежать. Они нырнули в воду и пропали, будто их и не бывало. Эта подводная битва, пожалуй, понравилась бы мне и даже позабавила б меня, если бы мне не отхватили пальца, если бы я не подмочил десятка патронов и если бы... Бедняга! Но, видно, такая уж была его судьба, господин капитан!

И сержант, почтительно дотронувшись левой рукой до кокарды на своей фуражке, указал на небо с торжественным видом.

Д'Овернэ, казалось, был сильно взволнован.

— Да, — сказал он, — ты прав, старина Тадэ, то была роковая ночь.

Он снова погрузился бы в свойственную ему глубокую задумчивость, если бы не настойчивые просьбы всех собравшихся. Он продолжал.

XXIV

Пока сцена, описанная Тадэ... (Тадэ с гордым видом уселся позади капитана), пока сцена, описанная Тадэ, происходила за холмом, мне удалось с несколькими солдатами вскарабкаться, цепляясь за кусты, на скалу, прозванную «Павлиний пик» из-за радужной окраски, которую придавала ей блестящая на солнце слюда, вкрапленная в ее поверхность. Этот пик был на одном уровне с позициями негров. Как только мы проложили туда дорогу, вершина его быстро была занята солдатами, и мы открыли

сильный огонь. Негры, вооруженные хуже нас, не могли отвечать нам тем же и стали терять мужество; мы удвоили свой пыл, и вскоре мятежники покинули ближайшие скалы, сбросив перед этим трупы своих убитых товарищей на поредевшие ряды нашей армии, еще стоявшие в боевом порядке на холме. Тогда мы срубили несколько громадных диких хлопчатников, из каких первые жители острова делали пироги на сотню гребцов, и связали их веревками и пальмовыми листьями. При помощи этого самодельного моста мы перебрались на покинутые неграми вершины, и таким образом часть нашего войска оказалась на очень выгодной позиции. Увидев это, мятежники окончательно пали духом. Мы продолжали стрелять. Вдруг в войске Биасу послышались жалобные вопли, среди которых то и дело повторялось имя Бюг-Жаргаль. Мятежников охватила паника. Несколько негров Красной Горы появились на утесе, где развевалось алое знамя; они простерлись перед ним, затем сняли его с древка и кинулись с ним в пучину Большой реки. Это, должно быть, означало, что их начальник убит или взят в плен.

Тут мы так осмелели, что я решил прогнать оставшихся на скалах мятежников при помощи холодного оружия. Я велел перекинуть мост из стволов с нашей вершины на ближайшую скалу и бросился первым в гущу чернокожих. Мои солдаты побежали было за мной, но один из мятежников ударом топора сбил наш мост, который разлетелся на части. Его обломки, со страшным грохотом ударяясь о скалы, свалились в пропасть.

Я обернулся; в ту же минуту я почувствовал, что меня схватили шесть или семь негров, которые тотчас обезоружили меня. Я защищался, как лев; но они связали меня веревками из древесной коры, не обращая никакого внимания на град пуль, которыми их осыпали мои солдаты.

Мое отчаяние уменьшилось лишь когда я услышал победные крики, вскоре зазвучавшие вокруг меня; тут я увидел, что негры и мулаты бегут врассыпную, карабкаясь на самые отвесные вершины с жалобными воплями. Мои стражи последовали за ними; самый сильный из всех взвалил меня на спину и побежал в лес, перескакивая с камня на камень с ловкостью серны. Отблески пожара вскоре перестали освещать ему путь; но ему было довольно и слабого лунного сияния; он лишь немного замедлил шаг.

Мы долго пробирались сквозь чашу, пересекли много горных потоков и, наконец, вышли в необыкновенно дикую долину, расположенную высоко в горах. Это место было мне совершенно незнакомо.

Долина эта находилась в самом сердце гор, в местности, называемой в Сан-Доминго «Двойным хребтом». Это была большая зеленая саванна, вокруг которой стеной стояли голые скалы, вся усеянная рощицами из сосен, бакаутов и капустных пальм. Резкий холод, постоянно царящий в этой части острова, хотя там и не бывает морозов, еще усиливался благодаря предрассветной свежести ночи. Высокие белые вершины окружающих гор начали розоветь под первыми лучами солнца, но долина, погруженная еще в глубокую тьму, освещалась только множеством зажженных неграми костров; здесь был их сборный пункт. Разрозненные части их войска в беспорядке стекались сюда. Каждую минуту появлялись отдельные кучки растерянных негров и мулатов, испускавших крики отчаяния и ярости. Все новые и новые огни загорались кругом, сверкая в темной саванне, словно глаза тигра, и указывали на то, что лагерь разрастается.

Негр, взявший меня в плен, сбросил меня у подножия дуба, откуда я безучастно наблюдал эту фантастическую картину. Он привязал меня за пояс к стволу дерева, под которым я стоял, затянул покрепче двойные узлы, так что я не мог пошевелиться, надвинул мне на голову свой красный шерстяной колпак, должно быть, чтоб утвердить этим свое право собственности, и, полагая, что теперь я не смогу ни убежать, ни быть отнятым у него другими, собрался уходить. Тут я решил заговорить с ним и спросил его на местном креольском наречии, какого он отряда: из Дондона или с Красной Горы. Он остановился и ответил мне с гордостью: «Красная Гора!» Тогда мне в голову пришла новая мысль. Я не раз слышал о великодушии вождя этой банды — Бюг-Жаргалья, и хотя без сожаления думал о смерти, которая избавила бы меня от всех моих несчастий, но мысль об истязаниях, предстоящих мне, если я попаду в лапы Биасу, внушала мне невольный страх. Я желал смерти, но без пыток. Быть может, это была слабость, но мне кажется, что в подобные минуты наша человеческая

природа всегда возмущается. И вот я подумал, что если бы мне удалось ускользнуть от Биасу, быть может, Бюг-Жаргаль дал бы мне умереть без мучений, смертью солдата. Я попросил этого негра с Красной Горы отвести меня к его вождю Бюг-Жаргалю. Он вздрогнул. «Бюг-Жаргаль! — воскликнул он, с отчаянием ударив себя по лбу; но это отчаяние быстро сменилось бешенством, и он закричал, грозя мне кулаком: — Биасу! Биасу!» Назвав это страшное имя, он ушел.

Ярость и горе негра напомнили мне ту сцену во время битвы, из которой мы заключили, что вождь банды с Красной Горы взят в плен или убит. Теперь я в этом больше не сомневался и приготовился к мести Биасу, которою, видимо, угрожал мне негр.

XXVI

Долина все еще была окутана мраком, а количество негров и число огней непрерывно возрастало. Недалеко от меня группа негритянок разожгла большой костер. По множеству браслетов из синих, красных и фиолетовых стеклянных бус, блестящих на их руках и ногах, по тяжелым кольцам, вдетым в уши, по перстням, украшавшим все пальцы на руках и на ногах, по амулетам, висевшим у них на груди, по особым «магическим» ожерельям на шее, по передникам из пестрых перьев — единственной одежде, прикрывавшей их наготу, а больше всего по их ритмическим выкрикам и свирепым, блуждающим взглядам я понял, что это «гриотки». Вам, вероятно, неизвестно, что среди черных племен, населяющих разные области Африки, встречаются негры, обладающие каким-то особым грубым поэтическим талантом и даром импровизации, напоминающим безумие. Эти негры, кочуя с места на место по своей дикой стране, являются тем, чем были в древности рапсоды, а в средние века — менестрели в Англии, миннезингеры в Германии и труверы во Франции. Их называют «гриотами». Их жены — гриотки, одержимые тем же духом безумия, сопровождают дикие песни своих мужей разнузданными плясками, которые кажутся уродливой пародией на танцы индостанских баядерок и египетских

алмей. Несколько таких женщин уселись неподалеку от меня, поджав под себя ноги по африканскому обычаю, вокруг большой кучи хвороста, горевшей ярким пламенем и бросавшей красные отблески на их отвратительные лица.

Как только круг сомкнулся, они взялись за руки, и самая старая из них, с пером цапли в волосах, принялась выкрикивать «Уанга!» Я понял, что они собираются совершить один из своих колдовских обрядов, известный под этим названием. Все повторили за ней: «Уанга!» После сосредоточенного молчания старуха вырвала у себя клоч седых волос, бросила его в огонь и произнесла слова заклинания: «Malé o guiab!», что на наречии негров и креолов значит: «Я иду к чорту». Все гриотки, подражая движениям старухи, бросили в огонь по пряди своих волос, повторив торжественно: «Malé o guiab!»

Это нелепое восклицание и сопровождавшие его уморительные гримасы невольно вызвали у меня тот неудержимый судорожный припадок, который иногда овладевает против воли человеком самым серьезным и даже погруженным в глубокую печаль и который называют бешеным хохотом. Я тщетно пытался сдержать его, но он прорвался. Этот хохот, вырвавшийся из моей стесненной груди, повлек за собой мрачную сцену, ужасную и фантастическую.

Все негритянки, потревоженные в своем священнодействии, сразу вскочили на ноги, словно их внезапно разбудили от сна. До тех пор они не замечали меня. Они бросились ко мне толпой, с воплями: «Blanco! Blanco!»¹ Никогда я не видел сборища таких отвратительных в своем разнообразии лиц, как эти разъяренные черные маски с белыми зубами и блестящими белками, на которых набухли кровавые жилы.

Они хотели растерзать меня. Старуха с пером в волосах подала знак и несколько раз прокричала: «Zoté cordé! Zoté cordé!»² Тогда эти одержимые вдруг остановились, затем, к моему немалому удивлению, все разом отвязали свои передники из перьев, побросали их на траву и пустились вокруг меня в непристойную пляску, которую негры называют «чика».

¹ Белый! Белый! (исп.)

² Приготовьтесь! Приготовьтесь! (Прим. авт.)

Эта пляска, которая своими смешными движениями и быстрым темпом обычно выражает лишь веселье и удовольствие, теперь по многим причинам приняла зловещий характер. Злобные взгляды, которые гриотки бросали на меня во время своих игривых прыжков, мрачный оттенок, который они придавали веселой мелодии танца, длинные, пронзительные стоны, которые почтенная председательница этого черного синедриона время от времени извлекала из своего «балафо» (инструмента, напоминающего шпинет, рокоchущий, как органчик, и состоящий из двух десятков деревянных трубочек разной длины и толщины), а больше всего омерзительный смех, с которым эти голые ведьмы, прерывая свой танец, по очереди подбегали ко мне так близко, что почти касались лицом моего лица, — все это ясно предвещало мне, какому ужасному наказанию должен подвергнуться белый, осквернивший их обряд «Уанга». Я помнил обычай дикарей плясать вокруг пленника перед тем, как прикончить его, и терпеливо дожидался, когда женщины исполнят свой балет в драме, развязку которой я должен буду обогреть своей кровью. Однако я не мог не содрогнуться, когда увидел, что, по особому звуку балафо, каждая женщина положила в пылавший костер клинок сабли или топор, длинную парусную иглу, клещи или пилу.

Пляска подходила к концу; орудия пытки раскалились докрасна. По знаку старухи женщины направились к костру длинной вереницей и одна за другой стали вынимать из огня какое-нибудь ужасное орудие. Те, кому нехватило раскаленного железа, вытаскивали горящие головни.

Тут только я понял, какая пытка ждет меня, понял, что каждая из этих танцовщиц будет моим палачом. По новому знаку своей предводительницы женщины, жалобно завывая, пустились в последний хоровод. Я закрыл глаза, чтобы не видеть этих скачущих дьяволиц, которые, задыхаясь от бешенства и усталости, равномерно взмахивали над головой своими раскаленными орудиями и, с резким стуком ударяя их друг о друга, рассыпали кругом мириады искр. Весь напрягшись, я ждал, что вот-вот раскаленное железо вопьется в мое тело, сжигая мои кости, разрывая мои жилы, что я почувствую жгучие укусы всех этих пил и клещей, и дрожь пробежала по мне с головы до ног... То была ужасная минута.

К счастью, она длилась недолго. Танец гриоток уже кончался, когда я услышал вдали голос негра, взявшего меня в плен. Он бежал к нам, крича: «Que haceis mugeres de demonio? que haceis alli? Dexais mi prisionero!»¹. Я открыл глаза. Уже совсем рассвело. Негр подбежал к костру с угрожающими жестами. Гриотки остановились; но, казалось, они не столько испугались его угроз, сколько смутились, увидев позади него странного человечка.

Он был очень толст и очень мал ростом, почти карлик, лицо его было закрыто белым покрывалом с тремя дырками — для глаз и для рта, вроде тех, что надевают кающиеся. Это покрывало спускалось ему на шею и на плечи, оставляя открыгой обнаженную волосатую грудь, и мне показалось по цвету его кожи, что это замбо; на груди у него блестело висевшее на золотой цепочке серебряное солнце, отломанное от дароносицы. Рукоятка грубого кинжала, имевшая форму креста, торчала у него из-за пунцового пояса, поддерживавшего юбку в зеленую, желтую и черную полосу, с бахромой, которая спускалась до его уродливых, широких ступней. В руках, голых, как и его грудь, он держал белую палку; за поясом, рядом с кинжалом, у него висели драгоценные четки, а на голове была остроконечная шапка с бубенчиками, в которой, когда он приблизился, я, к немалому своему удивлению, узнал шутовской колпак Хабибры. Только теперь, среди иероглифов, которыми была разрисована эта своеобразная митра, виднелись пятна крови. Вероятно, то была кровь верного шута. Эти следы насилия показались мне лишним доказательством его смерти и пробудили в моем сердце последнее сожаление о нем.

Когда гриотки увидели этого наследника шутовского колпака Хабибры, они закричали все разом: «Оби!» — и пали ниц перед ним. Я догадался, что это колдун из армии Биасу. «Basta! Basta! — сказал он глухим и властным голосом, подходя к ним. — Dexais el prisionero de Biassu»². Все негритянки поспешно вскочили, побросали свои орудия смерти, подхватили передники из перьев и, по знаку оби, рассыпались во все стороны, как стая саранчи.

¹ Что вы делаете, проклятые ведьмы! Что вы там делаете? Оставьте моего пленника! (*исп. — Прим. авт.*)

² Довольно! Довольно! Оставьте пленника Биасу (*исп. — Прим. авт.*).

В эту минуту взгляд оби остановился на мне; он вздрогнул, отступил на шаг и протянул белую палку в сторону гриотов, как будто хотел вернуть их назад. Однако, пробормотав сквозь зубы: «Maldicho»¹ и сказав несколько слов на ухо негру, он медленно удалился, скрестив руки на груди, в глубокой задумчивости.

XXVII

Охранявший меня негр сообщил мне, что меня желает видеть Биасу и что через час я должен быть готов к свиданию с ним.

Это во всяком случае был лишний час жизни. В ожидании, пока пройдет этот час, глаза мои блуждали по лагерю мятежников, и его странный облик вырисовывался передо мной при свете дня со всеми подробностями. Не будь я в таком подавленном состоянии, я, наверно, не мог бы удержаться от смеха над глупым тщеславием негров, нацепивших на себя разные военные принадлежности и части церковного облачения, снятые ими со своих жертв. Большинство их нарядов превратилось уже в изодранные и окровавленные лохмотья. Часто можно было увидеть офицерский значок, блестящий под монашеским воротником, или эполет на ризе. Вероятно, стремясь отдохнуть от тяжелого труда, на который они были обречены всю жизнь, негры пребывали в полном бездействии, несвойственном нашим солдатам, даже когда они сидят в палатках. Некоторые из них спали прямо на солнцепеке, положив голову у пылающего костра; другие, смотря перед собой то тусклым, то злобным взглядом, тянули монотонный напев, сидя на корточках у своих аюурас, своеобразных шалашей, покрытых банановыми или пальмовыми листьями и напоминающих конической формой крыш наши солдатские палатки. Их чернокожие или меднокожие жены готовили пищу для сражавшихся, а негритята помогали им. Я видел, как они размешивали деревянными вилами ямс, бананы, картофель, горох, кокосы, маис, карибскую капусту, называемую здесь тауо, и много других

¹ Проклятый! (исп. — Прим. авт.)

местных плодов, которые варились вместе с большими кусками свинины, собачьего и черепашого мяса, в громадных котлах, украденных у плантаторов. Вдалеке, на самом краю лагеря, гриоты и гриотки водили большие хороводы вокруг костров, и ветер доносил до меня обрывки их диких песен, звуки гитар и балафо. Несколько дозорных, размещенных на вершинах соседних скал, обозревали окрестности главного штаба Биасу, единственной защитой которого на случай нападения были тележки, нагруженные добычей мятежников и боевыми припасами, оцеплявшие весь лагерь. Эти черные часовые, стоявшие на вершинах остроконечных гранитных пирамид, вздымавшихся вокруг всей долины, осматриваясь, все время крутились на одном месте, как флюгера на шпилях готических башен, и кричали друг другу во всю силу своих легких: «Nada! Nada!»¹ — это значило, что лагерю не грозит никакая опасность.

Время от времени вокруг меня собирались кучки любопытных; негры смотрели на меня с угрожающим видом.

XXVIII

Наконец ко мне подошел отряд довольно хорошо вооруженных цветных солдат. Негр, которому я, повидимому, принадлежал, отвязал меня от дуба и передал начальнику отряда, а тот вручил ему взамен довольно увесистый мешочек, который он тотчас же раскрыл. Там были пиастры. Пока мой негр, опустившись на колени, жадно пересчитывал их, солдаты увели меня. Я с любопытством рассматривал их одежду. На них были трехцветные мундиры испанского покроя из грубого коричневого, красного и желтого сукна. Шапки вроде кастильских *montera*², украшенные большой красной кокардой³, скрывали их курчавые волосы. Вместо лялдушки у них сбоку висело что-то вроде охотничьей сумки. Каждый был вооружен тяжелым ружьем, саблей и кинжалом. Вскоре я узнал, что такую форму носили телохранители Биасу.

¹ Ничего! Ничего! (*Прим. авт.*)

² Суконная шапка (*исп.*).

³ Известно, что это цвет испанской кокарды. (*Прим. авт.*)

Покружив некоторое время между неправильными рядами шалашей, которые усеивали весь лагерь, мы подошли ко входу в грот, высеченный самой природой в отвесном склоне одной из громадных скал, окружавших высокой стеной саванну. Внутренность этой пещеры была скрыта от глаз большим занавесом из тибетской ткани, называемой кашемиром и отличающейся не столько яркостью красок, сколько мягкостью складок и разнообразием рисунка. Перед ней стояло несколько сдвоенных рядов солдат, одетых так же, как и те, что привели меня.

Обменявшись паролем с двумя часовыми, шагавшими перед входом в грот, начальник отряда приподнял край кашемирового занавеса, ввел меня в пещеру и снова опустил его за мной.

Медная лампа с пятью рожками, подвешенная к своду на цепях, бросала колеблющийся свет на сырые стены пещеры, скрытой от дневного света. Между двумя шеренгами солдат-мулатов я увидел чернокожего, сидящего на толстом обручке красного дерева, наполовину прикрытом ковром из перьев попугая. Этот человек принадлежал к племени сакатра, которое отличается от негров только едва заметным оттенком кожи. Одет он был самым нелепым образом. Прекрасный плетеный шелковый пояс, на котором висел крест св. Людовика, низко перетягивал ему живот и поддерживал синие штаны из грубого холста; белая канифасовая куртка, такая короткая, что не доходила ему до пояса, дополняла его наряд. На нем были серые сапоги, круглая шляпа с красной кокардой и эполеты — один золотой, генеральский, с двумя серебряными звездочками, а другой желтый, суконный. Ко второму были прикреплены две медные звездочки, очень похожие на колесики со шпор, для того, вероятно, чтобы он был достойной парой своему блестящему соседу. Эполеты, не прикрепленные поперечными шнурками на своих обычных местах, свисали с двух сторон на грудь начальника. Подле него, на ковре из перьев, лежала сабля и пистолеты прекрасной чеканной работы.

За его спиной безмолвно и неподвижно стояли двое детей, одетых в грубые штаны невольников, и держали в руках по широкому вееру из павлиньих перьев. Дети-невольники были белые.

Две квадратные подушки малинового бархата, снятые, должно быть, со скамеек для молящихся в какой-нибудь церкви, лежали слева и справа у обрубка красного дерева, вместо сидений. Правое занимал оби, который спас меня от разъяренных гриотов. Держа прямо перед собой свой жезл, он сидел поджав ноги, неподвижный, как фарфоровый божок в китайской пагоде. Только его горящие глаза сверкали сквозь дырки в покрывале, неотступно следуя за мной.

По обе стороны начальника стояло множество знамен, флагов и вымпелов, среди которых я заметил белое знамя с лилиями, трехцветный флаг и флаг Испании. Остальные были самой причудливой формы и цвета. Среди них находилось большое черное знамя.

Мое внимание привлек еще один предмет, находившийся в глубине грота, над головой начальника. Это был портрет мулата Оже, колесованного в прошлом году в Капе за мятеж, вместе с его лейтенантом Жан-Батистом Шаваном и двадцатью другими неграми и мулатами. На этом портрете Оже, сын капского мясника, был изображен так, как он обычно заставлял рисовать себя: в мундире подполковника, с крестом св. Людовика и орденом Льва, купленным им в Европе, у принца Лимбургского.

Черный начальник, перед которым я стоял, был среднего роста. Его отталкивающее лицо выражало редкую смесь хитрости и жестокости.

Он приказал мне приблизиться и несколько минут молча рассматривал меня: затем принялся посмеиваться, точно гиена.

— Я Биасу! — сказал он.

Я ожидал, что услышу это имя, но когда оно слетело с его уст со свирепым смехом, я внутренне содрогнулся. Лицо мое, однако, осталось спокойным и гордым. Я ничего не ответил.

— Слышишь, — сказал он мне на плохом французском языке, — тебя ведь еще не посадили на кол, значит ты можешь согнуть свою спину перед Жаном Биасу, главнокомандующим побежденных стран, генерал-майором войск *Su Magestad Catolica*¹. (Тактика главных вождей мятежников заключалась в попытках убедить противника,

¹ Его католического величества (*исп. — Прим. авт.*).

будто они выступают либо за французского короля, либо за революцию, либо за короля Испании.)

Скрестив руки на груди, я пристально смотрел на него. Он снова начал посмеиваться. Видно, у него была такая привычка.

— Ого, *me pareces hombre de buen corazon*¹. Так слушай, что я тебе скажу. Ты креол?

— Нет, я француз, — ответил я.

Он нахмурился, видя мое самообладание. Затем продолжал, посмеиваясь:

— Тем лучше! Я вижу по твоему мундиру, что ты офицер. Сколько тебе лет?

— Двадцать.

— Когда тебе минуло двадцать лет?

Этот вопрос пробудил во мне много мучительных воспоминаний, и я промолчал, на минуту погрузившись в свои мысли. Он нетерпеливо повторил свой вопрос.

Я ответил ему:

— В тот самый день, когда был повешен твой товарищ Леогри.

Лицо его исказилось от злобы, но он сдержался и продолжал, все так же посмеиваясь:

— С тех пор как был повешен Леогри, прошло двадцать три дня. Сегодня вечером, француз, ты передашь ему, что пережил его на двадцать четыре дня. Я дам тебе прожить еще этот день, чтобы ты мог рассказать ему, как идет дело освобождения его братьев, что ты видел в главном штабе генерал-майора Жана Биасу и какова власть этого главнокомандующего над «подданными короля».

Этим именем Жан Биасу и его товарищ Жан-Франсуа, заставлявший титуловать себя «генерал-адмиралом Франции», называли свои орды бунтующих негров и мулатов.

После этого он велел посадить меня в углу пещеры, между двумя часовыми, и, сделав знак рукой нескольким неграм, нацепившим на себя форму адъютантов, приказал:

— Бейте сбор. Пусть вся армия соберется против нашего главного штаба, мы произведем ей смотр. А вы, господин капеллан, — сказал он, повернувшись к оби, — облачитесь в священническую одежду и отслужите нам и нашим солдатам святую обедню.

¹ Ты мне кажешься храбрым человеком (*исп. — Прим. авт.*).

Оби встал, отвесил глубокий поклон Биасу и прошептал ему на ухо несколько слов, но начальник резко прервал его, громко сказав:

— Как, сёйог сига! ¹ Вы говорите, что у вас нет алтаря! Что ж тут удивительного, раз вы находитесь в горах? Подумаешь, какая беда! С каких это пор *bon Giu* ² требует от своих служителей роскошного храма и алтаря, украшенного золотом и кружевами? Геден и Иисус Навин поклонялись богу среди голых камней; последуем же их примеру, *bon reg* ³; богу довольно, чтобы ему молились от всего сердца. У вас нет алтаря! А разве вы не можете взять себе вместо алтаря этот большой ящик из-под сахара, вытасканный третьего дня подданными короля из дома Дюбюисона?

Желание Биасу было тотчас же исполнено. В один миг пещера была приготовлена для пародии на богослужение. Принесли ковчег и дарохранительницу со святыми дарами, похищенные из той самой церкви в Акюле, где наш союз с Мари получил благословение неба, вслед за чем так быстро последовали все наши несчастья. Украденный ящик из-под сахара превратили в алтарь, прикрыв его простыней вместо покрыва; однако на боковых стенках этого алтаря можно было прочесть надпись: «Дюбюисону и К° в Нанте».

Когда священные сосуды были расставлены на алтаре, оби заметил, что там нехватает креста; недолго думая, он вытащил из-за пояса свой кинжал с крестообразной рукояткой и воткнул его в ящик, прямо перед ковчегом, между дарохранительницей и чашей. Затем, не снимая своей колдовской шапки и покрывала кающегося, он быстро накиннул себе на голую грудь и спину ризу, украденную у акюльского священника, расстегнул серебряные застёжки требника, по которому читались молитвы во время моего рокового венчания, и, повернувшись к Биасу, сидение которого было в нескольких шагах от алтаря, низким поклонном возвестил, что он готов.

Тогда по знаку Биасу кашемировый занавес был отдернут, и мы увидели все черное войско, выстроившееся

¹ Господин священник (*исп.*).

² Господь бог. — Креольское наречие. (*Прим. авт.*)

³ Почтенный отец. — Креольское наречие. (*Прим. авт.*)

плотными каре перед входом в пещеру. Биасу снял свою круглую шляпу и опустился на колени перед алтарем.

«На колени!» — крикнул он громким голосом. «На колени!» — повторили начальники каждого отряда. Послышался барабанный бой. Вся толпа опустилась на колени.

Один я не двинулся с места, глубоко возмущенный кощунством, совершавшимся перед моими глазами; но два здоровенных мулата, стороживших меня, выбили из-под меня сидение, грубо толкнули меня в спину, и я упал на колени, как и все, вынужденный оказать подобие уважения этому подобию богослужения.

Оби служил с торжественным видом. Два белых паж Биасу прислуживали ему вместо дьякона и пономаря.

Толпа бунтовщиков, попрежнему распростертая на земле, внимала торжественному обряду с благоговением, и главнокомандующий первый подавал им пример. Перед причастием оби, подняв обеими руками чашу с дарами, повернулся к войску и прокричал на креольском наречии:

— *Zoté coné bon Giu; ce li mo fé zoté voer. Blan touyé li, touyé blan yo toute!*¹

При этих словах, произнесенных сильным голосом, который показался мне знакомым, точно я где-то раньше слышал его, вся толпа зарычала; негры долго потрясали оружием, стуча им над головой, и потребовалось вмешательство самого Биасу, чтоб этот зловещий лязг не стал для меня похоронным звоном. Я понял, до какого иступления можно довести отвагу и жестокость этих людей, которым кинжал заменял крест и на которых каждое впечатление оказывает такое быстрое и сильное действие.

XXIX

Когда обедня закончилась, оби повернулся к Биасу и отвесил ему почтительный поклон. Биасу встал и обратился ко мне по-французски:

— Нас обвиняют в том, что мы безбожники; теперь ты видишь, что это клевета и что все мы — добрые католики.

¹ «Теперь вы poznали господя; вот я показываю его вам. Белые убили его; убивайте всех белых!»

Впоследствии Тусен-Лувертюр постоянно обращался к неграм после причастия с такими же словами. (*Прим. авт.*)

Не знаю, говорил ли он с насмешкой, или серьезно. Потом он приказал подать ему стеклянный сосуд, полный черных маисовых зерен, бросил туда горсть белых зерен и, подняв его высоко над головой, чтобы все войско могло видеть, сказал:

— Братья, вы — черный маис, а белые, ваши враги, — белый маис!

С этими словами он встряхнул сосуд, и когда почти все белые зерна скрылись под черными, он воскликнул с вдохновенным и торжествующим видом:

— Guetté blan ci la ta!¹

Оглушительный крик, много раз подхваченный эхом в окрестных горах, был ответом на притчу предводителя. Биасу продолжал, пересыпая свой ломаный французский язык креольскими и испанскими фразами.

— El tiempo de la mansuetud es pasado². Мы долго терпели, как бараны, чью шерсть белые сравнивают с нашими волосами; будем же теперь безжалостны, как пантеры и ягуары тех стран, откуда белые вырвали нас. Только силой можно завоевать себе право; все принадлежит тому, кто силен и не знает жалости. У святого Волка³ два праздника в грегорианском календаре, а у пасхального агнца только один! Правда, господин капеллан?

Оби поклонился, подтверждая его слова.

— Они пришли к нам, — продолжал Биасу, — они пришли, эти враги человеческого рода, эти белые — колонизаторы, плантаторы, торговцы, эти *verdaderos demonios*⁴, которых изрыгнула Алектро! *Son venidos con insolencia*⁵; они были великолепно с виду, увешаны оружием, в роскошной одежде, с султанами на шапках, и они презирали нас за нашу черную кожу и за наготу. В своей гордости они думали, что могут разогнать нас так же легко, как эти павлиньи перья рассеивают черную стаю комаров и москитов.

Сделав это сравнение, Биасу выхватил веер у одного из белых рабов, всегда следовавших за ним, и стал не-

¹ Видите, что значат белые в сравнении с вами! (Прим. авт.)

² Время благодушия миновало (исп. — Прим. авт.).

³ Saint-Loup (волк) — святой Лупп.

⁴ Сущие дьяволы (исп.)

⁵ Они нагло вторглись (исп. — Прим. авт.).

истово размахивать им над головой. Затем он продолжал:

— Но наше войско, о мои братья, обрушилось на них, как полчища муравьев на труп; они падали в своих нарядных мундирах под ударами наших голых рук, силы которых они не оценили, ибо не знали, что хорошее дерево крепче без коры. Теперь эти ненавистные тираны трепещут! *Yo gagné peur!* ¹

На крик начальника толпа ответила радостным и торжествующим ревом; со всех сторон неслось: «*Yo gagné peur!*»

— Черные, креолы и негры конго! — продолжал Биасу. — Месть и свобода! Мулаты, не давайте смягчить себя, не поддавайтесь обольщениям *de los diabolos blancos* ². Ваши отцы в их рядах, но ваши матери с нами. К тому же, о *hermanos de mi alma* ³, они никогда не обращались с вами как отцы, а только как хозяева; вы были теми же рабами, что и негры. Жалкая повязка едва прикрывала ваши сожженные солнцем бедра, а ваши жестокие отцы щеголяли в *buenos sombreros* ⁴, носили в будни нанковые куртки, в праздники — одежду из шерсти или бархата, а *diez y siete quartos la vara* ⁵. Прокляните этих извергов! Но так как святые заповеди господа бога запрещают убивать родного отца, не наносите ему удара своей рукой. Если вы увидите его в рядах врагов, кто мешает вам, друзья, сказать друг другу: «*Touyé rара тоё, та тоуё quena тоё!*» ⁶. Мщение, подданные короля! Свободу для всех! Этот призыв встретил отклик на всех островах; он впервые раздался на *Quisqueya* ⁷, он разбудил Табаго и Кубу. Вождь ста двадцати пяти беглых негров с Синей Горы, ямайский негр Букман, первый поднял знамя среди нас. Одержанная им победа была первым шагом к брат-

¹ Они боятся. — Креольское наречие. (Прим. авт.)

² Белых дьяволов (исп.).

³ О братья моей души (исп. — Прим. авт.).

⁴ В красивых шляпах (исп.).

⁵ По семнадцати кварталов за вару (испанская мера длины, равная приблизительно локтю). (Прим. авт.)

⁶ «Убей моего отца, а я убью твоего». Действительно, встречались мулаты, не решавшиеся сами пойти на отцеубийство и говорившие эти ужасные слова. (Прим. авт.)

⁷ Старинное название Сан-Доминго, означающее «Большая Земля». Туземцы называли его также *Aity*. (Прим. авт.)

скому союзу с неграми Сан-Доминго. Последуем же его славному примеру, взяв в одну руку факел, а в другую топор! Нет пощады белым, нет пощады плантаторам! Перебьем их семьи, опустошим их плантации; пусть не останется в их владениях ни одного дерева, не вывернутого с корнями из земли! Разгромим все, и пусть земля поглотит всех белых. Смело вперед, друзья и братья! Мы будем драться и уничтожать! Победа или смерть! Если мы победим, настанет наш черед наслаждаться всеми радостями жизни; если умрем, мы пойдем на небо, в рай, где святые ждут нас и где каждый храбрец будет получать двойную порцию d'aguardiente¹ и по целому пиастру в день!

Эта своеобразная солдатская проповедь, которая вам, господа, кажется только смешной, произвела на мятежников сильнейшее впечатление. Правда, необыкновенно выразительные жесты и мимика Биасу, вдохновенный голос и странный смех, иногда прерывавший его речь, придавали ей какую-то чудесную, неотразимую силу. Искусство, с каким он вплетал в свои пышные фразы подробности, разжигавшие страсти и чаяния мятежников, еще усиливало это красноречие, рассчитанное на его неискушенных слушателей.

Я не берусь описать вам, какой мрачный восторг охватил войско мятежников после речи Биасу. Крики, стоны, вопли слились в оглушительный хор. Одни били себя в грудь, другие громко стучали саблями и дубинами. Многие, стоя на коленях или простершись на земле, застыли в немом экстазе. Некоторые негритянки раздирали себе руки и грудь рыбьими костями, служившими им гребенками для расчесывания волос. Звуки гитар, барабанов, тамтамов, балафо смешивались с ружейными выстрелами. Это был настоящий шабаш.

Биасу подал знак рукой; шум стих, как по волшебству; каждый негр молча стал на свое место. Эта дисциплина, которой Биасу сумел подчинить людей, равных себе, единственно превосходством своей мысли и воли, поразила и, можно даже сказать, восхитила меня. Казалось, что все солдаты этой мятежной армии говорят и двигаются по мановению руки своего начальника, точно клавиши фортепиано под пальцами музыканта.

¹ Водка. (Прим. авт.)

Новое зрелище, новый вид шарлатанства и обмана привлек теперь мое внимание: началась перевязка раненых. Оби, исполнявший в этой армии двойную роль — врача духовного и врача телесного, начал осмотр больных. Он снял с себя церковное облачение и велел принести большой ящик с несколькими отделениями, где у него хранились лекарства и хирургические инструменты. Он очень редко пользовался этими орудиями и, за исключением ланцета из рыбьей кости, которым он очень ловко пускал кровь, казалось, не умел толком обращаться ни с клещами, служившими ему пинцетом, ни с кинжалом, заменявшим ему операционный нож. В большинстве случаев он ограничивался тем, что прописывал больным отвар из лесных апельсинов, настойку из оспенного корня и сарсапарели, а также несколько глотков выдержанной сахарной водки. Его любимым лекарством, которое он считал всеисцеляющим, было три стакана красного вина, куда он подмешивал стертый в порошок мускатный орех и желток крутого яйца, испеченного в золе. Он употреблял это снадобье для лечения всевозможных болезней и ран. Вы, конечно, понимаете, что его медицина была так же смехотворна, как и религия, которую он проповедовал; очень возможно, что небольшого числа излечений, случайно удавшихся ему, было бы недостаточно, чтобы сохранить доверие негров, если бы он, раздавая свои зелья, не прибегал к разным фокусам и не старался тем сильнее действовать на воображение своих больных, чем меньшее влияние он оказывал на ход их болезни. Так, иногда он только прикасался к их ранам, делая какие-то таинственные знаки; иногда, ловко пользуясь сохранившимися у них остатками прежних суеверий, смешавшихся в их сознании с недавно усвоенным католицизмом, он вкладывал в раны волшебный камешек, обернутый в корпию, и больной приписывал камню облегчение, принесенное ему корпией. Если оби сообщали, что один из его раненых умер от раны, а может и от его лечения, он говорил торжественно: «Я это предвидел, он был предателем; во время такого-то пожара он спас белого. Смерть была ему наказанием!» — и ошеломленная толпа мятежников хлопала ему, все больше про-

никаясь чувством ненависти и мщения. Один из способов лечения этого шарлатана особенно поразил меня. Он применил его к одному черному начальнику, довольно серьезно раненному во время последнего сражения. Оби долго рассматривал его рану, перевязал ее как сумел, потом, взобравшись на алтарь, воскликнул: «Все это пустилки!» Вслед за тем он вырвал три-четыре страницы из требника, сжег их на пламени светильника, украденного в акюльской церкви, и, смешав пепел этих священных листов с несколькими каплями вина в чаше для причастия, сказал раненому: «Пей, это твое исцеление»¹. Глупый негр выпил, уставившись полными доверия глазами на обманщика, который простер руки над его головой, как будто призывая на него благословение неба; и возможно, что вера в исцеление помогла негру исцелиться.

XXXI

За этой сценой последовала другая, где тот же оби, скрытый под покрывалом, опять играл главную роль: священника сменил доктор, а доктора колдун.

— *Hombres escuchate!*² — закричал оби, с необыкновенной ловкостью вскакивая на импровизированный алтарь и усаживаясь на нем, скрестив ноги под своей пестрой юбкой. — *Escuchate, hombres!* Пусть те, кто хочет прочесть в книге судеб свое будущее, подходят ко мне, я сообщу вам его; *hé estudiado la ciencia de los Gitanos*³.

Толпа негров и мулатов сейчас же бросилась к нему.

— Подходите по одному! — сказал оби, в глухом и сдавленном голосе которого иногда прорывались крикли-

¹ Этот способ лечения до сих пор довольно распространен в Африке, в частности среди мавров Триполи, которые часто бросают в свое питье пепел страницы из книги Магомета. Такому зелью они приписывают чудодейственную силу.

Один английский путешественник, я уж не помню кто именно, называл этот напиток «настойкой из Алкорана». (*Прим. авт.*)

² Люди, слушайте! — Смысл, который испанцы вкладывают в данном случае в слово *hombres*, не поддается переводу. Это больше, чем «люди», и меньше, чем «друзья». (*Прим. авт.*)

³ Я изучал науку цыган (*исп. — Прим. авт.*).

вые ноты, будившие во мне какие-то неясные воспоминания. — Если вы подойдете все вместе, то все вместе отправитесь в могилу.

Они остановились. В эту минуту к Биасу подошел мулат, одетый в белую куртку и брюки; голова его была повязана шелковым платком, какие носят богатые плантаторы. Лицо его выражало ужас.

— В чем дело? — тихо спросил его главнокомандующий. — Что с вами, Риго?

Это был начальник отряда мулатов из Кэй, известный впоследствии под именем «генерала Риго», хитрец под личиной простака, скрывавший свою жестокость под напускной кротостью. Я внимательно разглядывал его.

— Генерал, — ответил Риго (он говорил очень тихо, но я сидел около Биасу и слышал его слова), — у входа в лагерь дожидается гонец от Жана-Франсуа. Букман только что убит в схватке с Тузаром; говорят, что белые собираются выставить его голову, как трофей, у себя в городе.

— И только? — спросил Биасу; глаза его вспыхнули тайной радостью при мысли, что число начальников уменьшается, а следовательно, его значение увеличивается.

— Гонец Жана-Франсуа хочет еще передать вам пакет.

— Хорошо, — ответил Биасу, — но не смотрите на меня, точно выходец из могилы, мой милый Риго.

— Разве вы не боитесь, генерал, что смерть Букмана произведет тяжелое впечатление на ваше войско? — возразил Риго.

— Вы не так просты, как кажется, Риго, — ответил начальник, — сейчас вы увидите, каков Биасу. Задержите только гонца на четверть часа.

И он подошел к оби, который в течение этого разговора, слышанного только мной, начал свои пророчества; он задавал вопросы зачарованным неграм, рассматривал линии на их лбах и руках и дарил им больше или меньше счастья в будущем, смотря по звону, цвету и величине монеты, бросаемой каждым из них в блюдо золоченого серебра, стоявшее у его ног. Биасу сказал ему на ухо несколько слов. Колдун, не отрываясь, продолжал свое гадание по лицам.

— Тот, у кого на середине лба линию солнца пересекает маленький четырехугольный или треугольный значок, тот без труда и без забот приобретет большое богатство.

Рисунок, похожий на три буквы S, стоящие рядом на лбу, будь то посередине или сбоку, — знак зловещий: кто носит такой знак, непременно утонет, если не будет всеми силами избегать воды.

Четыре линии, идущие от носа ко лбу и расходящиеся попарно, изгибаясь над глазами, указывают, что их обладатель попадет в плен на войне и будет жестоко страдать в руках врага.

Тут оби сделал небольшую паузу.

— Товарищи, — сказал он торжественно, — я видел этот знак на лбу у Бюг-Жаргалья, вождя храбрых воинов Красной Горы.

Эти слова, еще раз подтвердившие мне, что Бюг-Жаргаль взят в плен, вызвали горестные крики в толпе негров, чьи вожаки были в яркокрасных штанах; то были мятежники Красной Горы.

Между тем оби продолжал:

— Если у вас на лбу, с правой стороны, на линии луны есть значок, похожий на вилы, — бойтесь праздности и избегайте кутежей. Небольшой, но очень важный значок, похожий на арабскую цифру 3, на линии солнца, предвещает палочные удары...

Тут колдуна прервал старый негр из испанского Доминго. Он подполз к нему, умоляя сделать ему перевязку. Он был ранен в лоб, один глаз был у него вырван и висел, весь залитый кровью. Во время обхода раненых оби забыл о нем. Теперь, увидев его, он воскликнул:

— Тоненькие кружочки в правой части лба, на линии луны, означают болезнь глаз. *Nombre*, — обратился он к несчастному раненому, — я ясно вижу этот знак у тебя на лбу; покажи свою руку.

— *Alas! exelentísimo señor!* — воскликнул тот. — *Mir'usted mi ojo!* ¹

— *Fatras* ², — ответил ему оби сердито, — очень мне нужен твой глаз! Дай руку, тебе говорят!

¹ Увы, великодушный сеньор, посмотрите мой глаз! (исп. — Прим. авт.)

² Так называли старых негров, неспособных к работе. (Прим. авт.)

Несчастный протянул ему руку, но продолжал бормотать: «*mi ojo!*»

— Прекрасно! — сказал колдун. — У кого на линии жизни виден маленький кружок с точкой посередине, тот окривеет, потому что этот знак предвещает потерю глаза. Вот здесь у тебя кружок и точка... ты окривеешь.

— *Ya le soy!*¹ — жалобно завыл старый негр.

Но оби, который сейчас уже не был врачом, грубо оттолкнул его и продолжал, не обращая внимания на жалобы бедного калеки:

— *Escuchate, hombres!* Если семь линий на лбу тонки, извилисты и слабо начертаны, это указывает, что человек проживет недолго.

Тот, у кого между бровями, на линии луны, виден значок, похожий на две скрещенные стрелы, погибнет в сражении.

Когда линия жизни, пересекающая нашу руку, заканчивается около кисти крестом, она предсказывает смерть на эшафоте.

Я должен сказать вам, *hermanos*², что один из храбрейших поборников свободы, Букман, отмечен всеми тремя роковыми знаками.

При этих словах все негры замерли и затаили дыхание; их широко открытые глаза, прикованные к шарлатану, выражали напряженное внимание, похожее на столбняк.

— Мне не ясно, — добавил оби, — сочетание этих двух знаков, угрожающих Букману одновременно смертью в бою и эшафотом. Однако искусство мое непогрешимо.

Он замолчал и переглянулся с Биасу. Биасу сказал несколько слов на ухо одному из своих адъютантов, и тот сразу вышел из пещеры.

— Открытый, безвольный рот, — продолжал оби, обращаясь к своим слушателям с хитрым и насмешливым выражением, — нелепая поза, болтающиеся руки, причем левая кисть отчего-то вывернута наружу, — все это свидетельствует о врожденном тупоумии, ничтожестве, пустоте и глупом любопытстве.

¹ Я уже окривел! (*исп.* — *Прим авт.*)

² Братья (*исп.*).

Биасу посмеивался. В эту минуту вернулся его адъютант; он привел с собой негра, покрытого пылью и грязью; по его исцарапанным колючками и разбитым о камни ногам было видно, что он прошел немалый путь. Это был гонец, о котором говорил Риго. В одной руке он держал запечатанный пакет, а в другой развернутый лист пергамента с большой печатью в виде пылающего сердца. В середине печати был изображен вензель из причудливо сплетенных букв М и Н, повидимому означавший союз свободных мулатов и негров-невольников. Около вензеля я прочел надпись: «Предрассудок побежден, цепи разбиты! Да здравствует король!» Этот пергамент был пропущ, выданный Жаном-Франсуа.

Гонец подал его Биасу и, поклонившись до земли, вручил ему запечатанный пакет. Главнокомандующий быстро вскрыл его, пробежал лежавшие в нем депеши, спрятал одну из них в карман своей куртки, а другую скомкал в руке и воскликнул с выражением отчаяния:

— Подданные короля!..

Все негры низко склонились перед ним.

— Подданные короля! Вот что сообщает Жану Биасу, главнокомандующему побежденных стран, генерал-майору войск его католического величества, Жан-Франсуа — генерал-адмирал Франции, фельдмаршал армии его величества вышеупомянутого короля Испании и Индии:

«Букман — вождь ста двадцати негров Синей Горы на Ямайке, признанных независимыми генерал-губернатором Белькомбом, сегодня погиб в славной битве за свободу и человечество, против деспотизма и варварства. Наш доблестный вождь был убит в схватке с белыми бандитами подлого Тузара. Эти изверги отрезали ему голову и объявили, что они с позором выставят ее на эшафоте, на военном плацу города Капа. — Мщение!»

Услышав это известие, толпа замерла в мрачном отчаянии. Но оби вскочил на ноги на алтаре и закричал с торжеством, размахивая своей белой палкой:

— Соломон, Зоробабель, Элеазар Талев, Кардано, Иуда Бовтарихт, Аверроэс, Альбер Великий, Боабдил, Жан де Хаген, Анна Баратро, Даниэль Огрумов, Рашель Флинц, Альторнино! Благодарю вас! Наука ясновидения не обманула меня. Hijos, amigos, hermanos, muchachos,

mozos, madres, y vosotros todos qui me escuchais aqui ¹. Что я предсказал? Que habia dicho? ² Знаки на лбу Букмана предвещали мне, что он проживет недолго и погибнет в сражении; линии на его руке — что он будет на эшафоте. Мое искусство никогда не обманывает, и события сами складываются так, чтобы все исполнилось, даже то, что нам кажется несовместимым, например смерть на поле сражения и на эшафоте. Братья, изумляйтесь!

Во время этой речи отчаяние негров сменилось каким-то суеверным ужасом. Они слушали оби с доверием и в то же время со страхом; а он, опьяненный своими словами, расхаживал взад и вперед по ящику из-под сахара, на крышке которого он мог свободно сделать несколько коротеньких шажков. Биасу посмеивался.

Затем он обратился к оби:

— Господин капеллан, раз вы умеете предсказывать будущее, нам было бы приятно, если б вы согласились сообщить, какая нас ждет судьба, нас, Жана Биасу, *mariscal de campo*? ³

Оби гордо остановился на шутовском алтаре, где негры, по своей наивности, принимали его за высшее существо, и сказал Биасу:

— *Venga, vuestra merced!* ⁴

В эту минуту оби был самым значительным человеком в армии. Власть военная склонилась перед властью жреческой. Биасу подошел. В глазах его светилась досада.

— Дайте вашу руку, генерал, — сказал оби, наклоняясь над ней. — *Emprezo* ⁵. Линия сустава, четкая и ровная по всей длине, обещает вам богатство и счастье. Линия жизни, длинная и ясная, предсказывает вам жизнь без болезней и бодрую старость; линия эта тонка, что свидетельствует о вашей мудрости, проницательном уме и великодушном сердце; и, наконец, я вижу на ней такой знак, какой хироманты считают самым счастливым: множество мелких морщинок, придающих ей форму дерева с густыми ветвями, поднимающимися вверх по ладони, — это верный

¹ Сыновья, друзья, братья, отроки, дети, матери и все, кто здесь слушает меня (*исп. — Прим. авт.*).

² Что я говорил? (*исп.*)

³ Генерал-майора (*исп.*).

⁴ Подойдите, ваша милость! (*исп. — Прим. авт.*)

⁵ Начинаю (*исп. — Прим. авт.*).

признак изобилия и величия. Линия здоровья очень длинна и подтверждает указания линии жизни; она же указывает на храбрость: загибаясь к мизинцу, она образует как бы крючок. Генерал, это признак справедливой строгости.

При этих словах блестящие глаза маленького колдуна усталились на меня сквозь дырки в его покрывале, и я снова услышал знакомые нотки, проскользнувшие в его обычно торжественном голосе. Он продолжал, и в его тоне и движениях чувствовалась какая-то тайная цель.

— Маленькие кружочки на линии здоровья доказывают, что по вашему приказанию будет совершено много необходимых казней. Эта линия прерывается в середине и образует небольшой полукруг — знак, что вы подвергнетесь большой опасности при нападении хищных зверей, то есть белых, если вы их не истребите. Линия судьбы, окруженная, как и линия жизни, маленькими веточками, поднимающимися вверх по ладони, подтверждает, что вам предстоит могущество и высшая власть, к которой вы призваны; прямая и тонкая в верхней своей части, эта линия говорит о способности управлять людьми. Пятая линия — линия треугольника, протянувшаяся до среднего пальца, обещает вам блестящий успех во всех делах. Теперь посмотрим ваши пальцы. Большой палец, по которому тянется много мелких линий, от ногтя до сустава, обещает вам большое наследство: да, конечно, ведь вы унаследуете славу Букмана! — добавил оби, повысив голос. — Маленькая выпуклость у основания указательного пальца покрыта слабо заметными морщинками — это почести и слава! Средний палец ничего не говорит. Безымянный весь изрезан пересекающимися линиями — вы победите всех своих врагов и возвыситесь над всеми своими соперниками. Эти линии образуют несколько андреевских крестиков — знак гениальности и прозорливости. Сустав, соединяющий мизинец с ладонью, покрыт извилистыми морщинками — судьба осыплет вас своими дарами. Кроме того, я вижу на нем кружок — еще одно предсказание будущего могущества и почестей.

«Счастлив тот, — говорил Элеазар Талеб, — кто носит все эти знаки! Судьба позаботится о его благоденствии, и его счастливая звезда пошлет ему талант, ведущий к славе». Теперь, генерал, разрешите мне посмотреть ваш лоб.

«Тот, — говорила цыганка Рашель Флинц, — у кого на середине лба линию солнца пересекает маленький четырехугольный или трехугольный значок, будет очень богат...» У вас он виден очень ясно. «Если знак этот находится справа, он обещает значительное наследство...» Снова наследие Букмана! «Знак подковы между бровями, под линией луны, говорит, что человек умеет мстить за оскорбления и жестокость». У меня есть этот знак; у вас тоже.

Выражение, с каким оби произнес слова: «у меня есть этот знак», снова поразило меня.

— Он бывает, — продолжал оби тем же тоном, — у храбрецов, умеющих подготовить смелое восстание, разбить цепи рабства в бою. Отпечаток львиного когтя над вашей левой бровью свидетельствует о необычайной отваге. Наконец, генерал Биасу, я вижу на вашем челе самый верный из всех знаков, предсказывающих счастье: сочетание линий, образующее букву М — первую букву имени святой девы. На какой стороне лба, на какой морщине ни стоял бы этот знак, он всегда означает гений, славу и могущество. Тот, кто им отмечен, принесет победу тому делу, которому служит; те, чьим он будет вождем, никогда не понесут никаких потерь; он один будет стоять всех защитников своей партии. И вы — этот избраннык судьбы!

— Gratias ¹, господин капеллан, — сказал Биасу, собираясь вернуться на свой трон красного дерева.

— Подождите, генерал, — остановил его оби, — я забыл еще один знак. Линия солнца резко обозначена у вас на лбу и доказывает умение жить, стремление сделать людей счастливыми, великодушие и щедрость.

Биасу, повидимому, понял, что скорей сам проявил забывчивость, чем оби. Он вытащил из кармана довольно тяжелый кошелек и бросил его на серебряное блюдо, чтобы линия солнца не была уличена во лжи.

Между тем блестящий гороскоп вождя произвел глубокое впечатление на войско. Все мятежники, для которых каждое слово оби, после известия о смерти Букмана, приобрело небывалое значение, перешли от отчаяния к энтузиазму; слепо доверяя своему непогрешимому колдуну и ниспосланному судьбой полководцу, они принялись вопить во все горло: «Да здравствует оби! Да здравствует

¹ Благодарю (*исп.*).

Биасу!» Оби и Биасу переглянулись, и мне послышалось, что оби ответил сдавленным смехом на хихиканье главного командующего.

Не знаю почему, этот колдун чем-то тревожил меня; мне все казалось, что я уже видел или слышал кого-то, напоминавшего мне это странное существо; мне захотелось, чтобы он поговорил со мной.

— Господин оби, *señor cura, doctor medico*¹, господин капеллан, *bon per*, — обратился я к нему.

Он резко повернулся ко мне.

— Здесь есть еще один человек, которому вы не предсказали судьбу: это я.

Он скрестил руки на серебряном солнце, прикрывавшем его волосатую грудь, и ничего не ответил.

Я продолжал:

— Мне хотелось бы знать, что вы скажете о моем будущем; но ваши честные товарищи отобрали у меня часы и кошелек, а вы не из тех волшебников, что пророчествуют *gratis*².

Он быстро подошел ко мне и глухо сказал мне на ухо:

— Ты ошибаешься! Покажи свою руку.

Я протянул ему руку, глядя на него в упор. Глаза его сверкали; он сделал вид, что рассматривает мою ладонь.

— Если линию жизни пересекают посередине две резкие поперечные черточки, — сказал он, — это знак близкой смерти... Твоя смерть близка!

Если линия здоровья проходит не посреди ладони, а линия жизни и линия судьбы, соединяясь внизу, образуют угол, — тогда нельзя ждать естественной смерти... Не жди естественной смерти!

Если указательный палец пересечен снизу доверху длинной линией, — это знак насильственной смерти... Слышишь? Готовься к насильственной смерти!

В его замогильном голосе, возвещавшем мне смерть, звучала затаенная радость; я слушал его равнодушно и с презрением.

— Колдун, — сказал я ему с насмешкой, — ты ловок, ты гадаешь наверняка.

Он придвинулся ко мне еще ближе.

¹ Сеньор священник, доктор-целитель (*исп.*).

² Бесплатно (*лат.*).

— Ты сомневаешься в моем искусстве? Ну что ж! Послушай дальше. Разрыв линии солнца у тебя на лбу говорит о том, что ты принимаешь врага за друга, а друга за врага.

Слова эти как будто намекали на изменника Пьеро, которого я любил и который предал меня, и на верного Хабибру, которого я презирал и чья окровавленная одежда свидетельствовала о его преданности и самоотверженной смерти.

— О чем ты говоришь? — воскликнул я.

— Слушай до конца, — продолжал оби, — я говорил тебе о будущем, теперь скажу о прошлом. Линия луны слегка изгибается у тебя на лбу; это значит, что твою жену похитили.

Я вздрогнул и хотел вскочить с места, но моя стража удержала меня.

— Ты нетерпелив, — сказал колдун, — выслушай же до конца. Маленький крестик на самом конце этой изогнутой линии дополняет мое толкование. Твоя жена была похищена в первую же ночь после свадьбы.

— Негодяй! — вскричал я. — Ты знаешь, где она? Кто ты?

Я снова попытался броситься на него и сорвать его покрывало, но мне пришлось уступить численности и силе моих противников; с бешенством смотрел я на удалявшегося оби, бросившего мне перед уходом:

— Веришь мне теперь? Готовься к скорой смерти!

XXXII

Как будто для того, чтобы отвлечь меня на время от тревоги, овладевшей мной во время этой странной сцены, перед моими глазами развернулось новое представление — драма, сменившая забавную комедию, только что разыгранную оби и Биасу перед ошеломленной толпой.

Биасу снова уселся на свой обрубок красного дерева; оби занял место по его правую руку, Риго по левую, на двух бархатных подушках, как бы украшавших трон повелителя. Оби скрестил руки на груди и, казалось, погрузился в глубокое раздумье; Биасу и Риго жевали табак. К генерал-майору подошел адъютант с вопросом, начинать

ли смотр войск, но в это время ко входу в пещеру с яростными криками подошли три шумных ватаги негров. Каждая из них вела по пленнику, чтобы отдать их в распоряжение Биасу, и не потому, что они думали, будто Биасу может помиловать их, но желая узнать, какому роду смерти ему будет угодно предать несчастных. Это подтверждали их зловещие крики: «Смерть! Смерть! Muerte! Muerte!» Некоторые из них кричали: «Death! Death!» — вероятно, это были английские негры из банды Букмана, успевшие присоединиться к испанским и французским неграм Биасу. Mariscal de campo, махнув рукой, приказал им замолчать и велел подвести трех пленников ко входу в пещеру. Я с удивлением узнал двоих: один был «гражданин генерал» С*** — тот филантроп, состоящий в переписке со всеми негрофилами мира, который на совете у губернатора предложил такой жестокий план усмирения негров. Другой был подозрительный плантатор, который выказывал такое отвращение к мулатам, хотя белые причисляли его к ним. Третий, видимо, принадлежал к группе «мелких белых»: на нем был кожаный фартук, а рукава были засучены выше локтя. Все трое были пойманы поодиночке, когда они пытались укрыться в горах.

«Мелкого белого» стали допрашивать первым.

— Ты кто такой? — спросил его Биасу.

— Я Жан Белен, плотник госпиталя Святых отцов в Капе.

Удивление, смешанное со стыдом, отразилось на лице «главнокомандующего побежденных стран».

— Жан Белен! — воскликнул он и закусил губу.

— Ну да, — ответил плотник, — ты что ж, меня не узнаешь?

— Сначала ты меня узнай и поклонись мне, — ответил mariscal de campo.

— Я не кланяюсь своему рабу, — ответил плотник.

— Своему рабу, негодяй! — воскликнул главнокомандующий.

— Ну да! — ответил плотник. — Конечно! Я твой первый хозяин. Ты делаешь вид, что не узнаешь меня. А ну-ка припомни, Жан Биасу, я продал тебя за тринадцать пиастров торговцу из Сан-Доминго.

Бешеная злоба искажила все черты Биасу.

— Смотри-ка! — продолжал плотник. — Ты, кажется, стыдишься, что был моим рабом? А разве не честь для Жана Биасу, что он принадлежал Жану Белену? Твоя родная мать, эта старая карга, частенько подметала мою мастерскую; но теперь я продал ее господину мажордому госпиталя Святых отцов; она такая развалина, что он дал мне за нее только тридцать два ливра, да еще шесть су впридачу. Вот и вся история — твоя и ее, но похоже, что вы теперь загордились, ваша братия негры и мулаты; ты, наверно, уж забыл то время, когда на коленях служил мастеру Жану Белену — плотнику из Капа.

Биасу слушал его со свирепой усмешкой, похожий на тигра, оскалившего зубы.

— Так! — сказал он.

Затем повернулся к неграм, которые привели мастера Белена, и сказал:

— Возьмите козлы, две доски и пилу и уведите этого человека. Жан Белен, плотник из Капа, благодари меня: я жалую тебя смертью, достойной плотника.

Его ужасный смех объяснил нам, какую чудовищную пытку он придумал, чтоб наказать гордость своего прежнего хозяина. Я задрожал; но Жан Белен и бровью не повел; он презрительно повернулся к Биасу.

— Да, — сказал он, — я должен тебя поблагодарить: я продал тебя за тринадцать пиастров, значит получил больше, чем ты стоишь.

Его утащили.

XXXIII

Два другие пленника присутствовали, ни живы ни мертвы, при этом страшном прологе к их собственной трагедии. Их смиренный и испуганный вид резко отличался от несколько вызывающей смелости плотника; они дрожали с головы до ног.

Биасу оглядел их одного за другим своим хитрым взглядом; затем, с наслаждением растягивая их пытку, он затеял с Риго разговор о разных сортах табака, уверяя, что гаванский табак хорош только для сигар, а нюхать лучше всего табак испанский, того сорта, две бочки которого ему прислал покойный Букман, забравший их у г-на

Лебатью, хозяина острова Черепахи. Затем он вдруг обратился к гражданину генералу С*** и резко спросил:

— А ты как думаешь?

При этом неожиданном обращении гражданин С*** затрепетал. Он ответил, заикаясь:

— Я полагаюсь, генерал, на мнение вашего превосходительства.

— Слова льстеца! — возразил Биасу. — Я спрашиваю, каково твое мнение, а не мое. Знаешь ли ты лучший нюхательный табак, чем табак Лебатью?

— Нет, право не знаю, монсеньор, — ответил С***, смущение которого потешало Биасу.

— Генерал! Превосходительство! Монсеньор! — подхватил Биасу нетерпеливо. — Ты, видно, аристократ!

— Ах, право нет! Уверяю вас! — воскликнул гражданин генерал. — Я настоящий патриот девяносто первого года и горячий негрофил..

— Негрофил, — перебил Биасу, — что это такое — негрофил?

— Это друг чернокожих, — пролепетал гражданин С***.

— Быть другом чернокожих — этого мало, — строго возразил Биасу, — надо быть другом всех цветных.

Я, кажется, говорил уже, что Биасу был сакатра.

— Да, друг цветных, это я и хотел сказать, — ответил смиренно негрофил. — Я переписываюсь с самыми известными сторонниками негров и мулатов.

Биасу, довольный тем, что может унижить белого, снова прервал его:

— «Негров, мулатов!»... Что это значит? Ты что же, пришел сюда, чтобы оскорблять нас этими ненавистными кличками, выдуманными белыми из презрения к нам? Здесь вас окружают только люди черные и цветные, понимаете, господин колонист?

— Это дурная привычка, укоренившаяся с детства, — ответил С***, — простите меня, я никак не хотел оскорбить вас, монсеньор.

— Оставь в покое «монсеньора», я уже сказал тебе, что не люблю эти аристократические замашки!

С*** хотел еще раз извиниться и начал, заикаясь, бормотать новое объяснение:

— Если бы вы меня знали, гражданин...

— Гражданин! За кого ты меня принимаешь? — сердито закричал Биасу. — Я ненавижу этот якобинский жаргон! Уж не якобинец ли ты, чего доброго? Не забывай, что ты говоришь с главнокомандующим подданных короля! Гражданин! Какова наглость!

Бедный негрофил не знал теперь, как ему и говорить с этим человеком, который одинаково отвергал и титул монсеньора, и звание гражданина, и язык аристократов, и язык патриотов; он был совсем подавлен. Биасу, только притворявшийся взбешенным, испытывал жестокое наслаждение при виде его замешательства.

— Увы, — сказал, наконец, гражданин генерал, — вы очень плохого мнения обо мне, благородный защитник священных прав половины рода человеческого.

Не зная, как именовать этого начальника, отвергавшего все титулы, он прибег к одной из тех звучных перифраз, которыми революционеры часто заменяют имя или звание тех, к кому они обращаются в своих речах.

Биасу пристально посмотрел на него и спросил:

— Значит, ты любишь черных и цветных людей?

— Люблю ли? — воскликнул гражданин С***. — Да я переписываюсь с Бриссо и...

Биасу перебил его, посмеиваясь:

— Ха! ха! Я счастлив, что вижу в тебе друга нашего дела. Если так, ты должен проклинать подлых колонистов, которые ответили на наше справедливое восстание самыми жестокими казнями; ты должен считать, как и мы, что не черные, а белые — настоящие бунтовщики, раз они возмутились против природы и человечества. Ты должен ненавидеть эти чудовища!

— Я их ненавижу! — ответил С***.

— В таком случае, — продолжал Биасу, — что ты скажешь о человеке, который недавно, пытаясь подавить движение невольников, выставил на кольях пятьдесят отрубленных черных голов по обеим сторонам аллеи, ведущей в его жилище?

Бледное лицо С*** совершенно помертвело.

— Что ты скажешь о белом, который предложил опоясать город Кап цепью из невольничьих голов?

— Смилуйтесь надо мной! — воскликнул гражданин С*** в ужасе.

— Разве я угрожаю тебе? — холодно ответил Биасу. — Дай мне закончить... Цепью из голов, которая протянулась бы от форта Пиколе до мыса Караколь? Ну, что ты скажешь об этом? Отвечай!

Слова Биасу: «Разве я угрожаю тебе?» — придали некоторую надежду гражданину С***: он подумал, что, быть может, Биасу только слышал об этих страшных злодеяниях, но не знает, кто совершил их, и ответил с некоторой твердостью, чтобы отвести всякое подозрение, которое могло бы повредить ему:

— Я считаю, что это зверское преступление.

Биасу усмехнулся.

— Так! А какому наказанию подверг бы ты виновного?

Тут несчастный С*** растерялся.

— Что же ты? Друг ты черным или нет?

Из двух возможностей негрофил выбрал менее опасную; не замечая никакой угрозы в глазах Биасу, он сказал слабым голосом:

— Виновный заслуживает смерти.

— Прекрасный ответ, — сказал спокойно Биасу и выплюнул табак, который он жевал.

Его равнодушный вид придал некоторую уверенность несчастному негрофилу, и он сделал новую попытку рассеять подозрения, которые могли еще тяготеть над ним.

— Никто не желает успеха вашему делу так горячо, как я! — воскликнул он. — Я переписываюсь с Бриссо и Прюно де Пом-Гуж во Франции; Мегоу в Америке; с Петером Паулюсом в Голландии; с аббатом Тамбурины в Италии...

Он продолжал угодливо развертывать длинный список своих филантропических связей, который всегда приводил с удовольствием, а особенно полно представил при иных обстоятельствах и с совсем иной целью в доме губернатора де Бланшланд, как вдруг Биасу прервал его:

— Эй, ты! Какое мне дело до всех твоих корреспондентов! Ты лучше скажи мне, где твои магазины и склады; моя армия нуждается в боевых припасах. У тебя, наверное, богатые плантации и крупная торговля, раз ты переписываешься со всеми торговцами на свете.

Гражданин С*** осмелился сделать робкое возражение.

— Это не торговцы, герой человечества, а философы, филантропы и негрофилы.

— Ну вот, — сказал Биасу, качая головой, — теперь он снова принимается за свои чертовски непонятные слова. Слушай, если у тебя нет ни складов, ни магазинов для грабежа, тогда на что ты годишься?

В этом вопросе гражданину С*** почудился проблеск надежды, и он жадно ухватился за него.

— Доблестный полководец, — воскликнул он, — есть ли у вас в армии экономист?

— Это еще что такое? — спросил Биасу.

— Экономист, — ответил пленник с таким пафосом, какой только позволял ему страх, — это самый необходимый человек, единственный, кто определяет материальные ресурсы страны, установив их сравнительную ценность; кто их располагает в порядке их значения, группирует согласно их ценности; кто, обогащая и совершенствуя их, согласует источники богатств с достигнутыми результатами; кто умело распределяет их, направляя подобно живительным ручейкам в широкую реку общественной пользы, которая в свою очередь вливает свои воды в море всеобщего процветания.

— *Saramba!*¹ — воскликнул Биасу, наклоняясь к оби. — Какого дьявола он хочет сказать всеми этими словами, нанизанными одно на другое, точно бусы на ваших четках?

Оби презрительно пожал плечами, делая вид, что не понимает. Между тем гражданин С*** продолжал:

— ...Я изучил... соизвольте выслушать меня, доблестный вождь храбрых борцов за возрождение Сан-Доминго, я изучил великих экономистов Тюрго, Рейналя и Мирабо — друга человечества. Я применял их теории на практике. Я знаю науки, необходимые для управления королевствами и всякими странами...

— Экономист не экономен в словах! — заметил Риго со своей вкрадчивой и насмешливой улыбкой.

Биасу воскликнул:

— Скажи-ка, болтун! Разве у меня есть королевства? И какими это странами я управляю?

¹ Чорт возьми! (*исп.*)

— Пока еще нет, о великий человек! — ответил С***. — Но они могут быть. Кроме того, моя наука, оставаясь на той же высоте, вникает и в подробности управления армией.

Биасу снова резко прервал его.

— Я не управляю моей армией, господин плантатор, я командую ею.

— Прекрасно, — заметил гражданин С***, — вы будете генералом, а я буду интендантом. У меня есть специальные знания по скотоводству...

— Ты, может, думаешь, что мы разводим скот? — спросил Биасу посмеиваясь. — Нет, мы его едим. Если нехватит скота во французской колонии, я перейду холмы на границе и заберу испанских быков и баранов, которые пасутся на широких равнинах Котюи, Веги, Сант-Яго и на берегах Йуны; если мне понадобится, я доберусь и до тех, что пасутся на Саманском полуострове и за горами Сибос, от устья реки Нейбе и дальше за границами испанского Сан-Доминго. Кстати, я буду очень рад наказывать проклятых испанских плантаторов; это они выдали Оже! Видишь, меня нисколько не пугает недостаток продовольствия, и мне не нужна твоя «самая необходимая» наука!

Это решительное заявление поставило втупик бедного экономиста; однако он попытался ухватиться еще за одну соломинку.

— Я изучал не только способы разведения скота. У меня еще много специальных знаний, которые могут быть вам очень полезны. Я покажу вам, как добывать смолу и каменный уголь.

— На что мне они? — ответил Биасу. — Когда мне нужен уголь, я сжигаю три лье леса.

— Я укажу вам, для чего годится каждая порода дерева, — продолжал пленник: — эбеновое дерево и сабьекка — для корабельных килей, яба — для гнутых частей; ирга — для остова судна; хакама, гайак, бокаутовое дерево, кедры, акома...

— Que te lleven todos los demonios de los diez y siete infernos! ¹ — закричал Биасу, выведенный из терпения.

¹ Чтоб унесли тебя черти из семнадцати преисподних! (Прим. авт.)

— Что вы сказали, милостивый повелитель? — спросил, весь дрожа, экономист, не понимавший по-испански.

— Слушай, — сказал Биасу, — не нужно мне кораблей. В моей свите есть только одна свободная должность, но не место дворецкого, а место лакея. Подумай, *señor filosofo*¹, подходит ли она тебе. Ты должен прислуживать мне на коленях, подавать мне трубку, калалу² и черепаховый суп и носить за мной опахало из перьев попугая или павлина, как вот эти два пажа. Ну, отвечай! Хочешь быть моим лакеем?

Гражданин С***, думавший только о том, как бы спасти свою жизнь, склонился до земли, стараясь всеми способами выразить свою радость и благодарность.

— Значит, ты согласен? — спросил Биасу.

— Можете ли вы сомневаться в этом, мой великодушный господин? Я, ни минуты не колеблясь, приму вашу высокую милость и почту за честь служить вашей особе!

При этом ответе насмешливое хихиканье Биасу перешло в оглушительный хохот. Он скрестил руки, поднялся с торжествующим видом и, оттолкнув ногой склоненную перед ним голову белого, громко воскликнул:

— Я очень рад, что увидел, до чего может дойти низость белых, после того как нагляделся, до чего доходит их жестокость! Гражданин С***, тебе я обязан этим двойным примером. Я знаю тебя! Неужели ты был настолько глуп, что этого не заметил? Это ты руководил казнями в июне, июле и августе; это ты выставил головы пятидесяти негров на кольях вдоль аллеи, ведущей к твоему дому, вместо палм; это ты предложил зарезать пятьсот негров, оставшихся после восстания в твоих руках, и окружить город Кап цепью из невольничьих голов от форта Пиколе до мыса Караколь. Тогда, если б ты мог, ты снял бы мне голову в качестве трофея, а теперь ты был бы счастлив, если б я захотел взять тебя в лакеи. Нет! Нет! Я больше забочусь о твоей чести, чем ты сам; я спасу тебя от такого позора. Готовься к смерти.

Негрофил, онемев от ужаса, рухнул, как подкошенный, к его ногам. Биасу подал знак, и негры оттащили несчастного ко мне.

¹ Господин философ (*исп.*).

² Креольское кушанье. (*Прим. авт.*)

— Ну, теперь твой черед! — сказал начальник, поворачиваясь к последнему пленнику, колонисту, которого белые подозревали в том, что у него «смешанная кровь», и который вызвал меня на дуэль за это оскорбление.

Громкие крики мятежников заглушили его ответ. «Muerte! muerte! Смерть! Смерть! Death! Touyé! touyé!» — вопили все, скрежеща зубами и грозя кулаками несчастному пленнику.

— Генерал, — сказал один из мулатов, говоривший свободнее других, — это белый; он должен умереть!

Злосчастный плантатор, размахивая руками, изо всех сил старался перекричать толпу и, наконец, добился, что его услышали.

— Нет, нет, господин генерал, нет, братья мои, я не белый! Это гнусная клевета! Я мулат, у меня смешанная кровь, как и у вас. Моя мать негритянка, как ваши матери и сестры!

— Он врет! — кричали разъяренные негры. — Это — белый. Он всегда ненавидел черных и цветных!

— Никогда! — кричал пленник. — Я ненавижу только белых! Я — ваш брат! Я всегда говорил, как и вы: «Nègre cé blan, blan cé nègre»¹.

— Ложь! Ложь! — кричала толпа. — Touyé blan! Touyé blan!²

Несчастный продолжал твердить жалобным голосом:

— Я мулат! Я ваш брат по крови!

— Докажи, — холодно сказал Биасу.

— Я докажу, — ответил тот. — Белые всегда презирали меня.

— Может быть, это и так, — заметил Биасу, — но лишь за то, что ты наглец.

Молодой мулат горячо обратился к колонисту:

— Белые презирали тебя, это верно, но ты платил за

¹ Поговорка, популярная среди мятежных негров; вот ее дословный перевод: «Негры — это белые, белые — это негры». Смысл ее лучше бы перевести так: «Негры — господа, а белые — рабы». (Прим. авт.)

² Убейте белого, убейте белого! (Прим авт.)

это ненавистью к цветным, к которым они тебя причисляли. Мне даже говорили, будто ты вызвал на дуэль белого за то, что он упрекнул тебя в принадлежности к нашему племени.

В толпе раздался ропот возмущения, и крики: «Смерть пленнику!» стали еще яростнее, совсем заглушив слова оправдывавшегося колониста, который, бросив на меня искоса растерянный и умоляющий взгляд, повторял рыдая:

— Это клевета! Для меня нет бóльшего счастья, бóльшей чести, чем принадлежать к черным. Я мулат!

— Если б ты и вправду был мулатом, — заметил спокойно Ригу, — ты не употреблял бы этого слова ¹.

— Увы! Я сам не знаю, что говорю! — воскликнул несчастный. — Господин главнокомандующий, доказательством моей смешанной крови может служить вот этот темный ободок у меня вокруг ногтей ².

— Я не обладаю искусством господина капеллана, который умеет угадывать, кто ты, по твоей руке. Но слушай: часть моих солдат обвиняет тебя в том, что ты белый, другая — в том, что ты предаешь своих братьев. Если это так, ты должен умереть. Ты утверждаешь, что принадлежишь к нашему племени и никогда не отрекался от него. У тебя остается только одно средство доказать свои слова и избежать смерти.

— Какое, господин генерал, какое? — поспешно спросил колонист. — Я готов!

— Вот какое, — холодно ответил Биасу. — Возьми этот кинжал и заколи этих двух белых пленников.

И он указал на нас взглядом и движением руки. Колонист в ужасе отступил перед кинжалом, который Биасу протянул ему с дьявольской усмешкой.

— Ну что ж, — сказал начальник, — ты колеблешься? Однако это единственное средство доказать мне и моей армии, что ты не белый и что ты за нас. Ну, решайся же, из-за тебя я даром трачу время.

¹ Следует напомнить, что цветные с гневом отвергали это название, придуманное белыми, по их словам, в знак презрения. (Прим. авт.)

² У многих людей смешанной крови действительно встречается темный ободок у основания ногтей, он пропадает с возрастом, но вновь появляется у их детей. (Прим. авт.)

Глаза пленника дико блуждали. Он сделал шаг к кинжалу, потом остановился, отвернулся, и руки его безвольно опустились. Он весь дрожал.

— Ну! Мне некогда! — вскричал Биасу нетерпеливым и гневным голосом. — Выбирай: или ты убьешь их сам, или умрешь вместе с ними.

Колонист не двигался, точно окаменев.

— Прекрасно! — сказал Биасу, поворачиваясь к неграм. — Раз он не хочет быть палачом, пусть будет жертвой. Я вижу — он белый. Эй, вы, уведите его!

Негры подошли, чтобы схватить колониста. Это движение решило его выбор — быть убитым или убить. Трусость, доведенная до крайности, может перейти в храбрость. Он схватил кинжал, протянутый ему Биасу; затем, не давая себе времени подумать о том, что он собирается сделать, этот негодяй бросился, как тигр, на гражданина С***, лежавшего возле меня.

Началась ужасная борьба. Негрофил, который после мучительного допроса, учиненного ему Биасу, погрузился в мрачное и тупое отчаяние, смотрел неподвижным взглядом на сцену, разыгрывавшуюся между начальником и плантатором, но был так поглощен страшной мыслью о предстоящих ему пытках, что, казалось, не понимал ее значения; однако, когда плантатор бросился на него и клинок блеснул у него над головой, близкая опасность разом пробудила его. Он вскочил на ноги и, схватив за руку убийцу, закричал жалобным голосом:

— Сжальтесь! Сжальтесь! Что вам надо от меня? Что я вам сделал?

— Вы должны умереть, сударь, — ответил тот, стараясь вырвать у него руку и растерянно глядя на свою жертву. — Пустите меня, я вам не сделаю больно!

— Умереть от вашей руки, — умолял экономист, — но за что? Пощадите меня! Вы, может, сердитесь, что я называл вас мулатом? Не убивайте меня, и я даю вам слово, что признаю вас белым. Да, да, вы белый, я буду говорить это повсюду, только сжальтесь надо мной!

Негрофил выбрал плохой способ защиты.

— Молчи! Молчи! — в бешенстве закричал мулат, боясь, как бы негры не услышали этих слов.

Но тот продолжал вопить, что знает его как белого, и самой чистой породы. Мулат сделал последнее усилие,

чтоб заставить его замолчать, с силой отвел от себя цеплявшиеся за него руки и пропорол кинжалом одежду гражданина С***. Несчастный, почувствовав укол стального острия, с яростью впился зубами в державшую кинжал руку.

— Злодей! Предатель! Ты убиваешь меня!

Он бросил взгляд на Биасу.

— Мститель за человечество, заступитесь!

Но убийца крепко нажал на рукоятку кинжала. Струя крови залила ему руку и брызнула в лицо. Ноги несчастного негрофила внезапно подкосились, руки повисли, как плети, глаза потускнели, из груди его вырвался глухой стон. Он упал мертвый.

XXXV

При виде этой сцены, в которой я готовился скоро сыграть свою роль, меня охватил леденящий ужас. «Мститель за человечество» бесстрастно созерцал эту борьбу своих жертв. Когда все было кончено, он повернулся к своим перепуганным пажам:

— Принесите мне другого табаку, — сказал он и принялся спокойно жевать его.

Оби и Риго сидели неподвижно, и даже негры вокруг, казалось, со страхом смотрели на жуткое зрелище, которое показал им их главарь.

Однако оставался еще один белый, которого надо было заколоть, то есть я; пришла и моя очередь. Я взглянул на злодея, который должен был стать моим палачом. Он был жалок. Губы его посинели, зубы стучали, все тело содрогалось, он с трудом держался на ногах; порой он бессознательно подносил руку ко лбу, чтобы стереть с него кровь, и, как помешанный, смотрел на лежавшее у его ног еще трепещущее тело, не в силах оторвать от него дикого взгляда.

Я ждал минуты, когда он завершит свое дело и прикончит меня. Я оказался в странном положении перед этим человеком — недавно он чуть не убил меня, чтобы доказать, что он белый; теперь он собирался меня убить, чтобы доказать, что он мулат.

— Ну ладно, — сказал Биасу, — ты молодец, я доволен тобой, дружище! — Он взглянул на меня и добавил: — Второго ты можешь оставить. Ступай. Мы объявляем тебя своим братом и назначаем палачом при нашей армии.

При этих словах начальника из рядов войска выступил негр, три раза поклонился Биасу и воскликнул на своем наречии, которое я передаю вам по-французски, чтоб вам было понятнее:

— А как же я, господин генерал?

— Что ты? О чем ты говоришь? — спросил Биасу.

— Разве вы ничего не сделаете для меня, господин генерал? — сказал негр. — Вот вы даете повышение этому белому псу, который убил, чтобы его признали нашим. Неужели вы не сделаете того же и для меня? Ведь я хороший черный?

Эта неожиданная просьба, казалось, привела Биасу в затруднение; он наклонился к Ригу, и начальник отряда из Кэй сказал ему по-французски:

— Его просьбу нельзя удовлетворить. Постарайтесь отделиться от него.

— Ты хочешь получить повышение? — обратился Биасу к «хорошему» негру. — Ну что ж, я согласен. Какой чин ты хотел бы получить?

— Я хотел бы быть *oficial* ¹.

— Офицером? — спросил главнокомандующий. — Так! А каковы твои заслуги, имеешь ли ты право получить эполеты?

— Это я, — сказал негр напыщенно, — в начале августа поджег поместье Лагосета. Это я убил плантатора Клемана и носил ни пике голову его сахаровара. Я зарезал десять белых женщин и семь маленьких детей; один из них даже служил знаменем храбрым воинам Букмана. Позже я заживо сжег четыре семьи колонистов в форте Галифэ, заперев их в комнате на двойной затвор. Мой отец был колесован в Капе, моего брата повесили в Рокру, а меня самого чуть не расстреляли. Я сжег три кофейных плантации, шесть плантаций индиго, двести участков сахарного тростника; я убил своего господина Ноэ и его мать...

¹ Офицером. (Прим. авт.)

— Избавь нас от перечисления твоих подвигов, — сказал Ригу, который скрывал свою жестокость под напускным добродушием; он был кровожаден, так сказать, соблюдая приличия, и не выносил цинизма разбойников.

— Я мог бы привести еще много примеров, — ответил негр с гордостью, — но вы, наверно, считаете, что и этого достаточно, чтоб заслужить звание oficial и носить на куртке золотые эполеты, вот как у этих наших товарищей.

И он указал на адъютантов и офицеров штаба Биасу. Главнокомандующий как будто задумался на минуту, а затем с важностью обратился к негру:

— Я был бы очень рад дать тебе офицерский чин; я доволен твоей службой; но для этого нужно еще кое-что. Знаешь ли ты латынь?

Разбойник оторопел и вытаращил глаза.

— Простите, что вы сказали, господин генерал?

— Я спросил, знаешь ли ты латынь? — с живостью ответил Биасу.

— Латынь?.. — повторил ошеломленный негр.

— Да, да, да, латынь! Знаешь ли ты латынь? — продолжал хитрый начальник. И, указав на знамя, где был написан стих из псалма «In exitu Israël de Aegypto»¹, прибавил: — Объясни нам, что значат эти слова.

Негр, в полном недоумении, молча стоял перед начальником, машинально теребя край своей набедренной повязки и переводя испуганные глаза со знамени на генерала и с генерала на знамя.

— Ответишь ты когда-нибудь? — нетерпеливо воскликнул Биасу.

Негр почесал в голове, несколько раз молча открыл и закрыл рот и, наконец, смущенно пробормотал:

— Никак не пойму, о чем вы говорите, господин генерал.

Лицо Биасу внезапно выразило возмущение и гнев.

— Этакий дурень! — воскликнул он. — Как? Ты хочешь быть офицером, а сам не знаешь латыни!

— Но, господин генерал... — пролепетал негр, дрожа и заикаясь.

¹ Когда вышел Израиль из Египта (лат.).

— Молчи! — вскричал Биасу, негодование которого, казалось, все возрастало. — Я и сам не знаю, почему не велю расстрелять тебя на месте за твое нахальство! Вы представляете себе, Риго, такого нелепого офицера, который даже не знает латыни? Так вот, дурень, раз ты не понимаешь, что написано на этом знамени, я тебе объясню. *In exitu* — ни один солдат, *Israël* — не знающий латыни, *de Aegypto* — не может быть офицером. Правильно, господин капеллан?

Маленький колдун утвердительно кивнул головой. Биасу продолжал:

— Тот брат, которого я назначил палачом при нашей армии и которому ты завидуешь, знает латынь.

Он повернулся к новому палачу:

— Правда, дружище? Докажи этому невежде, что ты знаешь больше его. Что значит «*Dominus vobiscum*»?

Несчастный темнокожий колонист, пробужденный от своего мрачного раздумья этим грозным голосом, поднял голову, и хотя он еще не пришел в себя после совершенного им подлого убийства, но страх заставил его подчиниться. Было что-то странное в лице этого человека, подавленного угрызениями совести, когда он старался отыскать далекое, школьное воспоминание среди своих мыслей, полных ужаса, и в скорбном тоне, которым он произнес детское объяснение:

— *Dominus vobiscum*... это значит: господь да будет с вами!

— *Et cum spiritu tuo* ¹, — добавил торжественно таинственный колдун.

— *Amen* ², — отозвался Биасу. Потом снова заговорил сердитым голосом, пересыпая свои притворно гневные речи латинскими выражениями, перевранными на манер Сганареля, чтоб убедить чернокожих в учености их главаря. — Ступай обратно и стань последним в своем ряду! — крикнул он честолубивому негру. — *Sursum corda* ³. А впредь не смей и думать о том, чтобы подняться до чина твоих

¹ И со духом твоим (лат.).

² Аминь (лат.).

³ Горé имеем сердца (лат.).

начальников, знающих латынь, orate, fratres ¹, или я велю тебя повесить! Bonus, bona, bonum! ²

Перепуганный и вместе с тем восхищенный негр вернулся в свой ряд, потупившись от стыда, под смех и крики всех товарищей, возмущенных его необоснованными притязаниями и с восторгом взиравших на своего ученого главнокомандующего.

Несмотря на то, что в этой сцене было много шутовства, она подтвердила мое высокое мнение о ловкости Биасу.

Смешное средство ³, которое он применил с таким успехом, чтобы пресечь честолюбивые домогательства, всегда распространенные среди мятежников, открыло мне сразу и всю меру глупости негров и редкую ловкость их предводителя.

XXXVI

Между тем наступило время almuerzo ⁴ Биасу. Генерал-майору войск его католического величества принесли большой щит черепахи, в котором дымилось особое, обильно приправленное ломтями сала кушанье, olla podrida, где черепаший мясo заменяло carnego ⁵, а картофель — garganzas ⁶. В этом ричеро ⁷ плавал громадный кочан караибской капусты. По обеим сторонам черепашиного щита, служившего одновременно и котлом и миской для еды, стояли две чаши из скорлупы кокосового ореха, полные изюма, кусков sandias ⁸, ямса и винных ягод; это был postre ⁹. Маисовый хлеб и вино в запечатанном бурдюке дополняли это пиршество. Биасу вытащил из кармана несколько долек чесноку и натер себе хлеб;

¹ Молитесь, братья (лат.).

² Добрый, добрая, доброго (лат.).

³ Тусен-Лувертюр прибегал позже к этому средству с тем же успехом. (Прим. авт.)

⁴ Завтрака. (Прим. авт.)

⁵ Ягненка. (Прим. авт.)

⁶ Горошек. (Прим. авт.)

⁷ Похлебке (исп.).

⁸ Арбуза. (Прим. авт.)

⁹ Десерт. (Прим. авт.)

затем, не приказав даже убрать еще теплый труп, лежавший перед ним, взялся за еду, пригласив Риго к своему столу. Аппетит у него был поистине устрашающий.

Оби не принял участия в их трапезе. Я понял, что он, как и все его собратья по ремеслу, никогда не ест на глазах у людей, дабы внушить неграм, что он существо сверхъестественное и не нуждается в пище.

Во время завтрака Биасу приказал одному из своих адъютантов начинать смотреть, и войска мятежников в полном порядке открыли шествие мимо пещеры. Первыми прошли негры Красной Горы; их было около четырех тысяч, они шли небольшими плотными взводами, во главе со своими начальниками, одетыми, как я уже говорил, в яркокрасные штаны или обвязанными красными поясами. Это были высокие и сильные негры, вооруженные ружьями, топорами и саблями; многие несли луки, стрелы и длинные копья, которые они сами выковали себе, за неимением другого оружия. У них не было знамени, и они шли подавленные и молчаливые.

Глядя на этот отряд, Биасу наклонился к Риго и сказал ему на ухо по-французски:

— Когда же, наконец, картечь Бланшланда и де Рувре избавит меня от этих разбойников с Красной Горы? Я их ненавижу; почти все они из племени конго! К тому же они умеют убивать только в бою; они следуют примеру их болвана начальника, их идола — Бюг-Жаргалья, этого сумасшедшего юнца, который строит из себя великодушного героя. Вы его не знаете, Риго? И никогда не узнаете, надеюсь. Белые взяли его в плен и освободят меня от него, как уже освободили от Букмана.

— Кстати, о Букмане, — ответил Риго. — Вон идут беглые чернокожие Макайи, а в их рядах я вижу того негра, которого Жан-Франсуа прислал к вам с вестью о смерти Букмана. Знаете, ведь этот человек может разрушить все впечатление от пророчества оби о смерти их вождя, если он расскажет, что его на полчаса задержали перед лагерем и что он сообщил мне эту новость до того, как вы велели привести его к себе.

— Diabolo! — воскликнул Биасу. — Вы правы, дорогой мой; надо заткнуть рот этому человеку. Подождите!

И он крикнул во весь голос:

— Макайя!

Начальник беглых негров подошел и отдал честь своим мушкетонам с широким дулом, в знак уважения.

— Выведите из ваших рядов вон того черного, — сказал Биасу, — ему здесь не место!

Это был гонец от Жана-Франсуа. Макайя подвел его к главнокомандующему, и лицо Биасу тотчас же приняло гневное выражение, которое так хорошо ему удавалось.

— Кто ты такой? — спросил он у оробевшего негра.

— Господин генерал, я чернокожий.

— Саганба! Я и сам это вижу! Но как твое имя?

— Моя боевая кличка — Вавелан; а мой покровитель среди блаженных — святой Саба, дьякон и великомученик; его день празднуется за двадцать дней до рождества христового.

Биасу прервал его:

— Как же ты посмел явиться на парад и ходить среди воинов с блестящим оружием и в белых портупях с этой саблей без ножен, в рваных штанах и весь в грязи?

— Господин генерал, я не виноват, — ответил негр, — генерал-адмирал Жан-Франсуа послал меня к вам с известием о смерти начальника английских черных отрядов; правда, моя одежда порвана, а ноги в грязи, но это потому, что я бежал сломя голову, чтоб скорей доставить вам это известие; а в лагере меня задержали и...

Биасу нахмурил брови.

— Речь не об этом, *gavacho!*¹ А о том, что ты имел наглость явиться на смотр в таком растерзанном виде. Поручи душу своему покровителю, святому Саббе, дьякону и великомученику. Поди скажи, чтоб тебя расстреляли!

Тут я еще раз убедился, как велика была моральная власть Биасу над мятежниками. Несчастный, которому было велено передать приказ о собственной казни, не посмел возразить ни слова; он опустил голову, скрестил руки на груди, три раза поклонился своему безжалостному судье, затем преклонил колени перед оби, который с важностью дал ему краткое отпущение грехов, и вышел из пещеры. Спустя несколько минут раздался залп,

¹ Испанское ругательство.

возвестивший Биасу, что негр исполнил его приказание и умер.

Тогда, отделавшись от беспокойства, начальник повернулся к Риго с блесевшими от удовольствия глазами и с торжествующей усмешкой, как бы говоря: «Полубуйтесь!»¹

XXXVII

Тем временем смотр продолжался. Войско, поразившее меня несколько часов назад картиной необычайного беспорядка, теперь, построившись, имело не менее причудливый вид. Перед нами проходили то группы совершенно голых негров, вооруженных дубинками, томагавками, палицами, шедших под звуки рожков, как настоящие дикари; то батальоны мулатов, одетых в испанскую или английскую форму, хорошо вооруженных и дисциплинированных, шагавших в ногу под барабанную дробь; за ними следовали беспорядочные толпы негритянок и негритят с вилами и вертелами; старики негры, согнувшиеся под тяжестью старых ружей без курков и без стволов; гриотки в пестром тряпье; гриоты с отвратительными гримасами и телодвижениями, распевавшие бессвязные песни под аккомпанемент гитар, тамтамов и балафо. В этой странной процессии время от времени попадались сборные отряды замбо, марабу, сакатра, мамелюков, квартеронов, свободных мулатов, а также кочующие ватаги беглых негров, которые гордо шагали с блестящими карабинами в руках,

¹ Тусен-Лувертюр, прошедший школу Биасу, если и не превзошел его в ловкости, то по крайней мере не перенял его коварства и жестокости. Впоследствии он сумел приобрести такую же власть, как и Биасу, над фанатиками-неграми. Этот негритянский вождь, выходец из Африки, происходивший, как говорят, из царского рода, получил, подобно Биасу, кое-какое образование; к тому же он был даровит. Он создал себе в Сан-Доминго своеобразный республиканский трон в то время, когда Бонапарт после победы основал во Франции монархию. Тусен простодушно восхищался первым консулом; но первый консул, видевший в Тусене неприятную пародию на свою собственную судьбу, всегда с презрением отказывался от всякой переписки с этим сбросившим оковы рабом, который осмелился написать ему: «Первому среди белых от первого среди черных». (*Прим. авт.*)

волоча за собой тележки, нагруженные припасами, или отнятую у белых пушку, служившую им чаще трофеем, чем орудием, и распевали во все горло военные песни «Лагерь в Большой долине» и «Уа-Насэ». Над головами у них развевались знамена всех цветов со всевозможными девизами — белые, красные, трехцветные, с лилиями, с фригийским колпаком; на них пестрели надписи: «Смерть попам и аристократам!», «Да здравствует религия!», «Свобода и равенство!», «Да здравствует король!», «Долой метрополию!», «Viva España»¹, «Долой тиранов!» и т. д. Это поразительное смешение доказывало, что силы мятежников были лишь скоплением людей, не имеющих цели, и что у этой армии в умах царит такой же беспорядок, как и в рядах.

Проходя мимо пещеры, отряды склоняли знамена, а Биасу отвечал на приветствия. Каждому из них он говорил что-нибудь: делал выговор или хвалил; каждое его слово, строгое или одобрительное, люди встречали с благоговением и каким-то суеверным страхом.

Этот поток варваров и дикарей, наконец, иссяк. Признаться, это скопище разбойников, сначала развлекавшее меня, в конце концов стало мне в тягость. Между тем день угасал, и когда последние ряды проходили мимо пещеры, медно-красные лучи солнца освещали только гранитные вершины восточных гор.

XXXVIII

Биасу казался задумчивым. По окончании смотра, когда он отдал последние приказания и все мятежники вернулись в свои шалаши, он обратился ко мне.

— Ну, молодой человек, — сказал он, — теперь ты получил полное представление о моем уме и могуществе. Настал твой час отягаться к Леогри и дать ему отчет обо всем.

— Не от меня зависело, чтоб он наступил раньше, — ответил я холодно.

¹ Да здравствует Испания (исп.).

— Это верно, — сказал Биасу. Он на минуту замолчал, как будто для того, чтобы лучше разглядеть, какое впечатление произведут на меня его слова, а затем добавил: — Но от тебя зависит, чтобы этот час совсем не наступил.

— Как! — вскричал я с удивлением. — Что ты хочешь сказать?

— Да, — продолжал Биасу, — твоя жизнь в твоих руках: ты можешь спасти ее, если захочешь.

Эта вспышка милосердия, первая и, вероятно, последняя в жизни Биасу, показалась мне чудом. Оби, удивленный не меньше меня, вскочил со своего места, где он столько времени просидел в созерцательной позе, как индийский факир. Он стал перед главнокомандующим и сказал, гневно возвысив голос:

— *Que dice el exelentissimo señor mariscal de campo?*¹ Разве он забыл то, что обещал мне? Ни он, ни сам *bon Giu* не могут теперь распоряжаться этой жизнью: она принадлежит мне!

В эту минуту в злобном голосе мерзкого человечка мне снова послышалось что-то знакомое; но это ощущение промелькнуло, ничего не осветив в моей памяти.

Биасу спокойно поднялся с места, тихонько поговорил с оби и показал ему на черное знамя, которое я заметил еще раньше; после чего колдун медленно опустил голову в знак согласия. Оба уселись на свои прежние места, в прежних позах.

— Послушай, — сказал мне Биасу, вынимая из кармана куртки другое письмо от Жана-Франсуа, спрятанное им туда раньше, — наши дела плохи; Букман только что погиб в бою. Белые истребили две тысячи повстанцев в районе Бухты. Колонисты продолжают укрепляться и усеивать долину новыми военными постами. Мы по собственной вине упустили возможность овладеть городом Кап, и теперь нам долго не представится подобный случай. На востоке главная дорога перерезана рекой; чтобы защитить переправу, белые поставили в этом месте батарею на понтонах, и на обоих берегах реки раскинули по небольшому лагерю. На юге есть проезжая дорога, пересекаю-

¹ Что говорит светлейший сеньор генерал-майор? (*исп.* — *Прим. авт.*)

дая гористую местность под названием Верхний Мыс; они ее заняли войсками и артиллерией. Со стороны равнины их позиции защищены еще крепким палисадом, над которым работали все жители, и укреплены рогатками. Следовательно, Кап недоступен для нас. Наша засада в ущелье «Усмиритель Мулатов» сорвалась. Ко всем нашим неудачам прибавилась сямская лихорадка, опустошающая лагерь Жана-Франсуа. Вследствие всего этого генерал-адмирал Франции¹ считает, и мы разделяем его мнение, что следует начать переговоры с губернатором Бланшландом и колониальным собранием. Вот письмо, которое мы хотим послать собранию по этому поводу. Слушай!

«Господа депутаты!

Великие несчастья обрушились на эту богатую и крупную колонию; они не миновали и нас, и нам больше нечего сказать в свое оправдание. Когда-нибудь вы поймете наше положение и воздадите нам полную справедливость. Мы должны попасть под всеобщую амнистию, провозглашенную королем Людовиком XVI для всех без различия.

В противном случае, так как король Испании — добрый король, который обращается с нами очень хорошо и *оказывает нам всяческие награды*, мы будем попрежнему усердно и преданно служить ему.

В законе от 28 сентября 1791 года мы видим, что Национальное собрание и король дали вам право вынести окончательное решение о положении невольников и о политических правах цветных народов. Мы будем защищать декреты Национального собрания и ваши до последней капли крови, когда они будут оформлены как полагается. Было бы даже хорошо, если бы вы *огласили* в постановлении, утвержденном господином генералом, что вы намерены заняться судьбой рабов.

Невольники, узнав через своих вождей, которым вы пришлете это постановление, что вы заботитесь о них, были бы удовлетворены, и нарушенное равновесие восстановилось бы очень скоро.

Однако не рассчитывайте, господа депутаты, что мы

¹ Мы уже говорили, что Жан-Франсуа присвоил себе это звание. (Прим. авт.)

согласимся взяться за оружие по воле революционных собраний. Мы подданные трех королей: короля Конго, прирожденного владыки всех черных, короля французского — нашего отца, и короля Испании — нашей матери. Эти три короля — потомки тех, кто, следуя за звездой, пришли поклониться богочеловеку. Если б мы служили революционным собраниям, нас могли бы вовлечь в войну против наших братьев, подданных этих трех королей, которым мы поклялись в верности.

К тому же мы не понимаем, что значит воля народа, потому что с тех пор, как *стоит свет*, мы выполняли только волю королей. Властитель Франции нас любит, король Испании всегда выручает нас. Мы помогаем им, а они помогают нам; на том стоит человечество. Впрочем, если бы вдруг у нас не стало этих величеств, мы тотчас нашли бы себе короля.

Таковы наши намерения, и на этих условиях мы согласны заключить мир.

Подписали: Жан-Франсуа, генерал; Биасу, генерал-майор; Депре, Манзо, Тусен, Обер — комиссары *ad hoc*¹.²

— Ты видишь, — сказал мне Биасу, прочитав это произведение негритянской дипломатии, запомнившееся мне почти слово в слово, — ты видишь, что мы миролюбивы. Теперь слушай, чего я хочу от тебя. Ни Жан-Франсуа, ни я не занимались в школах для белых, где обучают красивому слогу. Мы умеем драться, но не умеем писать. Однако мы не хотим, чтобы в нашем письме к собранию остались какие-нибудь обороты, которые могли бы вызвать высокомерные насмешки наших бывших господ. Ты, должно быть, изучил эту вздорную науку, которой нам нехватает. Исправь в нашей бумаге ошибки, над которыми будут издеваться белые; такой ценой ты купишь себе жизнь.

В этой роли исправителя орфографических ошибок в дипломатической переписке Биасу было что-то, возмущавшее мою гордость, и я не колебался ни минуты. К тому же, зачем была мне жизнь? Я отверг его предложение.

¹ На этот случай (лат.).

² Кажется, это своеобразное и забавное письмо было действительно послано собранию. (Прим. авт.)

Он был, видимо, удивлен.

— Как! — вскричал он. — Ты предпочитаешь умереть, чем провести несколько черточек пером по куску пергамента?

— Да, — ответил я.

Мой отказ, повидимому, привел его в затруднение. Немного подумав, он сказал мне:

— Послушай-ка, юный безумец, я не так упрям, как ты. Даю тебе сроку до завтрашнего вечера; поразмысли и послушайся меня; завтра перед заходом солнца тебя снова приведут ко мне. Смотри, выполни тогда мое приказание. Прощай, утро вечера мудреней. Подумай хорошенько, ведь смерть у нас — не просто смерть.

Смысл его последних слов, сопровождавшихся ужасным смехом, был совершенно ясен: пытки, которые Биасу обычно придумывал для своих жертв, служили тому красноречивым объяснением.

— Канди, уведите пленника, — продолжал Биасу, — отдайте его под охрану воинам Красной Горы; я хочу, чтобы он прожил еще сутки, а у других моих солдат, наверно, нехватит терпения дожидаться, пока пройдет двадцать четыре часа.

Мулат Канди, начальник его охраны, приказал связать мне руки за спиной. Один из солдат взял конец веревки, и мы вышли из пещеры.

XXXIX

Когда необыкновенные события, волнения и катастрофы внезапно обрушиваются на вас среди счастливой и пленительно однообразной жизни, эти неожиданные потрясения, эти удары судьбы сразу пробуждают от сна душу, дремавшую в блаженном спокойствии. Однако налетевшее таким образом несчастье кажется нам не пробуждением, а лишь страшным сном. У человека, который был всегда счастлив, отчаяние начинается с изумления. Неожиданное бедствие похоже на взрыв бомбы; оно потрясает и вместе оглушает; а жуткий свет, который внезапно вспыхивает перед нашими глазами, не может заменить сияние дня. Люди, вещи, события принимают какой-то фантастический вид и проходят перед нами, как

в сновидении. Все изменяется на небосклоне жизни — и атмосфера и перспектива; протечет немало времени, пока в наших глазах потухнет светлая картина нашего минувшего счастья, неотступно преследующая нас и постоянно встающая между нами и мрачным настоящим, меняя его краски и придавая какую-то обманчивость реальной жизни. И тогда самая действительность кажется нам невозможной и нелепой; мы верим с трудом в наше собственное существование, ибо, не видя вокруг себя ничего из того, что составляло прежде наше бытие, мы не понимаем, как все это могло исчезнуть, не захватив с собой и нас, и почему от всей нашей жизни сохранились только мы. Когда такое смятение души длится долго, оно омрачает рассудок и переходит в безумие — состояние, быть может, более счастливое, в котором жизнь для несчастного — лишь видение, а сам он — только тень.

XL

Не знаю, господа, зачем я высказал вам эти мысли. Их трудно понять и трудно передать. Это надо перечувствовать. Я испытал это. Таково было мое состояние, когда охрана Биасу сдала меня неграм Красной Горы. Мне казалось, что одни призраки передали меня другим призракам, и я без сопротивления дал привязать себя за пояс к стволу большого дерева.

Они принесли мне несколько вареных картофелин, и я съел их, в силу врожденного инстинкта, который бог, по доброте своей, сохраняет в человеке даже в минуты сильного душевного потрясения.

Между тем наступила ночь; мои сторожа разошлись по шалашам, и только шестеро из них остались около меня; они сидели или лежали, опершись на локоть, вокруг большого костра, который разожгли, чтобы защитить себя от ночной свежести. Через несколько минут все крепко заснули.

Я был разбит от усталости, и это физическое изнеможение способствовало тому, что мысли, как в бреду, мутились у меня в голове. Я вспоминал длинную вереницу безмятежных дней, которые так недавно проводил подле

Мари, не предвидя в будущем ничего, кроме вечного счастья. Я сравнивал их с только что прошедшим днем, когда передо мной произошло столько невероятных событий, как будто для того, чтобы заставить меня усомниться в их реальности, — днем, когда я был трижды приговорен к смерти и не был помилован. Я думал о моем близком будущем, об этом одном оставшемся дне, который не сулил мне ничего, кроме горя и смерти, к счастью недалеко. Временами мне казалось, что я борюсь с каким-то ужасным кошмаром. Я спрашивал себя, возможно ли, что все это случилось на самом деле; что меня окружает лагерь кровожадного Биасу; что Мари навсегда потеряна для меня и что пленник, охраняемый шестью дикарями, связанный и обреченный на верную смерть, — этот пленник, который стоит здесь, освещенный слабым пламенем костра разбойников, — и вправду я. И несмотря на все мои усилия, я не мог оторваться от неотступной, самой мучительной мысли, от мысли о Мари. Я стремился к ней всей душой и с мукой спрашивал себя, какая судьба постигла ее; я натягивал свои путы, как будто готовясь лететь ей на помощь, и все еще надеялся, что этот страшный сон рассеется и что бог не допустит, чтобы все ужасы, о которых я боялся даже подумать, стали уделом ангела, данного им мне в супруги. Цепь этих горестных мыслей привела меня к Пьеро, и я обезумел от ярости; жилы у меня на лбу вздулись, я чувствовал, что они готовы лопнуть; я проклинал, я ненавидел, я презирал себя за то, что хоть на минуту соединил свою любовь к Мари с дружбой к Пьеро; и, не стараясь объяснить себе, какая причина могла заставить его броситься в воды Большой реки, я плакал о том, что не убил его. Теперь он умер; я тоже скоро умру; я не жалел ни его жизни, ни моей, я жалел лишь о неудавшейся мести.

От слабости я впал в какое-то полудремотное состояние, а все эти душевные волнения продолжали терзать меня. Не знаю, сколько времени это длилось, но внезапно меня разбудил мужской голос, певший вдалеке, но очень ясно: «*Yo que soy contrabandista*». Я вздрогнул и открыл глаза; кругом было темно, негры спали, костер догорал. Голос смолк; я решил, что он почудился мне во сне, и снова опустил свои отяжелевшие веки. Но тут же быстро

открыл глаза; голос раздался опять, гораздо ближе, и с грустью пропел куплет испанского романса:

En los campos de Ocaña
Prisionero caí,
Me llevan à Cotadilla;
Desdichado fui! ¹

Теперь это был не сон. Это был голос Пьеро! Через минуту я услышал его рядом со мной, и над моим ухом прозвучал в безмолвии ночи знакомый мотив: «Yo que soy contrabandista». Ко мне подбежала собака и стала радостно тереться у моих ног: это был Раск. Я поднял глаза. Передо мной стоял негр, и свет от костра отбрасывал рядом с собакой его огромную тень: это был Пьеро. Жажда мести помутила мой разум; я замер и онемел от изумления. Я не спал. Значит, мертвые возвращаются! То был уже не сон — то было видение. Я с ужасом отвернулся. Увидев это, он опустил голову на грудь.

— Брат, — сказал он тихо, — ты обещал никогда не сомневаться во мне, если услышишь, что я пою эту песню; скажи, брат, разве ты забыл свое обещание?

Гнев вернул мне дар речи.

— Негодяй! — вскричал я. — Наконец-то я нашел тебя! Палач, убийца моего дяди, похититель Мари, как смеешь ты называть меня братом? Стой, не подходи ко мне!

Я забыл, что я крепко связан и не могу сделать почти ни одного движения. Невольно я опустил глаза на то место у пояса, где прежде висела моя шпага, словно хотел схватить ее. Это желание поразило его. Он был взволнован, но лицо его оставалось кротким.

— Нет, — сказал он, — нет, я не подойду к тебе. Ты несчастлив, я жалею тебя; а ты не жалеешь меня, хоть я еще несчастнее тебя.

Я пожал плечами. Он понял мой молчаливый упрек. Задумчиво посмотрев на меня, он сказал:

— Да, ты много потерял; но, поверь мне, я потерял больше тебя.

¹ В полях Оканьи
В плен я попал;
Увезен в Котадилю,
Несчастливым стал! (исп.)

Между тем звук наших голосов разбудил стороживших меня негров. Заметив чужого, они быстро вскочили и схватились за оружие; но как только они разглядели Пьеро, они вскрикнули от радости и изумления и пали ниц перед ним, стукнув о землю лбом.

Но ни знаки уважения, которые оказывали Пьеро эти негры, ни Раск, подбегавший приласкаться то ко мне, то к своему хозяину и с беспокойством глядевший на меня, как бы удивляясь моему холодному приему, — ничто не трогало меня в эту минуту. Я был весь во власти своей злобы, бессильной из-за стягивавших меня узлов.

— О, как я несчастлив! — вскричал я, наконец, плача от бешенства в своих путах. — Я жалел, что этот негодяй сам воздал себе по заслугам; я думал, что он умер, и горевал о том, что не могу отомстить. И вот теперь он пришел издеваться надо мной; он стоит здесь живой, около меня, а я не могу доставить себе радость убить его! О! кто освободит меня от этих ненавистных веревок!

Пьеро повернулся к неграм, все еще склоненным перед ним.

— Товарищи, — сказал он, — развяжите пленника!

XLII

Негры тотчас же повиновались. Они быстро перерезали стягивавшие меня веревки. Я был свободен, но не двигался. Теперь меня сковало удивление.

— Это не все, — продолжал Пьеро и, выхватив кинжал у одного из негров, протянул его мне со словами: — Исполни свое желание. Видит бог, я не хочу оспаривать твое право распоряжаться моей жизнью! Ты спас ее три раза, теперь она твоя; если хочешь убить меня — убей!

В его голосе не было ни упрека, ни горечи. В нем звучали только покорность и грусть.

Эта неожиданная возможность отомстить, данная мне тем, кого я жаждал покарать, казалась мне слишком странной и слишком доступной. Я чувствовал, что всей моей ненависти к Пьеро и всей моей любви к Мари недостаточно, чтобы толкнуть меня на убийство; к тому же, каковы бы ни были улики против него, какой-то внутренний голос настойчиво твердил мне, что враг и предатель

не может так смело идти навстречу мести и наказанию. И наконец — признаться ли вам? — от этого необыкновенного человека исходило какое-то властное обаяние, против которого я не мог устоять даже в тот момент. Я оттолкнул кинжал.

— Несчастный! — воскликнул я. — Я хочу убить тебя в поединке, а не заколоть, как убийца. Защищайся!

— Мне защищаться? — ответил он удивленно. — Но против кого?

— Против меня!

Он смотрел на меня в глубоком изумлении.

— Против тебя! Это единственное, в чем я не могу тебе повиноваться. Ты видишь Раска? Я могу задушить его, он не будет сопротивляться; но я не могу заставить его напасть на меня, он не поймет. Я тебя не понимаю; я Раск для тебя.

И, помолчав, он добавил:

— Я вижу ненависть в твоих глазах, как ты видел ее когда-то в моих. Я знаю, что ты испытал много несчастий: твоего дядю убили, твои поля сожгли, твоих друзей зарезали, дома твои разграблены, наследство уничтожено. Но это сделали мои, а не я. Послушай, я как-то сказал тебе, что твои сделали мне много зла, а ты ответил мне, что это сделал не ты; как поступил я тогда?

Лицо его прояснилось; он думал, что я брошусь ему в объятия. Но я сурово смотрел на него.

— Ты не хочешь отвечать за то, что сделали мне твои, — сказал я ему гневно, — а не говоришь о том, что сделал мне ты сам!

— Но что же? — спросил он.

Я стремительно подошел к нему и спросил его громовым голосом:

— Где Мари? Что ты сделал с Мари?

При этом имени по лицу его пробежало темное облачко; он помолчал с минуту, как будто смутившись. Потом сказал:

— Мария! Да, ты прав... Но здесь нас слушает слишком много ушей.

Его смущение, слова: «Ты прав», снова разожгли адское пламя в моей душе. Мне казалось, что он уклоняется от ответа. Но он повернул ко мне свое открытое лицо и сказал с глубоким волнением:

— Не подозревай меня, заклинаю тебя! Я все скажу тебе, только не здесь. Люби меня так же, как я тебя, и верь мне.

Он на минуту остановился, чтоб посмотреть, какое впечатление произвели на меня его слова, и сказал мне ласково:

— Можно мне называть тебя братом?

Но гнев и ревность охватили меня с новой силой, и эти ласковые слова, казавшиеся мне лицемерными, только усилили их.

— Ты смеешь напоминать мне прошлое? Неблагодарный негодяй!.. — воскликнул я.

Он прервал меня. Крупные слезы блеснули у него на глазах.

— Не я неблагодарный!

— Так говори! — вскричал я запальчиво. — Что ты сделал с Мари?

— Не здесь, не здесь! — ответил он. — Тут слушают нас чужие уши. К тому же ты, конечно, не согласишься мне на слово, а время не терпит. Вот уже светает, и мне надо увести тебя отсюда. Послушай, все погибло, если ты сомневаешься во мне, и лучше всего, если ты прикончишь меня кинжалом; но подожди немного, прежде чем ты свершишь то, что называешь своей мстью, я должен освободить тебя. Пойдем со мной к Биасу.

В его поведении и словах скрывалась неведомая для меня тайна. Несмотря на все мое предубеждение против этого человека, голос его всегда заставлял звучать какую-то струну в моем сердце. Слушая его, я невольно поддавался непонятной властной силе. Я сам ловил себя на том, что колеблюсь между желанием отомстить и жалостью, между подозрением и слепой доверчивостью.

Я последовал за ним.

XLII

Мы ушли со стоянки негров Красной Горы. Мне было странно, что я свободно иду по этому лагерю диких, где накануне каждый разбойник, казалось, жаждал моей крови. Негры и мулаты, встречавшиеся нам по дороге, не только не пытались нас задержать, но с криками радости,

удивления и почтения падали ниц перед нами. Я не знал звания Пьеро в войске мятежников, но помнил, каким влиянием он пользовался среди своих товарищей-рабов, и потому нисколько не удивлялся тому высокому положению, которое он, повидимому, занимал среди своих друзей-бунтовщиков.

Когда мы подошли к сторожевому отряду, охранявшему вход в пещеру Биасу, начальник охраны, мулат Канди, вышел нам навстречу, издали грозно спрашивая нас, как мы смеем так близко подходить к жилищу генерала; но когда он подошел поближе и смог разглядеть лицо Пьеро, он, как будто ужаснувшись собственной дерзости, быстро сорвал свою вышитую золотом шапку и поклонился ему до земли, после чего повел нас к Биасу, бормоча бесконечные извинения, в ответ на которые Пьеро только презрительно махнул рукой.

Преклонение простых солдат перед Пьеро не удивляло меня, но когда я увидел, что Канди, один из их главных офицеров, так унижается перед невольником моего дяди, я задал себе вопрос, кто же этот человек, власть которого, казалось, была так велика. Я удивился еще больше, когда увидел, что сам главнокомандующий, который сидел один и спокойно ел тыквенный суп, при появлении Пьеро поспешно вскочил с места и, стараясь скрыть тревожное удивление и сильнейшую досаду, с подчеркнутым уважением, смиренно склонился перед моим спутником, предлагая ему занять место на своем троне. Пьеро отказался.

— Жан Биасу, — сказал он, — я пришел не затем, чтобы занять ваше место, а только попросить у вас милости.

— *Alteza*, — ответил Биасу, отвешивая ему новые поклоны, — вы можете распоряжаться всем, что зависит от Жана Биасу, всем, что принадлежит Жану Биасу, а также самим Жаном Биасу.

Этот титул *alteza*, соответствующий нашему «высочеству» или «светлости», с которым Биасу обратился к Пьеро, еще усилил мое изумление.

— Мне не нужно так много, — с живостью возразил Пьеро, — я прошу вас только дать жизнь и свободу этому пленнику.

Он указал на меня рукой. В первую минуту Биасу как будто растерялся, но быстро пришел в себя.

— Вы повергаете в отчаяние вашего покорного слугу, alteza; вы требуете от него гораздо больше того, что он может исполнить, к его великому сожалению. Этот пленник — не Жана Биасу, он не принадлежит Жану Биасу и не зависит от Жана Биасу.

— Что вы хотите сказать? — спросил Пьеро сурово. — От кого же он зависит? Разве здесь есть иная власть, кроме вашей?

— Увы, есть, alteza!

— Чья же она?

— Моей армии.

Льстивый и хитрый вид, с каким Биасу увиливал от ответа на решительные и прямые вопросы Пьеро, свидетельствовал о том, что он решил ограничиться лишь изъявлениями уважения, которые, видимо, был обязан оказывать Пьеро.

— Как вашей армии? — вскричал Пьеро. — Разве вы не командуете ею?

Биасу чувствовал себя хозяином положения и, сохраняя свой покорный вид, ответил с притворной искренностью:

— Неужели alteza полагает, что можно действительно приказывать людям, восставшим именно потому, что они не хотят повиноваться?

Я слишком мало дорожил жизнью, чтобы вмешаться в их разговор; однако все, что я видел накануне, свидетельствовало о неограниченной власти Биасу над бунтовщиками и давало мне возможность вывести на чистую воду этого лицемера. Пьеро возразил ему:

— Ну что ж! Если вы не умеете приказывать вашей армии и если вы подчиняетесь вашим солдатам, тогда скажите мне, по какой причине они так ненавидят этого пленника?

— Вчера Букман был убит правительственными войсками, — ответил Биасу, стараясь придать грустное выражение своему свирепому и насмешливому лицу. — И мои солдаты решили отомстить этому белому за смерть вождя ямайских негров; они хотят взять трофей за трофеем, чтобы голова этого молодого офицера уравнивала голову Букмана на тех весах, которые покажут перед господом богом, которая из сторон была права.

— Как можете вы участвовать в этой гнусной расправе? — воскликнул Пьеро. — Послушайте, Жан Биасу, именно такие жестокости погубят наше правое дело. Я был в плену в лагере белых, откуда мне удалось бежать, и не знал о смерти Букмана, вы первый сообщили мне о ней. Это справедливое возмездие, посланное ему небом за его преступления. Я могу сообщить вам еще одну новость. Жано, тот самый предводитель черных, который пошел в проводники к белым, чтобы заманить их в засаду в ущелье «Усмиритель мулатов», тоже только что погиб. Вы знаете, — не перебивайте меня, Биасу, — вы знаете, что в жестокости он мог поспорить с Букманом и с вами; так вот запомните: его убил не гром небесный и не белые, а Жан-Франсуа. Он сам совершил над ним правосудие.

Биасу, слушавший его с мрачной почтительностью, издал удивленное восклицание. В эту минуту вошел Риго, низко поклонился Пьеро и прошептал несколько слов на ухо Биасу. Снаружи, в лагере, слышалось большое волнение. Пьеро продолжал:

— ...Да, Жан-Франсуа, у которого нет других недостатков, кроме пагубной любви к роскоши и смешного чванства коляской, запряженной шестеркой лошадей, в которой он каждый день ездит из своего лагеря слушать мессу в церковь прихода Большой реки, — сам Жан-Франсуа наказал Жано за необузданную жестокость. Несмотря на униженные мольбы разбойника, несмотря на то, что в последнюю минуту он так крепко вцепился в исповедовавшего его священника из Мармэлада, что его насилу оторвали, этот зверь был вчера расстрелян у подножия того дерева с железными крючьями, на котором он подвешивал живьем свои жертвы. Пусть это послужит вам уроком, Биасу! К чему эти казни, которые толкают белых на жестокости? И зачем прибегать к фиглярству, чтобы разжигать ярость в наших несчастных товарищах, и так уже слишком ожесточенных? В Тру-Коффи есть шарлатан-мулат по прозвищу «Римская пророчица», который возбуждает фанатизм среди черных; он оскверняет богослужение; он уверяет, будто может разговаривать с богородицей и слушать ее предсказания, прижав ухо к дарохранительнице; он толкает своих товарищей на убийства и грабежи во имя девы Марии!

Быть может, в тоне, каким Пьеро произнес это имя,

я уловил чувство более нежное, чем благоговение верующего, — не знаю, но это оскорбило и возмутило меня.

— ...Так вот, — продолжал Пьеро, — в вашем лагере есть тоже какой-то оби, какой-то фигляр, вроде этой «Римской пророчицы»! Я понимаю, что когда приходится командовать армией, состоящей из людей многих стран, многих племен и цветов, необходимо создать общую связь между ними; но неужели вы не можете найти эту связь ни в чем, кроме дикого фанатизма и нелепых суеверий? Поверьте, Биасу, белые не так жестоки, как мы. Я видел плантаторов, отстаивавших жизнь своих рабов; правда, я знаю, что для многих это значило спасти свои деньги, а не жизнь человека; но все же эта забота о собственных интересах стала их заслугой. Не будем менее милосердны, чем они, ведь это тоже в наших интересах. Разве наше дело станет более святым и справедливым, если мы будем истреблять женщин, душить детей, пытать стариков, сжигать колонистов живьем в их домах? А ведь мы это делаем каждый день! Отвечайте, Биасу, нужно ли нам всегда оставлять за собой лишь пепел и кровь?

Он замолчал. Его сверкавшие глаза и выразительный голос сообщали его словам непередаваемую силу и убедительность. Биасу, точно лисица, настигнутая львом, бросал вокруг косые взгляды, стараясь найти какую-нибудь лазейку, чтобы ускользнуть от этого могучего противника. В то время как он раздумывал, начальник отряда из Кэй, гот самый Риго, который накануне с таким спокойствием взирает на злодеяния, творимые перед его глазами, теперь притворился возмущенным картиной насилий, нарисованной Пьеро, и воскликнул с лицемерным ужасом:

— Великий боже! Как страшен разъяренный народ!

XLIII

Между тем шум снаружи все усиливался и, казалось, тревожил Биасу. Позже я узнал, что это волнение было вызвано неграми Красной Горы, которые бежали по лагерю, рассказывая о возвращении моего освободителя, и были готовы поддерживать его во всем, с чем бы он ни пришел к Биасу. Риго сообщил об этом главнокомандующему, и тот, боясь, как бы это не привело к гибель-

ному расколу в его войске, решил пойти на некоторые уступки Пьеро.

— Alteza, — сказал он с досадой, — если мы слишком суровы с белыми, то вы слишком суровы с нами. Вы неправы, обвиняя меня в свирепости; я попал в этот поток: не я, а он увлекает меня за собой. Но скажите, que podria hacer ahora¹, чтобы доставить вам удовольствие?

— Я вам уже сказал, сеньор Биасу, — ответил Пьеро: — отпустите со мной этого пленника.

Биасу на минуту задумался, а потом воскликнул, стараясь придать своему лицу выражение самой глубокой искренности:

— Так и быть, alteza, я хочу показать, как велико мое желание вам услужить. Позвольте мне сказать пленнику два слова с глазу на глаз; после этого он может идти за вами.

— И только-то? Пожалуйста! — ответил Пьеро.

Его лицо, до этого надменное и недовольное, просияло от радости. Он отошел на несколько шагов.

Биасу отвел меня в угол пещеры и тихо сказал:

— Я могу даровать тебе жизнь, только с одним условием: ты знаешь его. Ну как, ты одумался?

Он показал мне письмо Жана-Франсуа. Я считал низостью согласиться.

— Нет! — ответил я.

— Ты все еще упрямисься? — сказал он со своей обычной усмешкой. — Видно, ты сильно надеешься на своего покровителя! А знаешь, кто он?

— Да, — ответил я с живостью, — он такой же изверг, как и ты, только еще лицемерней!

Биасу подскочил от удивления и, глядя мне в глаза, чтобы понять, не шучу ли я, спросил:

— Так ты вправду не знаешь его?

Я ответил ему с презрением:

— Я знаю только, что это невольник моего дяди по имени Пьеро.

Биасу опять начал ухмыляться.

— Ха! Ха! Вот так потеха! Он требует для тебя жизни и свободы, а ты говоришь, что он «такой же изверг», как и я!

¹ Что я могу сделать сейчас (Прим. авт.).

— Что мне за дело? — ответил я. — Если б я получил хоть одну минуту свободы, я добивался бы его смерти, а не моей жизни!

— Что это значит? — спросил Биасу. — Ты как будто говоришь то, что думаешь, и вряд ли хочешь шутить своей жизнью. Тут кроется что-то непонятное для меня. Тебе покровительствует человек, которого ты ненавидишь; он хочет спасти тебя, а ты хочешь его убить! Впрочем, мне все равно. Ты желаешь получить хоть минуту свободы, — это единственное, что я могу подарить тебе. Я отпущу тебя с ним; но прежде дай честное слово, что за два часа до захода солнца ты вернешься назад и отдашься в мои руки. Ведь ты француз?

Что мне сказать вам, господа? Жизнь была мне в тягость; к тому же меня возмущала мысль принять ее от Пьеро, которого у меня было столько поводов ненавидеть; быть может, на мое решение повлияла также уверенность, что Биасу, никогда не выпускавший из лап свою добычу, ни за что не согласится отпустить меня; я действительно хотел получить свободу всего на несколько часов, чтобы узнать перед смертью о судьбе моей любимой Мари, а значит, и о своей. Дать слово, которого потребовал от меня Биасу, доверявший чести француза, было самым верным и легким средством получить еще один день жизни; я дал его.

Связав меня этим обещанием, Биасу подошел к Пьеро.

— *Alteza*, — сказал он угодливо, — белый пленник в вашем распоряжении; вы можете увести его; он волен следовать за вами.

Я никогда не видел, чтобы глаза Пьеро сияли таким счастьем.

— Спасибо, Биасу! — вскричал он, протягивая ему руку. — Спасибо! Ты оказал мне такую услугу, что можешь теперь требовать от меня все, что захочешь! Продолжай командовать моими братьями с Красной Горы до моего возвращения.

Он повернулся ко мне.

— Раз ты свободен, идем!

И он увлек меня с необыкновенной настойчивостью.

Биасу смотрел нам вслед с удивлением, сквозившим даже в почтительных поклонах, которыми он провожал Пьеро.

Мне не терпелось остаться с Пьеро наедине. Его смущение, когда я спросил о судьбе Мари, оскорбительная нежность, с какой он осмелился произнести ее имя, еще укрепили ненависть и ревность, вспыхнувшие в моем сердце, когда я сквозь пламя пожара в форте Галифэ увидел, что он уносит ту, которую я едва успел назвать своей женой. Что значили для меня после этого великодушные упреки, которые он бросал при мне злодею Биасу, его попытки спасти мою жизнь и даже необыкновенная странность всех его поступков и слов? Что значила для меня тайна, казалось, всегда окружавшая его? Тайна его неожиданного появления передо мной живым и невредимым, когда я был уверен, что присутствовал при его смерти; тайна его плена в лагере белых, после того как я видел, что он утонул в Большой реке; тайна превращения раба в повелителя, пленника — в освободителя? Из всех этих непонятных происшествий для меня было ясно только одно: гнусное похищение Мари — обида, требовавшая мести, преступление, требовавшее наказания. Все, что случилось необъяснимого за это время, могло лишь заставить меня отсрочить мой приговор, и я с нетерпением ждал минуты, когда призову к ответу моего соперника. Эта минута настала наконец.

Мы прошли сквозь тройную цепь негров, распростершихся при виде нас и кричавших с удивлением: «*Migaculo! ya no esta prisioniero!*»¹ Не знаю, о ком они думали: о Пьеро или обо мне. Наконец мы вышли за границы лагеря; последние сторожевые посты Биасу скрылись за деревьями и скалами; Раск весело обгонял нас и снова прибегал назад; Пьеро быстро шел вперед. Я резко остановил его.

— Послушай, — сказал я ему, — незачем идти дальше. Уши, которых ты боялся, теперь не могут нас услышать; говори, что ты сделал с Мари?

Голос мой прерывался от сильного волнения. Он кротко посмотрел на меня.

— Опять! — сказал он.

¹ О чудо! Он уже не пленник! (*исп. — Прим. авт.*)

— Да, опять! — вскричал я в бешенстве. — Опять! Я буду спрашивать тебя снова и снова, до твоего последнего вздоха и до моего последнего дыхания. Где Мари?

— Значит, ничто не может рассеять твоих сомнений во мне? Ты скоро все узнаешь.

— Скоро, негодяй? — возразил я. — Я хочу знать сейчас же! Где Мари? Где Мари? Слышишь? Отвечай, или жизнь за жизнь! Защищайся!

— Ведь я уже говорил тебе, что не могу, — отвечал он с грустью. — Поток не борется со своим источником; ты трижды спас мою жизнь, и она не может бороться с твоей жизнью. Да если б я и захотел, это невозможно. У нас только один кинжал на двоих.

С этими словами он вытащил кинжал из-за пояса и протянул его мне.

— Возьми, — сказал он.

Я был вне себя. Я схватил кинжал и приставил блестящее острие к его груди. Он не подумал уклониться.

— Несчастный, — вскричал я, — не принуждай меня к убийству! Если ты сейчас же не скажешь мне, где моя жена, я воткну тебе в сердце этот клинок!

Он ответил мне без гнева:

— Ты мой господин. Но я молю тебя, дай мне еще час жизни и следуй за мной. Ты сомневаешься в том, кому три раза спас жизнь, в том, кого называл своим братом; но слушай, если через час ты все еще будешь сомневаться во мне, ты волен убить меня. Это ты всегда успеешь. Ты же видишь, что я не буду сопротивляться. Заклинаю тебя именем самой Марии... — и он прибавил с усилием: — твоей жены. Еще один час; и если я так умоляю тебя, то, поверь, это не ради меня, а ради тебя!

Его голос, полный невыразимой грусти, звучал необыкновенно убедительно. Какое-то смутное чувство говорило мне, что, быть может, все это правда, что одного желания спасти свою жизнь было бы недостаточно, чтобы придать его словам такую проникновенную нежность, такую кроткую покорность, и что он умоляет не ради самого себя. Я еще раз подчинился той тайной власти, которую он имел надо мной и в которой я тогда стыдился себе признать.

— Хорошо, — сказал я, — даю тебе отсрочку еще на час; я пойду за тобой.

Я хотел отдать ему кинжал.

— Нет, — сказал он, — оставь его у себя, ты мне не доверяешь. Но идем, у нас мало времени.

XLV

Он снова пошел вперед. Раск, который во время нашего разговора несколько раз убежал и опять возвращался к нам, как бы спрашивая взглядом, зачем мы остановились, теперь весело бежал перед нами. Мы углубились в девственный лес. Приблизительно через полчаса мы вышли на красивую зеленую поляну, окруженную высокими вековыми деревьями с густой и свежей листвой; по ней протекал родник, бивший из скалы. На поляну выходила пещера, темное отверстие которой все заросло вьющимися растениями: бородавником, лианами и жасмином. Раск хотел было залаять, но Пьеро знаком остановил его и, взяв меня за руку, ввел в пещеру.

В этом гроте, на циновке, спиною к свету, сидела женщина. Услышав звук шагов, она обернулась... Друзья мои, то была Мари!

На ней было белое платье, как в день нашей свадьбы, и венок из флер-д'оранжа, последний девичий убор молодой новобрачной, который я не успел снять с ее головы. Она увидела меня, узнала, вскрикнула и упала в мои объятия, теряя сознание от радости и волнения. Я был вне себя.

На ее крик из углубления в конце пещеры, где была устроена вторая комната, выбежала старуха с ребенком на руках. То была старая няня Мари и младший ребенок моего несчастного дяди. Пьеро сбегал за водой к роднику и брызнул несколько капель в лицо Мари. Их свежесть вернула ее к жизни; она открыла глаза.

— Леопольд! — воскликнула она. — Мой Леопольд!

— Мари!.. — ответил я, и слова мои замерли в поцелуе.

— Только не при мне! — вскрикнул кто-то раздирающим душу голосом.

Мы подняли глаза; это был Пьеро. Он стоял тут же, присутствуя при наших ласках, как на пытке. Его грудь высоко вздымалась, ледяной пот крупными каплями скатывался со лба, он весь дрожал. Вдруг он закрыл лицо

руками и выбежал из пещеры, повторяя с отчаянием: «Не при мне!»

Мари слегка отстранилась от меня и воскликнула, глядя ему вслед:

— Великий боже! Леопольд, он, кажется, страдает, глядя на нашу любовь. Неужели он любит меня?

Крик невольника доказал мне, что он мой соперник; восклицание Мари доказывало, что он мой друг.

— Мари! — сказал я, и сердце мое наполнилось одновременно невыразимым блаженством и горьким раскаянием. — Мари, разве ты этого не знала?

— Да я и сейчас не знаю, — отвечала она, стыдливо покраснев. — Как! Он любит меня? Я никогда этого не замечала!

Я страстно прижал ее к своему сердцу.

— Я снова нашел и жену и друга! — воскликнул я. — Как я счастлив и как виноват! Я сомневался в нем!

— Как! В нем? — спросила Мари с удивлением. — В Пьеро? О да, ты очень виноват. Он два раза спас мне жизнь и, может быть, больше, чем жизнь, — прибавила она, опуская глаза. — Если б не он, меня разорвал бы крокодил; если б не он, негры... Пьеро вырвал меня у них из рук в ту минуту, когда они, видимо, собирались отправить меня вслед за моим несчастным отцом.

Мари замолчала и заплакала.

— Но почему же Пьеро не отослал тебя в Кап, к твоему мужу? — спросил я ее.

— Он пытался, но не мог. Это было очень трудно; ему приходилось скрываться и от черных и от белых. Кроме того, мы не знали, что с тобой. Некоторые говорили, будто видели, как тебя убили, но Пьеро убеждал меня, что это неправда; и я была уверена, что ты жив: если б ты умер, сердце подало бы мне весть и я умерла бы в ту же минуту.

— Значит, Пьеро привел тебя сюда? — спросил я.

— Да, мой Леопольд; никто, кроме него, не знает про эту уединенную пещеру. Вместе со мной он спас и всех, кто уцелел из моей семьи, — мою няню и младшего брата, и спрятал нас здесь. Уверяю тебя, нам тут очень удобно; и если б не война, которая проникает в каждый уголок нашей страны, теперь, когда мы разорены, я с радостью осталась бы здесь жить с тобой. Пьеро приносил сюда

все, что нам было нужно. Он часто приходил к нам, с красным пером в волосах. Он утешал меня, говорил о тебе, уверял, что скоро мы будем снова вместе. Последние три дня он не был у нас, и я начала уже беспокоиться, но тут он вернулся с тобою вместе. Бедный друг! Он, значит, ходил за тобой?

— Да, — ответил я.

— Но может ли быть после этого, что он влюблен в меня? — продолжала она. — Ты в этом уверен?

— Теперь уверен, — ответил я. — Это он занес над мной кинжал и опустил руку не ударив, из боязни причинить тебе горе; это он пел тебе песни любви у беседки над рекой.

— Неужели! — воскликнула Мари с наивным удивлением. — Он твой соперник? Тот гадкий человек с букетом ноготков — это добрый Пьеро? Мне прямо не верится! Он так предан мне, так почтителен, еще больше, чем когда он был нашим рабом! Правда, иногда он смотрел на меня каким-то странным взглядом, но я видела в нем только грусть и думала, что он жалеет меня в моем горе. Если бы ты знал, с какой горячей преданностью он говорил со мной о моем Леопольде! Его дружба превозносила тебя почти так же, как моя любовь.

Рассказ Мари восхищал меня и в то же время приводил в отчаяние. Я вспоминал, как жестоко я обошелся с великодушным Пьеро, и чувствовал всю справедливость его кроткого, покорного упрека: «Не я неблагодарный».

В это время Пьеро вернулся. Лицо его было мрачно и скорбно. Он был похож на осужденного, только что мужественно перенесшего пытку. Он медленно подошел ко мне и сказал серьезным тоном, указывая на кинжал, который я засунул себе за пояс:

— Час прошел.

— Какой час? — спросил я.

— Час отсрочки, что ты мне дал; он был мне нужен, чтоб привести тебя сюда. Тогда я умолял тебя оставить мне жизнь, теперь я заклинаю тебя избавить меня от нее.

Самые нежные чувства: любовь, дружба, благодарность, соединились теперь, чтобы разорвать мое сердце. Горько рыдая, я упал к ногам раба, не в силах произнести ни слова. Он поспешно поднял меня.

— Что ты делаешь? — воскликнул он.

— Я только воздаю тебе должное; я не достоин такой дружбы, как твоя. Признательность твоя не может быть так велика, чтобы ты простил мне мою неблагодарность.

Его лицо еще несколько минут сохраняло суровое выражение; повидимому, в душе его шла мучительная внутренняя борьба; он сделал шаг ко мне и остановился, разомкнул губы, но не произнес ни слова. Однако колебания его длились недолго; он раскрыл мне свои объятия и сказал:

— Могу я теперь называть тебя братом?

В ответ я бросился ему на шею.

Помолчав немного, он сказал:

— Ты добр, но несчастье сделало тебя несправедливым.

— Я вновь нашел своего брата, — ответил я, — я счастлив теперь, но очень виноват.

— Ты виноват, брат? Я тоже был виноват, и гораздо больше тебя. Ты счастлив теперь; я же буду несчастным всегда!

XLVI

Радость вновь обретенной дружбы, в первые минуты осветившая его лицо, быстро угасла; на нем появилось выражение какой-то печали и твердости.

— Послушай, — сказал он мне сурово, — мой отец был королем в стране Каконго. Он творил суд над своими подданными у порога своего дома и после каждого вынесенного им приговора, по обычаю королей, пил полную чашу пальмового вина. Мы были счастливы и могущественны. Но вот пришли европейцы; от них я перенял те пустые знания, что так удивили тебя. Начальником у них был испанский капитан; он пообещал отцу более обширные владения, чем наши, и белых женщин; отец последовал за ним со всей своей семьей... Брат, они продали нас!

Грудь его вздымалась, глаза сверкали; он бессознательно схватился за стоявшее возле него молодое кизиловое дерево и переломил его, а потом продолжал, как будто даже не обращаясь ко мне:

— У повелителя страны Каконго появился свой повелитель, а его сын стал рабом на полях Сан-Доминго. Молодого льва разлучили с его старым отцом, чтоб их легче

было укротить. Молодую жену оторвали от мужа, чтоб извлечь побольше выгоды, соединив их с другими. Маленькие дети искали мать, выкормившую их, и отца, купавшего их в горных потоках; но они нашли только жестоких тиранов, державших их вместе с собаками!

Он замолчал; губы его беззвучно шевелились, дикий взгляд его был неподвижен. Вдруг он крепко схватил меня за руку.

— Брат, знаешь? Меня продавали разным хозяевам, точно скотину... Ты помнишь казнь Оже? Слушай: в этот день я снова увидел отца... на колесе!

Я содрогнулся. Он продолжал:

— Белые надругались над моей женой. Слушай, брат: она умерла и перед смертью просила меня отомстить. Сознаться ли тебе? — продолжал он, колеблясь и опуская глаза. — Я виноват перед ней, я полюбил другую. Но оставим это...

Все мои товарищи торопили меня, чтобы я освободил их и отомстил. Раск приносил мне вести от них.

Я не мог исполнить их желания, я сам сидел в то время в тюрьме твоего дяди. В тот день, когда ты добился моего помилования, я сбежал, чтобы вырвать моих детей из рук жестокого хозяина. Я пришел. Слушай, брат: последний внук короля Каконго только что скончался под ударами белого! Остальные погибли до него.

Он остановился и холодно спросил меня:

— Брат, что бы ты сделал на моем месте?

Этот раздирающий сердце рассказ глубоко потряс меня. Я ответил на его вопрос угрожающим жестом. Он понял меня и горько улыбнулся. Затем продолжал:

— Рабы восстали против своих господ и наказали их за убийство моих детей. Они выбрали меня своим вождем. Ты знаешь, сколько бедствий повлек за собой этот мятеж. Я узнал, что негры твоего дяди готовятся последовать этому примеру. Я прибежал в Акюль в ночь, когда началось восстание. Тебя не было. Твой дядя был только что заколот в своей постели. Черные уже поджигали плантации. Я не мог сдержать разъяренных невольников, считавших, что они отомстят за меня, спалив имение твоего дяди, и постарался спасти всех, кто еще уцелел из твоей семьи. Я пробрался в форт через проделанный мною раньше проход. Няню твоей жены я поручил

одному верному товарищу. Спасти Марию было гораздо трудней. Она бросилась в горевшую часть форта, чтобы вытащить оттуда своего младшего брата, единственного, кто уцелел во время резни. Черные окружили ее; они хотели ее убить. Я подошел к ним и приказал отпустить ее, чтобы самому отомстить за себя. Они разошлись. Я взял на руки твою жену, передал ребенка Раску и перенес их в эту пещеру, о которой никто не знает, кроме меня. Брат, вот и все мое преступление!

Благодарность и угрызения совести охватили меня с новой силой, и я хотел опять броситься к его ногам; он остановил меня с оскорбленным видом.

— Полно, идем, — сказал он и взял меня за руку, — бери свою жену, и двинемся в путь все вместе.

Я с удивлением спросил его, куда он хочет нас вести.

— В лагерь белых, — ответил он. — Это убежище теперь ненадежно. Завтра на рассвете белые пойдут в атаку на лагерь Биасу; лес будет наверно подожжен. К тому же нам нельзя терять ни минуты; десять человек отвечают за меня своими головами. Теперь мы можем поторопиться, ведь ты свободен; мы обязаны это сделать, ведь я не свободен.

Его слова еще увеличили мое удивление; я попросил его объяснить, что он хочет сказать.

— Разве ты не слышал, что Бюг-Жаргаль взят в плен? — спросил он нетерпеливо.

— Слышал. Но что у тебя общего с этим Бюг-Жаргалем?

Теперь он удивился в свою очередь и сказал мне с достоинством:

— Бюг-Жаргаль — это я!

XLVII

С этим человеком я, можно сказать, привык ко всяким неожиданностям. Минуту тому назад я с удивлением увидел в невольнике Пьеро африканского короля. Теперь я с восхищением узнал в нем грозного и великодушного Бюг-Жаргалья, вождя мятежников Красной Горы. Я понял, наконец, причину того глубокого уважения, которое

все мятежники, и даже Биасу, оказывали вождю Бюг-Жаргалю, королю Каконго.

Он, повидимому, не заметил, какое сильное впечатление произвели на меня его последние слова.

— Мне сказали, — продолжал он, — что ты тоже в плену, в лагере Биасу, и я пришел туда, чтобы освободить тебя.

— Отчего же ты сказал мне сейчас, что ты не свободен?

Он посмотрел на меня, как будто стараясь отгадать, почему я задал ему этот вполне естественный вопрос.

— Послушай, — сказал он, — сегодня утром я был в плену у твоих. В лагере я узнал, что Биасу объявил о своем намерении перед заходом солнца казнить молодого пленника по имени Леопольд д'Овернэ. Мою охрану усилили. Мне сказали, что я буду казнен немедленно после тебя, а если я убегу, за меня ответят десять моих товарищей. Видишь, я должен спешить.

Я опять остановил его.

— Значит, ты убежал? — спросил я.

— А как же я попал бы сюда? Разве я не должен был спасти тебя? Ведь я обязан тебе жизнью. А теперь следуй за мной. Мы в часе ходьбы и от лагеря белых и от лагеря Биасу. Видишь, тени кокосовых пальм становятся все длинней, и их круглые вершины на траве похожи на громадные яйца кондора. Через три часа солнце сядет. Идем, брат, время не ждет.

«Через три часа солнце сядет». От этих простых слов кровь застыла в моих жилах, как будто я увидел призрак смерти. Они напомнили мне роковое обещание, данное мной Биасу. Увы! При виде Мари я совсем забыл о нашей скорой и вечной разлуке; я весь отдался упоению этой встречи; пережитые волнения отняли у меня память, и, в своем счастье, я забыл о близкой смерти. Слова моего друга внезапно сбросили меня в бездну моего несчастья. «Через три часа солнце сядет»! Чтобы добраться до лагеря Биасу, нужен был час. Мой долг неумолимо стал передо мной; я дал разбойнику слово, и лучше умереть, чем признать за этим варваром право презирать единственное, во что он, кажется, еще верил, — честь француза. Этот выбор был ужасен; я избрал то, что повелел мне долг; но, сознаюсь вам, господа, в первую минуту я заколебался. Можно ли осуждать меня за это?

Наконец, тяжело вздохнув, я взял одной рукой руку Бюг-Жаргалья, а другой — руку моей бедной Мари, с тревогой смотревшей на мое помрачневшее лицо.

— Бюг-Жаргаль, — сказал я с усилием, — поручаю тебе единственное существо на свете, которое я люблю больше тебя, — Мари. Возвращайтесь в лагерь без меня, я не могу идти с вами.

— Боже мой, — вскричала Мари, едва дыша, — опять какое-то несчастье!

Бюг-Жаргаль вздрогнул. В его глазах отразилось горестное недоумение.

— Брат, что ты говоришь?

Ужас, охвативший Мари при мысли о новом несчастье, которое, казалось, угадала ее чуткая любовь, обязывал меня скрыть от нее истину и избавить ее от душераздирающего прощания. Я наклонился к Бюг-Жаргалю и тихо сказал ему:

— Я пленник. Я поклялся Биасу вернуться и отдаться в его руки за два часа до захода солнца; я обещал умереть.

Он подскочил от ярости и закричал громовым голосом:

— Негодяй! Так вот зачем он хотел поговорить с тобой с глазу на глаз, он вырвал у тебя это обещание! Как мог я поверить этой гадине Биасу! Я должен был предвидеть какое-нибудь вероломство. Ведь он не черный, а мулат!

— Что это значит? Какое обещание? Какое вероломство? — воскликнула в ужасе Мари. — Кто такой Биасу?

— Молчи, молчи, — твердил я шопотом Бюг-Жаргалю, — не надо пугать Мари.

— Хорошо, — сказал он мрачным тоном. — Но как ты мог согласиться? Зачем ты дал это обещание?

— Я думал, что ты предал меня, что Мари для меня потеряна. Зачем была мне жизнь?

— Но одно устное обещание не может связать тебя перед этим разбойником.

— Я дал ему честное слово.

Казалось, он старается понять смысл моих слов.

— Честное слово! Что это такое? Ведь вы не пили оба

из одной чаши? Не ломали с ним кольца или ветки цветущего клена?

— Нет.

— Тогда о чем же ты толкуешь? Что тебя связывает?

— Моя честь, — ответил я.

— Я не понимаю, что это значит. Ничто не связывает тебя с Биасу. Пойдем с нами.

— Я не могу, брат, я обещал.

— Нет! Ты не обещал! — вскричал он запальчиво. Затем, еще повысив голос, продолжал: — Сестра, помогите мне; не позволяйте мужу покинуть нас. Он хочет вернуться в лагерь к черным, откуда я вырвал его, вернуться только потому, что он обещал их вождю Биасу умереть.

— Что ты наделал? — вскричал я.

Но было уже поздно. Я не мог предотвратить действие этого великодушного порыва, побудившего его молить ту, которую он любил, о спасении жизни своего соперника. Мари бросилась мне на грудь с криком отчаяния. Обвив руками мою шею, она прижалась ко мне без сил и почти без дыхания.

— О мой Леопольд, что он говорит? — с трудом прошептала она. — Скажи, что это неправда, что ты не хочешь покинуть меня в ту минуту, когда мы вновь соединились, — покинуть, чтобы умереть! Отвечай скорей, или я умру! Ты не имеешь права отдавать свою жизнь, ты с нею отдаешь и мою. Ты не захочешь уйти от меня и расстаться со мною навеки!

— Мари, — ответил я, — не верь ему; я, правда, должен тебя покинуть; так надо; но мы снова встретимся в другом месте...

— В другом месте, — повторила она с ужасом, — в другом месте... где же?

— На небе! — ответил я, не в силах лгать этому ангелу.

Она снова упала без чувств, на этот раз уже от горя. Я не мог больше медлить; решение мое было твердо. Я передал ее Бюг-Жаргалю, который смотрел на меня полными слез глазами.

— Значит, ничто не может удержать тебя? — спросил он. — Я ничего не прибавлю к тому, что ты видишь. Как можешь ты противиться Марии? За каждое слово,

сказанное ею, я пожертвовал бы целым миром, а ты не можешь пожертвовать своей смертью!

— Честью, — возразил я. — Прощай, Бюг-Жаргаль, прощай, брат! Я завещаю ее тебе.

Он взял меня за руку; он был задумчив и, казалось, плохо слушал меня.

— Брат, в лагере у белых находится один из твоих родственников; я передам ему Марию; что до меня, я не могу принять завещанное тобой.

Он указал мне на остроконечную скалу, которая возвышалась над всей окружающей местностью.

— Видишь этот утес? Как только сигнал о твоей смерти появится на его вершине, ружейный залп тотчас возвестит и о моей. Прощай.

Не задумываясь над непонятным значением его последних слов, я крепко обнял его, поцеловал бледный лоб Мари, которая начала понемногу приходить в себя благодаря заботам своей няни, и стремительно убежал от них, боясь, как бы первый взгляд и первая мольба Мари не отняли у меня всю мою решимость.

XLIX

Я убежал и углубился в чащу леса, следуя по проложенной нами тропинке и не смея оглянуться назад. Чтобы заглушить осаждавшие меня мысли, я мчался, не останавливаясь, сквозь кустарник, через поляны и холмы, пока не вышел, наконец, на гребень горы и не увидел перед собой лагерь Биасу с неправильными рядами тележек и шалашей, кишевший внизу, как муравейник. Тут я остановился. Я достиг конца моего пути и моей жизни. Усталость и волнение сломили мои силы; я прислонился к дереву, чтобы не упасть, в то время как глаза мои рассеянно блуждали по развернувшейся у моих ног роковой саванне.

До этой минуты мне казалось, что я уже испил всю чашу горечи и желчи. Но я еще не испытал самой жестокой муки — подчиниться нравственной силе, более могущественной, чем сила внешних событий; быть счастливым — и добровольно отказаться от счастья, быть

живым — и самому отказаться от жизни. Что значила для меня жизнь несколько часов тому назад? Тогда я не жил: глубокое отчаяние — это подобие смерти; оно заставляет желать смерти настоящей. Но я спасся от этого отчаяния; я вновь обрел Мари; мое умершее счастье словно воскресло; прошлое снова стало будущим, и все мои угасшие мечты вновь засияли еще ярче прежнего; наконец сама жизнь, молодая жизнь, полная любви и очарования, развернулась передо мной, сверкая, до самого горизонта. Я мог снова начать эту жизнь; все призывало меня к ней, и во мне и вокруг меня. Никакого реального препятствия, никакой видимой преграды! Я был свободен, я был счастлив, и все же мне надо было умереть. Я сделал только шаг в этом раю и уже должен был отступить; какой-то долг, даже не слишком настоятельный, заставлял меня идти назад, навстречу казни. Смерть — ничто для души увядшей и охладевшей в страданиях; но как страшен удар ее ледяной руки тому, чье расцветшее сердце согрето всеми радостями бытия! Я испытывал это теперь; я на мгновение вышел из гроба и в этот краткий миг вкусил самые небесные из всех земных радостей: любовь, преданность, свободу; и вот мне надо было снова сойти в могилу!

L

Когда я справился с этой слабостью, вызванной мучительными сожалениями, мною овладело какое-то исступление; быстрыми шагами направился я в долину; я хотел одного — скорее покончить со всем. Подойдя к сторожевым постам негров, я назвал себя. Часовые с удивлением оглядели меня и отказались впустить обратно в лагерь. Горькая насмешка судьбы — мне пришлось чуть ли не просить их об этом. Наконец двое из них взяли отвести меня к Биасу.

Я вошел в пещеру главнокомандующего. Он перебирал орудия пытки, лежавшие перед ним, проверяя их исправность. Шум, произведенный нами при входе, заставил его оглянуться; он ничуть не удивился при моем появлении.

— Видишь? — сказал он, указывая на отвратительные предметы, окружавшие его.

Но я остался спокоен; я хорошо знал жестокость этого «героя человечества» и твердо решил перенести все не дрогнув.

— Пожалуй, Леогри очень повезло, что его только повесили! А? Как ты думаешь? — спросил он усмехаясь.

Я ответил ему взглядом, полным холодного презрения.

— Предупредите господина капеллана, — сказал Биасу одному из своих адъютантов.

Некоторое время мы оба молчали, пристально глядя друг на друга. Я рассматривал его; он наблюдал за мной.

Вошел Риго; он казался взволнованным и шопотом сказал что-то Биасу.

— Позвать всех моих военачальников, — спокойно приказал тот.

Четверть часа спустя военачальники, в своих причудливых одеяниях, собрались перед пещерой. Биасу встал.

— Слушайте, amigos ¹, — обратился он к ним. — Завтра на рассвете белые собираются напасть на нас. Позиция у нас невыгодная; надо ее оставить. Как только зайдет солнце, все мы снимемся отсюда и направимся к испанской границе. Макайя, вы с вашими беглыми пойдете в авангарде. Падрежан, вы должны заклепать дула орудий, отнятых у артиллерии Пралото; мы не можем тащить их с собой в горы. Молодцы из Круа-де-Букэ выступят вслед за отрядом Макайи. За ним тронется Тусен с черными из Леогана и Тру. Если гриоты и гриотки посмеют поднять хотя бы малейший шум, они будут иметь дело с палачом. Подполковник Клу раздаст английские ружья, выгруженные на мысе Каброн, и поведет так называемых свободных мулатов по тропинкам Висты. Пленных, если они остались, перебить. Патроны надрезать; стрелы отравить. Высыпьте три бочки мышьяка в родник, откуда берут воду для лагеря; белые примут его за сахар и будут пить без опасения. Войска из Лимбэ, Дондона и Акюля двинутся сразу за отрядами Клу и Тусена. Завалите обломками скал все дороги в саванну; обстреляйте все тропинки, подожгите леса. Риго, вы останетесь подле нас. Канди, вы соберете мою личную охрану.

¹ Друзья (исп.).

Черные Красной Горы образуют арьергард и покинут долину только на рассвете.

Тут он наклонился к Риго и тихо сказал ему:

— Это черные Бюг-Жаргаля; хорошо, если бы их тут уничтожили! *Muerta la tropa, muerto el gefe!*¹

— Ступайте, братья! — закончил он, выправившись во весь рост. — Пароль вы узнаете от Канди.

Военачальники удалились.

— Генерал, — сказал Риго, — надо отправить депешу Жана-Франсуа. Дела наши плохи; она могла бы задержать белых.

Биасу поспешно вытащил ее из кармана.

— Хорошо, что вы мне напомнили; но в ней столько грамматических ошибок, как говорят белые, что они только посмеются над ней. Послушай, хочешь спасти свою жизнь? — и он протянул мне бумагу. — Я так добр, что еще раз предлагаю тебе это, несмотря на твое упорство. Помоги мне переделать письмо; я продиктую тебе свои мысли, а ты изложишь их «стилем белых».

Я отрицательно покачал головой. Биасу, видимо, был раздосадован.

— Значит, нет? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Подумай хорошенько, — сказал он настойчиво, бросив выразительный взгляд на инструменты палача, которыми он развлекался.

— Я уже все обдумал и потому отказываюсь, — ответил я. — Ты, видно, боишься за себя и за своих; ты считаешь задержать этим письмом наступление и месть белых. А мне не нужна моя жизнь, если она послужит к спасению твоей. Прикажи начать пытку.

— Так, так, *michascho*², — проговорил Биасу, отталкивая ногой орудия для истязаний, — ты, кажется, стал уже привыкать к их виду. Очень жаль, но у меня нет времени испробовать их на тебе. Положение у нас опасное; я должен как можно скорее выйти из него. Значит, ты не желаешь быть моим секретарем? Пожалуй, ты прав, я все равно убил бы тебя потом. Тому, кто знает тайну Биасу, не быть в живых; кроме того, милейший, я обещал

¹ Погибло войско — погиб и вождь! (*исп. — Прим. авт.*)

² Мальчик (*исп.*).

нашему капеллану, что ты будешь убит, — он обернулся к оби, только что вошедшему в пещеру. — Почтенный отец, готова ваша команда?

Тот молча кивнул головой.

— Вы взяли черных Красной Горы? Из всего войска они одни не должны еще готовиться к выступлению.

Оби снова кивнул головой.

Биасу указал мне на большой черный флаг, стоявший в углу пещеры; я еще раньше обратил на него внимание.

— Вот этим мы известим ваших, что твои капитанские эполеты можно передать твоему помощнику. Ты понимаешь, что в это время мы уже должны быть в пути. Да, кстати, ты ведь только что вернулся с прогулки, как тебе понравились окрестности?

— Там достаточно деревьев, чтобы повесить тебя и всю твою шайку, — хладнокровно ответил я.

Биасу принужденно засмеялся.

— Там есть одно местечко, которое ты, вероятно, еще не видел, но почтенный отец покажет его тебе. Прощай, юный капитан, привет Леогри!

Он отвесил мне поклон со смехом, звучавшим, как трещотки гремучей змеи, подал страже знак и повернулся ко мне спиной; негры вывели меня. Колдун с покрывалом на лице шагал за нами с четками в руках.

II

Я шел, не оказывая никакого сопротивления; по правде говоря, оно было бы бесполезно. Мы поднялись на вершину холма, возвышавшегося в западной части саванны, где остановились передохнуть; я стоял, провожая глазами заходящее солнце, восход которого мне уже не суждено было увидеть. Затем мы двинулись дальше. Мы спустились в небольшую долину, которая в иное время очаровала бы меня. Ее пересекал горный поток и поил ее плодородную землю; в конце долины этот поток впадал в одно из тех красивых синих озер, которые так часто встречаются среди холмов Сан-Доминго. Сколько раз в былые счастливые дни я приходил в сумерки помечтать на берегу такого озера и следил, как его синяя гладь посте-

пенно начинает отливать серебром и как трепещет в ней отражение первых звезд, рассыпающих по воде золотые блески! Сейчас тоже приближались сумерки, но я должен был итти мимо! Какой прекрасной казалась мне эта долина! Нас окружали могучие, величественные платаны, группы *mauritias* — разновидность пальм с такой густой кроной, что в ее тени не может жить ни одно растение; финиковые деревья; магнолии, усыпанные крупными цветами; гигантские катальпы с гладкими, блестящими, словно вырезанными листьями, которые выделялись среди золотых гроздьев альпийского раkitника. Бледножелтые цветы канадской герани переплетались с голубыми колокольчиками дикой жимолости, которую негры называют «коали». Зеленые завесы лиан скрывали от глаз бурые склоны соседних скал. Вся эта девственная природа благоухала так же сильно, как, наверное, благоухали первые розы, аромат которых вдыхал в садах Эдема первый человек.

Между тем мы шли по тропинке вдоль потока. Я с удивлением увидел, что она упирается в отвесную скалу, у подножия которой было отверстие, напоминавшее арку; из него-то и вырывался поток. Оттуда доносился глухой шум и дул порывистый ветер. Негры свернули влево, на неровную извилистую тропу, повидимому прорытую среди скал каким-то давно высохшим горным ручьем.

Вдруг перед нами открылась пещера; вход в нее был наполовину скрыт зарослями терновника, остролиста и дикой ежевики. Из нее доносился такой же шум, какой привлек мое внимание, когда мы проходили мимо арки. Негры втолкнули меня в пещеру. Не успел я сделать и шага, как оба приблизился ко мне и сказал каким-то странным голосом:

— Теперь я сделаю тебе еще одно предсказание: лишь один из нас двоих выйдет отсюда этой дорогой.

Я не удостоил его ответом. Мы двигались в темноте. Шум все усиливался; мы уже не слышали звука собственных шагов. Я решил, что это шумит какой-то водопад, и не ошибся.

Пройдя в темноте минут десять, мы вышли на полукруглую площадку, которая была создана в глубине горы самой природой. Горный поток, с оглушительным шумом низвергавшийся откуда-то сверху, заливал большую часть

площадки. Свод, похожий на купол, нависший над этим подземным залом, был покрыт желтоватым плющом. Слабый свет проникал через широкую пересекавшую весь купол трещину, по краям которой росли зеленые кусты; лучи солнца золотили их в эту минуту. У северного края площадки поток с грохотом устремлялся в пропасть, в черной глубине которой слабо мерцало отражение тусклого света, падавшего из щели в куполе, и гасло, не осветив ее дна. Над пропастью наклонилось старое дерево, напоминая иссохшую руку, простертую над бездной. Его верхние ветви скрывались в пене водопада, а узловатые корни выступали из скалы немного пониже края обрыва; и вершину и корни оно купало в потоке. Трудно было сказать, что это за дерево, на нем совсем не осталось листьев. Это было поразительное явление: поток, который давал влагу его корням и поддерживал его жизнь, в своем стремительном падении срывал и уносил все нежные молодые побеги, оставляя только старые, крепкие сучья.

III

Здесь, в этом мрачном месте, негры остановились, и я понял, что час моей смерти наступил.

И вот теперь, на краю этой бездны, в которую я устремился, можно сказать, добровольно, передо мной снова встало видение счастья, отвергнутого мной всего несколько часов назад, и горькое сожаление, почти раскаяние сжало мое сердце. Молить о пощаде было бы недостойно, но все-таки жалоба сорвалась с моих уст.

— Друзья! — воскликнул я, обращаясь к неграм, окружавшим меня. — Как тяжело умирать в двадцать лет, когда ты молод и полон сил, когда ты любишь и любим, и знаешь, что на свете есть глаза, которые будут лить по тебе слезы, пока не закроются навеки!

В ответ на мои слова раздался отвратительный хохот. То смеялся маленький оби. Этот злой дух, это непостижимое существо в одно мгновение очутилось рядом со мной.

— Ага! Тебе жаль жизни! *Labado sea Dios!*¹ Я боялся одного, что ты не испугаешься смерти!

¹ Слава богу! (исп.)

Опять этот голос и этот смех, над которым я столько ломал себе голову.

— Кто же ты, исчадие ада? — крикнул я.

— Сейчас узнаешь! — голос карлика был страшен. — Смотри! — и он сдвинул в сторону серебряное солнце, висевшее на его темной груди.

Я наклонился к нему. На его волосатой груди виднелись бледные шрамы, образующие два имени, — отвратительное и неизгладимое клеймо, выжженное каленым железом на теле раба. Одно имя было «Эффингем», другое — моего дяди и мое собственное: «д'Овернэ!» Я онемел от удивления.

— Ну что, Леопольд д'Овернэ? Твое имя ничего не говорит тебе о моем?

— Нет! — отвечал я, изумленный, что он знает, как меня зовут; я напрягал свою память. — Эффингем и д'Овернэ... Эти два имени были только на груди у шута... но бедный карлик умер, притом он был нам предан... Нет, не может быть! Ты не Хабибра!

— Он самый! — проревел карлик и, приподняв окровавленный колпак, сорвал свое покрывало. Передо мной было безобразное лицо нашего домашнего шута; но прежнее выражение дурацкой веселости, к которому я привык, исчезло; он смотрел мрачно и угрожающе. Я был потрясен.

— Великий боже! Неужели все мертвые воскресли?! Да это же Хабибра — дядин шут!

— Его шут... и его убийца, — глухо сказал карлик, схватившись за рукоять кинжала.

Я в ужасе отшатнулся.

— Его убийца!.. Изверг! Так-то ты отплатил ему за его доброту!

Он перебил меня:

— За его доброту! Скажи лучше за его оскорбления!

— Как! Значит, это ты убил его, негодяй!

— Да, я! — лицо его было ужасно. — Я всадил ему нож прямо в сердце, и так глубоко, что он едва успел проснуться, как тут же погрузился в вечный сон. Он только тихо вскрикнул: «Ко мне, Хабибра!..» Что ж, я и был возле него!

Его чудовищный рассказ, его чудовищное хладнокровие возмутили меня.

— Подлый убийца! Злодей! Ты позабыл все милости, которыми он осыпал тебя! Ты ел у его стола, спал у его постели...

— Да, как собака! — резко перебил меня Хабибра. — *Sono un perro!* Оставь! Я слишком хорошо помню все эти милости: каждая из них была оскорблением! Я отомстил ему за них, а теперь отомщу и тебе! Слушай! Ты думаешь, что если я мулат, если я карлик и урод, так я уже не человек? Нет, у меня есть душа, и душа более глубокая, более сильная, чем та, которую я вырву из твоего изнеженного тела. Меня подарили твоему дяде, точно обезьянку. Я был его игрушкой, он с презрением забавлялся мной. Ты говоришь, что он меня любил, что я занимал место в его сердце. Да, место между его мартышкой и попугаем! Но я выбрал себе другое и добыл его кинжалом!

Я содрогнулся.

— Да, это я. Это вправду я! Посмотри на меня, Леопольд д'Овернэ. Ты немало издевался надо мной, трепещи же теперь! Ты посмел напомнить мне об оскорбительной привязанности твоего дяди к тому, кого он называл своим шутком. Но какова была эта привязанность, *bon Giu!* Когда я входил в вашу гостиную, все встречали меня пренебрежительным смехом; мой рост, уродливое тело, черты лица, смехотворный наряд, мое природное убожество, достойное сострадания, — все вызывало насмешки твоего ненавистного дяди и его ненавистных друзей. А я — я не имел права даже молчать; о *gabia!*¹ я должен был вместе с ними смеяться над самим собой! И ты считаешь, что человеческое существо должно быть благодарно за такие унижения? Ты думаешь, что эти муки не стоят страданий других рабов, их изнурительного труда под палящим солнцем с утра и до вечера, в железных ошейниках, под бичом надсмотрщика?.. Ты думаешь, этого еще мало, чтобы породить в сердце человека ненависть, страстную, беспощадную, вечную, как эта печать позора, заклеившая мою грудь! О, как долго я страдал и как краток был миг моей мести! Зачем я не заставил моего жестокого тирана испытать все те пытки, которым он подвергал меня ежедневно, ежесекундно! Зачем не изведal он перед

¹ Ярость! (исп.)

смертью всей горечи оскорбленной гордости, не узнал жгучих слез стыда и бешенства, от которых горело мое лицо, осужденное вечно смеяться! Увы! Так долго, так горячо ожидать часа мщения и покончить все одним взмахом кинжала! Он даже не увидел, чья рука нанесла ему смертельный удар! Я жаждал поскорей услышать его предсмертный хрип; я слишком быстро всадил в него нож; он умер, так и не узнав меня; ослепленный яростью, я не успел насладиться моей мстью! Зато я упьюсь ею сегодня. Ты хорошо видишь меня? Да, пожалуй, тебе меня трудно узнать, я предстал перед тобой в новом свете. Ты знал меня всегда веселым и смешным, но теперь, когда мне незачем прятать мою душу, я непохож на прежнего Хабибру. Ты видел лишь мою маску; смотри, вот мое лицо!

Он был страшен.

— Ты ошибаешься, чудовище, все равно ты остался шутом, — крикнул я. — В твоём зверском лице и зверином сердце есть что-то шутовское!

— Не тебе говорить о зверстве, — перебил меня Хабибра. — Вспомни о жестокости твоего дяди!

— Гнусный лицемер! — продолжал я с негодованием. — Если он бывал жесток, то по твоей вине! Ты скорбишь о судьбе несчастных негров, так почему же ты употреблял во вред твоим братьям доверие, которое оказывал тебе дядя? Почему ты никогда не пытался смягчить его и облегчить их участь?

— Нет, этого я не хотел! Чтоб я стал мешать зверствам белого? Никогда! Напротив, я делал все, чтобы он еще хуже обращался со своими рабами: это приближало час восстания. Жестокое угнетение ускоряло возмездие! Пускай казалось, что я причиняю зло моим братьям, — я служил их делу!

Я был поражен глубиной его коварного замысла.

— Что ты скажешь теперь? — продолжал карлик. — Ловко задумано и ловко сделано, верно? Каков дурак Хабибра? Каков шут твоего дяди?

— Кончай же то, что ты так ловко задумал! — ответил я. — Убей меня, только поторопись.

Он принялся ходить взад и вперед по площадке, потирая руки.

— А что, если я не хочу торопиться? Если я хочу досыта насладиться твоими муками? Видишь ли, мне полагалась часть добычи, взятой нами во время последнего нападения. Но как только я увидел тебя в лагере, я отказался от всего и попросил у Биасу лишь твою жизнь. Он охотно согласился; теперь ты мой! Вот я и хочу потешиться. Будь спокоен, ты скоро полетишь в пропасть вместе с этим водопадом; но я еще должен сказать тебе кое-что: я открыл то место, где скрывается твоя жена, и подал Биасу мысль поджечь лес; сейчас он, вероятно, уже охвачен огнем. Теперь вся твоя семья уничтожена. Твой дядя погиб от ножа; ты погибнешь от воды; твоя Мари — от огня!

— Гадина! — крикнул я вне себя и хотел броситься на него.

— Ну-ка, свяжите его! — приказал Хабибра неграм. — Ему, видно, не терпится умереть.

Негры принялись молча связывать меня веревками, принесенными ими с собой. В эту минуту где-то вдали слышался собачий лай, но я решил, что это лишь почудилось мне в реве водопада. Негры связали меня и потащили к краю пропасти. Хабибра, скрестив руки на груди, смотрел на нас с злобной радостью и торжеством. Я отвернулся от его гнусного лица и поднял глаза к расселине в своде, чтобы еще раз взглянуть на небо. Лай слышался снова; теперь он был явственней и громче. Огромная голова Раска показалась в расселине. Я вздрогнул. «Ну, живей!» — крикнул карлик. Негры, не слыхавшие лая, схватили меня, чтобы бросить в бездну...

ЛIII

— Товарищи! — раздался громовой голос.

Все обернулись. На краю расселины стоял Бюг-Жаргаль; красное перо развевалось над его головой.

— Товарищи! — повторил он. — Остановитесь!

Негры пали ниц перед ним.

— Я Бюг-Жаргаль!

Тут негры принялись биться лбами о землю, испуская громкие крики, которых я не понял.

— Развяжите пленника! — приказал вождь.

Неожиданное появление Бюг-Жаргалья ошеломило карлика; теперь он пришел в себя. Он бросился к неграм, уже готовым перерезать мои путы, и грубо остановил их.

— Не смей! — крикнул он. — Что это значит?

Затем он повернулся к Бюг-Жаргалю.

— Что вам здесь надо, вождь Красной Горы?

— Мне надо отдать приказ моим братьям. Я их вождь, — ответил Бюг-Жаргаль.

— Да, это так, все они — воины Красной Горы, — со сдержанным бешенством сказал карлик. — Но по какому праву распоряжаетесь вы моим пленником? — воскликнул он, повышая голос.

— Я Бюг-Жаргаль! — последовал ответ.

Негры опять стукнулись лбом о землю.

— Бюг-Жаргаль не может отменить то, что приказал Биасу! — продолжал карлик. — Этот белый был отдан мне Биасу. Я хочу, чтоб он умер; и он умрет. Эй, вы! Повинуйтесь! Бросайте его в пропасть! — крикнул он неграм.

Властный голос оби заставил негров подняться, они сделали шаг ко мне. Я думал, что все кончено.

— Развяжите пленника! — крикнул Бюг-Жаргаль.

В тот же миг я был свободен. Мое изумление могло сравниться лишь с бешенством колдуна. Он хотел броситься на меня. Негры удержали его. Тогда он разразился ругательствами и угрозами.

— Demonios! Rabia! Inferno de mi alma! ¹ Как! Негодяи! Вы отказываетесь повиноваться мне? Вы не слушаетесь *mi voz*? ² Зачем я тратил *el tiempo* ³ на разговоры с этим проклятым! Надо было сразу бросить его на съедение рыбам *del baratro*! ⁴ Но я хотел вкусить всю сладость мести, и вот у меня отнимают ее! О *rabia de Satan*! Escuchate, vosotros! ⁵ Если вы не исполните моего приказания и не столкнете этого гнусного белого в поток, — я прокляну вас! Ваши волосы поседеют; москиты и комары сожрут вас заживо; ваши руки и ноги станут гнуться, как

¹ Дьяволы! О ярость! Ад в моей душе! (исп.)

² Моего голоса (исп.).

³ Время (исп.).

⁴ Водопада (исп.).

⁵ О сатанинская ярость! Слушайте, вы! (исп.)

камыш; ваше дыхание будет жечь вам глотки, как раскаленный песок, и вы скоро умрете, а после смерти ваши души будут осуждены вечно вертеть жернов величиной с гору на луне, где лютый холод!

Странное чувство охватило меня во время этой сцены. Мрак сырой пещеры, я — единственный белый среди негров, похожих на черных дьяволов, глубокая бездна, разверзшаяся у моих ног, мерзкий карлик, этот уродливый колдун, в пестрой одежде и остроконечном колпаке, едва видимый в полутьме, требующий моей смерти, и мой защитник — статный негр на краю расселины, там, где просвечивало небо: мне казалось, что я стою у врат ада и жду гибели или спасения своей души, что у меня на глазах идет упорная борьба между моим ангелом-хранителем и злым духом.

Негры застыли в ужасе, потрясенные проклятиями колдуна. Он поспешил воспользоваться их смятением и воскликнул:

— Я хочу, чтобы белый умер! Делайте, что я вам говорю; он умрет!

— Он будет жить! — твердо сказал Бюг-Жаргаль. — Я Бюг-Жаргаль. Мой отец был королем в стране Каконго и вершил суд на пороге своего дома.

Негры опять пали ниц перед ним.

Он продолжал:

— Братья, спешите к Биасу, скажите ему, чтоб он не вывешивал на вершине горы черного флага, который известит белых о смерти этого пленника; он спас жизнь Бюг-Жаргалью, и Бюг-Жаргаль хочет, чтоб он жил!

Негры поднялись с земли. Бюг-Жаргаль бросил им красное перо. Начальник отряда скрестил руки на груди, потом наклонился и бережно поднял перо; вслед за тем все негры ушли, не промолвив ни слова. Вместе с ними исчез во мраке подземного прохода и колдун.

Не могу описать вам, господа, мое состояние. Я устремил полные слез глаза на Пьеро, который смотрел на меня с каким-то странным выражением благодарности и гордости.

— Хвала создателю, — сказал он наконец, — все спасено. Брат, возвращайся той дорогой, которой ты пришел сюда. Я буду ждать тебя в долине.

И, махнув мне рукой, он скрылся.

Я спешил поскорее увидеть своего спасителя и узнать, благодаря какому счастливому случаю он очутился здесь так во-время, и двинулся к выходу из ужасной пещеры. Однако новые опасности подстерегали меня. Только я направился к подземному коридору, как вдруг кто-то преградил мне дорогу. Передо мной был Хабибра. Злобный колдун не ушел вслед за неграми, как я полагал, а притаился за выступом скалы, ожидая удобной минуты для мести. Теперь такой момент наступил. Карлик внезапно вырос передо мной и захохотал. Я был один, безоружный; в его руке сверкал кинжал, тот самый, который служил ему вместо распятия. При виде оби я невольно отступил.

— Ха-ха! Maldicho! Ты думал, что уже ускользнул от меня! Но глупый шут оказался умнее тебя! Теперь ты попался, и на этот раз я не заставляю тебя ждать! И друг твой Бюг-Жаргаль тоже не будет ждать тебя понапрасну! Ты пойдешь на свидание в долину: поток вынесет тебя прямо к нему.

И он бросился на меня с занесенным кинжалом.

— Чудовище! — крикнул я, отступая к обрыву. — Ты только что был палачом, теперь ты убийца!

— Я мшу! — и он заскрежетал зубами.

Я стоял на самом краю пропасти; карлик прыгнул на меня, чтобы столкнуть в нее ударом кинжала. Но я отскочил в сторону. Он поскользнулся на покрытом плесенью сыром камне, упал и покатился к краю обрыва, гладко обточенному водами потока. «Проклятие!» — взревел он, сорвавшись в пропасть.

Я уже говорил вам, что корни старого дерева выступали из трещины в скале, немного ниже уровня площадки. Падая, карлик зацепился своей пестрой юбкой за узловатое корневище, и теперь он изо всех сил ухватился обеими руками за эту неожиданную опору. Остроконечный колпак слетел с его головы; ему пришлось выпустить свой кинжал; орудие убийцы и шапка шута, увешанная бубенчиками, стучаясь о скалы, исчезли в стремнине.

Повиснув над страшной бездной, Хабибра попытался было вскарабкаться на площадку, но его короткие руки не доставали до ее края, и он только ломал себе ногти, в бесплодных усилиях ухватиться за скользкую поверх-

ность скалы, нависшей над бездной, которая терялась во мраке. Он выл от бешенства.

Мне стоило лишь толкнуть его, и он оказался бы на дне пропасти; но такая мысль даже не пришла мне в голову, это было бы низостью. Мое поведение, повидимому, поразило его. Возблагодарив бога за неожиданное спасение, испосланное им, я уже хотел предоставить карлика его участи и направился к выходу из подземелья, как вдруг его молящий и жалобный голос заставил меня остановиться.

— Господин мой! — кричал он. — Господин мой! Не уходите, умоляю вас! Во имя bon Dieu не дайте грешнику умереть без покаяния! Спасите мою душу! Силы покидают меня, ветка скользит и гнется в моих руках, моя тяжесть тянет меня вниз, сейчас я выпущу ветку, или она обломится... Ах, господин мой! Внизу клокочет страшная пучина! *Nombre santo de Dios!*¹ Сжальтесь над вашим бедным шутом! Да, он преступник; но докажите ему, что белые лучше мулатов, хозяева лучше рабов!

Слова эти почти тронули меня; я подошел к краю пропасти и в тусклом свете, проникавшем из расселины в своде, увидел на отталкивающем лице Хабибры выражение, которого еще никогда не замечал на нем: он смотрел на меня с мольбой и отчаянием.

— Сеньор Леопольд, — снова заговорил карлик, заметив сострадание на моем лице. — Возможно ли, чтобы человек, видя своего ближнего в таком ужасном положении, не захотел помочь ему, если мог это сделать? Протяните мне руку, господин мой! Что вам стоит спасти меня! Для вас это так мало, а для меня — все! Подтяните меня к себе, умоляю вас! Моя благодарность искупит мои преступления!

— Несчастный, не напоминай мне о них! — прервал я его.

— Я ненавижу их теперь, господин! О, будьте великодушнее, чем я! Боже! Боже! Я слабею, я падаю! *Ay desdichado!*² Руку! Вашу руку! Дайте мне руку! Ради матери, носившей вас под сердцем!

Не могу вам передать, как жалобны были эти возгласы, полные страха и муки. Я все забыл. Передо мною

¹ Святое имя господне! (*исп.*)

² О несчастный! (*исп.*)

был уже не враг, не предатель, не убийца; я видел лишь несчастного, которого легко мог спасти от ужасной смерти. Он так трогательно молил меня! Упреки, слова укоризны сейчас были бы бесполезны и смешны; нельзя было терять ни минуты. Я стал на колени на краю пропасти и, обхватив одной рукой ствол дерева, за корни которого держался несчастный карлик, протянул ему другую... Он тотчас же ухватился за нее обеими руками с необыкновенной силой; но вместо того чтобы начать с моей помощью постепенно подтягиваться кверху, он неожиданно рванул меня к себе. Если бы не дерево, служившее мне крепкой опорой, я, наверно, не удержался бы на краю обрыва и полетел за ним в пропасть.

— Что ты делаешь, злодей! — крикнул я.

— Я мщу тебе! — ответил он мне с адским хохотом. — Что, попался наконец! Болван! Ты сам полез в ловушку! Теперь ты в моих руках! Минуту назад ты был спасен, а я погибал; но ты сам бросился в пасть крокодила! Стоило мне пустить слезу, как ты уже расчувствовался! Теперь я умру спокойно. Я заплачу своей жизнью, чтоб отомстить. Попался, amigo! В твоём обществе мне не скучно будет среди рыб в озере!

— Предатель! Так-то ты благодаришь меня! — сказал я, напрягая все свои силы. — Ведь я хотел тебя спасти!

— Знаю! Я мог бы спастись с тобой, но я хочу, чтобы ты погиб со мной. Твоя смерть мне милее моей жизни. Иди!

Его корявые смуглые руки с чудовищной силой впились в мою руку; глаза сверкали, пена выступила на губах; неистовая злоба и жажда мщения удесятирили его силы, хотя лишь минуту тому назад он горько жаловался, что они покинули его; ноги его, как два рычага, упирались в отвесную стену скалы, а сам он метался, как тигр, яростно раскачивая толстый корень, который запутался в его одежде и против воли карлика удерживал его от падения; Хабибра пытался сломать этот корень, чтобы, повиснув на моей руке всей тяжестью своего тела, скорее стащить меня вниз. В дикой злобе, он кусал державшее его дерево, и тогда на мгновение замолкал отвратительный хохот, искажавший его и без того уродливое лицо. Казалось, то был злой дух, вышедший из пропасти, чтобы увлечь в свое темное царство пойманную им жертву.

Одно мое колено, к счастью, попало в небольшое углубление в камне; рука моя словно приросла к дереву, за которое я ухватился; я сопротивлялся усилиям карлика со всей силой, которую в минуту опасности придает человеку инстинкт самосохранения. Время от времени я с трудом переводил дыхание и громко звал: «Бюг-Жаргаль!» Но я почти не надеялся, что он услышит меня, — слишком далеко он был, и к тому же грохот водопада покрывал мой голос.

Карлик, не ожидавший встретить такое сопротивление с моей стороны, все усиливал свои яростные рывки. Наша борьба длилась недолго, — гораздо больше времени понадобилось, чтобы рассказать вам о ней, — но я чувствовал, что уже теряю силы. Рука моя почти онемела, ее сводила мучительная судорога; в глазах потемнело, какие-то светящиеся круги поплыли передо мной; в ушах раздавался звон; я слышал, как трещит, подаваясь, корень, как смеется злобный карлик, вот-вот готовый сорваться, и мне казалось, что зияющая бездна с ревом приближается ко мне.

Но прежде чем прекратить борьбу и уступить изнеможению и отчаянию, я сделал еще одну попытку: собрав остаток сил, я еще раз громко крикнул: «Бюг-Жаргаль!» В ответ раздался лай... Я узнал Раска и повернул голову. Бюг-Жаргаль и его собака стояли на краю расселины. Не знаю, услышал ли он мой крик, или, может быть, тревога обо мне привела его обратно. Он увидел грозившую мне опасность.

— Держись крепче! — крикнул он.

Хабибра, в страхе, что я могу еще спастись, прорычал с пеной у рта:

— Иди же! Иди! — и последним, нечеловеческим усилием рванул меня к себе.

Рука моя, ослабев, выпустила ствол дерева. Все было кончено! Но в тот же миг кто-то схватил меня сзади; это был Раск. По знаку своего хозяина, он спрыгнул со свода прямо на площадку и, вцепившись зубами в полы моего мундира, удержал меня от падения. Эта неожиданная помощь спасла меня. Последняя, отчаянная попытка, сделанная Хабиброй, обессилила его, — я же, собравшись с силами, снова дернул руку. Его одеревеневшие пальцы, наконец, разжались, и он выпустил ее; корень, который он так долго расшатывал, переломился под его тяжестью, и в ту минуту, когда Раск оттащил меня от края площадки,

гнусный карлик скрылся в пенистых водах мрачного потока, посылая мне последнее проклятие, которого я так и не расслышал, — оно потонуло вместе с ним в глубине пропасти.

Так окончил свою жизнь шут моего дяди.

LV

Ужасная сцена в пещере, моя отчаянная борьба и ее страшный исход совсем сломили меня. Я лежал без сил, почти без сознания. Голос Бюг-Жаргаля заставил меня очнуться.

— Брат! — крикнул он. — Выходи скорей отсюда! Через полчаса зайдет солнце. Я буду ждать тебя в долине. Иди за Раском!

Эти дружеские слова сразу вернули мне надежду, силу и бодрость. Я поднялся. Раск быстро скрылся в подземном коридоре, я пошел за ним; его лай указывал мне дорогу в темноте. Спустя несколько минут впереди забрезжил дневной свет; вскоре мы подошли к выходу из пещеры; только тут я свободно вздохнул. Когда я выходил из-под черного сырого свода, я вспомнил предсказание карлика: «Лишь один из нас двоих выйдет отсюда этой дорогой...» Пророчество сбылось, но совсем не так, как он рассчитывал.

LVI

Спустившись в долину, я увидел Бюг-Жаргаля. Молча бросился я в его объятия; я жаждал задать ему тысячи вопросов, но от волнения не мог говорить.

— Слушай, — сказал он, — твоя жена, моя сестра, в безопасности. Я отвел ее в лагерь белых и передал вашему родственнику, начальнику сторожевых отрядов. Я хотел сдаться в плен, чтобы спасти тех негров, которые отвечали за меня своими головами. Но твой родственник велел мне бежать, чтобы попытаться спасти тебя; он сказал, что их расстреляют только в том случае, если Биасу казнит тебя, о чем он должен известить белых, выставив

черный флаг на самой высокой из наших гор. Тогда я бросился бежать. Раск указывал мне дорогу, и, благодаря господу, я поспел во-время! Ты будешь жить, и я тоже.

Протянув мне руку, он добавил:

— Брат, ты доволен?

Я снова обнял его; я умолял его не покидать меня больше и остаться среди белых; я обещал ему чин в колониальной армии. Но он сурово прервал меня:

— Брат, разве я предлагаю тебе вступить в наши ряды?

Я замолчал, чувствуя его правоту.

— Пойдем же скорее к твоей жене, — весело сказал он, — ты должен ее успокоить!

Я и сам стремился к этому всеми силами своей души; я опьянел от счастья; мы двинулись в путь. Бюг-Жаргаль знал дорогу, он шел впереди, Раск бежал за нами...

Тут д'Овернэ замолчал и окинул всех мрачным взглядом. На лбу у него выступили крупные капли пота. Он прикрыл лицо рукой. Раск беспокойно смотрел на него.

— Да, вот так ты смотрел на меня тогда!.. — прошептал капитан.

В сильном волнении он встал и вышел из палатки. Вслед за ним вышли сержант и собака.

LVII

— Бьюсь об заклад, что нас ожидает трагическая развязка! — воскликнул Анри. — Право, будет жаль, если с этим Бюг-Жаргалем случится что-нибудь дурное! Отличный был малый!

Паскаль оторвался на минуту от своей фляжки и сказал:

— Я отдал бы дюжину корзин портвейна, чтобы взглянуть на тот кокосовый орех, который он осушил залпом!

Альфред, мечтавший о чем-то под звуки своей гитары, перестал перебирать струны и попросил лейтенанта Анри поправить ему аксельбанты.

— Этот негр, право, очень занимает меня, — заметил он. — Интересно, знал ли он также мотив «La her-

mosa Padilla»¹. Пока я не решился спросить об этом д'Овернэ.

— А по мне, так Биасу гораздо любопытнее, — сказал Паскаль. — Его запечатанное вино, вероятно, было дрянь, но зато этот человек знал, что такое француз! Если бы я попал к нему в плен, я отрастил бы усы, — а вдруг он дал бы мне под них взаймы несколько пиастров! Был же такой случай с одним португальским капитаном в городе Гоа! И уверяю вас, что мои кредиторы гораздо безжалостней Биасу!

— Кстати, капитан, получите четыре луидора, которые я вам остался должен! — сказал Анри, бросая ему свой кошелек.

Паскаль удивленно посмотрел на своего великодушного должника, который с большим основанием мог бы назвать себя его кредитором.

— Ну, господа, — продолжал Анри, — скажите, что же вы думаете об этой истории, которую рассказывает нам д'Овернэ?

— Откровенно говоря, я слушал не очень внимательно, — отозвался Альфред. — Но от мечтателя д'Овернэ я ожидал, признаться, чего-нибудь более интересного. Да и романс у него не в стихах, а в прозе; терпеть не могу романсов в прозе: к ним и мотива-то не подберешь! Вообще история этого Бюг-Жаргаля мне наскучила; очень уж она длинна!

— Вы правы, — поддержал Альфреда адъютант Паскаль, — она слишком длинна. Кабы не моя трубка да фляжка, я провел бы прескучный вечер. Заметьте к тому же, что в его рассказе множество нелепостей. Ну вот, например, — кто поверит, что этот уродец колдун... как его там... не то Кабы-братъ, не то Кабибра... готов был сам утонуть, лишь бы утопить своего врага!..

— Да еще в воде, не так ли, капитан Паскаль? — улыбаясь, перебил его Анри. — А меня во время рассказа д'Овернэ больше всего забавляло, что его хромая собака поднимает голову всякий раз, как он произносит имя Бюг-Жаргаля.

— А вот старушки в Селадасе, — прервал его Паскаль, — те поступают совсем наоборот: как только про-

¹ Прекрасная Падилья (*исп.*).

поведник произносит имя христово, они все тут же опускают голову; как-то раз вошел я в церковь с десятком кирасиров...

В эту минуту офицеры слышали стук ружья часового: то возвращался д'Овернэ. Все замолчали. Д'Овернэ несколько раз прошелся по палатке, скрестив руки на груди. Старый Тадэ, присевший в уголке, украдкой следил за ним, глядя Раска, чтобы скрыть от капитана свое волнение.

Наконец д'Овернэ заговорил.

LVIII

— Итак, Раск бежал за нами. Солнце уже не освещало даже самой высокой из скал, окружавших долину. Вдруг ее вершину озарил какой-то отблеск и тут же исчез. Бюг-Жаргаль вздрогнул и крепко схватил меня за руку.

— Слушай! — сказал он.

Какой-то глухой звук, похожий на пушечный выстрел, прокатился по окрестностям, и эхо подхватило его.

— Сигнал! — мрачно произнес негр. — Ведь это пушка?

Я молча кивнул головой.

В два прыжка он очутился на высокой скале; я последовал за ним. Он скрестил руки на груди и грустно улыбнулся.

— Видишь? — сказал он.

Я посмотрел туда, куда были устремлены его глаза, и увидел остроконечную вершину, которую он уже показывал мне сегодня, когда я был у Мари, — единственную из всех, еще освещенную последними лучами заходящего солнца; на ней развевался большой черный флаг.

Д'Овернэ замолчал.

— Потом я узнал, — продолжал он немного погодя, — что Биасу, торопясь выступить и считая, что меня уже нет в живых, велел выставить это знамя еще до возвращения отряда, который должен был меня казнить.

Бюг-Жаргаль стоял неподвижно, скрестив руки, взгляд его был прикован к зловещему флагу. Вдруг он стреми-

тельно повернулся и сделал несколько шагов, словно собираясь бежать вниз.

— О боже! Мои несчастные товарищи!

Он снова подошел ко мне.

— Ты слышал пушечный выстрел? — спросил он.

Я не ответил.

— Это был сигнал, брат! Теперь их ведут на казнь...

Он поник головой. Затем сделал еще шаг ко мне.

— Возвращайся к твоей жене, брат, — сказал он, — Раск проводит тебя. — Он принялся насвистывать какую-то африканскую мелодию; собака завиляла хвостом и, казалось, приготовилась бежать в долину.

Бюг-Жаргаль взял меня за руку и попытался улыбнуться, но губы его дрожали.

— Прощай! — крикнул он твердым голосом и исчез в окружавшей нас чаще деревьев.

Я окаменел. Я еще не совсем понимал, что произошло, но предчувствие беды сжало мне сердце.

Видя, что его хозяин скрылся, Раск подбежал к краю скалы, поднял голову и жалобно завыл. Затем он вернулся ко мне, поджав хвост; его большие влажные глаза беспокойно смотрели на меня; потом он опять побежал к тому месту, где только что стоял его хозяин, и отрывисто залаял. Я понимал его; мы оба ощущали одинаковую тревогу. Я подошел к нему, и он тут же стрелой помчался по следам Бюг-Жаргалья. Если б он время от времени не останавливался, поджидая меня, я скоро потерял бы его из виду, хотя сам бежал изо всех сил. Таким образом мы пересекли несколько долин, перевалили через несколько лесистых холмов. Наконец...

Тут голос рассказчика оборвался. Глубокая печаль отразилась на его лице.

— Продолжай, Тадэ... — с трудом проговорил он. — У меня силы не больше, чем у дряхлой старухи.

Старый сержант был взволнован не меньше капитана; однако он счел своим долгом повиноваться.

— С вашего позволения... Если вы приказываете, господин капитан... Так вот, надо вам сказать, господа офицеры, что хотя этот Бюг-Жаргаль, которого мы называли Пьеро, и был прекрасный негр, добрый, сильный, смелый, наипервейший храбрец на земле, — конечно, после вас, господин капитан, — я был чертовски зол на него; ни-

когда не прошу себе этого, хотя вы, господин капитан, и простили меня. И вот, когда я узнал, что вас должны казнить на другой день вечером, я так разъярился на этого беднягу, что и передать не могу. Поэтому я с дьявольской радостью сообщил ему, что либо он, либо десять его товарищей будут расстреляны и отправятся за вами на тот свет, как говорится, в отместку. Он и виду не подал, что это его тронуло, но час спустя он бежал, проделав большую дыру в...

Д'Овернэ сделал нетерпеливое движение. Тадэ продолжал:

— Ну ладно. Когда мы увидели на горе тот большой черный флаг, а негр и не думал возвращаться, что нас ничуть не удивило, с вашего позволения, господа офицеры, мы дали сигнал выстрелом из пушки, и мне было приказано доставить десять негров к месту расстрела, которое называлось «Чортова пасть» и отстояло от лагеря, примерно, на... Ну, да это неважно! Вот пришли мы туда, уж, понятно, не для того, чтобы отпустить их на все четыре стороны; я, значит, велел их связать, как водится, и расставил своих солдат. Вдруг вижу, из леса появляется высокий негр. У меня и руки опустились. Он подбежал ко мне, весь запыхавшись, и говорит:

— Слава богу, я не опоздал! Здравствуй, Тадэ!

— Да, господа, больше он ничего не сказал и бросился развязывать своих товарищей. Я просто остоленел. Тут, с вашего позволения, господин капитан, между ними завязался великодушный спор, которому надо бы длиться подольше... Да ничего не поделаешь... виноват, я сам прекратил его! Пьеро стал на место тех негров... В эту минуту его пес... Бедный Раск! Он вылетел из лесу да как вцепится мне прямо в глотку. Ему надо бы еще немножко поддержать меня так! Только Пьеро сделал знак, и бедный пес отпустил меня. Тогда он подбежал к своему хозяину и лег у его ног, уж этого Бюг-Жаргаль не мог ему запретить... Так вот, господин капитан, я ведь думал, что вас убили... Я не помнил себя от злости... Я скомандовал...

Сержант поднял руку, посмотрел на капитана и не мог выговорить роковое слово.

— Бюг-Жаргаль упал. Одна из пуль перебила лапу его пса... С тех пор, господа офицеры, — и сержант

грустно покачал головой, — с тех пор он и хромает. Тут я услышал, что кто-то стонет в соседней роще; я пошел туда, — это были вы, господин капитан; пуля ранила вас, когда вы бежали к нам, чтобы спасти этого храброго негра. Да, господин капитан, вы стонали, но не от боли, а от горя: Бюг-Жаргаль был мертв! Мы принесли вас в лагерь, господин капитан. Ваша рана не была смертельна, как его рана; госпожа Мари выходила вас.

Сержант замолчал.

— Бюг-Жаргаль был мертв, — с глубокой скорбью торжественно повторил д'Овернэ.

— Да, он пощадил мою жизнь, а я... я убил его, — сказал Тадэ и поник головой.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ

П о в е с т ь

Первому изданию этого произведения, вышедшему без имени автора, были предпосланы только нижеследующие строки:

«Есть всего две возможности истолковать появление этой книги: либо в самом деле существовала пачка пожелтевших листков бумаги разного формата, на которых одна за другой были записаны последние мысли несчастного страдальца. Либо нашелся такой человек, мечтатель, изучающий жизнь в интересах искусства, философ, поэт, словом, человек, который увлекся этой мыслью, или, вернее, которого эта мысль настолько увлекла за собой, что он мог избавиться от нее, лишь изложив ее в книге.

Пусть читатель остановится на том из двух объяснений, которое ему больше по вкусу».

Как явствует из этих строк, в момент выхода книги автор не считал нужным до конца высказать свою мысль. Он предпочел выждать, чтобы ее поняли, и выяснить, поймут ли ее. Ее поняли. И теперь автор считает своевременным раскрыть ту политическую и социальную идею, которую он хотел довести до сознания общества в доступной и невинной форме литературного произведения. Итак, он заявляет, или, вернее, открыто признает, что «Последний день приговоренного к смерти» — это прямое или косвенное, считайте, как хотите, ходатайство об отмене смертной казни. Цель его — и он хотел бы, чтобы потомство, если только оно остановит свое внимание на такой малости, так и восприняло это произведение, — цель его не защита какого-то одного определенного преступника, что не так уж сложно осуществить от случая к случаю; нет, это общее ходатайство о всех осужденных настоящих и будущих,

на все времена; это коренной вопрос человеческого права, поднятый и отстаиваемый во весь голос перед обществом, как перед высшим кассационным судом; это грозная преграда, *abhorrescere a sanguine*¹, воздвигнутая навеки перед всеми судебными процессами; это страшная, роковая проблема, которая скрыта в недрах каждого смертного приговора, под тройным слоем трескучего, кровожадного красноречия королевских прислужников; это, повторяю, проблема жизни и смерти, открытая, обнаженная, очищенная от мишуры звонких прокурорских фраз, вынесенная на яркий свет, помещенная там, где ее следует рассматривать, в ее подлинной жуткой среде — не в зале суда, а на эшафоте, не у судьи, а у палача.

Вот какова была цель автора. И если будущее покажет, что он достиг ее, на что он не смеет надеяться, то иного венца, иной славы ему и не нужно.

Итак, он заявляет и повторяет, что его роль — роль ходатая за всех возможных подсудимых, виновных или невинных, перед всеми судами и судилищами, перед всеми присяжными, перед всеми вершителями правосудия. Книга эта обращена ко всем, кто судит. И для того, чтобы ходатайство соответствовало по масштабам самой проблеме, автор писал «Последний день приговоренного к смерти» так, чтобы в нем не было ничего случайного, частного, исключительного, относительного, изменяемого, эпизодического, анекдотического, никаких фактов, собственных имен, и ограничился (если можно назвать это ограничением) защитой первого попавшегося приговоренного, которого казнили в первый попавшийся день, за первое попавшееся преступление. И он счастлив, если одним только орудием своего слова ему удалось проникнуть в защищенное тройной броней сердце судейского чиновника и сердце это начало кровоточить. Счастлив, если он сделал милосердными тех, кто считает себя справедливыми. Счастлив, если ему выпала удача под оболочкой судьи откопать человека!

Три года назад, когда эта книга вышла в свет, некоторые люди нашли нужным оспаривать авторство основной идеи. Одни ссылались на какое-то английское, другие на

¹ Ужас перед кровью (лат.).

американское произведение. Странная фантазия искать первоисточники нивесть где и доказывать, что ручеек, протекающий вдоль вашей улицы, питается водами Нила. Увы! Ни английские, ни американские, ни китайские труды тут ни при чем. Не из книг вынес автор основную мысль «Приговоренного к смерти», не в его обычае ходить за мыслями так далеко, он взял ее там, где все вы могли ее взять и где она и напрашивалась, быть может, у вас (ибо кто мысленно не сочинял или не продумывал «Последний день приговоренного»?) — попросту на Гревской площади. Проходя однажды по роковой площади, он подобрал эту мысль в луже крови, под кровавыми обрубками с гильотины.

И с тех пор всякий раз, как после зловещего четверга в кассационном суде по Парижу во всеуслышание объявлялся смертный приговор, всякий раз, как автор слышал у себя под окнами хриплые крики глашатаев, собиравшие зрителей на Гревскую площадь, — мучительная мысль всякий раз возвращалась к нему, захватывала его целиком, напоминала ему о жандармах, о палачах, о черни, час за часом рисовала ему предсмертные муки страдальца — вот сейчас его исповедуют, сейчас ему стригут волосы, связывают руки, — побуждала скромного поэта высказать все это обществу, которое спокойно занимается своими делами, пока творится такое чудовищное злодеяние; торопила, толкала его, не давала ему покоя; если он сочинял стихи, все та же мысль изгоняла их из сознания и убивала в зародыше, мешала всем его занятиям, вторгалась повсюду, преследовала, осаждала, держала его в плену. Это была пытка, настоящая пытка, она начиналась с рассветом и длилась, как и терзания несчастного мученика, вплоть до *четырех часов*. И только когда погребальный бой часов оповещал, что страдалец *ropens sarit exiravit*¹, автор мог вздохнуть свободнее и думать о чем-то другом. И наконец как-то, кажется на следующий день после казни Ульбаха, он сел писать настоящую книгу. После этого точно бремя свалилось с его плеч. Когда теперь совершается одно из этих общественных преступлений, именуемых исполнением судебного приговора, совесть говорит ему, что он больше не является соучастником; на своем челе он уже не ощущает той капли крови с

¹ Склонив голову, испустил дух (лат.).

Гревской площади, которая падает на головы всех, кого объединяет данный общественный строй.

Однако этого недостаточно. Хорошо умыть руки, но важнее сделать так, чтобы не проливалась человеческая кровь.

И в самом деле, разве есть цель лучше, выше, достойней, чем эта — добиться отмены смертной казни. Поэтому автор всей душой присоединяется к стремлениям и стараниям благородных людей всех наций, уже много лет прилагающих все силы к тому, чтобы свалить виселичные столбы, единственные устои, не свергнутые даже революциями. И он счастлив, что при всей своей немощи может глубже всадить топор в надрез, семьдесят лет назад сделанный Беккариа в старой виселице, столько веков возвышающейся над христианским миром.

Мы только что сказали, что эшафот — единственное сооружение, которое не разрушают революции. В самом деле, революциям редко удается не пролить человеческой крови; их назначение — очистить общество, подрезать его ветви и верхушку, и им трудно обойтись без такого орудия очистки, как смертная казнь.

Однако, на наш взгляд, из всех революций наиболее достойна и способна отменить смертную казнь была Июльская революция. Казалось бы, именно этому самому гуманному из народных движений современности скорее всего пристало упразднить варварскую карательную систему Людовика XI, Ришелье и Робеспьера и поставить во главе законов неприкосновенность человеческой жизни. 1830 год вправе был сломать нож гильотины 1793 года.

Был момент, когда мы на это надеялись. В августе 1830 года в воздухе чувствовались великодушные, благотельные веяния, общество было проникнуто духом просвещения и гуманизма, сердца так и раскрывались навстречу светлому будущему, и нам казалось, что смертная казнь будет отменена непременно, немедленно, по молчаливому, единодушному соглашению, как пережиток всего того дурного, что мешало нам жить. Народ устроил потешные огни из лоскутьев старого режима. Этот лоскут был кровавый. Мы решили, что он попал в одну кучу с остальными и тоже сожжен. В течение нескольких недель мы доверчиво уповали, что в будущем и жизнь и свобода станут неприкосновенны.

И в самом деле, не далее как через два месяца была сделана попытка претворить в действительность чудесную утопию Цезаря Бонесана и облечь ее в законную форму. К несчастью, попытка была неловкой, неумелой, пожалуй неискренней, и преследовала отнюдь не общий интерес.

Всем памятно, как в октябре 1830 года палата, несколько дней назад отклонившая предложение похоронить прах Наполеона под Колонной, дружно принялась вопить и стенать. На обсуждение был поставлен вопрос о смертной казни, ниже мы поясним, в какой связи; и тут вдруг, словно по волшебству, сердца законодателей преисполнились милосердия. Все наперебой брали слово, вопияли, воздевали руки к небу. Смертная казнь! Боже, что за ужас! Какой-нибудь генеральный прокурор, поседевший в красной судейской мантии, всю жизнь питавшийся хлебом, смоченным в крови жертв своих обвинительных речей, вдруг строил жалостливую мину и клялся всеми святыми, что он ярый противник гильотины. В течение двух дней трибуну осаждали слезливые болтуны. Это были сплошные сетования, елейные вздохи, скорбные псалмы, и «*Super flumina Babylonis*»¹, и «*Stabat mater dolorosa*»², целая симфония в миноре с хором, исполненная оркестром ораторов, украшающих передние скамьи палаты и разливающих соловьями в дни важных заседаний. Кто басил, кто тянул фистулой. Ничего не было забыто. Все получилось как нельзя более мелодраматично и чувствительно. Вечернее заседание было особенно слащаво и душесипательно, точь-в-точь пятый акт из пьесы Ла-шоссе. Простодушная публика ничего не понимала и только умилялась до слез³.

О чем же шла речь? Об отмене смертной казни?

И да, и нет.

Вот как было дело:

Четыре светских человека, вполне корректных и благовоспитанных, из тех, с кем встречаешься в гостиных и об-

¹ «На реках Вавилонских» (лат.) — начальные слова псалма.

² «Мать скорбящая стояла» (лат.) — начальные слова католического гимна.

³ В наши намерения не входит огульно осмеивать все, что говорилось по этому поводу в палате. Кое-кем были сказаны прекрасные, поистине благородные слова. Мы вместе со всеми рукоплескали строгой, простой речи г-на де Лафайета и построенной совершенно в ином роде блистательной импровизации г-на Вильмена. (Прим. авт.)

мениваешься несколькими учтивыми словами, итак, четыре таких человека предприняли в высших политических сферах дерзкую попытку, которая по Бэкону квалифицируется как «преступление», а по Макиавелли как «предприятие». Так или иначе, закон, одинаково неумолимый для всех, карает это смертью. И вот четверо несчастных оказались пленниками закона, заключенными под пышные своды Венсенского замка, под охраной трехсот трехцветных кокард. Как тут быть? Какой найти выход? Сами понимаете, нельзя же четырех человек, как вы и я, четырех человек из *общества*, отправить на Гревскую площадь, в телеге, унижительно связанными грубой веревкой, спиной к спине с тем служителем закона, которого и назвать то зазорно. Если бы еще нашлась гильотина из красного дерева!

Ничего не поделаешь! Придется стменить смертную казнь! И палата начинает действовать.

Припомните, господа, что вчера еще вы считали отмену смертной казни утопическими и теоретическими бреднями, безумной фантазией. Припомните, что не раз уже делалась попытка привлечь ваше внимание к позорной телеге, к толстым веревкам и к гнусной яркокрасной машине. Странно, что все эти отвратительные атрибуты только теперь бросились вам в глаза.

Э! Что там докапываться! Не ради тебя же, народ, отменяем мы смертную казнь, а ради нас самих, депутатов, — ведь каждый из нас может стать министром! Мы не хотим, чтобы машина Гильотена покусилась на высшие классы. Мы предпочитаем сломать ее. Тем лучше, если это пойдет на пользу и остальным, но мы-то думали только о себе. Дворец Укалегона в огне. Надо тушить пожар. Надо немедленно упразднить палача и подчистить уголовный кодекс.

Вот каким образом примесь личных соображений извращает и пятнает лучшие общественные начинания. Это черная прожилка в белом мраморе; она тянется повсюду и каждый миг обнаруживается под резцом. В результате статую надо делать заново.

Излишне заявлять здесь, что мы не принадлежим к числу тех, кто требовал казни четырех министров. После того, как несчастных арестовали, негодующее возмущение их преступной попыткой сменилось у нас, как и у всех,

глубокой жалостью. Мы вспомнили, какие предрассудки привиты некоторым из них воспитанием, как слабо развит ум их главаря, тупого, неисправимого фанатика, уцелевшего от заговоров 1804 года, раньше времени поседевшего в темноте и сырости государственных казематов; вспомнили, какие обязательства неизбежно налагало на всех занимаемое ими положение, как трудно, даже невозможно, было удержаться на крутом спуске, по которому монархия по собственному почину стремительно катилась с 8 августа 1829 года, какое влияние имела личность короля, — это обстоятельство мы до тех пор недостаточно принимали в расчет, — а главное, вспомнили, с каким достоинством держался один из заговорщиков, прикрывая им, точно пурпурной мантией, общее несчастье. Мы принадлежим к числу тех, кто искренне желал им сохранения жизни и готов был приложить к этому все старания. Если бы случилось невероятное и для них на Гревской площади был воздвигнут эшафот, мы не сомневаемся, — а если это заблуждение, то нам хочется сохранить его, — мы не сомневаемся, что произошел бы мятеж, и эшафот был бы свергнут, и автор настоящих строк принял бы участие в этом праведном мятеже. Ибо надо также сказать, что эшафот, воздвигаемый во время общественно-политических кризисов, самый отвратительный, самый вредоносный, самый пагубный из всех эшафотов, и его надо упразднить во что бы то ни стало.

Такого рода гильотина пускает корни в мостовой и в скором времени дает повсеместно ростки.

В начале революции остерегайтесь снести первую голову. Она разжигает в народе жажду крови.

Итак, мы лично были вполне солидарны с теми, кто хотел спасти четырех министров, солидарны со всех точек зрения, как с гуманистической, так и с политической. Только мы бы предпочли, чтобы палата воспользовалась другим случаем для отмены смертной казни.

Если бы эту долгожданную отмену выдвинули не ради четырех министров, скатившихся из Тюильрийского дворца в Венсенский замок, а ради первого встречного разбойника с большой дороги, ради одного из тех отверженных, которых вы даже не замечаете при встрече на улице, с которыми вы не разговариваете и боитесь, как бы не запачкаться от их мимолетного прикосновения; ради одного

из тех горемык, которые все свое нищенское детство месили босыми ногами уличную грязь, дрогли зимой у парапета набережных, грелись под отдушинами кухни того самого г-на Вефура, у которого вы обедаете; в кои-то веки откапывали корочку хлеба из мусорной ямы и обтирали ее, прежде чем съесть, по целым дням ковыряли гвоздем в сточной канаве в надежде найти медяк, не знали других развлечений, кроме двух даровых зрелищ: королевских празднеств и казней на Гревской площади; одного из тех обездоленных, которых голод толкает на воровство, а воровство на все прочее; тех пасынков общества, которые в двенадцать лет спознаются с тюрьмой, в восемнадцать — с каторгой, в сорок — с эшафотом; одного из тех обойденных судьбой, которых учение и труд могли бы сделать порядочными, честными, полезными людьми, а вы, не зная, как от них избавиться, сбрасываете их, как бесполезный груз, то в красный муравейник Тулона, то в безмолвную обитель Кламара, отнимаете у них жизнь, лишив их свободы, — вот, если бы ради одного из них вы предложили отменить смертную казнь, о! тогда ваше собрание было бы поистине достойным, почтенным, благородным и величавым. Со времен Триентских отцов церкви, пригласивших еретиков на вселенский собор во имя милосердия господня, *per viscera Dei*, в надежде обратить их, *quoniam sancta synodus sperat haereticorum conversionem*¹, ни одно собрание не явило бы миру зрелища более доблестного, возвышенного и человеколюбивого. Тем, кто поистине силен и поистине велик, всегда подобало заботиться о слабых и малых. Как прекрасно было бы собрание браминов, берущих под свою защиту интересы париев! А интересы париев — это интересы народа. Если бы вы отменили смертную казнь для блага народа, а не потому, что тут задеты вы сами, это был бы не только политический акт, но и большое общественное дело.

А теперь это нельзя назвать даже политическим актом, потому что вы пытались отменить смертную казнь не ради самой отмены, а для того, чтобы спасти четырех незадачливых министров, пойманных с поличным при попытке совершить государственный переворот!

¹ Потому что священный собор надеется на обращение еретиков (лат.).

И что же получилось? Так как вы были неискренни, к вам отнеслись с недоверием. Увидев, что его хотят обмануть, народ принял в штыки все начинание в целом и — как это ни удивительно — встал на защиту смертной казни, хотя все ее бремя полностью падает на него. Ваша собственная неосмотрительность привела к этому. Подойдя к делу окольным, не прямым путем, вы надолго набросили на него тень. Вы разыграли комедию. И ее освистали.

Однако некоторые люди по доброте своей приняли этот фарс всерьез. Сейчас же после пресловутого заседания министр юстиции, человек прямодушный, отдал прокурорам приказ приостановить на неопределенный срок приведение в исполнение смертных приговоров. По всей видимости, это был серьезный шаг. Противники смертной казни вздохнули с облегчением. Но их иллюзии быстро рассеялись.

Суд над министрами закончился. Не знаю, к чему их присудили. Во всяком случае жизнь сохранили всем четверым. Крепость Гам была признана золотой серединой между смертью и свободой. После того как все это было улажено, у государственных деятелей, стоящих у власти, исчез всякий страх, а вместе со страхом испарились и человеколюбивые порывы. Вопрос об отмене смертной казни больше не поднимался; и как только он утратил остроту, утопия снова стала утопией, теория — теорией, фантазия — фантазией.

А между тем в тюрьмах так и осталось несколько осужденных из числа простых смертных: несчастные уже месяцев пять-шесть гуляли по тюремному двору, дышали свежим воздухом, окончательно успокоившись, считая, что им дарована жизнь, принимая отсрочку за помилование. Но не тут-то было.

Правду сказать, палач сильно перетрусил. Услышав в тот знаменательный день разговоры законодателей о человеколюбии, гуманизме, прогрессе, он решил, что дело его плохо, и скрылся, забился под свою гильотину. Ему стало не по себе на ярком июльском солнце, как ночной птице — при свете дня. Он старался не напоминать о себе, сидел притаясь, не подавая признаков жизни, заткнув уши, боясь дышать. Целых полгода его не было видно. Но мало-помалу он успокоился в своей норе. Прислушался к тому, что делается в палате, и больше не услы-

шал ни упоминаний своего имени, ни тех громких, звучащих слов, которые так напугали его. Прекратились словесные упражнения на тему «О преступлениях и наказаниях», палата занималась совсем другими, куда более важными общественными делами — прокладкой проселочной дороги, субсидией Комиической опере или кровопусканием в сто тысяч франков из апоплектического полуторамиллиардного бюджета. О нем, о головорезе, не вспоминал больше никто. Увидев это, он окончательно успокоился, высунул из норы голову и огляделся; потом сделал один шаг, второй, совсем как мышь в какой-то из басен Лафонтена, потом осмелел, вылез из-под помоста, вскочил на него и принялся чинить, исправлять, начищать до блеска, оглаживать все сооружение, пускать в ход, смазывать салом старый заржавевший механизм, совсем пришедший в негодность от бездействия; а затем обернулся, наугад, в первой попавшейся тюрьме, схватил за волосы одного из тех несчастных, которые рассчитывали, что им дарована жизнь, втащил его к себе, раздел, связал, скрутил, и — казни возобновились как ни в чем не бывало.

Этому страшно поверить, но это правда.

Да, многострадальным узникам дали отсрочку в полгода и тем самым ни за что ни про что усугубили их муки, вселив в них надежду на жизнь; а потом, без всякого основания, безо всякой необходимости, так, здорово живешь, в одно прекрасное утро отсрочку отменили и хладнокровно бросили этих несчастных под нож. Скажите на милость, чем нам мешали эти люди? Господи боже! Неужто во Франции нехватит воздуха на всех?

Для того чтобы какой-то чиновничка из министерства юстиции ни с того ни с сего встал со стула и сказал: — Что ж! Никто больше не заикается об отмене смертной казни. Пора пускать в ход гильотину! — для этого надо, чтобы сердце человека стало сердцем зверя.

Следует подчеркнуть, что никогда в самом процессе казни не наблюдалось такой жестокости, как после июльской отсрочки. Никогда Гревская трагедия не обставлялась так омерзительно и не доказывала с большей наглядностью всю гнусность смертной казни. Этот усугубленный ужас по справедливости лежит на совести людей, восстановивших кровавый закон. Пусть пеняют на себя за дело рук своих. Поделом им.

Приведем два-три примера зверского, безбожного отношения к приговоренным, хотя бы для того, чтобы расстроить нервы супругам королевских прокуроров. Женщина зачастую играет роль совести.

В конце сентября месяца прошлого года на юге Франции — точно мы не можем указать ни места, ни дня казни, ни имени приговоренного, но если самый факт будет оспариваться, мы беремся все это установить, — помнится, дело было в Памье, — итак, в конце сентября месяца в тюрьму, к одному заключенному, спокойно игравшему в карты, явились с заявлением, что через два часа он должен умереть; человека охватила дрожь — полгода о нем не вспоминали, и он считал, что страшная кара миновала его; его обстригли, обрили, связали, исповедали, затем посадили на телегу и с четырьмя жандармами по бокам повезли сквозь толпу зевак на место казни. До сих пор все шло, как обычно, как полагается. Около эшафота палач принял страдальца из рук священника, втащил его на помост, привязал к доске, — говоря языком каторги, «заложил в печь», — и спустил нож. Тяжелый железный треугольник с трудом сдвинулся с места, ежесекундно застревая, пополз вниз и — вот где начинается настоящий ужас — не убил, а только поранил несчастного. Услышав его отчаянный крик, палач растерялся, поднял нож и опустил снова. Нож вторично вонзился в шею мученика, но не перерубил ее. К воплям несчастного присоединились крики толпы. Палач опять подтянул нож кверху, рассчитывая, что третий удар окажется успешным. Ничуть не бывало. Кровь в третий раз хлынула из шеи приговоренного, но голова не отлетела. Короче говоря — пять раз поднимался и опускался нож, пять раз вонзался в шею приговоренного, и после каждого удара приговоренный выпускал отчаянный вопль, дергал все еще не снесенной головой и молил о пощаде! Народ, не стерпев этого издевательства, принялся забрасывать палача камнями. Палач соскочил с помоста и спрятался за лошадьми жандармов. Но это еще не все. Осужденный, увидев, что он на эшафоте один, насколько мог поднялся с доски и, стоя так, страшный, залитый кровью, поддерживая наполовину отрубленную голову, которая свешивалась ему на плечо, чуть слышным голосом умолял отвязать его. Толпа, исполнившись сострадания, собралась было оттеснить жандар-

мов и спасти страдальца, пять раз претерпевшего смертную казнь, но в этот миг подручный палача, малый лет двадцати, поднялся на эшафот, велел приговоренному лечь ничком, чтобы удобнее было отвязать его, а сам, воспользовавшись доверчивостью умирающего, вскочил ему на спину и принялся неумело перерезать остаток шеи чем-то вроде кухонного ножа.

Это не выдумка. Этому были очевидцы. Да.

Согласно закону при казни обязан был присутствовать судья. Ему достаточно было сделать знак, чтобы положить этому конец. Что же делал, забившись в угол кареты, этот человек, пока зверски резали другого человека? Что делал судья, призванный карать убийц, пока среди бела дня, у него на глазах, под самыми окошками его кареты совершалось убийство?

И такого судью не предали суду! Не предали суду и палача! И никто не подумал произвести следствие по поводу такого чудовищного, попирающего все законы, издеательства над священной личностью создания божия!

В семнадцатом веке, при Ришелье и Кристофе Фуке, когда был в силе варварский уголовный кодекс и когда г-на де Шалэ казнил в Нанте неумелый солдат, нанесший ему вместо одного удара шпагой тридцать четыре удара¹ бочарным топором, — это все-таки показалось незаконным парижскому парламенту, ввиду чего было наряжено следствие, и хотя Ришелье остался безнаказанным, как безнаказанным остался и Кристоф Фуке, солдат все-таки был наказан. Конечно, это несправедливость, но в основе ее заложено зерно правосудия. Тут же ни намек на правосудие. Дело было после июльского переворота, в эпоху прогресса и смягчения нравов, через год после громогласных ламентаций палаты по поводу смертной казни. И что же! Это событие прошло совершенно незамеченным! Парижские газеты забыли о нем, как о незначительном эпизоде. Никто не обеспокоился. Выяснили только, что гильотина была умышленно испорчена кем-то, кто хотел подставить ножку палачу, а именно одним из его подручных. Палач выгнал его, а он придумал такую месть.

¹ Лапорт говорит, что двадцать два, но Обери утверждает, что тридцать четыре. Де Шалэ кричал до двадцатого удара. (Прим. авт.)

Итак, это была просто милая шутка. Дальше.

Три месяца назад в Дижоне казнили женщину. (Женщину!) И на этот раз механизм доктора Гильотена действовал неисправно. Голова не была отрублена сразу. Тогда подручные палача ухватили женщину за ноги и, под отчаянные вопли несчастной, до тех пор дергали и тянули, пока не оторвали голову от туловища.

У нас в Париже возвращаются времена тайных казней. После июльских дней из страха, из трусости уже не решаются рубить головы публично, на Гревской площади, и поэтому придумали такой выход. Недавно из Бисетра взяли человека, приговоренного к смерти, если не ошибаюсь, некоего Дезандре; его впихнули в какую-то коробку на двух колесах, закрытую наглухо, запертую на замки и засовы; затем, с жандармом впереди и жандармом позади, без огласки и без сборищ доставили поклажу к пустынной заставе Сен-Жак. Дело происходило в восемь утра, едва светало, но на месте уже ждала только что поставленная гильотина, а публику составляли с десятков мальчишек, взгромоздившихся на груды камней и глазевших на невиданную машину. Приговоренного вытащили из повозки и, не дав ему опомниться, недостойно, тайком, отрубили ему голову. И это именуется открытым и торжественным актом высшей справедливости! Гнусное издевательство!

Что же прислужники короля понимают под словом «цивилизация»? До чего мы дошли? Правосудие сведено к махинациям и уловкам! Закон превращен в обман! Нелыханное дело.

Очевидно, приговоренный к смерти представляет собой опасность, раз общество старается разделаться с ним украдкой. Однако будем справедливы: казнь не была полностью сохранена в тайне. С утра на парижских перекрестках, как обычно, продавали листки со смертным приговором, громко зазывая покупателей. Значит, есть люди, которые живут с их продажи. Вы слышите? Преступление, совершенное каким-нибудь несчастливцем, понесенная им кара, его страдания, его предсмертные муки превращаются в товар, в печатную бумажку, которую продают за медяк. Можно ли представить себе что-нибудь страшнее этих монет, протравленных кровью? И кто же те, что их собирают?

Но довольно фактов. С избытком довольно. Разве все они не ужасны? Какие доводы можете вы после этого выставить в защиту смертной казни?

Мы задаем этот вопрос не для красного словца; мы ждем на него ответа; мы задаем его криминалистам, а не болтунам-литераторам. Мы знаем, что есть люди, для которых преимущество смертной казни, как любая другая тема, служит поводом для упражнения в блестящих парадоксах. Есть и такие, что стоят горой за смертную казнь из ненависти к ее противникам. Для них это только вопрос литературной полемики, вопрос определенных имен и лиц. Это попросту завистники, в которых хорошие законоведы, как и большие художники, никогда не терпят недостатка. У Филанджиери всегда найдется свой Джузеппе Гриппа, у Микель-Анджело — свой Торреджани, у Корнеля — свой Скюдери.

Но мы обращаемся не к ним, а к законникам в подлинном значении этого слова, к софистам, к умникам, которые видят в смертной казни красоту, человеколюбие, благородство.

Выслушаем их доводы.

С точки зрения тех, кто судит и осуждает, смертная казнь необходима. Прежде всего потому, что надо изъять из человеческого общества того, кто уже нанес ему вред и может наносить в дальнейшем. Но для этого достаточно и пожизненного заключения. К чему же смерть? Вы говорите, что из тюрьмы можно бежать? Сторожите получше. Если вы не доверяете прочности решеток, как вы решаетесь заводить зверинцы?

Палач ни к чему там, где довольно и тюремщика.

Нам возразят, что общество должно мстить, должно карать. Ни в коем случае. Мстить может отдельный человек, карать может бог.

Общество же занимает промежуточную ступень. Кара — выше его, месть — ниже. Ни такое возвышенное, ни такое низменное дело ему не пристало; его обязанность не «карать, чтобы отомстить», а воспитывать, чтобы исправить. Измените в таком духе формулу криминалистов, и мы поймем и поддержим ее.

Остается третий и последний довод — пресловутая теория примера. Надо показать пример! Надо внушить страх,

наглядно показав, какая участь ждет тех, кто вздумал бы подражать преступникам. Вот почти дословно то, что на все лады повторяется во всех обвинительных речах всех пятисот судов Франции. Так вот! Прежде всего мы отрицаем самую идею примера. Мы отрицаем, что зрелище казни оказывает то действие, какого от него ожидают. Оно играет отнюдь не назидательную, а развращающую роль, оно убивает в народе жалость, а следовательно, и все добрые чувства. Мы могли бы привести множество доказательств, если бы не боялись перегрузить наше изложение. Упомянем лишь об одном факте, потому что он имел место совсем недавно, ровно десять дней назад, 5 марта, в последний день карнавала. В Сен-Поле толпа масок затеяла хоровод вокруг гильотины, еще не остывшей после казни некоего поджигателя Луи Камюса. Вот и показывайте пример! Разгульный карнавал открыто смеется над вами!

Но если, наперекор действительности, вы все еще цепляетесь за свою закоснелую теорию устрашающего примера, так уж будьте последовательны в деле устрашения, возродите XVI век, возродите весь арсенал пыток, возродите и Фариначчи и заплочных дел мастеров, возродите виселицу, колесо, костер, дыбу, отрезайте уши, четвертуйте, заживо закапывайте людей в яму, бросайте в кипящий котел, откройте на всех парижских перекрестках, наряду с витринами лавок, витрину страшных трофеев палача, куда постоянно будет поставляться свежее мясо. Возродите Монфокон, его шестнадцать столбов на подпорах из нетесанного камня, его подвалы, полные костей, его брусья, крюки, цепи, остатки скелетов, меловой холм, загаженный воронами, все разновидности виселиц и трупный запах, который разносится по всему Тампльскому предместью, когда ветер дует с северо-востока. Возродите в исконном виде эту гигантскую вотчину парижского палача. Вот уж поистине всем примерам пример! Вот вам смертная казнь, разработанная до тонкости. Вот вам система пыток со всеми должными градациями. Вот ужас, устрашающий по-настоящему.

Или же последуйте английскому образцу. В Англии, стране торговой, захваченного на побережье близ Дувра контрабандиста вешают для примера и для примера же оставляют на виселице; но, дабы труп не пострадал от

перемен погоды, его обертывают в холст, просмоленный для прочности. Вот это коммерческая сметка! В какой другой стране придумают смолить повешенных!

Однако тут все-таки есть подобие логики. Это наиболее гуманное решение теории устрашающего примера.

Но вы-то, неужели вы всерьез думаете о примере, тайком перерезая горло какому-нибудь горемыке в самом безлюдном закоулке внешних бульваров? Пускай уж на Гревской площади, посреди белого дня; но у заставы Сен-Жак! И в восемь часов утра! Кто там проходит? Кто там бывает? Кому известно, что вы собрались убивать там человека? И для кого это может быть примером? Очевидно, для деревьев на бульваре.

Неужели вы сами не замечаете, что совершаете публичные казни крадучись, прячась ото всех? Неужели вы не сознаете, что вам страшно и стыдно творить такое дело? Что ваш лепет *discite justitiam moniti*¹ смешно слушать, что в сущности вы смущены, растеряны, сбиты с толку, не убеждены в своей правоте, заражены общим сомнением, рубите головы по привычке и сами не понимаете, зачем это делаете? Неужели вы не чувствуете в глубине души, что вами утрачена общественная и нравственная оценка той кровавой миссии, которую предшественники ваши, судьи былых времен, осуществляли с невозмутимо спокойной совестью? Неужели вы по ночам не больше их ворочаетесь в постели? Те, что раньше вас выносили смертный приговор, были уверены в правоте, справедливости и благодетельности этого приговора. Жувенель дез Юрсен почитал себя судьей; Эли де Торет почитал себя судьей; Лобардемон, Ла Рейни, Лафемас, и те почитали себя судьями; а у вас, в тайниках души, нет уверенности, что вы не убийцы!

Вы сменили Гревскую площадь на заставу Сен-Жак, толпу — на уединение, ясный день — на предрассветную мглу. Вы делаете свое дело без должной решимости. Вы прячетесь — посмейте это отрицать!

Итак, все доводы в пользу смертной казни уничтожены, все умствования прокуроров сведены к нулю. Весь сор обвинительных речей обращен в пепел и выметен вон.

¹ Вы правосудью учитесь (*лат.*). Начальные слова 620-го стиха 6-й песни «Энеиды» Вергилия. «Вы правосудью учитесь на мне и богов почитайте».

В свете логики мгновенно рассеиваются все ложные заключения. Так пусть же королевские прислужники не смеют больше требовать от нас, как от присяжных, от нас, как от людей, вынесения смертных приговоров, медовыми голосами заклиная нас во имя безопасности общества, во имя торжества правосудия и ради устрашающего примера. Все это красоты риторики — мыльные пузыри и больше ничего! Попробуйте, проткните их булавкой, и они лопнут в один миг. Под всем этим слащавым красноречием кроется черствость, варварская жестокость, желание выслужиться, необходимость отработать свое жалование. Замолчите, царедворцы! Под бархатной лапкой судьи чувствуются когти палача.

Нет возможности хладнокровно говорить о том, что такое королевский прокурор по уголовным делам. Это человек, который зарабатывает себе на жизнь тем, что отправляет других людей на смерть. Это штатный поставщик эшафота. И в то же время это господин, притязающий на образование и литературный слог, а главное, на ораторское красноречие, умеющий к случаю, перед тем как потребовать смертного приговора, вернуть латинскую цитату, жаждущий произвести впечатление и потешить свое жалкое самолюбие там, где для других решается вопрос жизни; у него есть свои классические образцы, свои недостижимые идеалы, для него Беллар и Маршанжи то же, что для иного поэта Расин или Буало. Он склоняет судебные прения в сторону гильотины, такова его роль, его должность. Обвинительная речь для него — литературное упражнение, он расцвечивает ее метафорами, уснащает цитатами, заботясь о том, чтобы пленить публику, а главное дам. У него в запасе имеется набор пошлостей, которые воспринимаются неискушенными провинциалами как новинка, он щеголяет изысканными ораторскими приемами, литературной манерностью и жеманством. Ему ненавистна простота и ясность не меньше, чем авторам трагедий, последователям Делиля. Не бойтесь, он не станет называть вещи своими именами Фи, как это можно! Все те понятия, которые в обнаженном виде вас бы покоробили, он умеет ловко замаскировать эпитетами и прилагательными. Он придает господину Сансону вполне презентабельный вид. Он окутывает флером нож гильотины, он затушевывает помост, он

обвивает гирляндами красноречия кровавую корзину. Получается умильно и пристойно. Вообразите себе, как он сидит вечером у себя в кабинете, кропотливо и тщательно подготавливая ту речь, из-за которой через шесть недель будет воздвигнут эшафот. Вообразите себе, как он из кожи вон лезет, чтобы подвести голову подсудимого под самую зловещую статью уголовного кодекса. Вообразите себе, как он перепиливает шею несчастного с помощью негодного закона. Обратите внимание, как он вводит в мешанину из иносказаний и обещаний две-три ядовитых цитатки, чтобы всеми правдами и неправдами выжать из них смертный приговор другому человеку? Не кажется ли вам, что, пока он пишет, под столом, в темном уголке у его ног сидит на корточках палач, и он время от времени останавливается и говорит палачу, как хозяин прожорливому псу:

— Погоди! Погоди! Получишь свою кость!

Впрочем, не исключено, что в частной жизни этот прислужник короля — честнейший человек, хороший отец, хороший сын, хороший муж, хороший друг, как гласят все надписи на надгробных памятниках кладбища Пер-Лашез.

Будем надеяться, что недалек тот день, когда закон упразднит эту гнусную должность. Самый воздух современной цивилизации рано или поздно должен уничтожить смертную казнь.

Временами невольно думается, что защитники смертной казни не отдают себе ясного отчета в том, что это такое. Да сравните вы хоть раз любое преступление с тем возмутительным правом, которое общество самовластно присвоило себе, с правом отнимать то, чего оно не давало, с этой карой, которая сама по себе является самым непоправимым из всех непоправимых зол!

Одно из двух:

Либо у человека, которого вы караете, нет семьи, нет родных, нет никого близкого на свете. Значит, он не получил ни воспитания, ни образования, никто не позаботился направить на верный путь его ум и сердце. По какому же праву вы убиваете в таком случае этого злосчастного сироту? Вы наказываете его за то, что он с детства прозябал без опоры и поддержки. Вы вменяете ему в вину то одиночество, в котором сами же оставили его. Его несчастье вы возводите в преступление! Никто не научил его оценивать

свои поступки. Он ничего не знает. Так вините же его судьбу, а не его самого. Не карайте невинного!

Если же у этого человека есть семья, неужели вы думаете, что, нанося ему смертельный удар, вы не задеваете больше никого? Что его отец, мать, дети не пострадают от этого? Нет. Убивая его, вы обезглавливаете целую семью. А значит, и в этом случае вы караете невинных.

Слепой, нелепый закон, при всех обстоятельствах карающий невинных!

Изолируйте преступника, у которого есть семья. Сидя в тюрьме, он будет работать на нее. Из могилы он ведь ничем уже не в силах ей помочь. Как можете вы без содрогания подумать о том, что станется с малолетними детьми, мальчиками и девочками, которых вы лишаете отца, иначе говоря, насущного хлеба. Или же вы рассчитываете, что через пятнадцать лет мальчики созреют для каторги, а девочки — для шантана? Невинные страдалцы! Когда в колониях казнят раба, владельцу его выплачивают тысячу франков в возмещение убытков. Так, значит, хозяина вы считаете нужным компенсировать, а семью нет? А разве здесь вы не отнимаете человека у тех, кому он принадлежит по праву. По праву куда более незыблемому, чем раб — своему господину, принадлежит он отцу, является достоянием жены, собственностью детей.

Мы уже уличили ваш закон в убийстве, а теперь уличаем его в грабеже.

Но и этого мало. А душа приговоренного? О ней вы думаете? Знаете вы, что творится в ней? Как же вы смеее так беспечно отправлять ее на тот свет? В прежние времена в народе хоть бытовала какая-то вера. Носившиеся в воздухе религиозные веяния могли в роковую минуту смягчить самого закоснелого злодея. Приговоренный преступник в то же время был и кающийся грешник. Религия открывала перед ним потусторонний мир в тот миг, когда общество закрывало для него здешний; душой каждый ощущал бога. Эшафот был лишь гранью между землей и небом. А какие же упования можете вы связать с эшафотом теперь, когда в большинстве своем народ перестал веровать? Когда все религии обрастают плесенью, как те старые корабли, что гниют в наших гаванях, а раньше, быть может, открывали новые земли? Когда малые дети насмеваются над богом? По какому праву

швыряете вы в то неведомое, в котором сомневаетесь сами, темные души осужденных вами, души, ставшие тем, что они есть, по милости Вольтера и Пиго-Лебренна. Вы доверяете их тюремному священнику, спору нет, достойнейшему старцу; но верует ли он сам и может ли вселить веру? Что, если для него эта священная миссия превратилась в докучную повинность? Как можете вы считать духовным пастырем этого старичка, сидящего на телеге бок о бок с палачом? Писатель, обладавший большим талантом и чуткой душой, сказал еще до нас: «Жестокое дело — оставить палача, отняв духовника».

Разумеется, все это доводы «сентиментального порядка», как презрительно выражаются некоторые умники, черпающие свои доводы только из головы, но, на наш взгляд, доводы чувства наиболее убедительны, и мы зачастую предпочитаем их доводам разума. Впрочем, между теми и другими существует неразрывная связь, и этого не следует забывать.

«Трактат о преступлениях» отпочковался от «Духа законов». Монтескье породил Беккариа.

Разум за нас, чувство за нас и опыт тоже за нас. В государствах, которые могут служить образцом и где смертная казнь отменена, количество уголовных преступлений идет на убыль с каждым годом. Задумайтесь над этим.

Однако мы не требуем немедленной и окончательной отмены смертной казни, мы не хотим повторять необдуманной шаг палаты депутатов. Наоборот, мы настаиваем на предварительных пробах, на всяческих предосторожностях, на сугубой осмотрительности. К тому же мы добиваемся не только отмены смертной казни, а коренного пересмотра всех видов наказаний, сверху донизу, от тюремного запора до ножа гильотины, а одним из необходимых условий добросовестного осуществления такого дела является время. Мы собираемся в другом месте подробно изложить, какой системы в данном случае следовало бы придерживаться. Но независимо от того, будет ли смертная казнь отменена для отдельных родов преступников, как то для фальшивомонетчиков, для поджигателей, для взломщиков и т. д., мы настаиваем, чтобы уже теперь во всех уголовных процессах председателю суда вменялось в обязанность задавать присяжным вопрос: «Действовал ли обвиняемый в состоянии аффекта или из корыстных

побуждений?» И если присяжные ответят, что «обвиняемый действовал в состоянии аффекта», ему не может быть вынесен смертный приговор. Такое решение по крайней мере избавило бы нас от некоторых вопиющих случаев казни. Ульбах и Дебакер были бы спасены. Не стали бы гильотинировать и Отелло.

Кстати, имейте в виду, что вопрос о смертной казни назревает с каждым днем. Недалеко то время, когда общество в целом решит его в том же смысле, что и мы.

Самым упрямым криминалистам следует призадуматься над тем, что за последнее столетие смертная казнь явно вырождается, она становится все мягче. Признак упадка. Признак слабости. Признак близкого конца. Исчезли пытки. Исчезло колесование. Исчезла виселица. Это звучит дико, но сама гильотина является своего рода прогрессом.

Господин Гильотен был филантроп. Да, жестокая, зубастая, прожорливая Фемида Фариначчи и Вуглана, Деланкра и Исаака Луазеля, Оппеда и Машо чахнет на глазах. Она тощает. Она того и гляди испустит дух.

Вот уже и Гревская площадь отрешивается от нее. Гревская площадь жаждет реабилитироваться. Старая кровопивица отлично вела себя в июле. Она хочет начать новую жизнь, стать достойной своего благородного поведения. Три столетия кряду она проституировалась всеми видами эшафотов, а теперь вдруг к ней вернулось целомудрие. Она устыдилась своего прежнего ремесла и хочет, чтобы забыли ее позорную репутацию. Она изгоняет палача. Она отмывает свою мостовую.

В настоящее время смертная казнь уже удалена из пределов Парижа. А, скажем смело, очутиться за пределами Парижа — значит, очутиться за пределами цивилизации.

Все говорит в нашу пользу. По всем данным, и сама она что-то охает и кричит, эта гнусная машина, или, вернее, это чудище из дерева и камня, которое оказалось для Гильотена тем же, чем Галатея для Пигмалиона. С определенной точки зрения можно рассматривать описанные нами чудовищные казни как весьма благоприятный признак. Гильотина колеблется, неисправно выполняет свои обязанности. Весь старый механизм смертной казни трещит по швам.

Мы надеемся, что мерзкая машина уберется из Франции, и если богу будет угодно, уберется хромая, потому что мы постараемся нанести ей основательный удар.

Пусть ищет пристанища у каких-нибудь варваров, не в Турции, нет, турки приобщаются к цивилизации, и не у дикарей, те не пожелают ее¹; пусть спустится еще ниже с лестницы цивилизации, пусть отправится в Испанию или в Россию.

Общественное здание прошлого держалось на трех опорах: священник, король, палач. Давно уже прозвучал голос: «Боги уходят!» Недавно другой голос провозгласил: «Короли уходят!» Пора, чтобы третий голос произнес: «Палач уходит!»

Так старый строй разрушится камень за камнем; так само провидение довершит гибель прошлого. В утешение тем, кто жалел об ушедших богах, можно было сказать: остается бог. Тем, кто жалеет о королях, можно сказать: остается отечество. Тем, кто пожалеет о палаче, сказать нечего.

Порядок не исчезнет вместе с палачом — этого вы не бойтесь.

Здание будущего общества не рухнет оттого, что не будет этой постыдной подпоры. Цивилизация не что иное, как ряд последовательных изменений. И вам предстоит быть свидетелями изменения уголовного кодекса, который проникнется христовым законом и озарится его благостным светом. Преступление будет впредь рассматриваться как болезнь и против этой болезни найдутся свои врачи, которые заменят ваших судей, найдутся больницы, которые заменят вашу каторгу. Свобода уподобится здоровью. Маслом и бальзамом будут врачевать те раны, которые прижигали железом и огнем. То зло, на которое ополчались гневом, начнут лечить милосердием. Это будет просто и величаво. Вместо виселицы — крест. Вот и все.

15 марта 1832 года.

¹ «Парламент» о Таити только что отменил смертную казнь.
(Прим. авт.)

КОМЕДИЯ ПО ПОВОДУ ТРАГЕДИИ¹

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Госпожа де Блэнваль
Шевалье
Эргаст
Элегический поэт
Философ
Толстый господин
Тощий господин
Дамы
Лакей

Светская гостиная.

Элегический поэт (*читает*)

.....
.....

В лесу был слышен чей-то робкий шаг
Да над потоком хриплый лай собак;
Когда же вновь печальная Изора,
С тревогой в сердце и тоской во взоре,
На башню древнюю взошла без цели,
Лишь ропот волн слышала она,
Но не звенела нежная струна
Пленительного менестреля!

С л у ш а т е л и (*хором*). Bravo! Прелестно! Чудесно!

Рукоплескания

¹ Мы сочли нужным напечатать здесь нижеследующее вступление в форме диалога, которое предшествовало четвертому изданию «Последнего дня приговоренного к смерти». Читая его, следует помнить, какими возражениями политического, нравственного и литературного порядка были встречены первые издания этой книги. (*Примечание к изданию 1832 г.*)

Г-жа де Блэнваль. В конце есть что-то неуловимо-таинственное, от чего хочется плакать.

Элегический поэт (*скромно*). Трагедия окутана флером.

Шевалье (*качая головой*). Струна, менестрель — сплошная романтика!

Элегический поэт. Да, сударь, романтика, но романтика рациональная, подлинная романтика. Что поделаешь? Надо итти на уступки.

Шевалье. Итти на уступки! Так можно дойти до безвкусицы. Я лично все романтические стихи отдам за одно это четверостишие:

Бернар-красавчик был разбужен
Известьем с Пинда, что в зеленый грот
Любви искусство вечером придет
К искусству нравиться на ужин.

Вот истинная поэзия! «Любви искусство вечером придет к искусству нравиться!» Это я одобряю! А теперь пошли какие-то «струны», «менестрели». Никто не сочиняет мадригалов. Будь я поэт, я сочинял бы мадригалы. Но, увы, я не поэт.

Элегический поэт. Что ни говорите, а элегии...

Шевалье. Нет, сударь, только мадригалы.

Какой-то гость (*элегическому поэту*). Разрешите, маленькое замечание. Вы пишете «древняя башня». Почему не написать «готическая»?

Элегический поэт. «Готическая» не подходит для стихов.

Этот же гость. Ну, это дело другое.

Элегический поэт (*сел на своего конька*). Видите ли, сударь, надо держать себя в узде. Я не принадлежу к числу тех, кто ломает французский стих и тянет нас назад, к Ронсарам и Бребэфам. Я романтик, но умеренный. То же самое и в отношении чувств. Я признаю только нежные чувства, мечтательность, грусть. Никакой крови, никаких ужасов. Трагедию надо окутывать флером. Я знаю, есть такие безумцы, необузданные фантазеры, которые... Кстати, сударыни, вы читали новую книгу?

Дамы. Какую?

Элегический поэт. «Последний день...

Толстый господин. Замолчите, сударь! Я знаю,

что вы имеете в виду. Одно заглавие расстраивает мне нервы.

Г-жа де Блэнваль. Мне тоже. Отвратительная книга. Вот она.

Дамы. Покажите, покажите.

Книга переходит из рук в руки.

Одна из дам (*читает*). «Последний день при...

Толстый господин. Сударыня, пощадите!

Г-жа де Блэнваль. Ваша правда, это опасная книга. После нее ходишь как в кошмаре, чувствуешь себя разбитым.

Одна из дам (*тихо*). Непременно прочту.

Толстый господин. Приходится признать, что нравы портятся день ото дня. Господи, какая дикая мысль! Проследить, продумать, разобрать одно за другим, не упуская ничего, все физические страдания, все нравственные муки, какие должен испытать приговоренный в самый день казни! Ведь это же ужас! И поверите ли, сударыни, нашелся писатель, которого увлекла эта мысль. И у такого писателя нашлись читатели.

Шевалье. В самом деле, непостижимая наглость.

Г-жа де Блэнваль. А кто автор книги?

Толстый господин. Первое издание вышло безыменным.

Элегический поэт. У этого же автора есть еще два романа... Признаюсь, я не запомнил названий. Один начинается в морге, а кончается на Гревской площади. И в каждой главе людоед пожирает младенца.

Толстый господин. Вы сами это читали, сударь?

Элегический поэт. Читал, сударь; действие происходит в Исландии.

Толстый господин. В Исландии! Какой ужас!

Элегический поэт. Кроме того, он сочиняет оды, баллады и еще что-то, где дело касается Бунаберды.

Шевалье (*смеясь*). Белиберды! Воображаю, как это звучит в стихах.

Элегический поэт. Он напечатал также драму — если можно назвать это драмой. Там имеется такая поэтическая строка:

«Двадцать пятого июня пятьдесят седьмого года».

Какой-то гость. Вот так поэзия!

Элегический поэт. Гораздо проще изобразить это цифрами. Взгляните, сударыни:
«25-го июня 57 года». (Смеется.)

Все смеются.

Шевалье. Да, современную поэзию трудно понять. Толстый господин. Ну, об этом субъекте нечего говорить. Он просто плохой версификатор! Как, бишь, его зовут?

Элегический поэт. Его фамилию не только трудно запомнить, но и произнести трудно. Что-то близкое к готам, вестготам или остготам. (Смеется.)

Г-жа де Блэнваль. Дурной человек.

Толстый господин. Отвратительный.

Молодая женщина. Мне говорил один его знакомый...

Толстый господин. Вы знакомы с его знакомым?

Молодая женщина. Да. И этот знакомый говорил, что он тихий, простой человек. Живет уединенно и по целым дням возится со своими детьми.

Поэт. А по ночам он трудится над мрачными стихами. Как странно; у меня сама собой сложилась стихотворная строка:

А по ночам он трудится над мрачными стихами

И цезура на месте. Остается только найти рифму. Нашел! «Грехами».

Г-жа де Блэнваль. «Quidquid tentabat dicere, versus erat»¹.

Толстый господин. Вы сказали, что у этого писака есть маленькие дети. Не верю, сударыня! У сочинителя такой книги! Такого гнусного произведения!

Один из гостей. А с какой целью он написал эту книгу?

Элегический поэт. Почему я знаю?

Философ. Он, кажется, думает этой книгой способствовать отмене смертной казни.

¹ «Что ни начнет говорить, все выходило стихом» (лат.). Г-жа де Блэнваль перефразирует стих из автобиографии Овидия, говорящего о себе (Овидий, «Скорби», кн. 4, элегия 10, стр. 26):

Et quod tentabam scribere versus erat —

«Что ни начну я писать, все выходило стихом».

Толстый господин. Я же вам говорю, просто безобразие!

Шевалье. Ага! Понимаю! Поединок с палачом.

Элегический поэт. Он яростно ополчился против гильотины.

Тощий господин. Верно, все высокопарные разглагольствования?

Толстый господин. Не угадали. Смертной казни, как таковой, там посвящено не больше двух строчек. Все остальное — только ощущения.

Философ. Крупная ошибка. По этому вопросу можно многое сказать. А драма или роман — отнюдь не убедительны. Кстати, я читал книжку. Плохо написана.

Элегический поэт. Отвратительно! Разве это можно назвать искусством? Это значит перейти все границы и лезть напролом. Если бы еще преступник был какой-нибудь известный. Ничуть не бывало. Что он сделал? Никто не знает. А вдруг это какой-нибудь отпетый мерзавец? Как можно заставлять меня заниматься кем-нибудь, кого я не знаю?

Толстый господин. Никто не имеет права навязывать читателю чисто физические страдания. Когда я смотрю трагедию со всякими смертоубийствами, меня это не трогает. Но от этой книжки у человека волосы шевелятся на голове и мороз проходит по коже, а потом всю ночь мерещатся кошмары. Я два дня был болен после того, как прочел ее.

Философ. Заметьте вдобавок, что это холодное, рассудочное литературное произведение.

Поэт. Литературное произведение!! Что вы!

Философ. Да, да. Но как вы правильно изволили заметить, оно лишено подлинной художественности. Меня не волнует голая абстракция, идея в чистом виде. Я не вижу здесь личности, созвучной моей. А в самом слогe нет ни простоты, ни ясности. В нем чувствуется архаический душок. Ведь вы так и говорили?

Поэт. Ну да, разумеется. Личности здесь ни к чему.

Философ. Приговоренный — совсем не интересная фигура.

Поэт. Как он может кого-нибудь заинтересовать? Он совершил преступление и не раскаивается. Я бы написал совсем по-иному. Я бы рассказал историю жизни приго-

воренного. Сын благородных родителей. Отличное воспитание. Любовь. Ревность. Преступление, которое нельзя назвать преступлением. А потом угрызения, угрызения, бесконечные угрызения. Но человеческие законы неумолимы; он должен умереть. И вот тут-то я бы коснулся вопроса о смертной казни! Тут он был бы у места!

Г - ж а д е Б л э н в а л ь. Так! Так!

Ф и л о с о ф. Простите. В таком виде, как предлагаете вы, сударь, книга ничего бы не доказывала. Нельзя идти от частного к общему.

П о э т. Что ж! Можно придумать лучше: например, сделать героем книги Мальзерба, добродетельного Мальзерба! Описать его последний день, его казнь! Какое возвышенное, назидательное зрелище! Я бы плакал, трепетал, мне бы самому хотелось последовать за ним на эшафот.

Ф и л о с о ф. А мне нет.

Ш е в а л ь е. И мне тоже. В сущности ваш господин де Мальзерб был революционер.

Ф и л о с о ф. И казнь Мальзерба не может служить доводом против смертной казни вообще.

Т о л с т ы й г о с п о д и н. А зачем заниматься смертной казнью? Какое вам дело до смертной казни? Должно быть, автор книги очень низкого происхождения, если он вздумал досаждать нам этим вопросом.

Г - ж а д е Б л э н в а л ь. Да, да, ужасно неделикатный человек!

Т о л с т ы й г о с п о д и н. Он водит нас по тюрьмам, по каторге, по Бисетру. Сомнительное развлечение. Всем известно, что это клоаки. Но какое до этого дело обществу?

Г - ж а д е Б л э н в а л ь. Законы тоже не дети писали.

Ф и л о с о ф. Ну, все-таки, если изложить факты правдиво...

Т о щ и й г о с п о д и н. Ага! Именно правды тут и не видно. Откуда поэту быть осведомленным в таких делах? Для этого надо по меньшей мере занимать должность королевского прокурора. Вот, к примеру: в одной газете я прочел выдержки из этой книги, там сказано, что приговоренный не произносит ни слова, когда ему читают смертный приговор; а между тем я собственными глазами видел приговоренного, который в эту минуту громко вскрикнул. Какая же это правда?

Ф и л о с о ф. Но позвольте...

Т о щ и й г о с п о д и н. Послушайте, господа, писать о гильотине, о Гревской площади — просто дурной тон. Доказательство налицо: судя по всему, эта книга портит вкусы, не дает читателю чистых, свежих, простодушных радостей. Когда же, наконец, явятся ревнители здоровой литературы? Вот будь я членом Французской академии — к слову сказать, своими обвинительными речами я, пожалуй, и заслужил это право... А вот, кстати, и господин Эргаст, он ведь академик. Интересно узнать его мнение о «Последнем дне приговоренного к смерти».

Э р г а с т. Я, сударь, его не читал и не собираюсь читать. Вчера на обеде у госпожи де Сенанж я слышал, как маркиза де Мориваль беседовала об этой книжке с герцогом де Мелькур. Говорят, там есть выпады против судейского сословия и лично против председателя суда д'Алимона. И целая глава там будто бы направлена против религии, а другая — против монархии. Нет, будь я королевским прокурором...

Ш е в а л ь е. При чем тут прокурор! А хартия? А свобода печати? И все же, согласитесь, это возмутительно, что поэт вздумал отменять смертную казнь. Посмел бы кто-нибудь при прежнем режиме опубликовать книгу против пыток!.. Но после взятия Бастилии все можно писать! Книги — это страшное зло.

Т о л с т ы й г о с п о д и н. Страшное зло. Судите сами: жили люди спокойно, ни о чем не думая. Время от времени где-нибудь во Франции рубили кому-нибудь голову, не больше чем двум в неделю. Все это тихо, без огласки. Никто не роптал. Никого это не волновало. Так нет же, появляется книга, да такая, от которой только головную боль наживешь.

Т о щ и й г о с п о д и н. Ни один присяжный, прочтя ее, не станет выносить смертный приговор!

Э р г а с т. Напрасное смущение умов.

Г - ж а д е Б л э н в а л ь. Ах, книги, книги! Кто бы ждал этого от литературного произведения?

П о э т. Ну, что вы! Иные книги — сущий яд, они прямо способствуют ниспровержению общественного порядка.

Т о щ и й г о с п о д и н. Не говоря уже о языке, в котором господа романтики тоже пытаются произвести переворот.

Поэт. Позвольте, сударь: романтики романтикам рознь.

То щий господин. Во всем царит дурной тон.

Эргаст. Вы правы. Дурной тон.

То щий господин. С этим невозможно спорить.

Философ (*склоняясь над креслом одной из дам*).

О таких вещах не говорят больше даже на улице Муфтар.

Эргаст. Фу! Какая отвратительная книга!

Г-жа де Блэнваль. Стойте, не бросайте ее в огонь. Она из библиотеки.

Шевалье. Вспомните, как было в наше время. Как все испортилось с тех пор — и вкусы и нравы! Вы помните, как было в наше время, госпожа де Блэнваль?

Г-жа де Блэнваль. Нет, сударь, я не помню.

Шевалье. Какой миролюбивый, веселый и остроумный народ были мы, французы! Пышные празднества, грациозные стихи! Прелестная жизнь! Что может быть изящнее, чем мадригал, написанный господином де Лагарпом по случаю большого бала, который супруга маршала де Мальи дала в тысячу семьсот... в год казни Дамьена!

Толстый господин (*со вздохом*). Блаженные времена! Теперь и нравы стали ужасны и книги не лучше того. Вспомните прекрасную строку из Буало:

Упадок искусства идет за падением нравов.

Философ (*тихо поэту*). В этом доме кормят ужином?

Элегический поэт. Да, потерпите немножко.

То щий господин. Подумайте, до чего теперь дошли: задумали отменить смертную казнь и для этого пишут грубые, безнравственные книги, самого дурного тона, вроде этой, как ее: «Последний день приговоренного», что ли?

Толстый господин. Прошу вас, друг мой, прекратим разговор об этой ужасной книге; а кстати, раз мне посчастливилось встретить вас, скажите, что вы собираетесь сделать с тем подсудимым, чью жалобу мы отклонили три недели назад?

То щий господин. Ради бога, пощадите! Я сейчас в отпуску. Дайте мне вздохнуть свободно. Потерпите до моего возвращения. Однако, если там будут тянуть, я напишу своему заместителю...

Лакей (*входя*). Сударыня, кушать подано.

I

Приговорен к смерти!

Пять недель уже живу я с этой мыслью, один на один с ней; она ни на миг не покидает меня, непрестанно гнетет, непрестанно леденит меня!

Когда-то — мне кажется, с тех пор прошли не недели, а годы, — я был человеком, как все люди. На каждый день, на каждый час, на каждую минуту находилась у меня новая мысль. Мой ум, свежий и молодой, был богат выдумками. Он изощрялся, раздвигая их передо мной беспорядочной и бесконечной вереницей, расшивая все новыми узорами грубую и хрупкую ткань жизни. Мелькали там девичьи лица, пышные епископские облачения, выигранные битвы, шумные, горящие огнями театральные залы, и снова девичьи лица и уединенные прогулки в темноте под лапчатыми ветвями каштанов. Пир моего воображения никогда не иссякал. Я мог думать о чем хотел, я был свободен.

Теперь я пленник. Мое тело заковано в кандалы и брошено в темницу, мой разум в плену у одной мысли. Ужасной, жестокой, неумолимой мысли! Я думаю, понимаю, сознаю только одно: приговорен к смерти!

Что бы я ни делал, эта мысль всегда здесь, рядом, точно гнетущий призрак, одна она, лицом к лицу со мной, несчастным, она ревниво гонит прочь все, чем можно отвлечься, и стоит мне отвернуться или закрыть глаза, как

ее ледяные пальцы встряхивают меня. Она проскальзывает во все грезы, в которых мое воображение ищет прибежища от нее, страшным припевом вторит всем обращенным ко мне словам, вместе со мной приникает к ненавистным решеткам темницы; не дает мне покоя наяву, подстерегает мой тревожный сон и тут, во сне, предстает мне под видом ножа.

Вот я проснулся в испуге и подумал: «Слава богу, это только сон!» И что же! Не успел я приподнять тяжелые веки и увидеть подтверждение роковой мысли в окружающей меня ужасной яви, в мокрых и осклизлых плитах пола, в тусклом свете ночника, в грубой ткани надетого на меня балахона, на угрюмом лице стражника, чья лядунка поблескивает сквозь решетку камеры, — как уже мне почудился чей-то шопот над самым моим ухом: — Приговорен к смерти!

II

Это было ясным августовским утром. За три дня до того начался надо мной суд и три дня подряд туча зрителей собиралась каждое утро на приманку моего имени и моего преступления и располагалась на скамьях зала заседаний, точно воронье вокруг трупа; три дня подряд передо мной непрерывно кружил фантастический хоровод судей, свидетелей, защитников, королевских прокуроров, то карикатурный, то кровожадный, но неизменно мрачный и зловещий. Первые две ночи я не мог заснуть от возбуждения и ужаса; на третью заснул от скуки и усталости. Меня увели в полночь, когда присяжные удалились на совещание. Как только я очутился опять на соломе своей темницы, так сразу же уснул глубоким сном, сном забвения. Это был первый отдых за много дней.

Я был погружен в глубочайшие глубины сна, когда пришли меня будить. Топот подбитых гвоздями башмаков тюремщика, бречание связки ключей, пронзительный скрежет засова не разбудили меня, как обычно; проснулся я, только когда надзиратель грубо потряс меня за плечо и грубо крикнул мне в самое ухо: — Да вставай же! — Я открыл глаза и в испуге привскочил на своей подстилке. В этот миг сквозь высокое и узкое оконце

камеры, на потолке коридора, заменявшем мне небо, я увидел желтоватый отблеск — признак солнца для тех, кто привык к тюремным потемкам. Я люблю солнце.

— Погода хорошая, — сказал я тюремщику.

Он сперва не ответил, как будто не решил, стоит ли потратить на меня хоть одно слово; потом пробурчал нехотя:

— Все может быть.

Я не двигался с места, еще не вполне очнувшись, улыбаясь и не спуская глаз с легких золотистых бликов на потолке.

— Хороший денек, — повторил я.

— Да, — ответил он, — вас там дожидаются.

Как паутина пресекает полет мотылька, так эти слова разом вернули меня к действительности. Словно при вспышке молнии я увидел вмиг мрачный зал заседаний, полукруг судейского стола и на нем груды окровавленных лохмотьев, три ряда свидетелей, их тупые лица, двух жандармов на двух концах моей скамьи, увидел, как суетятся черные мантии, как проходит зыбь по головам толпы в темной глубине зала, как буравит меня взгляд двенадцати присяжных, которые бодрствовали, пока я спал.

Я встал; зубы у меня стучали, дрожащие руки не могли нащупать одежду, ноги подкашивались. На первом же шаге я споткнулся, точно носильщик под непосильным грузом. Тем не менее я пошел за тюремщиком.

У порога камеры меня ждали оба жандарма. Мне опять надели наручники. Там был очень хитрый замочек, который долго запирали. Я стоял безучастно — машинку прилаживал к машине.

Мы прошли через внутренний двор. Свежий утренний воздух подбодрил меня. Я поднял голову. Небо было голубое, и жаркие солнечные лучи, пересеченные длинными трубами, как огромные треугольники света ложились поверху высоких и мрачных тюремных стен. Погода в самом деле была хорошая.

Мы поднялись по винтовой лестнице; прошли один коридор, потом второй, третий; потом перед нами раскрылась низкая дверца. Горячий воздух вместе с шумом вырвался оттуда и ударил мне в лицо; это было дыхание толпы в зале заседаний. Я вошел.

При моем появлении лязгнуло оружие, загудели голоса. С грохотом задвигались скамьи; загрохотали загородки; и пока я шел через длинный зал между двумя рядами солдат и толпившимися по обе стороны зрителями, у меня было такое чувство, словно на мне сходятся все нити, которые управляют этими повернутыми в мою сторону лицами с разинутыми ртами.

Только тут я заметил, что кандалов на мне нет; но не мог вспомнить, как и когда их сняли.

Вдруг настала полная тишина. Я дошел до своего места. В тот самый миг, когда улеглась сумятица в зале, улеглась и сумятица в моих мыслях. Я сразу отчетливо понял то, что лишь смутно представлял себе раньше, понял, что настала решительная минута — сейчас мне произнесут приговор.

Как ни странно, но тогда мысль эта не ужаснула меня. Окна были раскрыты, воздух и шум города свободно вливались в них; в зале было светло, как на свадьбе; веселые солнечные лучи чертили тут и там яркие отражения оконных стекол, то вытянутые на полу, то распластанные по столам, то перегнутые по углам стен; от окон, от этих ослепительных прямоугольников, как от огромной призмы, тянулись по воздуху столбы золотистой пыли.

Судьи сидели впереди с довольным видом, верно радовались, что дело близится к концу. На лице председателя, мягко освещенном отблеском оконного стекла, было мирное, доброе выражение; а молодой член суда, теребя свои брыжи, почти что весело болтал с хорошенькой дамой в розовой шляпке, по знакомству сидевшей позади его.

Только присяжные были бледны и хмуры — надо полагать, утомились от бессонной ночи, некоторые зевали. Так не ведут себя люди, только что вынесшие смертный приговор; на лицах этих добродушных обывателей я читал только желание поспать.

Напротив меня окно было распахнуто настежь. Я слышал, как пересмеиваются на набережной продавщицы цветов; а у наружного края подоконника желтенький цветочек тянулся из щели в камне и заигрывал с ветерком, весь пропитанный солнечным светом.

Откуда было взяться мрачной мысли посреди таких ласкающих впечатлений? Упиваясь воздухом и солнцем, я мог думать только о свободе; этот сияющий день зажег во

мне надежду; и я стал ждать приговора так доверчиво, как ждут, чтобы даровали свободу и жизнь.

Между тем явился мой адвокат. Его дожидались. Он только что позавтракал плотно и с аппетитом. Дойдя до своего места, он с улыбкой наклонился ко мне.

— Я надеюсь, — сказал он.

— Правда? — спросил я беспечно и тоже улыбнулся.

— Ну да, — подтвердил он, — их заключения я еще не знаю, но они, несомненно, отвергнут преднамеренность и поэтому можно рассчитывать на пожизненную каторгу.

— Что вы говорите, сударь! — возмутился я. — Тогда уж во сто крат лучше смерть!

Да, смерть! Кстати, я ничем не рискую, говоря так, — нашептывал мне внутренний голос. — Ведь смертный приговор непременно должны выносить в полночь, при свете факелов, в темном мрачном зале, холодной дождливой зимней ночью. А в ясное августовское утро, да при таких славных присяжных это невозможно! И я снова стал смотреть на желтенький цветочек, освещенный солнцем.

Но тут председатель, поджидавший только адвоката, приказал мне встать. Солдаты взяли на караул; словно электрический ток прошел по залу — все поднялись как один. Невзрачный плуговатый человечек, сидевший за столом пониже судейского стола, очевидно секретарь, стал читать приговор, вынесенный присяжными в мое отсутствие. Холодный пот выступил у меня по всему телу; я прислонился к стене, чтобы не упасть.

— Защитник, имеете ли вы что-либо возразить против применения наказания? — спросил председатель.

Я-то мог бы возразить против всего, только не находил слов. Язык прилип у меня к гортани.

Защитник встал. Я понял, что он старается смягчить заключение присяжных и подменить вытекающую из него кару другой, той, о которой он мне говорил только что, а я даже слушать не захотел.

Как же сильно было мое возмущение, если оно пробилося сквозь все противоречивые чувства, волновавшие меня! Я хотел вслух повторить то, что раньше сказал защитнику: во сто крат лучше смерть! Но у меня перехватило дыхание, я только дернул адвоката за рукав и судорожно выкрикнул: — Нет!

Прокурор оспаривал доводы адвоката, и я слушал его с глупым удовлетворением. Потом судьи удалились, а когда вернулись, председатель прочитал мне приговор.

— Приговорен к смерти! — повторила толпа; и когда меня повели прочь, все эти люди ринулись мне вслед с грохотом рушащегося здания. Я шел как пьяный, как оглушенный. Во мне произошел полный переворот. До смертного приговора я ощущал биение жизни, как все, дышал одним воздухом со всеми; теперь же я явственно почувствовал, что между мной и остальным миром выросла стена. Все казалось мне не таким, как прежде. Широкие залитые светом окна, чудесное солнце, безоблачное небо, трогательный желтый цветочек — все поблекло, сделалось белым, как саван. И эти люди, мужчины, женщины, дети, теснившиеся на моем пути, стали похожи на привидения.

Внизу у подъезда меня ждала черная, замызганная карета с решетками. Прежде чем сесть в нее, я окинул площадь беглым взглядом.

— Смотрите! Приговоренный к смерти! — кричали прохожие, сбегаясь к карете. Сквозь пелену, словно вставшую между мной и миром, я различил двух девушек, впившихся в меня жадными глазами. — Отлично, — воскликнула та, что помоложе, и захлопала в ладоши, — это будет через шесть недель!

III

Приговорен к смерти!

Ну, что тут такого? «Все люди, — помнится, прочел я в какой-то книге, где больше ничего не было примечательного, — все люди приговорены к смерти с отсрочкой на неопределенное время». Значит, ничего особенно не изменилось в моем положении. С той минуты, как мне прочли приговор, сколько умерло людей, располагавших прожить долгую жизнь! Сколько опередило меня молодых, свободных, здоровых, собиравшихся в урочный день посмотреть, как мне отрубят голову на Гревской площади! И сколько еще таких, которые гуляют, дышат свежим воздухом, уходят и приходят когда им вздумается и все же, может быть, опередают меня!

А потом, о чем особенно жалеть мне в жизни? В самом деле, полумрак и черный хлеб темницы, ковшик жидкой

похлебки из арестантского котла, грубость обращения для меня, приученного к изысканной вежливости, ругань тюремщиков и надсмотрщиков, ни единого человека, с которым я бы мог перемолвиться словом, непрерывная боязнь за то, что я сделал и что за это сделают со мной: вот почти единственные блага, которые может отнять у меня палач.

Нет! Все равно, это ужасно!

IV

Черная карета доставила меня сюда, в этот гнусный Бисетр.

На расстоянии он имеет довольно величественный вид. Расположено все здание по гребню холма, и когда оно высится вдалеке, на горизонте, в нем еще чувствуется что-то от горделивой пышности королевского замка. Но чем ближе, тем явственнее дворец превращается в лачугу. Выщербленные кровли оскорбляют глаз. На царственном фасаде лежит клеймо постыдного упадка; стены словно разъедены проказой. В окнах не осталось ни зеркальных, ни простых стекол; они забраны толстыми железными решетками, к переплетам которых то тут, то там льнет испитое лицо каторжника или умалишенного.

Такова жизнь, когда видишь ее вблизи.

V

Сейчас же по приезде я попал в железные тиски. Были приняты чрезвычайные меры предосторожности; за едой мне не полагалось ни ножа, ни вилки. На меня надели «смирительную рубашку», нечто вроде мешка из парусины, стеснявшего движения рук; тюремные надзиратели отвечали за мою жизнь. Я подал кассационную жалобу. Значит, им предстояло промучиться со мной недель шесть-семь, чтобы целым и невредимым сохранить меня до Гревской площади.

Первые дни мне выказывали особую предупредительность, нестерпимую для меня. Забота тюремщика отдает

эшафотом. По счастью, через несколько дней давние навыки взяли верх: со мной начали обращаться так же грубо, как с остальными арестантами, перестав выделять меня и отбросив непривычную вежливость, поминутно напоминая мне о палаче. Положение мое улучшилось не только в этом. Моя молодость, покорность, заступничество тюремного священника, а главное, несколько слов по-латыни, сказанных мною привратнику и не понятых им, возымели свое действие: меня стали раз в неделю выпускать на прогулку вместе с другими заключенными и избавили от смиренной рубахи, сковывавшей меня. Кроме того, после долгих колебаний, мне разрешили иметь чернила, бумагу, перья и пользоваться ночником.

Каждое воскресенье после обедни, в назначенный для прогулки час, меня выводят на тюремный двор. Там я разговариваю с заключенными. Иначе нельзя. К тому же эти горемыки — славные малые. Они рассказывают мне свои проделки, от которых можно прийти в ужас, но я знаю, что они просто бахвалятся. Они учат меня говорить на воровском жаргоне, «колотить в колотушку», по их выражению. Это самый настоящий язык, выросший на общенародном языке точно отвратительный лишай или бородавка. Иногда он достигает своеобразной выразительности, живописности, от которой берет жуть: «На подносе пролит сок» (кровь на дороге), «жениться на вдове» (быть повешенным), как будто веревка на виселице — вдова всех повешенных. Для головы вора имеется два названия: «сорбонна», когда она замышляет, обдумывает и подсказывает преступление, и «чурка», когда палач отрубает ее; иногда в этом языке обнаруживается игривый пошиб: «ивовая шаль» — корзина старьевщика, «врун» — язык; но чаще всего, на каждом шагу, попадаются непонятные, загадочные, безобразные, омерзительные слова, неведомо откуда взявшиеся: «кат» — палач, «лузка» — смерть. Что ни слово — то будто паук или жаба. Когда слушаешь, как говорят на этом языке, кажется, будто перед тобой вытряхивают грязное и пыльное тряпье.

И все-таки эти люди — единственные, кто жалеет меня. Надзиратели, сторожа, привратники, те говорят, и смеются, и рассказывают обо мне при мне, как о неодушевленном предмете, и я на них не обижаюсь.

Я решил так:

Раз у меня есть возможность писать, почему мне не воспользоваться ею? Но о чем писать? Я замурован в четырех голых холодных каменных стенах; я лишен права передвигаться и видеть внешний мир, все мое развлечение — целый день безотчетно следить, как медленно перемещается по темной стене коридора белесый прямоугольник — отблеск глазка в моей двери; и при этом, повторяю, я все время один на один с единственной мыслью, с мыслью о преступлении и наказании, об убийстве и смерти! Что же после этого я могу сказать, когда мне и делать-то больше нечего на свете? Что достойного быть записанным могу я выжать из своего иссушенного, опустошенного мозга?

Ну, что ж! Пусть вокруг меня все однообразно и серо, зато во мне самом бушует буря, кипит борьба, разыгрывается трагедия. А неотступно преследующая меня мысль каждый час, каждый миг является мне в новом обличье, с каждым разом все страшней и кровожадней по мере приближения назначенного дня. Почему бы мне в моем одиночестве не рассказать себе самому обо всем том жестоком и неизведанном, что терзает меня? Материал, без сомнения, богатый; и как ни короток срок моей жизни, в ней столько еще будет смертной тоски, страха и муки от нынешнего и до последнего часа, что успеет исписаться перо и иссякнут чернила. Кстати, единственное средство меньше страдать — это наблюдать собственные муки и отвлекаться, описывая их.

А затем то, что я тут запишу, может оказаться бесполезным. Дневник моих страданий из часа в час, от минуты к минуте, от пытки к пытке, если только я найду в себе сил довести его до того мгновения, когда мне будет *физически* невозможно продолжать, эта повесть, неизбежно неоконченная, но исчерпывающая до предела, мне кажется, послужит большим и серьезным уроком. Сколько поучительного для тех, кто выносит приговор, будет в этом отчете о смертном томлении человеческого разума, в этом непрерывном нарастании мучений, в этом, так сказать, духовном вскрытии приговоренного. Быть может, прочтя мои записки, они с меньшей легкостью решатся в следующий раз бросить на так называемые весы правосу-

дия голову мыслящего существа, человеческую голову? Быть может, они, бедняги, ни разу не задумались над тем, какой длительный ряд пыток заключен в краткой формуле смертного приговора. Хотя на миг случалось ли им вникнуть в несказанный ужас той мысли, что у человека, которого они обезглавливают, есть разум; разум, стремившийся жить, и душа, не желавшая умирать? Нет. Они во всем этом видят только падение по отвесу треугольного ножа и не сомневаются, что для приговоренного ничего нет ни до того, ни после. Эти строки доказывают противное. Если когда-нибудь их напечатают, они хоть в малой доле помогут осознать муки сознания — ибо о них-то судьи и не подозревают. Судьи гордятся тем, что умеют убивать, не причиняя телесных страданий. Это еще далеко не все. Как ничтожна боль физическая по сравнению с душевной болью! И как жалки, как позорны такого рода законы! Настанет день, когда, быть может, эти листки, последние поверенные несчастного страдальца, окажут свое воздействие... А то, может статься, после моей смерти ветер развеет по тюремному двору эти вываленные в грязи клочки бумаги, или привратник заклеит ими треснувшее окно сторожки и они сгниют на дожде.

VII

Пусть то, что я пишу, когда-нибудь принесет пользу другим, пусть остановит судью, готового осудить, пусть спасет других страдальцев, виновных или безвинных, от смертной муки, на которую обречен я, — к чему это, зачем? Какое мне дело? Когда падет моя голова, не все ли мне равно, будут ли рубить головы другим.

Как мог я додуматься до такой нелепости? Уничтожить эшафот после того, как сам я взойду на него, — скажите на милость, мне-то какая от этого корысть! Как! Солнце, весна, усеянные цветами луга, птицы, пробуждающиеся по утрам, облака, деревья, природа, воля, жизнь — все это уже не для меня! Нет! Меня надо спасти, меня! Неужели же это непоправимо, и мне придется умереть завтра или даже сегодня, неужели исхода нет? Господи! От этой мысли можно голову себе размозжить о стену камеры!

Подсчитаем, сколько мне осталось жить!

Три дня после вынесения приговора на подачу кассационной жалобы.

Неделя на то, чтобы так называемые судопроизводственные акты провалялись в канцелярии суда, прежде чем их направят министру.

Две недели они пролежат у министра, который даже не будет знать об их существовании, однакоже предполагается, что по рассмотрении он передаст их в кассационный суд.

Там их рассортируют, зарегистрируют, пронумеруют; спрос на гильотину большой и раньше своей очереди никак не попадешь.

Две недели на проверку, чтобы в отношении вас не был нарушен закон.

Наконец кассационный суд собирается обычно по четвергам, оптом отклоняет до двадцати жалоб и отправляет их министру, министр в свою очередь отправляет их генеральному прокурору, а тот уже отправляет их палачу. На это уходит три дня.

На четвертый день помощник прокурора, повязывая утром галстук, спохватывается: «Надо же закончить это дело». И тут, если только помощник секретаря не приглашен приятелями на завтрак, приказ о приведении приговора в исполнение набрасывают начерно, проверяют, перебегают, отправляют, и назавтра на Гревской площади с раннего утра раздается стук топоров, сколачивающих помост, а на перекрестках во весь голос кричат осипшие глашатаи.

В общем шесть недель. Та девушка верно сказала.

А сижу я здесь, в Бисетре, уже пять, если не все шесть недель — боюсь подсчитать, — и мне кажется, что три дня назад был четверг.

IX

Я написал завещание.

Зачем, собственно? Меня присудили к уплате судебных издержек, и все мое достояние едва покрывает их. Гильотина — это большой расход.

После меня останется мать, останется жена, останется ребенок.

Трехлетняя девочка, прелестная, нежненькая, розовая, с большими черными глазами и длинными каштановыми кудрями.

Когда я ее видел в последний раз, ей было два года и один месяц.

Итак, когда я умру, три женщины лишатся сына, мужа, отца; осиротеют, каждая по-своему, овдовеют волею закона.

Допустим, я наказан по справедливости; но они-то, они, невинные, ничего не сделали. Все равно; они будут опозорены, разорены. Таково правосудие.

У меня болит душа не о старушке матери; ей шестьдесят четыре года, она не переживет удара. А если и протянет несколько дней, так ей было бы только немножко горячее золы в ножной грелке, она все примет безропотно.

Не болит у меня душа и о жене; у нее и так подорвано здоровье и расстроен ум. Она тоже скоро умрет, если только окончательно не лишится рассудка. Говорят, сумасшедшие долго живут; но тогда они хоть не страдают сознательно. Сознание у них спит, оно словно умерло.

Но моя дочка, мое дитя, бедная моя крошка Мари сейчас играет, смеется, поет, ничего не подозревая, и о ней-то у меня надывается душа!

Х

Вот подробное описание моей камеры:

Восемь квадратных футов. Четыре стены из каменных плит, под прямым углом сходящихся с плитами пола, который на ступеньку поднят над наружным коридором. Когдаходишь, направо от двери нечто вроде ниши — пародия на альков. Там брошена охапка соломы, на которой полагается отдыхать и спать узнику, летом и зимой одетому в холщовые штаны и тиковую куртку.

Над головой у меня — вместо балдахина — черный, так называемый стрельчатый свод, с которого лохмотьями свисает паутина.

Во всей камере ни окна, ни отдушины. Только дверь, где дерево сплошь закрыто железом.

Впрочем, я ошибся: посреди двери, ближе к потолку, проделано отверстие в девять квадратных дюймов с

железными прутьями крест-накрест; на ночь сторож, при желании, может закрыть его. Камера выходит в довольно длинный коридор, который освещается и проветривается через узкие окошечки под потолком; весь этот коридор разгорожен каменными переборками на отдельные помещения, сообщающиеся между собой через низенькие сводчатые дверцы и служащие чем-то вроде прихожих перед одиночными камерами, подобными моей. В такие камеры сажают каторжников, присужденных смотрителем тюрьмы к дисциплинарным взысканиям. Первые три камеры отведены для приговоренных к смерти, потому что они ближе к квартире смотрителя, что облегчает ему надзор.

Только эти камеры сохранились в нетронутom виде от старого бисетрского замка, построенного в XV веке кардиналом Винчестерским, тем самым, что послал на костер Жанну д'Арк. Об этом я узнал из разговоров «любопытствующих», которые на-днях приходили сюда и смотрели на меня издали, как на зверя в клетке. Надзиратель получил пять франков за то, что пустил их.

Забыл сказать, что у двери моей камеры днем и ночью стоит караульный, и когда бы я ни поднял глаза на квадратное отверстие в двери, они встречаются с его глазами, неотступно следящими за мной.

Однакоже считается, что в этом каменном мешке достаточно воздуха и света.

Л

Пока до рассвета еще далеко, на что убить ночь? Мне пришла в голову одна мысль. Я встал и принялся водить ночником по стенам камеры. Все четыре стены испещрены надписями, рисунками, непонятными изображениями, именами, которые переплетаются между собой и заслоняют друг друга. Должно быть, каждому приговоренному хотелось оставить по себе след, хотя бы здесь. Тут и карандаш, и мел, и уголь, черные, белые, серые буквы; часто попадаются глубокие зарубки в камне, кое-где буквы побурели, как будто их выводили кровью. Если бы я не был поглощен одной думой, меня, конечно, заинтересовала бы эта своеобразная книга, страница за страницей раскрывающаяся перед моим взором на каждом камне каземата.

Мне любопытно было бы соединить в целое обрывки мыслей, разбросанных по плитам; из каждого имени воссоздать человека; вернуть смысл и жизнь этим исковерканным надписям, разорванным фразам, отсеченным словам, обрубкам без головы, подобным тем, кто их писал.

Над моим изголовьем изображены два пламенеющих сердца, пронзенных стрелой, а сверху надпись: «Любовь до гробовой доски». Бедняга брал на себя обязательство не на долгий срок.

Рядом неумело нарисована маленькая фигурка в подобии треуголки, а под ней написано: «Да здравствует император! 1824».

Потом опять пламенеющие сердца с надписью, типической для тюрьмы: «Люблю, боготворю Матье Данвена. Жак».

На противоположной стене фамилия: «Папавуан». Главное «П» разукрашено всякими завитушками.

Куплет непристойной песенки. Фригийский колпак, довольно глубоко врезаемый в камень, а под ним: «Бориес. Республика». Так звали одного из четверых ларошельских сержантов. Бедный юноша! Какой ужас эта пресловутая политическая необходимость! За идею, за фантазию, за нечто отвлеченное — жестокая действительность, именуемая гильотиной! Как же жаловаться мне, окаянному, когда я совершил настоящее преступление, пролил кровь! Нет, больше не буду заниматься изысканиями. Я только что увидел сделанный мелом рисунок, от которого мне стало страшно, — рисунок изображал эшафот, быть может именно сейчас воздвигающийся для меня. Ночник едва не выпал у меня из рук.

ХИ

Я бросился на свое соломенное ложе, уткнулся головой в колени. Но мало-помалу детский мой ужас прошел и болезненное любопытство побудило меня продолжать чтение этой стенной летописи.

Возле имени Папавуана я смахнул густую, облепленную пылью паутину, затянувшую весь угол. Под этой паутиной обнаружилось много имен, но от большинства из них на стене остались одни пятна, только четыре или пять

можно было прочесть без труда. «Дотэн, 1815. — Пулэн, 1818. — Жан Мартен, 1821. — Кастэнь, 1823». Жуткие воспоминания связаны с этими именами: Дотэн — имя того, кто разрубил на части родного брата, а потом ночью блуждал по Парижу и бросил голову в водоем, а туловище — в сточную канаву. Пулэн убил жену; Жан Мартен застрелил старика отца, когда тот открывал окно; Кастэнь — тот самый врач, что отравил своего друга и под видом лечения подбавлял ему отравы; и рядом с этими четырьмя — страшный безумец Папавуан, убивавший детей ударом ножа по черепу. Вот какие у меня были здесь предшественники, содрогаясь всем телом, подумал я. Стоя тут, где стою я, эти кровожадные убийцы додумывали свои последние думы! В тесном пространстве под этой стеной они как дикие звери метались в последние часы! Промежутки между их пребыванием были очень короткие; повидимому, этой камере не суждено пустовать. По их непростывшему следу сюда явился я. И я в свой черед последую за ними на Клармарское кладбище, где растет такая высокая трава!

Я человек несуетливый и не фантазер. Возможно, что такие мысли довели меня до лихорадки, только в то время как я был поглощен ими, мне вдруг почудилось, что роковые имена выведены на темной стене огненными буквами. В ушах зазвенело, глаза заволокло кровавым маревом и вслед за тем мне померещилось, что камера полна людей, странных людей, которые держат собственную голову в левой руке, поддев ее за губу, потому что волос ни у кого нет. И все грозят мне кулаком, кроме отцеубийцы. Я в ужасе зажмурился, но от этого все стало еще явственнее.

Не знаю, был ли то сон, фантазия или действительность, но я, несомненно, сошел бы с ума, если бы меня во-время не отрезвило какое-то непонятное ощущение. Я уже близок был к обмороку, как вдруг почувствовал у себя на голой ноге ползущие мохнатые лапы и холодное брюшко — потревоженный мною паук удирает прочь. Это окончательно отрезвило меня. Ах, какие страшные призраки! Но нет, то был просто дурман, порождение моего опустошенного, исстрадавшегося мозга. Химера в духе Макбета! Мертвые мертвы, эти же тем более. Они накрепко замурованы в могиле, в тюрьме, из которой не убежишь. Как же я мог так испугаться? Двери гроба не открываются изнутри.

На-днях я видел омерзительное зрелище.

Не успело еще рассвести, как тюрьма наполнилась шумом. Хлопали тяжелые двери, скрежетали засовы, щелкали висячие замки, звякали связки ключей у пояса надзирателей, сверху донизу сотрясались лестницы под торопливыми шагами и голоса перекликались по длинным коридорам из конца в конец. Соседи мои по каземату, отбывавшие наказание, были веселее обычного. Казалось, весь Бисетр смеется, поет, суетится, пляшет.

Я один, безмолвный посреди общего гама, недвижимый среди общей беготни, я внимательно и удивленно прислушивался.

Мимо прошел надзиратель. Я решился окликнуть его и спросить, не праздник ли сегодня в тюрьме.

— Пожалуй, что и праздник! — отвечал он. — Сегодня будут надевать кандалы на каторжников, которых завтра отправляют в Тулон. Хотите поглядеть? Малость развлечетесь.

В самом деле, одинокий узник рад любому зрелищу, даже самому отталкивающему. Я согласился. Приняв, как полагается, меры, исключающие возможность побега, надзиратель отвел меня в маленькую пустую камеру безо всякой мебели с забранным решеткой окном, но с окном настоящим, из которого было видно небо.

— Ну, вот, — сказал надзиратель, — отсюда все видно и слышно. Тут вы будете как король в своей ложе.

Уходя, он запер меня на ключ, на засов и на замок.

Окно выходило на обширный квадратный двор, со всех четырех сторон, точно стеной, огороженный огромным каменным зданием в семь этажей. Какое безрадостное зрелище представлял собой этот обветшавший, голый четырехсторонний фасад, с множеством забранных решетками окон, к которым из этажа в этаж прижимались испитые, мертвенно бледные лица, одно над другим, словно камни в стене, и каждому служили своего рода рамкой железные переплеты решетки. Это были заключенные, зрители той церемонии, участниками которой они станут рано или поздно. Так, должно быть, души грешников льнут к окошкам чистилища, выходящим в ад

Все молча смотрели во двор — пока еще безлюдный. Все ждали. Среди хмурых лиц и тусклых взглядов изредка попадались зоркие, живые, горящие, как уголь, глаза.

Прямоугольник тюремных строений, окружающий двор, замкнут не со всех сторон. В одном его крыле (в том, что обращено на восток) есть посередине проем, загороженный железной решеткой. За решеткой находится второй двор, поменьше первого, но тоже обнесенный стенами с потемневшими вышками.

Вокруг всего главного двора, вдоль стен тянутся каменные скамьи. А посередине врыт железный столб, с изогнутым в виде крюка концом, на который полагается вешать фонарь.

Пробило полдень. Большие ворота, скрытые под сводом, внезапно распахнулись. Громокая железом, во двор грузно вкатилась телега под конвоем неопрятных, подозрительного вида солдат в синих мундирах с красными погонами и желтыми перевязями. Это стража привезла кандалы. Грохот телеги сразу же вызвал ответный шум во всей тюрьме; зрители, до той минуты молча и неподвижно стоявшие у окон, разразились улюлюканьем, угрозами, ругательствами, все это вперемежку с куплетами каких-то песенок и взрывами хохота, от которого щемило сердце. Вместо лиц — дьявольские хари. Рты перекосились, глаза засверкали, каждый грозил из-за решетки кулаком, каждый что-то вопил. Я был потрясен, увидев, сколько непогасших искр таится под пеплом.

Тем временем полицейские, среди которых затесалось несколько зевак из Парижа, приметных по опрятному платью и испуганному виду, невозмутимо принялись за дело. Один из них взобрался на телегу и стал швырять остальным цепи, шейные кольца для дороги и кипы холщовых штанов. Затем они поделили работу: одни раскладывали на дальнем конце двора длинные цепи, называя их на своем жаргоне «бечевками», другие разворачивали прямо на земле «шелка», иначе говоря штаны и рубахи; а наиболее опытные, под надзором своего начальника, приземистого старикашки, проверяли железные ошейники, испытывали их прочность, выбивая ими искры из каменных плит. Язвительные возгласы заключенных перекрывал при этом громкий смех каторжников, для которых все

это готовилось и которые сгрудились у окон старой тюрьмы, выходящей на малый двор.

Когда приготовления были закончены, господин в расшитом серебром мундире, которого величали «господин инспектор», отдал какое-то распоряжение смотрителю тюрьмы; не прошло и минуты, как из двух или трех низеньких дверей одновременно во двор с воем хлынула орава ужасающих оборванцев. При их появлении улюлюканье из окон стало еще громче. Некоторых из них — прославленных представителей каторги — встречали приветственными криками и рукоплесканиями, а они принимали это как должное, с горделивым достоинством. Многие из каторжников нарядились в самодельные, сплетенные из тюремной соломы шляпы необычайной формы, чтобы, проезжая через города, шляпами привлекать внимание к головам. Обладатели шляп снискали еще большее одобрение. Особенный взрыв восторга вызвал юноша лет семнадцати с девическим лицом. Он только что отсидел неделю в карцере и там сплел себе из соломенной подстилки полный костюм; во двор он вкатился колесом, показав змеиную гибкость. Это был уличный гимнаст, осужденный за кражу. Его приветствовали бурей рукоплесканий и восторженных криков. Каторжники отвечали такими же криками, и от этого обмена любезностями между каторжниками настоящими и каторжниками будущими вчуже становилось страшно.

Хотя общество и присутствовало здесь в лице тюремных надзирателей и перепуганных зевак, преступные отщепенцы нагло бросали ему вызов, превращая жестокое наказание в семейный праздник.

По мере появления осужденных, их гнали через два ряда стражников во второй двор, где им предстоял врачебный осмотр. И тут каждый делал последнюю попытку избежать отправки на каторгу, ссылаясь на какой-нибудь изъян в здоровье: на больные глаза, на хромоту, на повреждение руки. Но почти во всех случаях их признавали годными для каторжных работ; и каждый беспечно покорялся, мигом забывая о мнимом недуге, от которого якобы страдал всю жизнь.

Решетчатые ворота в малый двор распахнулись снова; один из стражников начал выкликать имена в алфавитном порядке; и каторжники выходили один за другим и

каждый становился в дальнем углу большого двора рядом с тем, кого судьба назначила ему в товарищи только потому, что их фамилии начинаются с одной буквы. Таким образом, каждый предоставлен самому себе; каждый обречен нести свою цепь бок о бок с чужим человеком; и если судьба даровала каторжнику друга — цепь их разлучит. Это предел невзгод!

Когда набралось человек тридцать, ворота закрыли. Полицейский выравнивал весь ряд палкой и бросил перед каждым рубаху, куртку и штаны из грубой холстины, после чего, по его знаку, все начали раздеваться. По непредвиденной случайности это унижение превратилось в пытку.

До той минуты погода была сносная; правда, резкий октябрьский ветер нагонял холод, однако он же время от времени разрывал серую пелену туч, и сквозь просвет проглядывало солнце. Но едва только каторжники сбросили тюремное тряпье и предстали голыми перед бдительным оком надзирателей и любопытствующими взглядами посторонних, которые осматривали их со всех сторон и особенно интересовались плечами, небо внезапно потемнело и хлынул холодный осенний дождь, заливая потоками воды прямоугольник двора, непокрытые головы и обнаженные тела каторжников и их убогую одежду, разостланную на земле.

В один миг на тюремном дворе не осталось никого, кроме осужденных и стражников. Парижские зеваки спрятались под навесами над дверьми.

А ливень не унимался. На залитых водой плитах двора стояли теперь только голые, вымокшие до костей каторжники. Угрюмое молчание сменило шумный задор. Несчастные дрожали, у них зуб на зуб не попадал, их костлявые ноги и узловатые колени стукались друг о дружку; мучительно было смотреть, как они пытались прикрыть свои посиневшие тела насквозь мокрыми рубахами, куртками и штанами. Нагота была бы менее жалка.

Только один старик пытался еще зубоскалить. Утираясь промокшей рубахой, он заявил, что «это не входило в программу», потом громко расхохотался и погрозил кулаком небу.

Когда они оделись в дорожное платье, их разбили на группы в двадцать — тридцать человек и повели на

другой конец двора, где оковы уже лежали наготове. Оковы представляют собой длинную и крепкую цепь, к которой через промежутки в два фута припаяны другие поперечные цепи, покороче, заканчивающиеся четырехугольным железным ошейником; открывается ошейник с помощью шарнира, находящегося в одном его углу, запирается в противоположном углу железным болтом, который заклепывают на шее каторжника на все время пути.

Разостланные на земле оковы очень напоминают рыбий скелет.

Каторжников заставили сесть прямо в грязь на залитые водой плиты и примерили им ошейники; потом два тюремных кузнеца, вооруженных переносными наковальнями, закрепили болты холодной клепкой, изо всей силы колотя по ним железным брусом. Это страшное испытание, от которого бледнеют самые отважные. При каждом ударе молота по наковальне, прижатой к спине мученика, у него отчаянно дергается подбородок: стоит ему чуть отклонить голову, и череп его расколется точно ореховая скорлупа.

После этой операции все пали духом. Теперь слышалось только звяканье цепей да временами чей-то крик и глухой удар палкой по спине непокорного. Некоторые плакали: старики дрожали всем телом и кусали губы. Я с содроганием смотрел на страшные профили в железной оправе.

Итак, после врачебного осмотра — осмотр тюремщиками, а после этого — заковка в цепи. Три действия трагедии.

Выглянуло солнце и как будто зажгло ореол вокруг голов арестантов. Все прикованные к пяти цепям поднялись сразу, одним судорожным движением. И все взялись за руки, так что вокруг фонарного столба вдруг сомкнулся огромный хоровод. Они кружились так, что рябило в глазах. И при этом пели песню каторжников, воровской романс, и напев был то жалобный, то бесшабашно-веселый; время от времени слышались взвизгивания, отрывистый, хриплый хохот вперемежку с загадочными словами; потом вдруг поднимался яростный крик; и размеренно звякавшие цепи вторили этому пению, режущему слух сильнее, чем лязг железа. Если бы я задумал описать шабаш, то изобразил бы его именно таким — не лучше и не хуже.

Во двор внесли огромный чан. Стражники палками разогнали хоровод и повели арестантов к этому чану, где какая-то зелень плавала в дымящейся грязной жидкости. Они принялись за еду.

Поев, они выплеснули на землю остатки похлебки, бросили корки пеклеванного хлеба и возобновили пение и пляску. Говорят, им разрешают петь и плясать весь день и всю ночь, после того как их закуют в кандалы.

Я наблюдал это необычайное зрелище с таким жадным, с таким трепетным и страстным интересом, что даже забыл о себе. Мне до глубины души было жаль их, а когда они смеялись, мне хотелось плакать.

И вдруг, сквозь глубокую задумчивость, овладевшую мной, я заметил, что орущий хоровод остановился и замолчал. Все взгляды обратились к моему окну... — Смертник! Смертник! — хором завопили все, указывая на меня пальцами, и радостный рев поднялся с удвоенной силой.

Я замер на месте. Не имею понятия, откуда они знали меня и как они могли меня узнать.

— Добрый день! Добрый вечер! — глумливо кричали они мне. Один из них, совсем молодой парнишка с потным, прыщавым лицом, приговоренный к пожизненной каторге, с завистью посмотрел на меня и сказал:

— Хорошо ему! Чик и готово! Прощай, товарищ!

Невозможно описать, что происходило во мне. В самом деле — я их товарищ. Гревская площадь сродни Тулону. Вернее, я ниже их: они снисходят до меня. Я содрогнулся.

Да, их товарищ! Через несколько дней я сам мог бы доставить им такое же зрелище.

Я застыл у окна, без сил, без движения, как парализованный. Но когда все пять цепей надвинулись, ринулись на меня с возгласами непрощенного, ненавистного мне дружелюбия, когда лязг кандалов и топот слышались под самым моим окном, мне показалось, что эта стая бесов сейчас взберется сюда, в мою беззащитную каморку, и я с отчаянным криком бросился к двери, стал изо всех сил трясти ее, но дверь не поддавалась. Засовы были задвинуты снаружи. Я стучал, я звал на помощь. А тем временем страшные вопли каторжников еще как будто приблизились. Мне почудилось, что их дьявольские рожи уже заглядывают в мое окно, я вскрикнул еще раз и упал без чувств.

Когда я очнулся, было темно. Я лежал на какой-то убогой койке; мерцавший под потолком фонарь освещал другие койки, стоявшие в ряд по обе стороны от моей. Я понял, что меня перенесли в лазарет.

Несколько мгновений я лежал с открытыми глазами, но ни о чем не думал и не вспоминал, только наслаждался тем, что нахожусь в постели. Конечно, в былое время я бы с омерзением и обидой отшатнулся от такой больничной, тюремной постели; но теперь я стал другим человеком. Простыни были сероватые и шершавые, одеяло дырявое и тощее; сквозь жидкую ткань тюфяка выпирала солома, — все равно! Тело мое отдыхало и нежилось на грубых простынях, а как ни тонко было одеяло, под ним впервые за долгое время я перестал ощущать нестерпимый пронизывающий холод. Я снова уснул.

Разбудил меня сильный шум; только что начало светать. Шум доносился со двора; койка моя стояла у окна, я привстал посмотреть, что случилось.

Окно выходило на большой тюремный двор. Двор был полон народа; выстроившаяся в два ряда инвалидная команда с трудом сдерживала напор толпы, чтобы освободить узкий проезд через весь двор. Между шпалерами солдат медленно двигались, трясаясь на булыжниках, пять длинных телег, набитых людьми, — это увозили каторжников.

Телеги были без навеса. На каждую цепь приходилось по телеге. Каторжники сидели боком, по обоим ее бортам, прислонясь друг к другу, их разделяла общая цепь, которая тянулась во всю длину телеги, а на конце стоял вооруженный стражник. Звякали кандалы, при каждом толчке дергались головы и мотались свисавшие ноги.

Мелкий ледяной дождь пронизывал людей насквозь, холщовые штаны из бурых стали черными и прилипли к коленям. С длинных бород и обритых голов стекала вода; лица посинели; видно было, что несчастные дрожат и скрипят зубами от ярости и холода. При этом они были лишены возможности даже пошевелиться. После того как человека закуют, он становится частью страшного механизма, именуемого общей цепью, где все двигаются как один. Разумное начало теряет право существовать, железный ошейник обрекает его на смерть; остается животное,

которому разрешено утолять свои потребности и нужды только в определенные часы. Так, сидя без движения, беспомощно свесив ноги, полуголые люди с непокрытыми головами начинали двадцатипятидневное путешествие на тех же телегах и в той же одежде, как в июльский зной, так равно и в ноябрьское ненастье. Человечество как будто стремится, чтобы небо разделяло с ним карательные функции.

Между толпой и сидевшими в телегах шел своеобразный диалог: поношения с одной стороны, похвальбы с другой и ругань с обеих сторон; но начальник конвоя сделал знак, и палочные удары без разбора посыпались на всех, кто сидел в телегах, на их головы и плечи, и вскоре та видимость спокойствия, которая именуется *порядком*, была восстановлена. Однако в глазах несчастных отщепенцев горела жажда мести, а лежавшие на коленях кулаки яростно сжимались.

Пять телег, конвоируемых пешими стражниками и конными жандармами, одна за другой скрылись под высоким сводом тюремных ворот; за ними последовала еще одна, шестая, на которой были попеременно свалены котлы, миски и запасные цепи. Несколько запоздавших стражников выбежали из харчевни и бросились догонять свой отряд. Толпа рассеялась. Все сразу исчезло, как фантастическое видение. В воздухе постепенно растаял грохот колес и стук копыт по мощеной дороге на Фонтенбло, щелканье бичей, бряцание кандалов и рев толпы, желавшей каторжникам несчастливому пути.

И это для них только начало! О чем толковал мне адвокат? О галерах! Нет, нет, во сто крат лучше смерти! Лучше эшафот, чем неволя, лучше небытие, чем ад; лучше подставить шею под нож Гильотена, чем под железное ярмо каторги. Боже правый, только не галеры!

XV

К несчастью, я не был болен. На другой день меня взяли из лазарета и снова заперли в темнице.

Не болен! Нет, я молод, здоров и силен. Кровь свободно течет у меня в жилах; все мышцы повинуются всем моим прихотям; я крепок духом и телом, создан для дол-

гой жизни; все это несомненно; и тем не менее я болен, смертельно болен, и болезнь моя — дело рук человеческих.

С тех пор как я вышел из лазарета, меня терзает, сводит с ума одна мысль, безумная мысль, что я мог бы бежать, если бы меня оставили там. И врачи и сестры милосердия проявляли ко мне явный интерес. Такой молодой и обречен на такую смерть! Казалось, им жаль меня, так они суетились возле моей постели. Э! Что там! Просто любопытство! И потом обязанность этих целителей исцелять от болезней, но не от смертного приговора. А как бы им это было легко. Только открыть дверь! Такое пустое дело!

Теперь уж ни малейшей надежды. Жалоба моя будет отклонена, потому что все делалось по закону; свидетели свидетельствовали правильно, защитники защищали правильно, судьи судили правильно. На это я не рассчитываю, разве что... Нет, вздор! Нечего надеяться! Кассационная жалоба — это веревка, которая держит человека над пропастью и ежеминутно грозит порваться, пока не оборвется в самом деле. Будто нож гильотины занесен над головой шесть недель подряд.

А вдруг меня помилуют? Помилуют! Но кто? Почему? И как?.. Не могут меня помиловать. Говорят, нужно показать пример.

Мне осталось всего три этапа: Бисетр, Консьержери, Гревская площадь.

XVI

За тот короткий срок, что меня продержали в лазарете, я успел посидеть у окна на солнце — оно показалось снова, — вернее получить от солнца то, что пропускали решетки на окне.

Я сидел, опустив отяжелевшую и одурманенную голову на руки, которым не под силу была их ноша, локтями опираясь на колени, а ноги поставил на перекладину стула, ибо я так подавлен, что все время сгибаюсь и съеживаюсь, как будто в теле моем не осталось ни костей, ни мышц.

Спертый воздух тюрьмы душил меня больше, чем когда-либо, в ушах все еще звучал лязг кандалов, Бисетр стал мне нестерпим. Я думал, что господь бог мог бы сжаляться надо мной и послать мне хоть птичку, чтобы она попела немножко на крыше напротив окна.

Не знаю, господь ли, или дьявол услышал меня, только почти в ту же минуту под моим окном зазвучал голос, — не птички, нет, гораздо лучше: чистый, свежий, мягкий голос пятнадцатилетней девушки. Я восторженно поднял голову и стал жадно вслушиваться. Напев был медлительный и томный, похожий на грустное и жалобное воркование; вот слова песни:

На улице Дю-Майль
Зашился я в капкан.
Жандармы поймали,
Связали по рукам.

Не могу выразить, как горько я был разочарован; а голос все пел:

Надели наручники,
И кончен разговор.
Спасибо, на дороге
Стоял знакомый вор.

Товарищ, товарищ,
С тобой поговорю,
Скажи моей девчонке,
Что я сыграл игру.

Скажи моей девчонке,
Пусть денег не шлет,
Убил я человека
За толстый кошелек.

За часики с цепочкой,
За шляпу и пальто,
За темную ночь,
За чорт знает что.

Пускай в Версаль поедет,
Попросит короля,
Не даст ли снисхождение
Убийце, тру-ля-ля.

Пускай подаст прошение.
За это, мой гонец,
Я подарю ей туфли
И ленту на чепец.

Король читать не станет.
Велит перед зарей
Плясать мне мой танец
Меж небом и землей¹.

¹ Перевод П. Антокольского.

Дальше я не слышал и не в силах был слушать. Наполовину внятный, а наполовину скрытый смысл этой омерзительной песенки о борьбе разбойника с жандармами, о встрече с вором, которого он посылает к жене со страшной вестью: я убил человека, и меня поймали, «зашил я в капкан»; о женщине, которая поспешила в Версаль с прошением, и о короле, который разгневался и велит преступнику «плясать свой танец меж небом и землей»; и при этом нежнейшая мелодия, пропетая нежнейшим голосом, когда-либо баюкавшим человеческий слух!.. Я оцепенел, я был подавлен, уничтожен... Противоестественны были такие гнусные слова на таких румяных, свежих устах. Точно след слизняка на лепестке розы.

Я не в силах передать свои чувства; мне было и больно и сладко слушать язык вертепа и каторги, жестокий и живописный говор, грязный жаргон в сочетании с девичьим голосом, прелестным переходом от голоса ребенка к голосу женщины! Слышать эти уродливые, исковерканные слова в плавных переливчатых звуках песни!

Ох, какая подлая штука — тюрьма! Своим ядом она отравляет все. Все в ней замарано — даже песенка пятнадцатилетней девушки! Увидишь там птичку — на крыле у нее окажется грязь; сорвешь красивый цветок — от него исходит зловоние.

XVII

Ах, если бы мне удалось вырваться отсюда, как бы я побегал в поля!

Нет, бежать не следует. Это привлечет внимание, наведет на подозрения. Надо, наоборот, итти не спеша, подняв голову, напевая песню. Хорошо бы добыть старый фартук, синий в красных разводах. В нем легче проскользнуть незамеченным. Все окрестные огородники ходят в таких.

Подле Аркейля есть густой лесок, а рядом болото, куда я, когда учился в коллеже, каждый четверг ходил с другими школьниками ловить лягушек. Там я могу укрыться до вечера.

Когда совсем стемнеет, я пойду дальше. В Венсенн. Нет, туда не пробраться из-за реки. Тогда я пойду

в Арпажон. — Лучше было бы свернуть на Сен-Жермен и добраться до Гавра, а оттуда отплыть в Англию. — Ах, не все ли равно. Допустим, я очутился в Лонжюмо. Проходит жандарм; спрашивает у меня паспорт. — Все погибло!

Эх ты, злосчастный мечтатель! Сломай сперва стены в три фута толщиной, в которых ты заточен. Нет, смерть! Смерть!

Подумать только, что я совсем ребенком приезжал сюда, в Бисетр, смотреть на большой колодезь и на умалишенных!

XVIII

Пока я все это писал, свет лампы потускнел, настал день, на часах тюремной колокольни пробило шесть.

Что это значит? Дежурный надзиратель только что был у меня в камере; войдя, он снял картуз, попросил извинения, что потревожил меня, и спросил, сколько возможно смягчив свой грубый голос, чего я желаю на завтрак...

Дрожь охватила меня. Неужели это будет сегодня?

XIX

Это будет сегодня!

Сейчас ко мне пожаловал сам смотритель тюрьмы. Он спросил, чем может быть мне полезен или приятен, так как ему желательно, чтобы у меня не было поводов жаловаться на него или на его подчиненных, участливо осведомился, как я себя чувствую и как провел ночь; на прощание он назвал меня «сударь».

Это будет сегодня!

XX

Мой тюремщик считает, что у меня нет поводов жаловаться на него и на его помощников. Он прав. С моей стороны было бы дурно жаловаться на них — они исполняли свою обязанность, зорко стерегли меня; и потом они были учтивы при встрече и прощании. Чего же мне еще нужно?

Добродетельный тюремщик с благодушной улыбкой, с медоточивыми речами, со взглядом льстеца и шпиона, с большими мясистыми руками — это олицетворение тюрьмы. Это Бисетр в образе человека. Всюду вокруг меня тюрьма; я вижу тюрьму во всех возможных обликах, в человеческом облике и в виде решеток и запоров. Вот стена — это тюрьма, выраженная в камне; вот дверь — это тюрьма, выраженная в дереве; а надзиратели — это тюрьма, претворенная в плоть и кровь. Тюрьма — страшное чудовище, незримое и по-своему совершенное, в котором человек дополняет здание. И я его жертва; оно схватило меня, обвило всеми своими щупальцами. Оно держит меня в своих гранитных стенах, под своими железными замками и сторожит своими зоркими глазами, глазами тюремщика.

О господи, что ждет меня, горемычного? Что они сделают со мной?

XXI

Я успокоился. Все кончено, кончено бесповоротно. Я поборол жестокое смятение, в которое поверг меня приход смотрителя. Сознаюсь, тогда я еще надеялся. Теперь, благодарение творцу, я больше не надеюсь.

Вот что за это время произошло. В ту минуту, когда часы били половину седьмого — нет, без четверти семь, — дверь камеры открылась снова. Вошел седовласый старик в коричневом рединготе. Он распахнул редингот. Я увидел сутану и брыжи. Это был священник.

Но не тюремный священник. Зловещий признак.

Патер сел напротив меня, приветливо улыбаясь; потом покачал головой и возвел глаза к небу, вернее к потолку темницы. Я понял его.

— Сын мой, вы приготовились? — спросил он.

Я ответил ослабевшим голосом:

— Я не приготовился, но я готов.

И в то же время в глазах у меня потемнело, холодный пот выступил по всему телу, в висках застучало, в ушах начался шум.

Пока я, как сонный, качался на стуле, приветливый старик говорил. По крайней мере мне так казалось; на-

сколько я припоминаю, он шевелил губами, размахивал руками, поблескивал глазами.

Дверь отворилась еще раз. Грохот засовов вывел меня из оцепенения и прервал его речь. В сопровождении смотрителя появился приличного вида господин в черном фраке и отвесил мне глубокий поклон. Лицо этого человека, как лица факельщиков, выражало казенную скорбь. В руках он держал свернутую бумагу.

— Сударь, — с учтивой улыбкой обратился он ко мне, — я судебный пристав при парижском королевском суде. Имею честь доставить вам послание от господина генерального прокурора.

Первое потрясение прошло. Присутствие духа полностью вернулось ко мне.

— Помнится, господин генеральный прокурор настойчиво требовал моей головы, — ответил я. — Весьма польщен, что он ко мне пишет. Надеюсь, моя смерть доставит ему истинное удовольствие. Иначе мне обидно было бы думать, что он с таким жаром добивался ее, а на самом деле ему это безразлично.

Вслед за тем я потребовал твердым голосом:

— Читайте, сударь!

Он принялся читать длинный документ, нараспев заканчивая каждую строку и запинаясь на каждом слове. Из документа явствовало, что моя жалоба отклонена.

— Приговор будет приведен в исполнение на Гревской площади, — добавил он, кончив читать и не поднимая глаз от гербовой бумаги. — Ровно в половине восьмого мы отправимся в Консьержери. Милостивый государь мой, надеюсь, вы не откажете в любезности последовать за мной?

Я с некоторых пор перестал слушать. Смотритель разговаривал со священником; судебный пристав не отрывал глаз от бумаги; а я смотрел на дверь, оставшуюся полуоткрытой... «Несчастный фантазер! В коридоре четверо вооруженных солдат!»

Судебный пристав повторил свой вопрос и на этот раз посмотрел на меня.

— К вашим услугам! Когда пожелаете! — ответил я.

Он поклонился мне со словами:

— Через полчаса я позволю себе явиться за вами.

После этого меня оставили одного. Господи, только бы

убежать, убежать каким угодно способом! Я должен вырваться отсюда, должен не медля ни минуты. Через двери, через окна, через крышу, даже оставляя клочья мяса на стропилах!

О бессидье, проклятье, дьявольская насмешка! Месяцы нужны на то, чтобы пробить эту стену хорошим инструментом, а у меня нет ни гвоздя, ни часа времени!

XXII

Из Консьержери

Говоря языком официальных бумаг, я *переведен* сюда. Однако путешествие мое стоит описать. Едва пробило половину восьмого, как судебный пристав снова появился на пороге камеры.

— Сударь, я жду вас, — заявил он.

Увы! Меня ждал не только он!

Я встал, сделал шаг; мне казалось, что на второй у меня нехватит сил, — такую тяжесть я ощущал в голове и слабость в ногах. Немного погодя я овладел собой и пошел к двери довольно твердой поступью. С порога я бросил последний взгляд на свою убогую камеру. Она стала мне дорога. Я вышел, оставив ее пустой и незапертой. Непривычный вид для темницы.

Впрочем, она недолго будет пустовать. Сторожа говорили, что сегодня вечером ждут нового постояльца, которого в настоящую минуту суд присяжных спешит приговорить к смерти. За поворотом коридора нас нагнал тюремный священник. Он кончал завтрак.

При выходе из тюрьмы смотритель сердечно пожал мне руку и усилил мой конвой четырьмя инвалидами.

Какой-то умирающий старик крикнул мне с порога лазарета:

— До свидания!

Когда мы очутились во дворе, я вздохнул полной грудью, и мне стало лучше.

Но нам недолго пришлось идти по свежему воздуху. В первом дворе стояла запряженная почтовыми лошадьми карета, та самая, что доставила меня сюда, — это была двуколка продолговатой формы, разделенная по ширине проволочной загородкой, такой частой, как вязание.

В каждом отделении есть дворцы, в одном — впереди, в другом — позади. А все в целом до того грязно, засалено, пропылено, что похоронные дроги для бедняков покажутся коронационной каретой по сравнению с этой колымагой.

Прежде чем меня поглотил этот склеп на двух колесах, я окинул двор прощальным взглядом, полным такого отчаяния, от которого должны бы сокрушиться стены. Во двор, представлявший собою небольшую площадку, обсаженную деревцами, набилось еще больше зевак, чем в тот день, когда увозили каторжников. И тут уже толпа! Как и тогда, моросил осенний дождь, мелкий и холодный; он идет и сейчас, пока я пишу эти строки, и, наверно, будет идти весь день, который кончится после меня.

Дороги были размыты, двор — весь в лужах. Мне доставило удовольствие смотреть, как толпа топчется в грязи.

Мы сели, судебный пристав и один из жандармов — в первое отделение, я вместе со священником и другим жандармом — во второе. Четыре конных жандарма окружили карету. Итак, не считая кучера, восемь человек ради одного.

Садясь в карету, я слышал, как старуха с выцветшими глазами говорила в толпе:

— Это куда забавнее, чем каторжники.

Я ее понимаю. Это зрелище, которое схватываешь сразу, одним взглядом. Оно так же занимательно, но смотреть на него удобнее. Внимание не отвлекается и не распадается. Тут один лишь участник, и в нем одном сосредоточено столько несчастья, сколько во всех каторжниках вместе взятых. Это сгущенный и потому особенно пряный настой.

Повозка тронулась. Она гулко прокатилась под сводом главных ворот, потом выехала на аллею, и тяжелые створки Бисетра захлопнулись за ней. Я застыл в оцепенении и только чувствовал, что меня везут, как человек, впавший в летаргический сон, чувствует, что его хоронят заживо, и не может ни пошевелиться, ни крикнуть. Мне смутно слышалось, как отрывисто звякают связки бубенцов на шее у почтовых лошадей, как колеса грохочут по камням или стучаются об кузов на ухабах, как цокают

вокруг повозки копыта жандармских коней, как щелкает бич почтальона. Все это сливалось в один вихрь, уносивший меня.

Сквозь прутья окошечка, сделанного напротив меня, я увидел надпись, высеченную крупными буквами над главными воротами Бисетра, и машинально прочел ее: «Убежище для престарелых».

«Вот как, — подумал я, — оказывается, тут люди доживают до старости».

И как бывает в полудремоте, мой мозг, скованный страданием, занялся этой мыслью, стал передумывать ее на все лады. Но тут карета свернула с аллеи на проезжую дорогу, и картина в окошечке изменилась. В нем возникли теперь башни Собора богоматери, чуть синевшие, чуть заметные в дымке, окутавшей Париж. И сразу же, механически следуя за движением кареты, изменились мои мысли. Теперь я думал не о Бисетре, а о башнях Собора богоматери. «Тем, кто заберется на башню, где поднят флаг, будет очень хорошо видно», — сказал я себе, бессмысленно улыбаясь.

Кажется, именно в эту минуту священник опять заговорил со мной. Я терпеливо слушал его. В ушах у меня и без того громыхали колеса, стучали копыта, щелкал бич. А теперь прибавился еще лишний шум, только и всего.

Я молча терпел этот однотонный поток слов, которые усыпляли мой мозг, как журчание фонтана, и скользили мимо меня, как будто бы разные и в то же время одинаковые, подобно искривленным вязам вдоль дороги, как вдруг скрипучий, заикающийся голос судебного пристава вывел меня из забытья.

— Что скажете, господин аббат, что слышно новенького? — почти веселым тоном обратился он к священнику. Тот сам что-то неумолчно говорил мне и, не расслышав из-за грохота колес, не ответил.

— Вот проклятая таратайка! — во весь голос рявкнул пристав, стараясь перекрыть громыхание повозки.

В самом деле — проклятая.

— А всё ухабы, — продолжал он, — трясет так, что самого себя не слышишь. О чем, бишь, я говорил? Будьте так добры, господин аббат, напомните мне, о чем я говорил? Да, знаете последнюю парижскую новость?

Я весь задрожал, словно речь шла обо мне.

— Нет, — ответил священник, наконец услышавший его, — я не успел с утра прочесть газеты. Прочитаю вечером. Когда у меня весь день занят, как сегодня, я прошу привратника сохранить мне газеты и, вернувшись, просматриваю их.

— Что вы! Быть не может, чтобы до вас не дошла такая новость! Свежая парижская новость!

Тут я вступил в разговор:

— Мне кажется, я знаю ее.

Судебный пристав посмотрел на меня.

— Вы? В самом деле! И что же вы скажете?

— Вы чересчур любопытны.

— Почему, сударь? — возразил судебный пристав. — У каждого свои политические убеждения. Я настолько уважаю вас, что не сомневаюсь — у вас они тоже имеются. Я лично всецело стою за восстановление национальной гвардии. Я был сержантом в роте, и, право же, приятно вспомнить о тех временах.

— Я думал, что речь идет совсем о другом, — перебил я.

— О чем же еще? Вы говорили, что знаете последнюю новость.

— Я подразумевал другую новость, которая тоже занимает сегодня Париж.

Дурак не понял меня: любопытство его разгорелось.

— Другую? Какой чорт сообщает вам последние новости? Ради бога, скажите, сударь, что это за новость? А вы, господин аббат, не знаете? Может быть, вы осведомлены лучше меня? Умоляю вас, поделитесь со мной. Я так люблю новости. Я развлекаю ими господина председателя.

Он еще долго молол что-то в таком роде. И при этом оборачивался то ко мне, то к священнику, а я в ответ только пожимал плечами.

— Скажите на милость, о чем вы задумались? — рассердился он.

— Я задумался о том, что сегодня вечером уже не буду думать, — ответил я.

— Ах, вот о чем! — протянул он. — Полноте, нечего грустить! Господин Кастэнь — тот все время беседовал.

Помолчав немного, он заговорил опять:

— Господина Папавуана я тоже сопровождал; он был в бобровой шапке и курил сигару. А ларошельские молодые люди, те разговаривали только между собой. А все-таки разговаривали!

Он еще помолчал и начал снова:

— Сумасброды! Фантазеры! Послушать их, так они презирали всех на свете. А вот вы, молодой человек, зря задумываетесь.

— Молодой человек! Нет, я старше вас; каждые входящие четверть часа старят меня на год, — ответил я.

Он обернулся, несколько минут смотрел на меня с тупым недоумением, потом грубо захохотал.

— Да вы смеетесь! Старше меня! Я вам в дедушки го-жусь.

— И не думаю смеяться! — очень серьезно отвегил я. Он открыл табакерку.

— Не надо обижаться, милостивый государь мой! Угоститесь табачком и не поминайте меня лихом.

— Не бойтесь, долго мне не придется поминать.

Протягивая мне табакерку, он наткнулся на разделяющую нас сетку. От толчка табакерка сильно стукнулась об сетку и раскрытой покатилась под ноги жандарму.

— Проклятая сетка! — воскликнул судебный пристав. И обратился ко мне:

— Подумайте, какая беда. Весь табак растерял.

— Я теряю больше вашего, — с улыбкой ответил я.

Он попытался собрать табак, ворча сквозь зубы:

— Больше моего! Легко сказать! До самого Парижа изволь сидеть без табака. Каково это, а?

Тут священник обратился к нему со словами утешения. Не знаю, может быть я плохо слушал, но мне показалось, что он продолжает те же увещевания, которые сначала изливались на меня. Мало-помалу между священником и приставом завязался разговор; я предоставил им говорить свое, а сам думал свои думы.

Когда мы подъезжали к городу, я, хоть и был поглощен своими мыслями, однако заметил, что Париж шумит сильнее обычного. Карета задержалась у заставы. Сборщики городских пошлин заглянули в нее. Если бы на убой везли быка или барана, пришлось бы раскошелиться; но за человеческую голову сборов не платят. Нас пропустили.

Проехав бульвар, повозка быстро покатила старинными кривыми переулками предместья Сен-Марсо и острова Ситэ, которые извиваются и пересекаются, как бесчисленные ходы в муравейнике. В этих тесных улочках грохот колес по камням раздавался так громко, что шум извне перестал доходить до меня. Когда я взглядывал в квадратное окошечко, мне казалось, что поток прохожих останавливается при виде кареты, а стаи ребятишек бегут за ней следом. Казалось мне также, будто кое-где на перекрестках стоит оборванец или старуха в лохмотьях, а иногда и оба вместе, и будто они держат стопки печатных листков, из-за которых прохожие дерутся между собой, широко раскрывая рты, — верно кричат что-то.

В ту минуту, как мы въехали во двор Консьержери, на часах Дворца правосудия пробило половину девятого. При взгляде на широкую лестницу, на мрачную часовню и зловещие сводчатые двери кровь застыла у меня в жилах. Когда карета остановилась, мне показалось, что сердце мое тоже остановится сейчас.

Я собрал все силы; дверца стремительно распахнулась, я выскочил из этой темницы на колесах и между двумя рядами солдат быстрым шагом прошел в ворота. Однако толпа уже успела скопиться на моем пути.

XXIII

Проходя по галлереям для публики во Дворце правосудия я чувствовал себя почти что свободным и независимым, но вся моя бодрость исчезла, как только передо мной открылись низенькие дверцы, потайные лестницы, внутренние переходы, глухие, замкнутые коридоры, куда имеют доступ лишь судьи и осужденные.

Судебный пристав не покидал меня, священник ушел, пообещав вернуться через два часа, — он был занят своими делами.

Меня привели в кабинет смотрителя тюрьмы, которому судебный пристав сдал меня с рук на руки, в порядке обмена. Смотритель попросил его подождать минутку, потому что у них сейчас будет новая «дичь», которую придется немедленно обратным рейсом везти в Бисетр. По

всей вероятности, речь шла о том, кого должны приговорить сегодня и кто нынешней ночью будет спать на охапке соломы, которую я не успел до конца обмять.

— Вот и отлично, — ответил пристав смотрителю, — я обожду, и мы заодно составим оба протокола.

Пока что меня поместили в каморку, примыкающую к кабинету смотрителя. Тут меня оставили одного за крепкими запорами.

Не знаю, о чем я думал и сколько времени пробыл так, когда неожиданно громкий взрыв смеха вывел меня из задумчивости.

Я вздрогнул и поднял голову. Оказалось, что я не один. В камере, кроме меня, находился мужчина лет пятидесяти пяти, среднего роста, сгорбленный, морщинистый, с проседью, с бесцветными глазами, глядевшими исподлобья, с гримасой злобного смеха на лице. Вид у него был отталкивающий — весь грязный, полуголый, в лохмотьях. Значит, дверь открыли и снова заперли, втолкнув его; а я ничего не заметил. Если бы смерть пришла так же!

Несколько мгновений мы в упор смотрели друг на друга. Новый пришелец все с тем же хриплым, похожим на стон, смехом, а я с удивлением и с испугом.

— Кто вы такой? — наконец спросил я.

— Вот так вопрос! — ответил он. — Как кто? Испеченный!

— Испеченный? Это что значит?

От моего вопроса он захохотал еще пуще.

— А значит оно, что кат скосит мою сорбонну через шесть недель, как твою чурку через шесть часов, — ответил он сквозь смех. — Эге! Видно, что смекнул!

В самом деле, я побледнел и волосы поднялись у меня на голове. Это и был второй смертник, приговоренный сегодня, тот, кого ждали в Бисетре, мой преемник.

Он продолжал:

— Ничего не попишешь! Вот я тебе расскажу мою жизнь. Отец мой был славный маз¹; жаль, что Шарло² не пожалел труда и затянул на нем галстук. Это случилось в те поры, когда милостью божьей царила виселица. В шесть лет я остался круглым сиротой; летом я ходил

¹ Вор (Прим. авт.)

² Палач. (Прим. авт.)

колесом в пыли, по обочине дороги, чтобы мне бросили медяк из окошка почтовой кареты; зимой шлепал босиком по грязи и дул на пальцы, красные от холода; через прорежи в штанах виднелись голые ляжки. С девяти лет я пустил в дело грабли¹, научился очищать ширманы², случалось мне свиснуть и одежду, к десяти годам я стал ловким воришкой. Потом попал в компанию: в семнадцать лет я был уже заправский громила — умел и лавку обчистить и ключ подделать. Меня сцапали и как совершеннолетнего отправили плавать на галерах. Тяжкое дело — каторга: спишь на голых досках, пьешь чистую воду, ешь черный хлеб, без всякой пользы волочишь за собой тяжеленное ядро — получаешь то солнечный удар, то палочные удары. Вдобавок каторжников бреют наголо, а у меня как на грех были хорошие русые кудри! Как-никак, я свой срок отбыл. Пятнадцать лет — не шутка. Мне минуло тридцать два года, когда я получил подорожную и шестьдесят шесть франков — все, что я заработал за пятнадцать лет каторги, трудясь шестнадцать часов в день, тридцать дней в месяц и двенадцать месяцев в году. Все равно, с этими шестьюдесятью шестью франками я хотел начать честную жизнь, и под моими отрепьями скрывались такие благородные чувства, каких не сыщешь под кабаньей рясой³. Вот только треклятый паспорт! Он был желтого цвета и на нем стояла надпись: *каторжник, отбывший срок*. Эту штуковину надо было показывать дорогой в каждом городишке, а потом каждую неделю являться с ней к мэру того местечка, где меня водворили на жительство. Недурная аттестация Каторжник! Я был пугалом — ребятишки бросались от меня врассыпную, двери захлопывались передо мной. Никто не хотел дать мне работу. Шестьдесят шесть франков пришли к концу. Как жить дальше? Я показывал, какие у меня крепкие рабочие руки, а передо мной захлопывали двери. Я предлагал работать за пятнадцать, за десять, за пять су в день. Все напрасно. Что делать? Однажды голод одолел меня. Я разбил локтем витрину булочной и схватил хлеб, а булочник схватил меня. Хлеба мне не дали съесть, зато приговорили к пожизнен-

¹ Руки (Прим авт)

² Карманы (Прим авт)

³ Рясой священника. (Прим авт)

ной каторге и выжгли на плече три буквы. Хочешь — покажу потом. По-судейски это называется *рецидив*. Значит, стал я *обратной кобылкой*¹. Я решил бежать. Для этого нужно было пробуравить три стены и перепилить две цепи, а у меня ничего не было, кроме гвоздя. И я бежал. В догонку дали сигнал из пушки; наша братия все равно что римские кардиналы: мы тоже одеты в красное, и когда мы отчаливаем, тоже стреляют из пушек. Однако порох пустили на ветер. На этот раз я ушел без желтого билета, но и без денег. Я встретил товарищей — одни отбыли срок, другие дали тягу. Их главарь предложил мне работать заодно, а работали они ножом на большой дороге. Я согласился и стал убивать, чтобы жить. То на дилижанс нападешь, то на почтовую карету, то на верхового — торговца скотом. Деньги забирали, коня или упряжку отпускали на все четыре стороны, а убитого зарывали под деревом и только смотрели, чтобы не торчали ноги. Потом плясали на могиле, чтобы утоптать землю. Так вот я и состарился — ютился где-нибудь в чащобе, спал под открытым небом, и хоть меня травили и гнали из леса в лес, а все-таки был я вольная птица, сам себе хозяин. Однакоже всему приходит конец, и этот стоит другого. В одну прекрасную ночь шнуручники² накрыли нас. Фанандели³ мои скрылись, а я был старше всех и попался в лапы этих самых котов в шляпах с галунами. Меня доставили сюда. Я прошел все ступени, кроме последней. И теперь уж не имело значения, украл ли я носовой платок, или убил человека — разве что мне пришили бы лишний рецидив. Мне осталось только пройти через руки косаря⁴. Дело мое провернули мигом. И правду сказать, стар я уже стал, не годен ни на что путное. Мой отец женился на вдове⁵, а я удалюсь в обитель всех скорбящих радости!⁶ Так-то, товарищ!

Я был ошеломлен его рассказом. Он захохотал громче прежнего и попытался взять меня за руку. Я в ужасе отпрянул.

¹ Снова отправлен на каторгу. (Прим. авт.)

² Жандармы. (Прим. авт.)

³ Товарищи. (Прим. авт.)

⁴ Палач. (Прим. авт.)

⁵ Был повешен (Прим. авт.)

⁶ Гильотина. (Прим. авт.)

— Видно, ты, приятель, не из храбрых, — сказал он. — Смотри, не раскисни перед курносой. Что и говорить, несладко стоять на помосте, да зато недолго! Я бы рад пойти с тобой и показать, как лучше кувырнуться. Да я, ей-богу, не подал бы на кассацию, если бы нас скосили сегодня вместе. Кстати попа позвали бы одного на двоих; с меня хватило бы и твоих объедков. Видишь, какой я покладистый. Ну, отвечай! Согласен? От чистого сердца предлагаю!

Он подошел еще ближе.

— Благодарю вас, сударь, — ответил я, отстраняя его. В ответ новый взрыв хохота.

— Эге-ге! Ваша милость, видно, из маркизов, не иначе, как из маркизов!

— Друг мой, не троньте меня, мне хочется побыть наедине с самим собой, — прервал я его.

От этих слов он сразу притих и задумался, покачивая седой, плешивой головой. Потом почесал ногтями свою волосатую грудь, видневшуюся из-под раскрытой рубахи, и сквозь зубы пробормотал:

— Понятно, тут не без кабана ¹... — После минутного молчания он добавил почти что робким тоном: — Послушайте, хоть вы и маркиз, однакоже на что вам такой добротный сюртук? Все равно палач заберет его. Лучше отдали бы мне. Я его спущу и куплю себе табуку.

Я снял сюртук и отдал ему. Он обрадовался, как ребенок, и захлопал в ладоши. Но, заметив, что на мне одна рубашка и что я весь дрожу, он сказал:

— Вы замерзли, сударь, вот наденьте это, иначе вы промокнете, дождь идет. И потом, в телеге надо иметь приличный вид.

С этими словами он снял с себя толстую куртку из серой шерсти и надел на меня. Я не прекословил, но тотчас же поспешил отодвинуться к самой стене. Трудно описать, какие чувства вызывал у меня этот человек. Он рассматривал мой сюртук и каждую секунду восторженно восклицал:

— Карманы целехоньки! Воротник совсем не потертый! Меньше пятнадцати франков ни за что не возьму. На все шесть недель запасусь табачком! Вот счастье-то!

¹ Священник. (Прим. авт.)

Дверь опять отворилась. Пришли за нами обоими. За мной — чтобы отвести в комнату, где приговоренные ждут урочного часа, за ним — чтобы отправить в Бисетр. Он встал на свое место посреди конвоя и, смеясь, сказал жан-дармам:

— Только не ошибитесь. Мы с этим кавалером поменялись шкурами. Смотрите, не прихватите меня вместо него. Но теперь — шалишь! Я не согласен, раз у меня будет табак!

XXIV

Я и не думал отдавать сюртук этому старому разбойнику, он отнял его у меня, а взамен оставил мне свою гнусную куртку. На кого я буду похож в этом рванье?

Вовсе не из беспечности или жалости допустил я, чтобы он взял мой сюртук; нет, — попросту он был сильнее. Если бы я отказался, он избил бы меня своими кулачищами.

Еще бы — жалость! Злоба закипала во мне. Я готов был собственными руками задушить этого старого вора, растоптать его собственными ногами.

Душа моя полна гнева и горечи. Должно быть, желчь прорвалась у меня. Смерть делает злым.

XXV

Меня привели в камеру, где, кроме четырех голых стен, нет ничего, не считая, понятно, бесчисленных железных прутьев на окне и бесчисленных запоров на двери.

Я потребовал себе стол, стул и письменные принадлежности. Мне все принесли

Затем я потребовал кровать. Надзиратель поглядел на меня удивленным взглядом, ясно говорившим:

«К чему это?»

Тем не менее в углу поставили складную кровать. Но одновременно в этом помещении, которое именуют «моей комнатой», водворился жандарм. Верно, боятся, что я удушусь себя тюфяком.

Сейчас десять часов.

Бедная моя доченька! Через шесть часов меня не станет! Я превращусь в ту падаль, которая будет валяться по холодным столам анатомического театра. Здесь будут снимать слепок с головы, там будут вскрывать тело, потом остатками набьют гроб и все вместе отправят на Клармарское кладбище.

Вот что сделают люди с твоим отцом, а между тем ни один из них не питает ко мне ненависти, все меня жалеют и все могли бы спасти. Они убьют меня. Понимаешь ты, Мари? Убьют хладнокровно, по всем правилам, во имя торжества правосудия. О боже правый! Бедняжка! Убьют твоего отца, того, кто так любил тебя, кто целовал твою нежную, ароматную шейку, кто безустали перебирал твои пушистые кудри, кто ласкал твое милое личико, кто качал тебя на коленях, а по вечерам складывал твои ручки для молитвы!

Кто приголубит тебя теперь? Кто будет тебя любить? У всех твоих маленьких сверстников будет отец, только не у тебя. Как отвыкнешь ты, детка моя, от новогодних подарков, от красивых игрушек, от сладостей и поцелуев? Как отвыкнешь ты, горемычная сиротка, пить и есть досыта?

Ах, если бы присяжные увидели ее, мою милую Мари, они бы поняли, что нельзя убивать отца трехлетней крошки.

А когда она вырастет, если ей суждено выжить, что станет с нею? Парижская чернь запомнит ее отца. И ей, моей дочери, придется краснеть за меня, за мое имя, ее будут презирать, унижать, будут ею гнушаться, из-за меня, из-за меня, когда я люблю ее всей силою, всей нежностью моей души. Любимая моя крошка! Моя Мари! Неужто в самом деле память обо мне будет для тебя постыдна и ненавистна? Какое же преступление совершил я, окаянный, и на какое преступление толкаю общество!

Боже! Неужто правда, что я умру до вечера? Я, вот этот самый я? И глухой гул голосов, доносящийся со двора, и оживленные толпы людей, уже спешащих по набережным, и жандармы, снаряжающиеся у себя в казармах, и священник в черной рясе, и человек, чьи руки красны от крови, — все это из-за меня? И умереть дол-

жен я! Я, тот я, что находится здесь, живет, движется, дышит, сидит за столом, похожим на любой другой стол в любом другом месте; тот я, наконец, которого я касаюсь и ощущаю, чья одежда ложится такими вот складками!

XXVII

Хотя бы знать, как оно устроено, как умирают под ним! Ужас в том, что я не знаю. Самое название страшно, не понимаю, как мог я писать и произносить его.

Эти девять букв будто нарочно подобраны так, чтобы своим видом, своим обликом навести на жестокую мысль, и проклятый врач, изобретатель этой штуки, носил поистине роковое имя.

У меня с этим ненавистным словом связано очень неясное и неопределенное, но тем более страшное представление. Каждый слог — точно часть самой машины. И я мысленно без конца строю и разрушаю все чудовищное сооружение.

Я боюсь расспрашивать, но не знать, какая она и как это делается, — вдвойне нестерпимо. Говорят, она действует с помощью рычага, а человека кладут на живот. Господи! Голова у меня поседеет, прежде чем ее отрубят!

XXVIII

Однако я как-то мимолетно видел ее.

Я проезжал в карете по Гревской площади часов в одиннадцать утра. Карета вдруг остановилась. Я высунулся в окошко. Толпа запрудила площадь и набережную, весь парапет был занят женщинами и детьми. Над головами виднелся помост из красноватых досок, который сколачивали три человека.

В тот день должны были казнить какого-то приговоренного и для него готовили машину. Я поспешно отвернулся, чтобы не видеть ее.

Возле кареты какая-то женщина говорила ребенку:

— Вон, погляди! Чтобы нож лучше ходил, они смажут пазы свечным салом.

Этим они, верно, заняты и сейчас. Только что пробило одиннадцать. Должно быть, они смазывают салом пазы. Нет, сегодня мне, несчастному, не отвернуться.

XXIX

Ах, только бы меня помиловали! Только бы помиловали! Может быть, меня помилуют. Король не гневается на меня. Позовите моего адвоката. Позовите скорее! Я согласен на каторгу. Пусть приговорят к пяти годам, или к двадцати, пусть приговорят к пожизненной каторге, пусть заклеят. Только бы оставили жизни!

Ведь каторжник тоже ходит, движется, тоже видит солнце.

XXX

Опять пришел священник. Он белый как лунь, приветливый, почтенный и кроткий на вид; он и в самом деле достойный, добросердечный человек. Сегодня утром я видел, как он роздал заключенным все, что у него было в кошельке. Почему же голос его не волнует и в нем не чувствуется волнения? Почему он до сих пор не сказал ни одного слова, которое задело бы за живое мой ум или сердце?

Сегодня утром я был как потерянный. Я почти не слушал его. И все-таки мне показалось, что он говорит ненужные слова, и они не трогали меня; они скользили мимо, как этот холодный дождь по запотевшему стеклу. Но сейчас его приход подействовал на меня умиротворяюще. Из всех этих людей он один остался для меня человеком, подумал я. И мне страстно захотелось послушать слова любви и утешения.

Мы сели — он на стул, я на кровать. Он сказал:

— Сын мой...

И сердце мое раскрылось навстречу ему.

— Сын мой, вы веруете в бога? — спросил он.

— Верую, отец мой, — ответил я.

— Веруете вы в святую апостольскую римскую католическую церковь?

— Готов веровать, — ответил я.

— Вы как будто сомневаетесь, сын мой, — заметил он.

И снова заговорил. Он говорил долго; он произнес много слов; потом, решив, что все сказано, он поднялся, впервые с начала своей речи посмотрел на меня и спросил:

— Что вы мне теперь ответите?

Клянусь, сначала я слушал его жадно, потом внимательно, потом смиренно.

Я поднялся в свою очередь.

— Сударь, прошу вас, оставьте меня одного, — сказал я.

Он осведомился:

— Когда мне прийти?

— Я позову вас.

Тогда он вышел, не рассердившись, а только покачав головой, как будто сказал про себя:

— Нечестивец!

Нет, хотя я пал очень низко, однако нечестивцем не стал, бог мне свидетель — я верую в него. Но что сказал мне этот старец? Ничего прочувствованного, выстраданного, выплаканного, исторгнутого из души, ничего, что шло бы от сердца к сердцу, только от него ко мне. Совсем наоборот, все было как-то расплывчато, безлично, применимо к кому и к чему угодно, — высокопарно там, где нужна глубина, пошло там, где должно быть просто; словом, чувствительная проповедь или богословская элегия. И на каждом шагу вкраплены латинские изречения из святого Августина, из святого Григория, из кого-то еще. А главное, казалось, он в двадцатый раз повторяет один и тот же урок, настолько затверженный, что смысл его успел стереться. И все это без малейшего выражения во взгляде, без малейшего оттенка в голосе, без малейшего жеста.

Да и как может быть иначе? Ведь он состоит в должности тюремного священника. Его обязанность — утешать и увещевать, он этим живет. Каторжники и смертники входят в круг его красноречия. Он исповедует и напутствует их по долгу службы. Он состарился, провожая людей на смерть. У него давно уже вошло в привычку то, от чего содрогаются другие; волосы его, белые как снег, уже

не шевелятся от ужаса, каторга и эшафот — для него вещи обыденные. Его не поразишь ими. Должно быть, у него заведена тетрадка, на одной странице — каторжники, на другой — приговоренные к смерти. Накануне ему сообщают, что завтра в таком-то часу надо утешить кого-то. Он спрашивает кого — каторжника или приговоренного к смерти? И прежде чем идти, прочитывает соответствующую страницу. Таким образом, те, кого отправляют в Тулон, и те, кого отправляют на казнь, стали безразличны ему и он безразличен им.

Нет, пусть вместо этого пойдут наугад в первый попавшийся приход за каким-нибудь молодым викарием или стареньким кюре; пусть, застав его врасплох за чтением книги у камелька, ему скажут:

— Есть человек, который должен умереть, и надо, чтобы вы, только вы, сказали ему слова утешения; чтобы вы присутствовали при том, как ему свяжут руки и обстригут волосы; чтобы вы, держа в руках распятие, сели с ним в телегу и заслонили от него палача; чтобы вы вместе с ним тряслись по булыжной мостовой до самой Гревской площади; чтобы вы вместе с ним прошли сквозь жестокую, жаждущую крови толпу; чтобы вы поцеловали его у подножия эшафота и не уходили бы, пока голова его не отделится от туловища.

И пусть тогда его приведут ко мне, потрясенного, трепещущего, пусть толкнут меня в его объятия, к его ногам; и он будет плакать, и мы поплачем вместе, и он найдет нужные слова, и я буду утешен, и он сердцем разделит скорбь моего сердца и примет мою душу, а я приму его бога.

А что для меня этот добросердечный старец? Что я для него? Субъект из породы несчастных, одна из многих теней, прошедших мимо него, единица, которую надо прибавить к числу казненных.

Быть может, я не прав, что отталкиваю его; не он плох, плох я сам. Что поделать! Я не виноват. Мое дыхание, дыхание смертника, пятнает и портит все.

Мне принесли еду; верно решили, что я проголодался. Кушанья все тонкие, изысканные, кажется цыпленок и что-то еще. Я попытался есть, но выплюнул первый же кусок, — таким он мне показался горьким и зловонным!

Только что сюда входил господин, он не снял шляпы, даже не взглянул на меня; достав складной фут, он принялся сверху донизу измерять стены, приговаривая вслух: «Так, верно»; или же: «Нет, не верно».

Я спросил у жандарма, кто он такой. Оказалось, что он состоит чем-то вроде младшего архитектора при тюрьме.

Он в свою очередь заинтересовался мною. Обменявшись несколькими словами с привратником, сопровождавшим его, он на мгновение остановил на мне взгляд, беззаботно тряхнул головой и снова принялся обмерять стены и приговаривать вслух.

Окончив свое дело, он подошел ко мне и произнес зычным голосом:

— Знаете, приятель, через полгода тюрьма будет неузнаваема.

Выразительный жест его при этом говорил: «Жаль, вы ею не попользуетесь». Еще немного, и он бы улыбнулся. Я ждал, что он того и гляди начнет подтрунивать надо мной, как подтрунивают над новобрачной в свадебный вечер.

Мой жандарм, старый солдат с нашивками, ответил за меня:

— Сударь, в комнате покойника не принято так громко говорить.

Архитектор удалился.

Я же застыл на месте, как те камни, которые он обмерял.

XXXII

Дальше со мной произошел комический случай.

Доброго старика жандарма пришли сменить, а я в своей черствой неблагодарности даже не пожал ему руки. Его место занял другой: низколобый человек с глазами навывкате и глупой физиономией.

Впрочем, я не обратил на него ни малейшего внимания. Я сидел за столом, спиной к двери и старался охладить лоб ладонью; ум мой мутился от осаждавших меня мыслей.

Но вот меня тихонько тронули за плечо, и я обернулся. Это оказался новый жандарм; мы с ним были одни.

Он обратился ко мне примерно с такими словами:

— Преступник, вы добрый человек?

— Нет, — сказал я.

Такой прямолинейный ответ, видимо, смутил его. Тем не менее он заговорил опять, менее уверенно:

— Сам по себе никто злым не бывает.

— Почему не бывает? — возразил я. — Если у вас нет ко мне другого дела, оставьте меня в покое. Что вам надобно?

— Уж вы меня простите, господин преступник. Всего два словечка. Скажем, вы можете принести счастье бедному человеку и оно для вас ничего не составит, неужто вы откажетесь?

Я пожал плечами.

— Вы что, из Шарантона явились? Станный источник счастья вы себе присмотрели. Как я могу кому-нибудь принести счастье!

Он понизил голос и принял таинственный вид, совсем не вязавшийся с его глупой физиономией.

— Да, да, преступник, и счастье и богатство. Все ко мне может прийти через вас. Вот послушайте. Я бедный жандарм.хлопот много, а дохода мало; один конь чего стоит, он у меня собственный. Чтобы свести концы с концами, я ставлю в лотерею. Надо же чем-нибудь промышлять. Все бы ничего, да номера до сих пор выходили не те. Как я ни стараюсь угадать номер, каждый раз попадаю рядом. Ставлю на семьдесят шесть, а выходит семьдесят семь. Уж сколько я на них просадил, а все понапрасну... Потерпите маленечко, я сейчас договорю. А тут случай мне прямо в руки идет. Не в обиду вам будь сказано, преступник, говорят, вы сегодня помрете. А всем доподлинно известно, что покойники, которых таким манером отправляют на тот свет, заранее знают, какой номер выйдет в лотерею. Не считите за труд, явитесь мне завтра вечером и назовите три номера, самых верных, ладно? Вам это ничего не стоит. А я привидений не боюсь, на этот счет не сомневайтесь. Вот вам мой адрес: Попэнкурские казармы, подъезд А, номер двадцать шесть, в конце коридора. Вы ведь меня в лицо узнаете, правда? Приходите хоть сегодня, если вам будет удобнее.

Я бы не стал даже отвечать этому болвану, но безумная надежда вдруг вспыхнула у меня в мозгу. В таком

безысходном положении, как мое, минутами кажется, что можно волоском перетереть цепи.

— Послушай, — сказал я, решив разыграть комедию, насколько это возможно на пороге смерти, — я в самом деле могу сделать тебя богаче короля. Я помогу тебе выиграть миллионы. Но при одном условии...

Он вытаращил глаза.

— На каком? Скажите, на каком? Я рад вам служить чем прикажете, господин преступник.

— Обещаю назвать тебе не три номера, а целых четыре. Но сперва поменяйся со мной одеждой.

— Если только за этим дело! — воскликнул он и уже принялся расстегивать мундир.

Я встал со стула. Я следил за каждым его движением. Сердце у меня отчаянно билось. Мне уже виделось, как перед жандармским мундиром раскрываются двери, как площадь, и улица, и Дворец правосудия остаются позади!

Но тут он обернулся с видом сомнения.

— А на что вам это? Может, чтобы уйти отсюда?

Мне стало ясно, что все погибло. Однако я сделал последнюю попытку, совершенно ненужную и нелепую.

— Ну да, зато твое благополучие обеспечено, — ответил я.

Он меня перебил:

— Э, нет! Пойдите! А номера-то мои как же? Чтобы они были верные, вам надо быть покойником.

Я снова сел, еще больше подавленный безнадежностью от вспыхнувшей на миг надежды.

XXXIII

Я зажмурил глаза, прикрыл их ладонями и попытался забыться, уйти в прошлое от настоящего. И в мечтах одно за другим возникают воспоминания детства и юности, милые, мирные, веселые, точно цветущие островки среди водоворота черных, беспорядочных мыслей, кружащихся у меня в голове.

Видится мне, как я, ребенком, веселым, румяным школьником, вместе с братьями играю и бегаю по большой зеленой аллее запущенного сада, где прошли мои

ранние годы; это бывшие монастырские владения, и над ними возвышается свинцовая шапка мрачного собора Валь-де-Грас.

Спустя четыре года я снова там, все еще мальчиком, но уже мечтательным и пылким. В пустынном саду со мною вместе — девочка-подросток.

Маленькая испаночка с большими глазами и длинными косами, с вишневыми губами и нежным румянцем на золотисто-смуглом личике, четырнадцатилетняя андалузка Пепа.

Наши мамы послали нас побегать, а мы чинно гуляем по саду. Нас послали резвиться, а мы беседуем. Мы дети одного возраста, но не одного пола.

А между тем еще год назад мы бегали, боролись друг с другом. Я старался отнять у Пепиты лучшее яблоко с яблони; я дрался с ней из-за птичьего гнезда. Она плакала, а я говорил: «Так тебе и надо!» Потом мы оба шли жаловаться мамам, и они вслух сердились, а потихоньку умилялись.

Теперь она опирается на мою руку, а я и горд и смущен. Мы ходим медленно, мы разговариваем шопотом. Она роняет платочек, я его поднимаю. Руки у нас вздрагивают, соприкасаясь. Она говорит о птичках, о звездочке, которая мерцает вон там, вдали, об алом закате за стенами деревьев, о пансионских подругах, о платьях и лентах. Мы разговариваем на самые невинные темы, и оба при этом краснеем. Девочка превратилась в девушку.

В тот вечер — то был летний вечер — мы гуляли под каштанами в самом конце сада. После долгого молчания, которым теперь были заполнены наши уединенные прогулки, она вдруг выпустила мою руку и сказала: «Бежим наперегонки!»

Как сейчас вижу ее, она была вся в черном, в трауре по бабушке. Ребяческая фантазия пришла ей в голову. Пепа снова стала Пепитой и сказала мне: бежим наперегонки!

И она понеслась вперед, я видел ее тонкий, как у пчелки, стан, стройные ножки, мелькавшие из-под платья, я догонял ее, она убегала; черная пелеринка раздувалась от быстрого бега и обнажала смуглую молодую спину.

Я не помнил себя, я настиг ее у старого развалившегося колодца; по праву победителя я схватил ее за талию

и усадил на дерновую скамью; она не противилась; она смеялась, с трудом переводя дух; а мне было не до смеха, я вглядывался в ее черные глаза под завесой черных ресниц.

— Сядьте рядом, — сказала она. — Еще совсем светло, можно почитать. У вас есть какая-нибудь книжка?

Со мной был второй том «Путешествий Спалланцани». Я раскрыл его наугад и придвинулся к ней, она оперлась плечом о мое плечо, и мы стали читать вместе, каждый про себя. Всякий раз ей приходилось дожидаться меня, чтобы перевернуть страницу. Ум у нее был быстрее моего.

— Кончили? — спрашивала она, когда я только успел начать.

А головы наши соприкасались, волосы смешивались, дыхание все сближалось, и вдруг сблизились губы.

Когда мы надумали читать дальше, все небо было в звездах.

— Ах! Мама, мамочка, если бы ты видела, как мы бежали!

А я не говорил ни слова.

— Что же ты молчишь? И вид у тебя какой-то понурый, — заметила моя мать.

На душе у меня было как в раю. Этот вечер я буду помнить всю жизнь.

Всю жизнь!

XXXIV

Только что пробили часы. Не знаю сколько раз, я плохо слышу их бой. В ушах у меня стоит гул, как от органа. Это жужжат мои последние мысли.

В торжественные минуты благоговейного паломничества в прошлое я с ужасом наталкиваюсь на свое преступление; но мне кажется, я раскаиваюсь недостаточно. До приговора угрызения совести были сильнее; с тех пор мысли о смерти вытеснили все остальное. А я хотел бы каяться еще и еще.

Я забылся на миг, перебирая все, что было в моей жизни, а когда мысли мои вернулись к удару топором, который сейчас оборвет ее, я содрогнулся, будто узнал об этом впервые. Чудесное мое детство! Чудесная юность! Златотканый ковер, конец которого омочен в крови.

Между прошлым и настоящим пролегла река крови, крови его и моей.

Кто бы ни прочел когда-нибудь повесть моей жизни, никто не поверит, чтобы после стольких лет беспорочного счастья мог наступить этот страшный год, который начался преступлением и кончается казнью. Он никак не вяжется с остальными годами. И все же — подлые законы и подлые люди, — я не был дурным человеком!

О господи! Умереть через несколько часов, сознавая, что в этот самый день год назад я был свободен и безвиновен, совершал прогулки и бродил под деревьями по опавшей осенней листве.

XXXV

Вот сейчас, в эту минуту, совсем рядом со мной, в домах, окружающих Дворец правосудия и Гревскую площадь, и во всем Париже люди приходят и уходят, разговаривают и смеются, читают газету, обдумывают свои дела: лавочники торгуют, девушки готовят к вечеру бальные платья; матери играют с детьми!

XXXVI

Как-то в детстве я ходил смотреть большой колокол Собора богородицы.

Голова уже кружилась у меня от подъема по темной винтовой лестнице, от перехода по хрупкой галлерее, соединяющей обе башни, от зрелища Парижа подо мной, когда я очутился в клетке из камня и бревен, где висит большой колокол с языком весом в тысячу фунтов. Весь дрожа, ступал я по плохо пригнанному дощатому полу, издали разглядывая знаменитый колокол, который так славится среди ребят и простого народа, при этом я в ужасе убедился, что покатые шиферные кровли, окружающие колокольню, находятся на уровне моих ног. В промежутках я видел, так сказать с птичьего полета, площадь перед собором и прохожих ростом не больше муравьев.

И вдруг гигантский колокол зазвонил, мощный звук потряс воздух, грузная башня дрогнула. Дощатый настил ходуном заходил на балках. А я чуть не упал навзничь от внезапного грохота; я покачулся и еле удержался, чтобы не покатиться по наклонной шиферной кровле. От испуга я лег на доски и крепко обхватил их обеими руками, у меня отнялся язык и перехватило дыхание, а в ушах раздавался оглушительный звон и перед глазами где-то глубоко, как бездна, зияла площадь, по которой с завидной безмятежностью сновали прохожие.

И вот сейчас я будто снова в башне большого колокола. Голова у меня кружится, в глазах темнеет, каждая извилина моего мозга сотрясается как от колокольного звона; а та ровная мирная стезя жизни, с которой я свернул и по которой совершают свой путь другие люди, виднеется где-то вдали, сквозь расселины бездны.

XXXVII

Парижская ратуша — угрюмое мрачное здание с островерхой, крутой кровлей, с неожиданно тоненькой колоколенкой, с огромным белым циферблатом, с рядом мелких колонн в каждом этаже, с бесчисленными окнами, с лестницами, истертыми от шагов, с двумя арками направо и налево; недаром на Гревскую площадь обращен ее зловещий, источенный старостью фасад, такой темный, что даже на солнце он не становится светлее.

В дни казней все ее двери ломаются от жандармов, все окна смотрят на приговоренного.

А вечером ее циферблат, показавший урочный час, продолжает светиться на черном фасаде.

XXXVIII

Пробило четверть второго.

Вот что я ощущаю сейчас:

Жестокую головную боль, озноб в спине и жар в висках. Всякий раз, как я наклоняюсь, мне кажется, будто в

мозгу у меня переливается какая-то жидкость и мозг мой бьется о стенки черепа.

Судорожная дрожь проходит по всему телу, и перо выпадает из рук, как от гальванического толчка.

Глаза словно разъедает дым. Локти ломит. Еще два часа и три четверти, и я буду исцелен.

XXXIX

Говорят, в этом ничего нет страшного, при этом не страдают, это спокойный конец, и смерть таким способом очень облегчена.

А чего стоит шестинедельная агония и целый день предсмертной муки? Чего стоит томление этого невозвратного дня, который тянется так медленно и проходит так быстро? Чего стоит эта лестница пыток, ступень за ступенью приводящая к эшафоту?

Повидимому, это не считается страданием. А неизвестно, что мучительнее — чтобы кровь уходила капля за каплей или чтобы сознание угасало мысль за мыслью.

И откуда у них такая уверенность, что при этом не страдают? Кто это им сказал? Слыхано ли, чтобы отрубленная голова, вся в крови, выглянула из корзины и крикнула в толпу: «Это совсем не больно!»

Кто из умерших по их рецепту приходил выразить им благодарность и заявить: «Изобретение хоть куда, лучшего не ищите, механизм действует исправно».

Уж не Робеспьер ли? Или Людовик XVI?

Ничего страшного! Полминуты, нет — полсекунды, и все кончено. А тот, кто так говорит, поставил ли себя даже мысленно на место человека, на которого падает тяжелое лезвие и впивается в тело, разрывает нервы, крушит позвонки?.. Как же! Полсекунды! Боль не чувствуется... Какой ужас!

XL

Непонятно, почему мысль о короле не покидает меня. Как я ни уговариваю себя, как ни отмахиваюсь, внутренний голос непрерывно нашептывает мне:

«В этом же городе. в это же время, недалеко отсюда,

в другом дворце находится человек, чьи двери тоже охраняются часовыми, человек, как и ты, не имеющий себе равного в глазах народа, с той разницей, что он первый, а ты последний из людей. Каждая минута его жизни полна торжества, величия, упоения и улады. Его окружает любовь, почет, благоговение. В беседе с ним самые громкие голоса становятся тихими и склоняются самые горделивые головы. Взгляд его ласкают золото и атлас. В этот час он, верно, совещается с министрами, и все согласны с его мнением, или же думает о завтрашней охоте, о сегодняшнем бале, не сомневаясь, что празднество состоится во-время, и возлагая на других заботу об его увеселениях. А ведь он такой же человек, из плоти и крови, как ты! — И чтобы сию минуту рухнул проклятый эшафот, чтобы тебе было возвращено все — жизнь, свобода, состояние, семья, достаточно, чтобы он вот этим пером начертал под листком бумаги четыре буквы своего имени, достаточно даже, чтобы его карета встретила с твоей телегой. И он ведь добрый и, может быть, рад бы все сделать, но ничего этого не будет!

XLI

Ну что ж! Соберем все мужество перед лицом смерти и прямо взглянем ей в глаза. Пусть ответит нам, что она такое и чего от нас хочет, со всех сторон рассмотрим эту жестокую мысль, постараемся расшифровать загадку и заранее заглянуть в могилу. Когда глаза мои закроются, я увижу, мне кажется, яркое сияние, бездны света, в которых будет вечно парить мой дух. Небо, мне кажется, засветится само по себе, а звезды будут на нем темными пятнами, не золотыми блестками на черном бархате, как в глазах живых, а черными точками на золотой парче.

Или же мне, окаянному, откроется глубокая, страшная пропасть, со всех сторон окутанная мраком, и я буду вечно падать в нее и видеть, как во мгле шевелятся призраки.

А может быть, после того, как это свершится, я очнусь на плоском, сыром пространстве и буду ползать в темноте, вращаясь, как вращается скатившаяся голова. Мне кажется, сильный ветер будет гнать меня и сталкивать с другими катящимися головами. Местами мне будут попадаться болота и ручьи, наполненные неизвестной теплова-

той жидкостью, такой же черной, как все кругом. Когда во время вращения глаза мои обратятся вверх, они увидят сумрачное небо, все в тяжелых, низко нависающих тучах, а дальше, в глубине, огромные клубы дыма, чернее самого мрака. Еще увидят они мелькающие во тьме красные точки, которые вблизи обернутся огненными птицами. И это будет длиться вечность. Возможно также, что в памятные даты гревские мертвецы собираются темными зимними ночами на площади, по праву принадлежащей им. К толпе этих бледных окровавленных теней примкну и я. Ночь безлунная, все говорят шопотом. И перед нами снова обветшалый фасад ратуши, ее облупленная крыша и циферблат, который был неумолим ко всем нам. На площади воздвигнута адская гильотина, где чорт должен казнить палача. Произойдет это в четыре часа утра, и теперь уж мы будем толпиться вокруг.

Допустим, что так оно и есть. Но если мертвецы возвращаются, в каком же облике возвращаются они? Что они сохраняют от своего урезанного, изувеченного тела? Что предпочитают? Голова или туловище становится призраком?

А что делает смерть с нашей душой? Какой природой наделяет ее? Что берет у нее или придает ей? Куда девает ее? Возвращает ли ей хоть изредка телесные очи, чтобы смотреть на землю и плакать?

О, найдите, найдите мне священника, который знал бы это. Мне нужен священник, мне нужно приложиться к распятию!

Господи, опять тот же самый!

XLII

Я сказал ему, что хочу спать, и бросился на постель.

От сильного прилива крови к голове я и в самом деле уснул. В последний раз я спал таким сном.

И мне приснилось, будто сейчас ночь. Будто я сижу в своем кабинете с двумя-тремя друзьями, не помню уж с кем.

Жена легла спать рядом в спальне и вместе с собой уложила ребенка.

Мы с друзьями разговаривали шопотом о чем-то, что пугало нас самих.

Вдруг мне послышался шум где-то, в соседних комнатах. Слабый, непонятный, неопределенный шум.

Друзья тоже услышали его. Мы прислушались: казалось, кто-то осторожно открывает замок и потихоньку перепиливает засов.

Что-то в этом было жуткое — мы холодели от страха. Потом подумали, что не иначе как воры забрались ко мне в такой поздний час. И решили пойти посмотреть. Я встал и взял свечу. Друзья потянулись за мной следом.

Мы прошли через спальню. Жена моя спала вместе с ребенком.

Мы очутились в гостиной. Ни души. Портреты неподвижно висели в золоченых рамах на красных обоях. Мне показалось, что дверь из гостиной в столовую приотворена.

Мы вошли в столовую; принялись осматривать ее. Я шел первым. Дверь на лестницу была заперта, окна тоже. Подойдя к печке, я заметил, что бельевого шкап открыт и что его распахнутая дверца заслоняет угол комнаты.

Это меня озадачило. Мы решили, что за дверцей кто-то прячется.

Я потянул рукой дверцу; она не подавалась. Я удивился и дернул сильнее; дверца захлопнулась, и мы увидели сгорбленную старуху, стоявшую неподвижно с опущенными руками, с закрытыми глазами, словно приклеенную к углу. В этом было что-то невыразимо страшное, волосы и сейчас, при одном воспоминании, встают у меня дыбом.

Я спросил старуху:

— Что вы тут делаете?

Она не ответила.

Я спросил:

— Кто вы?

Она не ответила, не пошевелилась, не открыла глаз.

Друзья решили:

— Наверно, она сообщница тех, кто пришел сюда с дурными намерениями; остальные, услышав наши шаги, убежали, а она не успела и спряталась в углу.

Я снова принялся допрашивать ее — она не отвечала, не двигалась, не глядела.

Кто-то из нас толкнул ее, она упала.

Она рухнула разом, как кусок дерева, как безжизненный предмет.

Мы попытались сдвинуть ее ногой, потом двое из нас подняли ее и снова приставили к стене. Она не подавала признаков жизни. Ей кричали прямо в ухо. Она оставалась нема, словно ничего не слышала. Мы уже стали терять терпение, и к ужасу примешивалась злоба. Кто-то посоветовал мне:

— Поднесите ей под нос свечу.

Я поднес зажженный фитилек к ее лицу. Тогда она полуоткрыла один глаз, тусклый, страшный, незрячий.

Я отвел свечу и сказал:

— Ага! Наконец-то! Будешь теперь отвечать, старая колдунья? Кто ты?

Глаз закрылся, будто сам собой.

— Ну, это уж наглость, — хором закричали мои друзья. — Давайте, давайте еще свечу! Заставьте ее отвечать!

Я снова поднес свечу к лицу старухи.

И вот она медленно открыла оба глаза, по очереди оглядела нас всех, потом, внезапно нагнувшись, задула свечу,дохнув на нее ледяным дыханием. В эту же секунду три острых зуба в темноте вонзились мне в руку.

Я проснулся, весь дрожа, обливаясь холодным потом.

Добрый священник сидел в ногах моей кровати и читал молитвы.

— Долго я спал? — спросил я.

— Вы проспали час, сын мой, — ответил он. — К вам привели дочку. Она дожидается в соседней комнате. Я не позволил вас будить.

— Моя дочка здесь! — вскричал я. — Приведите ее ко мне.

XIII

Она такая свеженькая, розовенькая, у нее огромные глаза, она красotka!

На нее надели платье, которое очень ей к лицу.

Я схватил ее, поднял на руки, посадил к себе на колени, целовал ее головку.

Почему она без мамы? — Мама больна, бабушка тоже больна. Так я и думал.

Она удивленно смотрела на меня и безропотно терпела ласки, объятия, поцелуи, только время от времени с беспокойством поглядывала на свою няню, которая плакала в уголке.

Наконец я нашел в себе силы заговорить.

— Мари! Крошка моя Мари! — прошептал я и крепко прижал ее к груди, из которой рвались рыдания. Она слабо вскрикнула.

— Мне больно, не надо так, дядя, — жалобно сказала она.

Дядя! Бедная детка, она почти год не видела меня. Она забыла мое лицо, интонации голоса; да и как меня узнать, обросшего бородой, бледного, в такой одежде? Значит, она уже не помнит меня! Когда только в ее памяти мне хотелось бы жить! Значит, я уже не отец! Мне не суждено больше слышать это слово детского языка, такое нежное, что оно не может перейти в язык взрослых, слово «папа»!

Только бы еще раз, один раз услышать его из этих уст — вот все, чего я прошу за сорок лет жизни, которые отнимают у меня!

— Ну посмотри же, Мари, разве ты меня не помнишь? — сказал я, соединяя обе ее ручонки в своих руках.

Она подняла на меня прекрасные черные глазки и сказала:

— Совсем не помню!

— Посмотри получше, — настаивал я. — Неужели ты не знаешь, кто я?

— Знаю, вы чужой дядя.

Как это ужасно, когда единственное существо на свете, которое любишь беззаветно, любишь всей силой своей любви, смотрит на тебя, говорит с тобой, отвечает тебе и не узнает тебя! Когда ты жаждешь утешения только от него, а от него одного скрыто, что ты нуждаешься в утешении, потому что ты должен умереть!

— У тебя есть папа, Мари? — спросил я.

— Есть, — ответила девочка.

— Где же он?

Ее большие глаза с удивлением обратились на меня.

— А вы не знаете? Он умер.

Она опять вскрикнула, я едва не уронил ее.

— Умер! — повторил я. — А ты знаешь, Мари, что значит — умер?

— Знаю, он в земле и на небе, — и сама от себя добавила: — Я каждое утро и каждый вечер молюсь за него боженьке у мамы на коленях.

Я поцеловал ее в лоб.

— Скажи мне, как ты молишься, Мари.

— Нельзя, дядя. Днем не молятся. Приходите к нам сегодня вечером, тогда я вам скажу молитву.

Это было выше моих сил. Я перебил ее:

— Мари, я — твой папа.

— Ну-у! — протянула она.

Я настаивал:

— Хочешь, чтобы я был твой папа?

Девочка отвернулась.

— Нет, мой папа был красивее.

Я осыпал ее поцелуями, смешанными со слезами. Она пыталась высвободиться и кричала:

— У вас борода колючая!

Тогда я снова усадил ее на колени и, не спуская с нее глаз, принялся расспрашивать:

— Ты умеешь читать, Мари?

— Умею, — ответила она. — Мама учит меня читать буквы.

— Ну-ка почитай, — предложил я, показывая на бумагу, которую она комкала в своих ручонках.

Она покачала прелестной головкой.

— Ну, нет! Я умею читать только сказки.

— Попробуй. Почитай.

Она развернула бумагу и принялась, водя пальчиком, разбирать по складам:

— П, Р, И, при; Г, О, го; В, О, Р, вор — приговор...

Я вырвал у нее бумажку. Она читала мой смертный приговор. Нянька купила его за медяк. Мне-то он стоил дороже.

Словами не выразишь, что я испытывал. Мой резкий жест испугал Мари, она чуть не расплакалась и вдруг потребовала:

— Не трогайте бумагу, слышите! Это моя игрушка. Я передал девочку няньке.

— Унесите ее.

А сам снова упал на стул, опустошенный, полный мрачного отчаяния. Пусть скорее приходят; я больше ничем не дорожу; последняя нить, связывавшая меня с жизнью, порвана. Я готов для того, что со мною собираются сделать.

XLIV

Священник — добрый человек, жандарм тоже. Кажется, они пролили слезу, когда я велел унести моего ребенка.

С этим покончено. Теперь мне надо собрать все душевные силы и заставить себя спокойно думать о палаче, о телеге, о жандармах, о зеваках на мосту, о зеваках на набережной, о зеваках у окон и о том, что воздвигнуто в мою честь на зловещей Гревской площади, которую можно вымостить головами, скатившимися на ней.

Кажется, у меня остался еще час, чтобы освоиться с этими мыслями.

XLV

Все эти толпы будут смеяться, хлопать в ладоши, ликовать. А среди стольких людей, свободных и незнакомых тюремщикам, с восторгом бегущих смотреть на казнь, среди этого моря голов, которое затопит площадь, не одной голове предложено рано или поздно последовать за моей в кровавую корзину. Не один из тех, что пришел ради меня, придет сюда ради самого себя.

Для этих отмеченных роком людей есть на Гревской площади роковая точка, центр притяжения, ловушка. Они кружат вокруг, пока не попадут в нее.

XLVI

Крошка моя Мари! Она возвращается к своим забавам. Из окна фиакра она смотрит на толпу и уже совсем не думает о чужом дяде.

Может быть, я успею написать несколько страничек для

нее, чтобы она прочла их в свое время и через пятнадцать лет оплакала то, над чем не плакала сегодня.

Да, она от меня должна узнать мою историю, должна знать, почему имя, которое я завещаю ей, запятнано кровью.

XLVII

Моя история

Примечание издателя. До сих пор не удалось отыскать соответствующие страницы. Повидимому, как можно заключить из последующих, приговоренный не успел их написать. Эта мысль возникла у него слишком поздно.

XLVIII

Из комнаты в ратуше

Из ратуши!.. Итак, я здесь. Страшный путь пройден. Площадь там внизу, и ненавистная толпа под окном вопит и ждет меня и хохочет.

Как ни старался я быть стойким и неуязвимым, силы мне изменили. Когда я увидел поверх голов, между двумя фонарями набережной, эти поднятые кверху красные руки с черным треугольником на конце, силы мне изменили. Я попросил, чтобы мне дали возможность сделать последнее заявление. Меня отвели сюда и послали за одним из королевских прокуроров. Я жду его, как-никак — выигрыш времени.

Вот как это было:

Пробило три часа, и мне пришли сказать, что пора. Я задрожал так, словно последние шесть часов, шесть недель, шесть месяцев думал о чем-то другом. Меня это поразило как нечто неожиданное. Они заставили меня идти по их коридорам, спускаться по их лестницам. Они втолкнули меня через одну, потом вторую дверцу нижнего этажа в мрачное сводчатое тесное помещение, куда едва проникал свет дождливого, туманного дня. Посередине был поставлен стул. Мне велели сесть; я сел.

Возле двери и у стен стояли какие-то люди, кроме священника и жандармов, и еще в комнате находилось трое мужчин.

Первый, краснощекий, толстый, выше и старше остальных, был одет в сюртук и продавленную треуголку. Это был он.

Это был палач, слуга гильотины, а двое других — его слуги.

Едва я сел, как те двое по-кошачьи подкрались ко мне сзади; я внезапно почувствовал холод стали в волосах и услышал лязганье ножиц.

Волосы мои, обстриженные кое-как, прядями падали мне на плечи, а мужчина в треуголке бережно смахивал их своей ручищей.

Кругом переговаривались вполголоса.

Снаружи слышался глухой гул, словно набегавший волнами. Я было подумал, что это река; но по взрывам смеха понял, что это толпа.

Молодой человек у окна, что-то отмечавший карандашом в записной книжке, спросил у одного из тюремщиков, как называется то, что происходит.

— Туалет приговоренного, — ответил тюремщик.

Я понял, что завтра это будет описано в газетах.

Вдруг один из подручных стащил с меня куртку, а другой взял мои опущенные руки, отвел их за спину, и я почувствовал, как вокруг моих запястий обвивается веревка. Тем временем второй снимал с меня галстук. Батистовая сорочка, единственный клочок, уцелевший от того, кем я был прежде, на миг привела его в замешательство; потом он принялся срезать с нее ворот.

От этой жуткой предусмотрительности, от прикосновения к шее холодной стали локти мои дернулись, и приглушенный вопль вырвался у меня. Рука палача дрогнула.

— Простите, сударь! — сказал он. — Неужели я задел вас?

Палачи — люди обходительные.

А толпа на площади ревела все громче.

Толстяк с прыщавым лицом предложил мне понюхать платок, смоченный уксусом.

— Благодарю вас, я чувствую себя хорошо, — ответил я, стараясь говорить твердым голосом.

Тогда один из подручных нагнулся и надел мне на ноги петлю из тонкой бечевки, стянув ее настолько, чтобы я мог делать мелкие шажки. Конец этой веревки он

соединил с той, которой были связаны руки. Потом толстяк накинул мне на плечи куртку и связал рукава у подбородка.

Все, что полагалось сделать, было пока что сделано.

Тут ко мне приблизился священник с распятием.

— Идемте, сын мой, — сказал он.

Помощники палача подхватили меня подмышки. Я встал и пошел. Ноги у меня были как ватные и подгибались, словно в каждой было по двое колен.

В этот миг наружная дверь распахнулась. Бешеный рев, холодный воздух и дневной свет хлынули ко мне. Из-под темного свода я, сквозь сетку дождя, сразу увидел все: тысячеголовую орущую толпу, запрудившую большую лестницу Дворца правосудия; направо, в уровень со входом, ряд конных жандармов, — низенькая дверца позволяла мне видеть только лошадиные ноги и груди; напротив — взвод солдат в боевом порядке; налево — задняя стенка телеги, с приставленной к ней крутой лесенкой. Страшная картина, и тюремная дверь была для нее достойной рамой.

Этой минуты я боялся и для нее берег все свои силы. Я прошел три шага и появился на пороге.

— Вот он! Вот! Выходит! Наконец-то! — завопила толпа.

И те, кто был поближе, захлопали в ладоши. При всей любви к королю его бы не встретили так восторженно.

Телега была самая обыкновенная, запряженная чахлой клячей, а на вознице был синий в красных разводах фартук, какие носят огородники в окрестностях Бисетра.

Толстяк в треуголке вошел первым.

— Здорово, господин Сансон! — кричали ребятишки, взгромоздившиеся на решетку.

За ним последовал один из подручных.

— Молодчина, Вторник! — опять закричали ребятишки.

Оба они сели на переднюю скамейку.

Наступил мой черед. Я вошел довольно твердой поступью.

— Молодцом держится! — заметила женщина, стоявшая около жандармов.

Эта жестокая похвала придала мне силы. Священник сел рядом со мной. Меня посадили на заднюю скамейку, спиной к лошади. Такая заботливость привела меня в содрогание.

Они и здесь стараются щегольнуть человеколюбием. Мне захотелось посмотреть, что делается кругом. Жандармы впереди, жандармы позади, а дальше толпы, толпы и толпы; одни сплошные головы на площади.

Пикет конной жандармерии ожидал меня у ограды Дворца правосудия. Офицер скомандовал. Телега вместе с конвоем тронулась в путь, вой черни как будто подталкивал ее.

Мы выехали из ворот. В ту минуту, когда телега свернула на мост Менял, площадь разразилась криками от мостовой до крыш, а набережные и мосты откликнулись так, что казалось вот-вот сотрясется земля.

На этом повороте конный пикет присоединился к конвою.

— Шапки долой! Шапки долой! — кричали тысячи голосов. Прямо как для короля.

Тут и я рассмеялся горьким смехом и сказал священнику:

— С них шапки, с меня голову.

Телега ехала шагом.

Набережная Цветов благоухала — сегодня базарный день. Продавщицы ради меня побросали свои букеты.

Напротив, немного подальше квадратной башни, образующей угол Дворца правосудия, расположены кабачки; верхние помещения их были заполнены счастливыми, получившими такие хорошие места. Особенно много было женщин. У кабачников сегодня удачный день.

Люди платили за столы, за стулья, за доски, за тележки. Все кругом ломилось от зрителей. Торговцы человеческой кровью кричали во всю глотку:

— Кому место?

Злоба против этой толпы овладела мной. Мне хотелось крикнуть:

— Кому уступить мое?

А телега все подвигалась. Позади нас толпа рассеивалась, и я помутившимся взглядом смотрел, как она собирается снова на дальнейших этапах моего пути.

При въезде на мост Менял я случайно оглянулся вправо и на противоположном берегу заметил над домами черную башню, которая стояла одиноко, оцетинясь скульптурными украшениями, а на верхушке ее мне были видны в профиль два каменных чудовища. Сам не знаю, почему я спросил у священника — что это за башня.

— Святого Якова-на-Бойнях, — ответил вместо него палач.

Не могу постичь, каким образом, несмотря на туман и частый мутный дождь, заволакивавший воздух точно сеткой паутины, я до мельчайших подробностей видел все, что происходило вокруг. И каждая подробность была мучительна по-своему. Есть переживания, для которых не хватает слов.

Около середины моста Менял, настолько запруженного толпой, что при всей его ширине мы едва плелись, мною овладел безудержный ужас. Я испугался, что упаду в обморок, — последний проблеск тщеславия! И постарался забыть, ни на что не смотреть, ни к чему не прислушиваться, кроме слов священника, которые едва долетали до меня сквозь шум и крик.

Я взял распятие и приложился к нему.

— Господи, смилуйся надо мной! — прошептал я, стараясь углубиться в молитву.

Но от каждого толчка телеги меня встряхивало на жестком сиденье. Потом вдруг я ощутил пронизывающий холод, одежда промокла на мне насквозь, дождь поливал мою остриженную голову.

— Вы дрожите от холода, сын мой? — спросил священник.

— Да, — ответил я.

Увы! Я дрожал не только от холода. Когда мы свернули с моста, какие-то женщины пожалели меня за молодость.

Мы выехали на роковую набережную. Я уже почти ничего не видел и не слышал. Бесперывные крики, бесчисленные головы в окнах, в дверях, на порогах лавок, на фонарных столбах, жестокое любопытство зевак; толпа, в которой все меня знают, а я не знаю никого; человеческие лица подо мной и вокруг меня. Я был как пьяный,

как безумный, я застыл как в столбняке. Нестерпимое бремя — столько упорных, неотступных взглядов.

Я трясся на скамейке, не замечая ни священника, ни распятия.

В окружающем меня шуме я не отличал уже возгласов жалости от возгласов злорадства, смеха — от вздохов, слов — от гама; все сливалось в общий гул, от которого голова у меня гудела, как медный инструмент.

Я бессознательно пробегал глазами вывески на лавках.

Один раз странное любопытство побудило меня обернуться и посмотреть на то, к чему я приближался. Это было последнее дерзание рассудка. Но тело не повиновалось, шея у меня точно окостенела, точно отмерла заранее.

Мне только удалось увидеть сбоку, слева, на том берегу реки одну из башен Собора бдгоматери, ту, на которой флаг, — вторая скрыта за ней. Там было много народа, оттуда, верно, все видно.

А телега все подвигалась и подвигалась, лавки проплывали мимо, вывески, писанные, рисованные, золоченые, сменяли одна другую, и чернь зубоскалила и топталась в грязи, и я подчинялся всему, как спящие — воле сновидения.

Вдруг ряд лавок, по которому я скользил взглядом, оборвался на углу какой-то площади; рев толпы стал еще громче, пронзительнее, восторженнее; телега разом остановилась, и я едва не упал ничком на дно. Священник удержал меня.

— Мужайтесь! — шепнул он.

К задней стенке телеги приставили лесенку; священник подал мне руку, я спустился, сделал шаг, повернулся, чтобы сделать второй, и не мог. Между двумя фонарями набережной я увидел страшную штуку.

Нет, это не был сон!

Я зашатался, словно мне уже нанесли удар.

— Мне надо сделать последнее заявление, — слабым голосом выкрикнул я.

Меня привели сюда.

Я попросил, чтобы мне разрешили написать мою последнюю волю. Мне развязали руки, но веревка тут, наготове, как и сстальное там, внизу.

Какое-то должностное лицо, не то судья, не то пристав, только что приходил ко мне. Я просил у него помилования, сложив руки, как на молитве, и ползая перед ним на коленях. А он с саркастической усмешкой заметил, что ради этого не стоило его звать.

— Добейтесь, добейтесь помилования! — твердил я.— Или, ради Христа, подождите хоть пять минут!

Кто знает? Помилование еще может прийти! Слишком страшно так умирать в мои годы! Не раз случалось, что помилование приходило в последнюю минуту. А кого ж и миловать, сударь, если не меня?

Безжалостный палач! Он подошел к судье и сказал, что казнь должна состояться в определенный час и час этот приближается, что он отвечает за все, а вдобавок идет дождь и механизм может заржаветь.

— Ради Христа, подождите еще минутку, пока придет помилование, а то я не дамся, я буду кусаться!

Судья и палач вышли. Я один — один с двумя жандармами.

О, эта гнусная чернь! Она воет, как гиена. А вдруг я ускользну от нее? Вдруг я буду спасен? Помилован?.. Не могут меня не помиловать!

Проклятые! Я слышу на лестнице их шаги...

Ч е т ы р е ч а с а.

ВЛОД ГЕ

ПОВЕСТЬ

Лет семь или восемь тому назад в Париже жил бедный рабочий по имени Клод Ге. Жил он вместе со своей возлюбленной, от которой имел ребенка. Я описываю только то, что было в действительности, пусть ход событий раскроет читателю нравоучительный смысл этой истории. Рабочий этот, умный, способный, дельный человек, был лишен образования, но щедро одарен природой; он не умел читать, но умел мыслить. Как-то зимой он очутился без работы. В его лачуге не было ни хлеба, ни огня. Мужчина, женщина и ребенок мерзли и голодали. И тогда он украл. Не знаю, что он украл, и не знаю, где он украл. Знаю лишь одно: после этой кражи женщина и ребенок три дня были сыты и жили в тепле, а он был приговорен к пяти годам тюрьмы.

Отбывать наказание рабочего послали в Центральную тюрьму Клерво. Клерво — это монастырь, превращенный в острог, келья, превращенная в темницу, алтарь, превращенный в позорный столб. Вот каким образом иные люди понимают прогресс и как претворяют его в жизнь. Вот какой смысл придают они этому слову.

Однако продолжаю.

В тюрьме его на ночь запирали в камеру, а на день переводили в мастерскую. Но, разумеется, не работу в мастерской я порицаю.

Клод Ге, некогда честный рабочий, а ныне вор, обладал строгой, благородной внешностью. Он был еще молод, но морщины уже избородили его высокий лоб, а в черных волосах проступала седина; у него были добрые, глубоко сидевшие глаза, красиво изогнутые брови, резко очерченные ноздри, решительный подбородок, презри-

тельно сжатый рот. Словом, прекрасная голова. Дальше мы увидим, что с ней сделало общество.

Речь его была немногословна, движения сдержанны. Какая-то внутренняя сила заставляла людей ему повиноваться; выражение его лица было задумчивое и скорее серьезное, чем страдальческое. А ведь страдал он в жизни не мало.

В тюрьме, куда заточили Клода Ге, был старший надзиратель, своего рода тюремный чиновник. Это сторож и подрядчик одновременно: он раздает заключенным заказы как рабочим и следит за ними как за арестантами, вручает им инструмент и заковывает их в кандалы. Старший надзиратель в Клерво, один из представителей такой породы людей, был резкий, жестокий, ограниченный человек, любивший проявлять свою власть; однако при случае он мог принять вид простака, доброго малого, даже благосклонно шутил и смеялся. Скорее упрямый, чем твердый, он не терпел никаких рассуждений и сам не любил рассуждать. Вероятно, он был неплохим отцом и супругом, но по обязанности, а не из добродетели; в общем — человек не злой, но и не хороший. Он был одним из тех, в ком нет ни чуткости, ни отзывчивости, кого не волнуют никакие мысли и переживания, кто испытывает холодную злобу, мрачную ненависть, кто подвержен вспышкам ярости без душевного волнения, кто горит, но не согревается, ибо не способен на теплые чувства. Таких людей можно сравнить с деревом, которое пылает с одного конца, оставаясь холодным с другого. Главной и основной чертой характера этого человека было упорство. Он гордился своим упорством и сравнивал себя с Наполеоном. Но это был только обман. Тем не менее есть люди, которых это вводит в заблуждение и которые на известном расстоянии принимают упрямство за силу воли, а пламя свечи за звезду. Когда он утверждал или совершал какую-нибудь глупость, то, несмотря на все разумные доводы, он до конца отстаивал свое мнение, желая доказать этим силу своего характера. Безрассудное упрямство — это дурь, граничащая с глупостью и переходящая в нее. Такое упрямство может завести очень далеко. И в самом деле, когда происходит какая-либо общественная или личная катастрофа и мы по следам обломков пытаемся установить причины совершившегося несчастья,

то мы почти всегда узнаем, что эта катастрофа произошла по вине какого-нибудь самодовольного, ничтожного и упрямого человека, заблуждающегося и уверенного в своей правоте. На свете много таких мелких самодуров, считающих свою волю роком, а себя — провидением.

Вот таким-то и был старший надзиратель мастерских Центральной тюрьмы Клерво. Таково было огниво, которым общество ежедневно высекало искры из заключенных.

Искра, выбитая огнивом из кремней подобного рода, нередко вызывает пожары.

Мы уже говорили, что по прибытии в Клерво Клод Ге был зачислен в мастерскую и прикреплен к определенной работе. Старший надзиратель мастерских, познакомившись с Клодом и убедившись, что этот рабочий знает свое дело, обращался с ним не плохо. Однажды, будучи в хорошем настроении и видя, что Клод Ге очень грустен и не перестает вспоминать ту, которую называл своей *женою*, надзиратель мимоходом, весело, как бы желая утешить его, сообщил, что эта несчастная сделалась продажной женщиной. Клод сдержанно спросил, что же случилось с ребенком. Но этого никто не знал.

Прошло несколько месяцев, Клод свикся с тюрьмой и, казалось, ни о чем больше не вспоминал. Суровое спокойствие, свойственное его натуре, снова овладело им.

Приблизительно в это же время Клод стал пользоваться каким-то особым влиянием среди своих товарищей. Словно по некоему молчаливому уговору, причем никто, даже он сам, не знал почему, эти люди начали советоваться с ним, слушаться его, восхищаться им и подражать ему, что является уже высшей степенью восхищения. Немалая честь заставить повиноваться всех этих непокорных. Клод и не помышлял о такой чести. Причиной этой власти, по всей вероятности, было выражение его глаз. В глазах человека всегда отражаются его мысли. А если человек мыслящий попадает в среду людей не умеющих мыслить, то через некоторое время все темные умы благодаря непреодолимой силе притяжения начнут смиренно и с благоговением тянуться к уму более светлому. Есть люди, притягивающие к себе других людей, как магнит притягивает железо. Таким магнитом и был Клод Ге.

Не прошло и трех месяцев, как Клод сделался законодателем, властелином и любимцем мастерской. Его слово было законом. Порою он сам даже недоумевал: кто же он — король или пленник? Он был словно папа, захваченный в плен вместе со своими кардиналами.

Естественным следствием такого положения вещей, присущего всем слоям общества, явилось то, что Клода, столь сильно любимого заключенными, возненавидели тюремщики. Так бывает обычно. Популярность всегда сопровождается немилостью. Любовь рабов удваивает ненависть хозяев.

Клод Ге много ел. Это было особенностью его организма. Желудок его был устроен так, что ему едва хватало пищи, достаточной для двух человек. Господин де Котадилья обладал подобным аппетитом и очень этим забавлялся; но то, что веселит испанского гранда и герцога, обладателя пятисот тысяч баранов, крайне обременительно для простого рабочего, для арестанта же — сушая беда.

Прежде, когда Клод Ге был свободен и трудился весь день у себя на чердаке, он зарабатывал достаточно для того, чтобы купить себе четыре фунта хлеба, которые и съедал. В тюрьме Клод Ге также трудился весь день, но уже получал за свой труд только полтора фунта хлеба и одиннадцать унций мяса. Этот рацион не подлежал увеличению. Потому в тюрьме Клерво Клод Ге был постоянно голоден.

Он был голоден, вот и все. Но он молчал об этом, ибо не в его характере было жаловаться.

Как-то раз Клод, быстро покончив со своим скудным обедом, первым принялся за работу, надеясь хоть этим заглушить голод. Остальные арестанты еще продолжали весело есть. Вдруг какой-то молодой узник, бледный и слабый, подошел к Клоду. В руках он держал нож и свою порцию, до которой еще не дотрагивался. Он встал около Клода с таким видом, будто хочет, но не решается с ним заговорить. Вид этого человека, его хлеб и мясо — все было неприятно Клоду.

— Что тебе надо? — резко спросил он.

— Окажи мне услугу, — робко попросил его юноша.

— Что ты хочешь? — повторил Клод.

— Помоги мне съесть мою порцию. Мне этого слишком много.

Слезы выступили на гордых глазах Клода. Он достал нож, разрезал паек на две равные части, взял себе половину и принялся за еду.

— Спасибо, — сказал молодой арестант. — Если ты хочешь, мы будем так делать всегда.

— Как тебя зовут? — спросил Клод Ге.

— Альбеном.

— За что ты попал сюда?

— За кражу.

— Я — тоже, — сказал Клод.

С этого времени они стали делить свою еду ежедневно. Клоду Ге было тридцать шесть лет, но порой ему можно было дать все пятьдесят, настолько он был серьезен. Альбену же было двадцать, но ему обыкновенно давали не больше семнадцати, так простодушно наивен был взгляд этого вора. Между ними завязалась тесная дружба; скорее дружба отца с сыном, чем брата с братом. Ведь Альбен был почти ребенком, а Клод — почти стариком.

Они работали в одной мастерской, спали под одной крышей, вместе гуляли на тюремном дворе, ели один и тот же хлеб. Каждый был для другого целым миром. Казалось, они были счастливы.

Мы уже говорили о начальнике мастерских. Заключение ненавидели его, и потому нередко, чтобы заставить их слушаться, ему приходилось обращаться за помощью к Клоду Ге, который был любим всеми. Не раз, когда нужно было предупредить какую-нибудь вспышку недовольства или бунт, неписанная власть Клода Ге помогала официальной власти старшего надзирателя. И действительно, десять слов Клода скорее могли обуздать арестантов, нежели десять жандармов. Клод неоднократно оказывал подобные услуги своему надзирателю. Поэтому последний и возненавидел его всем сердцем. Он завидовал этому вору. В нем родилась глубокая, тайная, неумолимая ненависть к Клоду, ненависть законного правителя к правителю фактическому, ненависть власти мирской к власти духовной.

Нет ничего ужаснее подобной ненависти!

Но Клод очень любил Альбена, а о старшем надзирателе и не думал.

Однажды утром, когда тюремные сторожа переводили попарно арестантов из камер в мастерские, один из тюремщиков подозвал к себе Альбена, шедшего рядом с Клодом, и сообщил ему, что его требует к себе старший надзиратель.

— Зачем ты ему понадобился? — удивился Клод.

— Не знаю, — ответил Альбен.

Тюремщик увел Альбена.

Прошло утро, Альбен не вернулся в мастерскую. Когда наступил час отдыха, Клод решил, что встретит Альбена на тюремном дворе. Но и во дворе Альбена не оказалось. Возвратились в мастерскую, Альбен так и не появился. Прошел день. Вечером, когда арестантов разводили по камерам, Клод всюду искал глазами Альбена, но его нигде не было видно. Вероятно, Клод очень страдал, потому что заговорил с тюремщиком, чего раньше никогда не делал.

— Уж не захворал ли Альбен? — спросил его Клод.

— Нет, — ответил тюремщик.

— Почему же он не вернулся? — продолжал Клод.

— Его перевели в другое отделение, — небрежно ответил сторож.

Свидетели, которые впоследствии давали на суде показания, говорили, что они заметили, как в этот миг дрогнула рука Клода, державшая зажженную свечу. Тем не менее он спокойно спросил:

— Кто дал этот приказ?

Тюремщик ответил.

— Господин Д.

Так звали старшего надзирателя мастерских.

Следующий день прошел так же, как и предыдущий, — без Альбена.

Вечером, после окончания работ, старший надзиратель мастерских г-н Д. делал свой ежедневный обход. Клод, еще издали заметив его, снял свой колпак из грубой шерсти и тщательно застегнул серую куртку — печальную одежду арестанта, ибо в тюрьме считается проявлением особого почтения к начальству, когда куртка арестанта аккуратно застегнута на все пуговицы, и встал с колпаком в руке около своей скамьи, поджидая прохода старшего надзирателя. Надзиратель прошел мимо.

— Господин старший надзиратель! — обратился к нему Клод.

Надзиратель остановился и слегка повернулся к Клоду.

— Господин старший надзиратель, — повторил Клод, — правда ли, что Альбена перевели в другое отделение?

— Да, — ответил тот.

— Сударь, — продолжал Клод, — я жить не могу без Альбена.

И прибавил:

— Вы же знаете, что мне нехватает моего пайка и что Альбен делился со мной хлебом.

— Это его дело, — сказал начальник.

— Неужели никак нельзя вернуть Альбена в нашу мастерскую?

— Невозможно. Так решено.

— Кем?

— Мною.

— Господин Д., для меня это вопрос жизни и смерти, и все зависит от вас.

— Я никогда не меняю своих решений.

— Сударь, разве я чем-нибудь провинился перед вами?

— Нет.

— Так почему же вы разлучаете нас с Альбеном? — спросил Клод.

— Потому... — ответил надзиратель.

И дав такое объяснение, он прошел дальше.

Клод опустил голову и ничего не возразил. Бедный лев в клетке, у которого отняли его друга — щенка!

Приходится все же сказать, что горе, причиненное этой разлукой, нисколько не уменьшило невероятного, пожалуй даже болезненного, аппетита арестанта. Впрочем, никаких видимых изменений в нем, казалось, не произошло. Ни с кем из товарищей он не говорил об Альбене. Только на прогулке шагал теперь один по тюремному двору и всегда был голоден. Больше ничего.

Однако те, кто хорошо знал его, замечали, как все мрачнее и тревожнее становилось выражение его лица. Впрочем, никогда он не был так кроток.

Многие предлагали делиться с ним своим пайком, но он с улыбкой отказывался.

Каждый вечер, с тех пор как он впервые объяснился с начальником, он позволял себе одну и ту же странную выходку, удивительную для такого серьезного человека.

Когда надзиратель в урочное время проходил, совершая свой обычный обход, мимо Клода, тот поднимал глаза и, пристально глядя на надзирателя, голосом полным тоски и гнева, в котором звучали одновременно и мольба и угроза, произносил следующие слова:

— Как же с Альбеном?

Начальник делал вид, будто ничего не слышит, или уходил, пожимая плечами.

Напрасно он пожимал плечами, так как для всех, кто видел эти странные сцены, было очевидно, что Клод Ге что-то задумал. Вся тюрьма с беспокойством ждала, чем же кончится борьба между упрямством и твердо принятым решением.

Однажды слышали, как Клод сказал надзирателю:

— Послушайте, сударь, верните моего товарища. Вы поступите благоразумно, уверяю вас. Заметьте, что я вас предупредил.

В другой раз, дело было в воскресенье, Клод просидел неподвижно, не меняя положения, несколько часов во дворе на камне, упершись локтями о колена и положив голову на руки. Один из арестантов, по имени Файет, подошел к нему и, смеясь, крикнул:

— Клод, какого чорта ты здесь делаешь?

Тогда Клод медленно повернулся к нему лицом и мрачно ответил:

— *Выношу приговор.*

Наконец вечером 25 октября 1831 года, в то время, когда старший надзиратель мастерских производил обход, Клод с треском раздавил ногой стекло от часов, найденное им утром в коридоре. Начальник спросил, что за шум.

— Пустяки, — сказал Клод, — это сделал я. Господин старший надзиратель, верните моего товарища.

— Невозможно, — ответил тот.

— Однако это необходимо, — тихо, но решительно заявил Клод и, глядя прямо в лицо начальнику, прибавил: — Подумайте хорошенько. Сегодня двадцать пятое октября. Даю вам срок до четвертого ноября.

Тюремный сторож обратил внимание г-на Д. на то, что Клод угрожает ему и что за это полагается карцер.

— Обойдемся без карцера, — с презрительной усмешкой возразил старший надзиратель, — с этим народом следует поступать по-хорошему.

На следующий день арестант Перно подошел к Клоду, который задумчиво расхаживал один по двору в стороне от остальных арестантов, столпившихся на противоположном конце двора, на небольшой площадке, залитой лучами солнца.

— О чем ты все думаешь, Клод? Почему такой грустный?

— *Боюсь, как бы с нашим добрым начальником, господином Д., не случилось бы вскоре несчастья,* — ответил Клод.

От 25 октября по 4 ноября целых девять дней. И все эти девять дней Клод Ге неизменно повторял г-ну Д., что он все сильнее и сильнее страдает из-за разлуки с Альбеном. Надзиратель, которому это надоело, отправил его на сутки в карцер, — просьба Клода уж слишком походила на требование. Больше ничего Клод не мог добиться.

Наступило четвертое ноября. В то утро Клод проснулся с таким спокойным лицом, какого у него не видели с тех пор, как по решению г-на Д. он был разлучен со своим другом. Поднявшись с постели, он начал рыться в простом деревянном сундучке, стоявшем в ногах его койки. Там хранился весь его жалкий скарб. Он достал оттуда небольшие ножницы. Эти ножницы и разрозненный томик «Эмиля» было все, что осталось ему от любимой им женщины — матери его ребенка, от его прежнего счастливого семейного очага. Эти вещи были совершенно не нужны Клоду. Ножницы могли пригодиться только женщине, умеющей шить, а книга — человеку грамотному. Клод же не умел ни шить, ни читать.

Проходя по старой монастырской галлерее, выбеленной известью, которая зимою служила местом прогулки для заключенных, он подошел к арестанту Феррари, стоявшему у окна и внимательно рассматривавшему толстую железную решетку. Клод держал в руках небольшие ножницы; он показал их Феррари и сказал:

— Сегодня вечером я перережу решетку вот этими ножницами.

Феррари недоверчиво засмеялся, засмеялся и Клод.

В это утро Клод работал еще усерднее, чем обычно. Никогда еще дело так не спорилось в его руках. Он как будто задался целью во что бы то ни стало закончить до полудня соломенную шляпу, которую ему заказал и за которую ему уплатил вперед один честный гражданин города Труа, по фамилии Бресье.

Незадолго до полудня Клод под каким-то предлогом спустился в столярную мастерскую, помещавшуюся этажом ниже.

Клод редко туда заглядывал, хотя и там его любили, как и повсюду.

— Смотрите-ка, пришел Клод!

Все окружили его. Его приход был для всех праздником.

Клод быстро оглядел мастерскую, никого из надзирателей там не оказалось. Он спросил:

— Кто одолжит мне топор?

— Зачем тебе? — удивились заключенные.

Клод ответил:

— Чтобы сегодня вечером убить старшего надзирателя мастерских.

Ему предложили на выбор несколько штук. Он взял самый маленький, хорошо наточенный топорик, заткнул его за пояс штанов и вышел. В мастерской в этот момент находилось двадцать семь арестантов. И несмотря на то, что Клод никого из них не просил хранить это дело в тайне, ни один из них не проговорился. Даже между собою они об этом не разговаривали. Каждый молча ждал развязки. Дело было слишком страшное, но правое и для всех понятное. Оно не допускало никакого вмешательства. Мыслимо ли было отговорить Клода, мыслимо ли было донести на него.

Час спустя, подойдя к шестнадцатилетнему арестанту, зевавшему во время прогулки, Клод посоветовал ему выучиться читать. В это время другой арестант, Файет, подошел к Клоду и спросил его:

— Что ты там прячешь за поясом?

Клод ответил:

— Топор, чтобы убить вечером г-на Д.

И прибавил:

— А что, разве заметно?

— Немного, — ответил Файет.

День закончился, как обычно. В семь часов вечера заключенных заперли в мастерских, где они работали; надзиратели, как всегда, ушли, чтобы вернуться после обхода своего начальника.

Клода Ге вместе с товарищами тоже заперли в мастерской.

И вот тогда-то и разыгралась в этой мастерской необычайная сцена, сцена полная трагизма и величия, единственная и неповторимая.

Там в это время находилось, как было установлено позднее судебным следствием, восемьдесят два человека, осужденных за кражу, в том числе и Клод.

Как только надзиратели вышли, Клод вскочил на скамью и во всеуслышание заявил, что он хочет что-то сказать. Наступило молчание.

Клод начал громким голосом:

— Все вы знаете, что Альбен был мне братом. Мне мало той еды, которую я здесь получаю. Даже когда я прикупаю хлеба на свои заработанные гроши, мне все равно нехватает. Альбен делился со мной своей порцией. Сперва я полюбил его за то, что он кормил меня, а потом за то, что он любил меня. Старший надзиратель господин Д. разлучил нас. То, что мы были вместе, несколько ему не мешало, но он злой человек, и ему доставляет удовольствие мучить других. Много раз я просил его вернуть Альбена. Все вы знаете, что он отказался выполнить мою просьбу. Я дал ему срок до четвертого ноября.

За это он посадил меня в карцер. Тем временем я судил его и приговорил к смерти. Сегодня четвертое ноября. Через два часа он будет здесь на обходе. Предупреждаю вас, что я убью его. Что вы на это скажете?

Все молчали.

Тогда Клод заговорил снова. Говорил он с необычайным красноречием, которое, впрочем, было ему свойственно. Он заявил, что отлично сознает, какое ужасное преступление собирается совершить, но что считает себя правым. Он взывал к совести восьмидесяти одного вора, внимавших ему, и сказал следующее:

Что он доведен до полного отчаяния;

что он вынужден сам совершить правосудие, ибо другого выхода нет;

что за жизнь начальника он, правда, должен отдать свою жизнь, но что он готов пожертвовать ею ради правого дела;

что свое решение он обдумывал целых два месяца и пришел к нему после зрелого размышления;

что руководит им, и в этом он уверен, отнюдь не чувство мести, а справедливость, но если он ошибается, то просит ему об этом сказать прямо;

что он честно предоставляет все свои доводы на суд людей, способных рассудить его по справедливости;

что он намерен убить г-на Д., но если кто-нибудь возразит против этого, он готов его выслушать.

В ответ раздался только один голос: кто-то сказал, что, прежде чем убить, Клод должен в последний раз обратиться к старшему надзирателю и попытаться его переубедить.

— Правильно, — согласился Клод, — так я и сделаю.

На больших стенных часах пробило восемь. Старший надзиратель должен был прийти ровно в девять.

Как только этот необычайный кассационный суд как бы утвердил приговор, вынесенный Клодом, тот совершенно успокоился. Он разложил на столе то, что у него еще оставалось из белья и одежды, весь свой жалкий арестантский скарб, и, подзывая поочередно тех, кого он после Альбена любил больше других, все им роздал. Только маленькие ножницы он оставил себе.

Потом он простился со всеми. Некоторые плакали, и тем он ласково улыбался.

В этот последний час Клод в иные минуты был так спокоен и даже весел, что многие из его товарищей стали надеяться, как они рассказывали впоследствии, что он откажется от своего намерения. Он даже позабавился тем, что задул ноздрей одну из немногих свечей, освещавших мастерскую. У него оставались еще дурные замашки, которые чаще, чем следовало, портили его врожденное благородство. Ничем нельзя было вытравить из прежнего уличного мальчишки запаха сточных канав Парижа.

Он обратил внимание на одного молодого арестанта, который, побледнев, смотрел на него остановившимися глазами и дрожал от страха в ожидании того, что сейчас произойдет.

— Полно, будь смелее, мальчуган, — ласково обратился к нему Клод, — ведь это минутное дело!

После того как Клод распределил свои вещи и попрощался с товарищами, крепко пожав всем руки, он приказал прекратить тревожные разговоры, доносившиеся из темных углов мастерской, и снова приняться за работу. Все молча повиновались.

Мастерская, где происходили эти события, представляла собой длинную прямоугольную комнату, окна которой находились на обеих продольных стенах, а двери были расположены друг против друга на противоположных сторонах. Станки стояли рядами вдоль окон, а скамейки — под прямым углом к стене. Между двумя рядами станков оставалось свободное пространство, которое длинным коридором тянулось через всю комнату от одной двери к другой. По этому длинному, неширокому коридору и должен был пройти старший надзиратель во время обхода. Он входил обыкновенно в дверь с южной стороны и выходил в северную, осматривая рабочих, находившихся справа и слева от него. Путь этот он проделывал всегда довольно быстро, не останавливаясь.

Клод вернулся на скамью и принялся за работу, так же как Жак Клеман принялся бы за молитву.

Наступило тягостное ожидание. Роковой момент приближался. Раздался удар колокола, Клод произнес:

— Без четверти девять.

Он поднялся, медленно прошел по мастерской и, оставившись, облокотился на угол станка, стоявшего с левой стороны, ближе других к входной двери. Лицо его было совершенно спокойно и даже доброжелательно.

Пробило девять. Дверь отворилась. Старший надзиратель вошел. В мастерской наступило мертвое молчание. Начальник по обыкновению шел один. Его лицо, как всегда, выражало веселое самодовольство, самоуверенность и бессердечие; не заметив Клода, неподвижно стоявшего слева от двери и державшего правую руку в кармане, он быстро прошел мимо первых станков, неодобрительно покачивая головой, бормоча что-то себе под нос, равнодушно поглядывая вокруг и не замечая, что все взоры направлены на него, что все сосредоточены на одной ужасной мысли.

Вдруг он резко обернулся, услыхав позади чьи-то шаги.

Уже несколько секунд Клод молча шел за ним.

— Что ты здесь делаешь? — удивился надзиратель. — Почему ты не на своем месте?

В тюрьме человек перестает быть человеком, он — собака, ему говорят *ты*.

Клод Ге почтительно ответил:

— Господин старший надзиратель, мне надо кое-что сказать вам.

— Что еще?

— Насчет Альбена.

— Опять! — возмутился начальник.

— Как всегда! — ответил Клод.

— Так, значит, — сказал начальник, не останавливаясь, — тебе мало одних суток карцера?

— Господин старший надзиратель, верните мне товарища, — продолжал Клод, следуя за ним.

— Невозможно!

— Господин старший надзиратель, — взмолился Клод с таким отчаянием в голосе, что мог бы разжалобить самого дьявола, — умоляю вас, верните Альбена, вы увидите, как я буду стараться работать. Вы человек свободный, вам не понять, вы не знаете, что такое друг. У меня же нет ничего, кроме тюремных стен. Вы-то можете бывать повсюду, видаться с кем угодно, а у меня нет никого, кроме Альбена. Верните его. Только благодаря Альбену я был сыт, ведь вы это прекрасно знаете. Что вам стоит сказать: «да»? Не все ли вам равно, если два человека, один по имени Клод Ге, а другой по имени Альбен, станут работать вместе в одной мастерской. Дело самое простое. Господин старший надзиратель, мой добрый господин Д., сжальтесь, умоляю вас во имя всего святого!

Никогда еще Клод так много не говорил со своим тюремщиком. Он совсем изнемог от напряжения и молча ждал ответа. Начальник нетерпеливо возразил:

— Невозможно. Сказано тебе. Прекрати разговоры. Ты мне надоел.

И так как он торопился, то ускорил шаги. Клод неотступно следовал за ним. Таким образом они оба очутились перед выходной дверью; восемьдесят арестантов смотрели и слушали затаив дыхание.

Клод тихонько дотронулся до руки начальника.

— Но все же я хочу знать, за что вы приговариваете меня к смерти. Скажите, почему вы нас разлучили?

— Я тебе, кажется, уже говорил, — ответил надзиратель, — потому... — И, повернувшись к Клоду спиной, взялся за ручку двери.

Услыхав такой ответ, Клод отступил на шаг. Восемьдесят человек, окаменевших от ужаса, видели, как он вынул из кармана руку с топором. Он взмахнул рукой и, прежде чем надзиратель успел вскрикнуть, страшными ударами топора, нанесенными по одному и тому же месту, раскрыл ему череп. В то время, когда надзиратель падал навзничь, он четвертым ударом рассек его лицо. Но трудно остановить вырвавшуюся наружу ярость, и Клод пятым, совсем уже лишним, ударом ранил ему бедро. Надзиратель был мертв.

Тогда Клод бросил топор и закричал:

— *Теперь очередь за другим!*

Под другим он подразумевал себя. Он выхватил из кармана куртки ножницы своей *жены* и раньше, чем кто-либо успел ему помешать, вонзил их себе в грудь. Лезвия ножниц были коротки, а грудь глубока. Он нанес себе не менее двадцати ударов.

— Проклятое сердце, никак не доберусь до тебя! — воскликнул Клод.

Наконец, обливаясь кровью, он упал без чувств, прямо на труп убитого.

Кто же из них был чьей жертвой?

Клод очнулся на больничной койке, весь забинтованный и обвязанный, окруженный заботами и уходом. Над его изголовьем склонялись внимательные сестры милосердия, и даже следователь, снимавший с него допрос, спрашивал его участливо:

— *Ну как вы себя чувствуете?*

Клод потерял очень много крови, но не один из ударов ножницами, которыми он с трогательным суеверием хотел лишиться себя жизни, не оказался для него смертельным. Смертельными были для него только те раны, которые он нанес г-ну Д.

Началось следствие. На вопрос: убил ли он начальника мастерских тюрьмы Клерво, Клод ответил: *да*. Когда его спросили: почему, он ответил: *потому*.

Меж тем раны его нагноились, и он чуть не умер от заражения крови.

Ноябрь, декабрь, январь и февраль прошли в лечении и приготовлениях к суду. Врачи и судьи хлопотали возле Клода; одни лечили его раны, другие готовили для него эшафот.

Но будем кратки. 16 марта 1832 года Клод, совершенно здоровый, предстал перед судом присяжных города Труа. Весь город присутствовал в зале заседания.

Клод превосходно держался на суде. Он был тщательно выбрит, стоял с обнаженной головой, на нем была мрачная одежда арестанта тюрьмы Клерво, сшитая из серой материи двух различных оттенков.

По приказанию королевского прокурора, в залу со всей округи согнали солдат, «чтобы, — как говорил прокурор во время заседания, — обуздать каторжников, которые должны были выступать в качестве свидетелей». При начале допроса неожиданно представилось затруднение. Никто из очевидцев события 4 ноября не хотел давать показаний. Председатель грозил применить к ним особые меры. Это не подействовало. Тогда Клод приказал им повиноваться. У всех сразу развязались языки, и свидетели рассказали обо всем, что видели.

Клод слушал показания с глубоким вниманием. Когда какой-нибудь свидетель по забывчивости или намеренно опускал подробности, отягчавшие вину подсудимого, Клод сейчас же поправлял его.

Постепенно картина описанных нами событий полностью развернулась перед судом.

Были моменты, когда присутствующие в зале женщины плакали. Судебный пристав вызвал Альбена. Наступила его очередь дать показание. Он вошел нетвердыми шагами, задыхаясь от рыданий. И не успели жандармы ему помешать, как он бросился в объятия Клода. Клод поддержал его и с улыбкой обратился к королевскому прокурору:

— Вот тот злодей, который делится куском хлеба с голодными. — И он поцеловал руку Альбена.

Когда свидетельские показания закончились, королевский прокурор встал и начал свою речь следующими словами:

— Господа присяжные заседатели, общество будет потрясено до самого основания, если правосудие не покарает такого ужасного преступника, как тот, что находится здесь, и т. д.

После этой достопамятной речи говорил адвокат Клода. Речь прокурора и речь защитника вызвали в публике те колебания в настроении, которые обычно имеют место на подобного рода ристалищах, называемых уголовным процессом.

Клод решил, что не все еще сказано. Он поднялся в свою очередь и произнес такую речь, что один из присутствовавших на этом заседании, человек высоко интеллигентный, вернулся оттуда потрясенным.

Этот простой, неграмотный рабочий больше походил на оратора, чем на убийцу. Стоя перед судом с ясным, открытым и смелым видом, он говорил негромким проникновенным голосом, сопровождая свою речь одним и тем же движением руки, исполненным достоинства. Он рассказал все, как было, просто, серьезно, ничего не преувеличивая и не преуменьшая, согласился с правильностью обвинения, смело идя навстречу статье 296-й и подставляя под нее голову. Порою он возвышался до подлинного красноречия и вызывал такое волнение в публике, что люди передавали его слова друг другу на ухо.

Тогда по зале пробегал шопот, а Клод в это время переводил дыхание и гордо смотрел на присутствующих.

Порою этот неграмотный рабочий выражался настолько мягко, вежливо и даже изысканно, что производил впечатление вполне образованного человека. В то же время он скромно, сдержанно, внимательно следил за ходом дела, благожелательно относясь к судьям.

Только один раз он возмутился и вышел из себя. Случилось это, когда королевский прокурор в упомянутой выше речи заявил, что Клод Ге убил начальника мастерских без всяких побудительных причин, так как со стороны начальника не было ни насилия, ни *вызова*.

— Как! — воскликнул Клод. — С его стороны не было никакого вызова? Ну да, вы, разумеется, правы, я вас понимаю. Если пьяный ударит меня кулаком и я убью его, — я заслуживаю снисхождения, вы приговариваете меня к каторжным работам, потому что я был на это

вызван. Но человек трезвый и в полном разуме может в продолжение четырех лет издеваться надо мной, унижать меня; в продолжение четырех лет ежедневно, ежечасно, ежеминутно наносить мне самые неожиданные оскорбления, и все это в продолжение целых четырех лет! Я любил женщину, ради которой я украл, — он терзает меня разговорами об этой женщине; у меня был ребенок, ради которого я украл, — он терзает меня разговорами о ребенке; мне нехватало хлеба, друг стал делиться со мной, — он отнимает у меня и друга и хлеб. Я прошу его вернуть моего друга, он сажает меня за это в карцер. Я говорю этому полицейскому соглядатаю *вы*, он говорит мне *ты*. Я рассказываю ему о своих муках, он отвечает, что я надоел ему.

Что же мне оставалось делать, по-вашему? Да, я убил его. Да, я чудовище, потому что убийство это не было ничем вызвано. Вы намерены казнить меня? Казните!

Этот сильный довод необычайно ярко, по-моему, доказал всю несправедливость того, что лишь физическая провокация дает право на смягчающие вину обстоятельства, в то время как провокация нравственная совершенно упускается из виду нашим законодательством.

По окончании прений председатель дал беспристрастное и яркое заключение. Он сделал следующие выводы: «Жизнь вел грязную. Безусловно, нравственный урод. Начал с того, что сожительствовал с проституткой, затем украл и, наконец, убил». Все это не подлежало сомнению.

Перед тем, как присяжные заседатели должны были удалиться в свою комнату, председатель спросил подсудимого, не имеет ли он каких-нибудь замечаний по поводу поставленных вопросов.

— Почти нет, — ответил Клод. — Впрочем, вот что. Да, я вор и убийца, да, я украл и убил. Но почему я украл? Почему я убил? Поставьте оба эти вопроса наряду с другими, господа присяжные заседатели.

После пятнадцатиминутного обсуждения решением двенадцати жителей Шампани, именуемых *господами присяжными заседателями*, Клод Ге был приговорен к смертной казни.

Несомненно, что некоторые присяжные заседатели уже при начале прений обратили внимание на неблагозвучную

фамилию подсудимого¹, и это произвело на них неприятное впечатление.

Когда Клоду прочли приговор, он ограничился следующими словами:

— Отлично. Но почему этот человек украл? Почему убил? На эти два вопроса они так и не ответили.

Вернувшись в тюрьму, Клод спокойно поужинал и произнес:

— Прожил тридцать шесть лет.

Он не хотел подавать кассационной жалобы. Одна из сестер милосердия, ухаживавшая за ним во время болезни, со слезами умоляла его об этом. Он согласился из жалости к ней. Но, повидимому, все-таки упирался до последней минуты и подписал прошение лишь тогда, когда предусмотренный законом трехдневный срок уже истек.

Обрадованная его согласием, сестра милосердия подарила ему пять франков. Клод взял деньги и поблагодарил.

Пока не пришел ответ на кассацию, все арестанты города Труа предлагали устроить ему побег, — настолько все они были ему преданы. Но Клод наотрез отказался.

Заключенные весьма удачно подбросили в его одиночную камеру через слуховое окошко гвоздь, железную проволоку и ручку от ведра. Любым из этих предметов такой сообразительный и умелый человек, как Клод, мог перепилить кандалы. Он отдал ручку, проволоку и гвоздь тюремщику.

Восьмого июня, тысяча восемьсот тридцать второго года, через семь месяцев и четыре дня после свершившегося, наступило возмездие, *pede claudo*².

В этот день в семь часов утра в камеру Клода вошел судебный исполнитель и объявил, что Клоду остается жить всего лишь час.

Кассация был отклонена.

— Ну что ж, — равнодушно произнес Клод. — Я хо-

¹ Gueux на французском языке означает: нищий, оборванец.

² Хромою стопой. Слова из Горация («Оды», кн. 3, ода 2, ст. 31—32):

Raro antecedentem scelestum

Desernit pede Poena claudo.

«Но редко пред собой злодея

Кара упустит, хотя б хромая».

рошо выспался этой ночью и даже не подозревал, что следующую буду спать еще лучше.

Мне кажется, что слова людей, сильных духом, приобретают особое величие перед лицом смерти.

Пришел священник, потом палач. Клод был почтительно со священником и кроток с палачом. Он беспрестанно отдавал и душу и тело.

Он сохранил полное присутствие духа. В то время, когда ему брили голову, кто-то в другом углу камеры упомянул о холере, угрожавшей городу Труа.

— Зато мне, — сказал Клод с улыбкой, — уже не страшна никакая холера.

Он внимательно выслушал священника, сожалея, что никто не говорил с ним прежде о религии.

Клоду по его просьбе вернули те ножницы, которыми он хотел лишиться себя жизни. Одного лезвия не доставало, так как оно сломалось у него в груди. Он попросил тюремщика передать ножницы Альбену и к этому наследству присоединить порцию хлеба, полагавшуюся ему в тот день.

Он попросил также тех, кто связывал ему руки, вложить в его правую руку пятифранковую монету, подаренную ему сестрой милосердия, — единственное, что у него еще оставалось.

Без четверти восемь он вышел из тюрьмы в сопровождении мрачной свиты, которая обычно сопровождает осужденному на смерть. Он шел пешком, бледный, пристально глядя на распятие, находившееся в руках священника, но шел спокойным, уверенным шагом.

День был базарный, и казнь назначили в этот день намеренно, дабы как можно больше людей были ее свидетелями. Как видно, во Франции существуют еще такие полудикие местечки, где общество не только убивает человека, но и похвально этим.

Клод твердым шагом поднялся на эшафот, все так же не сводя глаз с распятия. Он захотел поцеловать сперва священника, затем палача, желая поблагодарить одного и простить другого. Палач, как рассказывают в судебном отчете, *тихонько отстранил его*. Когда помощник палача привязывал его к отвратительной машине, Клод сделал знак священнику, прося взять у него из правой руки зажатую там пятифранковую монету, и сказал:

— Для бедных.

В это время раздался бой городских часов, заглушивший его голос. Священник ответил, что он не слышит его. Клод дождался перерыва между двумя ударами и кротко повторил:

— Для бедных.

Не успели часы пробить восемь, как эта благородная и умная голова скатилась с плеч.

Замечательно влияют на толпу подобные зрелища. В этот же самый день, когда гильотина с несмытой еще кровью стояла посреди площади, рыночные торговцы взбунтовались из-за какого-то налога и чуть не убили одного из городских сборщиков.

Вот какую кротость порождают в народе наши законы!

Мы считали своим долгом подробно рассказать историю Клода Ге, ибо мы уверены в том, что любой отрывок из этой истории может послужить вступлением к книге, в которой решалась бы великая проблема народа XIX века.

В этой замечательной жизни следует различать два основных этапа: до падения и после него. Отсюда возникают два вопроса: вопрос о воспитании и вопрос о наказании; они влекут за собой третий: вопрос об устройстве всего общества в целом.

Клод Ге, несомненно, был и физически и нравственно богато одарен от природы. Что же помешало ему развить те хорошие качества, которые у него имелись? Поразмыслите над этим.

Это огромная проблема, правильное решение которой, еще не найденное, может послужить к восстановлению необходимого равновесия: *пусть общество делает для человека столько же, сколько природа.*

Посмотрите на Клода Ге, сомнений нет — человек со светлым умом и чудесным сердцем. Но судьба бросает его в общество, устроенное так дурно, что он вынужден украсть, затем общество бросает его в тюрьму, устроенную так дурно, что он вынужден убить.

Кто же поистине виновен?

Он ли?

Мы ли?

Вопросы суровые, жгучие, занимающие ныне все умы и настолько неотложные, что придет день, и они встанут перед нами вплотную, и уже нельзя будет от них отмахнуться, и нам придется посмотреть правде в глаза и решить, наконец, что же от нас требуется.

Автор этих строк попытается ответить на этот вопрос.

Когда сталкиваешься с подобными фактами, когда начинаешь размышлять о том, как неотложны эти вопросы, то невольно спрашиваешь себя, о чем же думают власть-имущие, если они не задумываются над ними.

Палаты ежегодно заняты весьма важными делами. Без сомнения, уничтожить синекуры и очистить бюджет от лишних трат — дела весьма серьезные. Не менее важным является также издание закона, предписывающего мне надеть солдатский мундир, дабы я мог, как добрый патриот, нести караул у дверей графа Лобау, которого я не знаю и знать не хочу, или заставить меня маршировать на парадах по площади Мариньи, к великому удовольствию моего лавочника, ставшего моим офицером¹.

Крайне важно, господа депутаты и министры, предаваться бесплодным словопрениям и забивать умы всевозможными вопросами и рассуждениями. Совершенно необходимо, например, привлечь на скамью подсудимых и с пристрастием допросить, не понимая даже как следует о чем, искусство XIX века, — этого тяжкого преступника, который не желает отвечать и хорошо делает, что не желает; необычайно полезно, господа правители и законодатели, проводить время на классических конференциях, которые даже учителей провинциальных школ заставляют пожимать плечами; полезно также объявить во всеуслышание, что только современная драма изобрела такие страшные вещи, как кровосмешение, супружеская измена, отцеубийство, детоубийство, отравление, и тем доказать, что никто из вас никогда не слышал о Федре, Иокасте, Эдипе, Медее или Родогуне; совершенно необходимо,

¹ Разумеется, мы не собираемся нападать на уличный патруль, который необходим для охраны улиц и жилищ. Мы протестуем только против парадов, побрякушек, чванства и ура-патриотизма — всего того, что делает из буржуа пародию на солдата. (Прим. авт.)

чтобы наши политические ораторы спорили бы до хрипоты целых три дня по вопросу об ассигнованиях на издание Корнеля и Расина и, пользуясь этим литературным поводом, наперерыв обвиняли бы друг друга в грубейших ошибках против французской грамматики.

Все это чрезвычайно важно, но мы думаем, однако, что есть вещи куда более важные.

Что сказала бы, например, палата депутатов, если бы вдруг посреди ненужных прений, так часто разгорающихся между оппозицией и министерством, кто-нибудь бы встал и с депутатской скамьи или с какой-нибудь иной трибуны во всеуслышание заявил следующее:

— Эй, замолчите вы все здесь присутствующие и праздно болтающие. Вы думаете, что заняты важными вопросами. Как бы не так! Главный вопрос совсем не в том, а вот в чем:

Правосудие около года тому назад искромсало в куски человека в Памье; в Дижоне только что отрубили голову женщине; в Париже у заставы Сен-Жак совершаются тайные казни.

Вот этими неотложными вопросами и следует заняться в первую очередь!

А потом вы можете снова спорить друг с другом по поводу того, какого цвета — белого или желтого — должны быть пуговицы на мундирах национальной гвардии и какое слово лучше употреблять: *уверенность* или *убежденность*.

Депутаты центра, депутаты крайней правой и депутаты крайней левой, знаете ли вы, что народ страдает?

Называется ли Франция республикой, называется ли она монархией, народ все равно страдает — это бесспорно.

Народ голодает и мерзнет. Нищета толкает его на путь преступлений и в пучину разврата. Пожалейте же народ, у которого каторга отнимает сыновей, а дома терпимости — дочерей. У нас слишком много каторжников и слишком много проституток.

На что указывают эти две общественные язвы?

На то, что весь государственный организм в целом заражен тяжелым недугом.

Вот вы собрались на консультацию у изголовья больного, займитесь же лечением его болезни.

Вы плохо лечите эту болезнь. Изучите ее хорошенько. Законы, которые вы издаете, всего лишь паллиативы и уловки. Одна половина нашего законодательства — рутина, другая — шарлатанство.

Клеймо — прижигание, растрavляющее рану, бессмысленное наказание, на всю жизнь приковывающее преступника к преступлению, делающее их неразлучными друзьями и товарищами!

Каторга — это нелепый вытяжной пластырь, который сперва высасывает дурную кровь, а затем возвращает ее обратно еще более зараженной. Смертная казнь — варварская ампутация.

А между тем клеймение, каторжные работы и смертная казнь все еще существуют. Вы отменили клеймение, будьте же последовательны — отмените и остальное.

Раскаленное железо, каторга и гильотина — это три составные части одного логического умозаключения.

Вы отказались от раскаленного железа, но разве кандалы каторжника и нож гильотины имеют больше смысла? Фариначчи был чудовищем, но он обладал здравым смыслом.

Разружьте вашу старую и нелепую градацию преступлений и наказаний, переделайте ее, создайте новую систему наказаний, новый кодекс законов, новые тюрьмы, новых судей. Согласуйте законы с современными нравами.

Слишком много голов, господа, сносится ежегодно во Франции. Поскольку вы желаете соблюдать экономию, соблюдайте ее и тут.

Раз вы горите желанием все упразднить, упраздните в первую очередь должность палача. На жалованье восьмидесяти палачей можно содержать шестьсот школьных учителей.

Подумайте же о народе. Дайте детям школы, а взрослым работу.

Знаете ли вы, что по сравнению с другими европейскими странами во Франции больше всего неграмотных. Возможно ли? Швейцария умеет читать, Бельгия умеет читать, Дания, Греция, Ирландия — умеют читать, а Франция не умеет! Какой позор!

Побывайте на каторге. Соберите всех ее обитателей. Приглядитесь хорошенько к каждому из этих отвержен-

ных, находящихся вне закона. Измерьте их профили, ощупайте их черепа. Вы увидите, что каждый из них напоминает собой какого-нибудь зверя, как если бы все они являлись помесью человека с тем или иным видом животного. Один напоминает рысь, другой кошку, третий обезьяну, этот похож на ястреба, а тот на гиену. В таком уродстве в первую очередь следует, разумеется, винить природу, во вторую — воспитание.

Природа сделала плохой набросок, воспитание не сумело его исправить. Позаботьтесь же об этом, дайте народу надлежащее образование. Постарайтесь развить эти невежественные умы, научите их мыслить.

Хорошее или плохое строение черепа зависит от государственных установлений. Римляне и греки имели высокие лбы. Повышайте же, насколько возможно, умственный уровень народа.

А когда Франция научится читать, продолжайте руководить ее дальнейшим просвещением. Иначе получится неурядица другого порядка. Полное невежество все же предпочтительнее плохого знания. Нет, лучше вспомните о том, что на свете существует книга более философская, чем «Кум Матье», более популярная, нежели «Конституционалист», более долговечная, чем хартия 1830 года, эта книга — священное писание. Но здесь я хочу дать некоторое пояснение.

Что бы вы ни делали, судьба толпы, народной массы — одним словом, большинства людей — всегда более или менее трудна, печальна и несчастлива. Удел большинства — тяжелый труд, все тяготы существования оно несет на своих плечах.

Посмотрите, какая несправедливость! Все радости жизни — достояние богачей, а несчастье и горе — достояние бедняков. Груз на весах жизни распределен неравномерно. Одна чаша весов неизбежно будет перевешивать, а вместе с нею и положение дел будет оставаться неуравновешенным.

Теперь на чашу весов бедняка положите надежду на лучшее будущее, бросьте туда стремление к вечному блаженству, пообещайте им рай — все это полновесные гири, и вы восстановите равновесие. Теперь доля бедняка равна доле богача.

Это знал Христос, а он знал больше, чем Вольтер.

Дайте трудолюбивому и страждущему народу, для которого мир так мрачен, дайте ему веру в иной, лучший мир, уготованный для него.

Он успокоится и станет терпеливо ждать. Надежда рождает терпение.

Рассыпьте евангелия по деревням. Дайте библию в каждую хижину. Пусть каждая книга и каждое поле вместе способствуют нравственному возвышению труженика.

Весь вопрос в просвещении народа. В человеке заложено много хороших задатков. Для того, чтобы они развились и дали богатые плоды, покажите ему, как светла и прекрасна добродетель.

Человек стал убийцей, а если бы его лучше направляли, он бы мог стать полезным членом общества.

Дайте же народу образование, воспитывайте его, развивайте, просвещайте, внушите ему понятие о нравственности, примените его способности надлежащим образом, и вам не придется рубить человеческие головы!

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Из книги
«Оды и баллады»

1826

ИСТОРИЯ

Ferrea vox
Vergilius.

Железный голос
Вергилий.

I

В судьбе племен людских, в их непрестанной смене
Есть рифы тайные, как в бездне темных вод.
Тот безнадежно слеп, кто в беге поколений
Лишь бури разглядел да волн круговорот.

Над бурями царит могучее дыханье,
Во мраке грозовом небесный луч горит.
И в кликах праздничных и в смертном содроганье
Таинственная речь не тщетно говорит.

И разные века, что братья исполины,
Различны участью, но в замыслах близки,
По разному пути идут к мете единой,
И пламенем одним горят их маяки.

II

О муза! Нет времен, нет в будущем предела,
Куда б она очей своих не подняла.
И столько дней прошло, столетий пролетело, —
Лишь зыбь мгновенная по вечности прошла.

Так знайте, палачи, — вы, жертвы, знайте твердо,
Повсюду пронесет она бессмертный свет —
В глубины мрачных бездн, к снегам вершины гордой,
Воздвигнет храм в краю, где и гробницы нет.

И пальмы отдает героям в унижение,
И нарушает строй победных колесниц,
И грезит, и в ее младом воображенье
Горяг империи, поверженные ниц.

К развалинам дворцов, к разрушенным соборам,
Чтоб услышать ее, сберутся времена.
И словно пленника, покрытого позором,
Влечет прошедшее к грядущему она.

Так, собирая след крушений в океане,
Следит во всех морях упорного пловца,
И видит все зараз на дальнем расстоянье —
Могилу первую и колыбель конца.

I

Увы! Рожден владеть не шпагою, но лирой,
Иду как сквозь туман дорогой жизни сирой.
В размеренной строке мой угасает гнев,
На боевых полях мой шаг не отдается,
И сердце пылкое лишь в песне изольется,
Бесплодной жаждой закипев.

А Греция меж тем, растоптана султаном,
Влачит свой тяжкий крест, взывая к христианам.
Ошибок роковых изведав горький плод,
Испания нас в бой торопит скорбным стоном,
И древний трон ее, покинутый законом,
Подобен сироте, что мать свою зовет.

Порой, исполнившись воинственной отвагой,
Хочу твоей, отец, вооружиться шпагой,
Пройти солдатом в край, где бился гордый Сид,
И Спарте наших дней — где лирою своею,
Француз, я не могу наследовать Тиртею, —
Предстать как новый Леонид.

Мечты, мечты! Но верь: тебе, как дар смиренный,
Я не пошлю тот стих, что осужден Каменой, —
В честь воинов поет иную песнь поэт!
Венцом бессмертия венчая труд кровавый,
Он славит их дела и сам, любовник славы,
Как все цветы земли, он любит лавр побед.

Вам пальма первенства в сражениях, французы!
 Вы покоряли мир, неся тирана узы.
 Тот небывалый вождь — он вами сотворен:
 Бессмертие обрел он вашими мечами,
 И славу, что ему в боях добыта вами,
 Стереть бессилен бег времен.

В историю вписав ужасные страницы,
 Он приковал князей к победной колеснице,
 Он смерть всеильную держал в своей руке,
 Под тяжестью его вселенная хрипела,
 Он, честолюбию не ведая предела,
 Сметал империи, как надпись на песке.

Фортуны баловень, он ею же наказан.
 Безмерной дерзости — падением обязан,
 Гордыню искупил позором долгим он.
 Каким безумием его настигли боги,
 Когда он возмечтал, на роковой дороге,
 Ступенью сделать каждый трон!

Час пробил — он бежал, преследуем впервые,
 Остатки армии губя в снегах России,
 Теряя лошадей, оружие, солдат.
 Паривший царственно в пространстве запредельном,
 Так падает орел, пронзен свинцом смертельным,
 И перья вслед ему, рассеявшись, летят.

Поверженный тиран, он спит в земле холодной.
 Монархи не придут в шатер его походный
 Смиренно поджидать, пока проснется он.
 Европу столько лет держал он мертвой хваткой,
 Но ей уж не стоять перед его палаткой,
 Оберегая черный сон.

Французы! Отберем похищенную славу!
 Вам подвиги его принадлежат по праву,
 Довольно хор похвал о нем одном гремел!
 Он вами вознесен, но ваших молний сила
 Какому бы орлу весь мир не покорила
 И кто б не стал велик с вершины ваших дел!

На вас еще лежит сиянье славы Бренна,
Любовь победы к вам, французы, неизменна,
Ваш отдых — это мир для всех земных племен.
Как память о Моро, Конде или Тюренне,
О доблестный народ, всегда в дыму сражений
Хранишь ты честь своих знамен!

III

Оставь, о мой отец, твой страннический посох!
О бурях боевых, о гибельных утесах,
Встречавших твой корабль, поведай в тихий час
В кругу семьи своей. Ты кончил труд походный,
Ты завещал сынам свой подвиг благородный,
И нет наследия прекраснее для нас.

А мне, в ком говорит призвание иное,
Когда твой дремлет меч в бездейственном покое,
И, с колесницею расстался боевой,
Твой конь, теперь меня влекущий к битвам слова,
И, погруженный в сон, близ очага родного
Ветшает стяг победный твой, —

Дай мне для слабых струн мощь твоего булата,
И, жизнь твою воспев с восхода до заката,
Мой голос прогремит, как эхо славных сеч,
И муз обрадует великих дней отзывом, —
Так, полон гордости, сестренкам боязливым
Несет их младший брат отца тяжелый меч.

Август 1823

Скажи мне, откуда он явился,
и я скажу, куда он идет. Э. Г.

I

Два острова на глади пенной,
Две великаньих головы
Царят у двух границ вселенной,
Равно угрюмы и мертвы.
Смотри, — и задрожь от страха!
Господь их вылепил из праха,
Удел предвидя роковой:
Чело их молниями блещет,
Волна у скал нависших плещет,
Вулканы спят в груди немой.

Туманны, сумрачны, безлюдны,
Видны два острова вдали,
Как будто два пиратских судна
В пучину намертво вросли.
Их берег черен и безлюден,
Путь между скал кремнист и труден
И дикой чащей окаймлен.
И здесь недаром жуть гнездится:
На этом Бонапарт рождается,
На том умрет Наполеон.

Тут колыбель — а там могила.
Двух слов довольно на века.
Их наша память сохранила,
И память та не коротка.
К двум островам придут, мне мнится,
Пред тенью царственной склониться
Все племена грядущих дней.
Раскаты гроз на высях горных,
Удары штормов непокорных
Напомнят правнукам о ней.

Недаром грозная пучина
Их отделила от земли,
Чтобы рождение и кончина
Легко свершиться бы могли;
Чтобы такой приход на землю
Не сотрясал земли, подъявля
Мятеж таинственных глубин,
Чтоб на своей походной койке
Не вызвал бури узник стойкий
И мирно умер бы один.

II

Он был мечтателем на утре дней когда-то,
Задумчивым, когда, кончая путь солдата,
Угрюмо вспоминал бывшее торжество.
И слава и престол коварно обманули:
Он видел их вблизи, — ненадолго мелькнули.
Он знал ничтожество величья своего.

Ребенком грезил он на Корсике родимой
О власти мировой, о всей непобедимой
Своей империи под знаменем орла, —
Как будто мальчику уже звучала сладко
Многоязыкая, пред воинской палаткой,
Всемирной армии заздравная хвала.

III

ХВАЛА

«Будь славен, Бонапарт, владыка полвселенной!
Господь венчал тебя короною нетленной.
От Нила до Днепра ты правишь торжество,
Равняешь королей прислуге и вельможам.
И служит вечный Рим подножьем
Престолу сына твоего!

Парят орлы твои с простертыми крылами,
Несут на города убийственное пламя.
Ты всюду властвуешь, куда ни глянь окрест.
Ты покори диван, командуешь конклавом.
Смешав на знамени кровавом
И мусульманский серп и крест.

И смуглый мамелюк, и готский ратник дикий,
И польский волонтер, вооруженный пикой,
Все слепо преданы желаниям вождя.
Ты исповедник их, ты их законодатель.
Ты мир прошел, завоеватель,
Повсюду рекрутов найдя.

Захочешь, — и, взмахнув десницею надменной,
Во всех империях свершаешь перемены,
И короли дрожат у врат твоих хором.
А ты, пресыщенный в сраженьях иль на пире,
Почиешь в благодатном мире,
Гордясь накопленным добром.

И мнится, что гнездо ты свил на круче горной,
Что вправе позабыть о буре непокорной,
Что молнии тебе не ослепят глаза.
И мнится, твой престол от рока независим, —
Не угрожает этим высям
Низкорожденная гроза!»

Ударил гроза! — Мир грохотом наполнив,
 Скатился он в ничто, дымясь от стольких молний, —
 Смещен тиранами тиран.
 В теснину диких скал замкнули тень живую.
 Земля отвергла, — пусть несет сторожевую,
 Ночную службу океан.

Как презирал он жизнь — там, на Святой Елене,
 Когда морская даль гасила в отдаленье
 Печальный, мертвенный закат.
 Как был он одинок в вечерний час отлива,
 Как англичанин вел его неторопливо
 Туда, — в почетный каземат.

С каким отчаяньем он слушал гул проклятий
 Тех самых воинских неисчислимых ратей,
 Чье обожанье помнил он!
 Как сердце плакало, когда взамен ответа
 Рыданьем и тоской раскатывался где-то
 Хор человеческих племен!

V

ПРОКЛЯТИЯ

«Позор! Несчастье! Анафема! Отмщенье!
 Ни небо, ни земля не ведают прощенья!
 Вот наконец-то пал низверженный колосс!
 Пускай же, прахом став, впитает он навеки
 Пролитой юной крови реки
 И реки материнских слез!

При этом имени пусть Волгу, Тибр и Сену,
 Альгамбру древнюю, темничный ров Венсена,
 И Яффу, и Кремля горящего дворцы,
 Поля былых побед, поля резни кровавой,
 Своим проклятием, отгулом прошлой славы
 Теперь наполнят мертвецы!

Пускай вокруг него теснятся эти жертвы,
 Восставшие из ям, воскресшие из мертвых,

Пускай стучат к нему обрубками костей!
Калечила их сталь, и порох жег когда-то.
Пусть остров превратит в долину Иосафата
Орда непрощенных гостей!

Чтобы он жил и жил, всечасно умирая,
Чтобы рыдал гордец, паденье измеряя,
Чтобы тюремщики глумились вновь над ним,
Чтоб узника они усугубляли муки
И заковали эти руки
Своим железом ледяным!

Он верил, что навек победами прославлен,
Что все забыл народ, — и вот он сам раздавлен!
Господь переменял блестящую судьбу.
И у соперника державной римской мощи
Остался миг один, чтоб сгинуть в полунощи,
И только шаг, чтоб лечь в гробу.

Он в море погребен и поглощен в забвенье.
Напрасно некогда в неукротимом рвенье
Мечгал о мраморной гробнице Сен-Дени.
Почившим королям остался он неведом:
С безродным пришлецом, заносчивым соседом
В подземном сумраке не встретятся они!»

VI

Как страшен был удар! Пьянившие вначале,
Последние мечты лишь ужас означали.
Бывает, в юности надеждам мы верны,
Но скоро задрожим в пресыщенности горькой
И жизнь разглядываем зорко
С иной, неожиданной стороны.

Встань, путник, подойди к подножью цепи горной,
Любуясь издали на облик чудотворный,
На перевозданный кряж, запомнивший века,
На зелень дикую, висящую на скалах, —
Какой седой туман ласкал их,
Как увенчали облака!

Вскарабкайся же вверх и задержись на кручах.
Хотел достичь небес... а затерялся в тучах!
Картина страшная меняет облик свой.
Перед тобой стена столетних мрачных елей,
Гнездо бушующих метелей,
Рождение бури грозовой!

VI

Так вот изображение славы:
Вчера слепил глаза кристалл,
Но замутился он, кровавый,
И страшным зеркалом предстал.
Вот два изображения мира,
Два разных лика у кумира,
Два разных возраста души.
К победам в юности готовясь,
Он прочитал под старость повесть
Об унижении в глуши.

Подчас на Корсике туманной
Или на острове втором
Услышит кормщик безымянный
В ущельях заворчавший гром.
И, вспыхнув молнией летучей,
Тот призрак, выросший из тучи,
Скрещает руки на скале, —
Не двигаясь, без содроганья,
Теперь царит он в урагане,
Как раньше в битвах на земле.

VII

Ушла империя, — остались две отчизны,
Два мрачных образа в его блестящей жизни,
Два моря штормовых у двух границ земли.
Здесь плавал Ганнибал, а там — дорога Васко.
Скажи: Наполеон! — откликнется как сказка
Двойное эхо издали!

Так пушечный снаряд, пылающий и мстящий,
На черных небесах параболу чертящий,
Как бы колеблется, полет замедлив свой,
Но лютым коршуном он падает на землю,
И роет ямину, сыпучий прах подъемля,
И камни рвет из гнезд на старой мостовой.

И долго, кажется, полно глухого гула
Извергнувшее смерть, дымящееся дуло,
И долго площадь, где снаряд разорвался,
В кровавых отсветах и корчах погибая,
Железное ядро в обломках погребая,
Гудит, истерзанная вся!

Июль 1825

К ДЕВУШКЕ

О чем печалишься ты, нежная дева?
Разве дни твои не цвет ранней юности?

Литовская дойна.

Еще не знаешь ты, как юность лет прекрасна!
Гляди же, девушка, без зависти на нас,
Чье сердце то поет, то рабски вновь безгласно,
Чей смех печальнее, чем слезы юных глаз.

Так дни твои нежны, что их удел — забвенье!
Они умчатся вдаль, как ветра вздох немой,
Как голос радости, звучащий лишь мгновенье,
Как стая чаек над волной.

Не торопись же стать серьезной, искушенной!
Апрелю радуйся, пока горит восток!
Твой каждый день — цветок, один с другим
сплетенный,
Не обрывай же их, пока не минул срок.

Пускай идут года. Судьбой осуждена ты
На то же, что и мы. Тебя, как всех нас, ждет
Крушение гордых дум, тяжелые утраты
И жалких радостей черед!

Так будь же весела! Не ведай злой судьбины,
Пусть тени не мрачат прелестного чела
И взора, зеркала души, еще невинной,
Где отражение лазурь небес нашла.

Февраль 1825

.. Пускай в разлуке дни
Медлительно текут. Любовь ко мне храни
Всегда. Я день за днем тоской томим же-
стокой!

В толпе веселой ты останься одинокой;
Во сне и наяву зови меня, зови,
Сама ко мне стремись всей силою любви!

Андре Шенье.

I

Конь упряжью звенит, играет удилами,
О камни колесо черкнет и выбьет пламя, —
Пора мне в путь. Прощай! И горькою тоской
Не омрачай души. Прости! Но сердце сжалось —
Коляска тронулась, я еду, ты осталась...

Увы! Зачем ты не со мной!

Не уходи еще! Послушай терпеливо
Далекий шум колес, бегущих торопливо,
Стук замирающий подков коней лихих.
Так друг у друга нас пространство похищает:
Вот платье белое мой взор не различает,
И для тебя уже коляски шум затих...

Как! Больше ничего? Ни образа, ни звука?..
Простерла надо мной ночную тьму разлука.
Свершилось! Все вперед влекут меня пути,
И в этот новый ад, где горестям нет меры,
Где мукам нет конца, где злобствуют химеры,
Живым я осужден сойти!

Где я исход найду сомнениям и думам?
 К ладоням бы твоим склониться лбом угрюмым!
 Смотреть и слушать мне — что пользы одному?
 С тобою врозь печаль становится страданием,
 И не зажжен мой взгляд очей твоих сияньем,
 И голос мой умолк, не вторя твоему...

Рассеяннo теперь я взорами отмечу
 Деревья у дорог, бегущие навстречу,
 И в золоте поля, и тень густых лесов,
 Звезду вечернюю над гаснущей зарею,
 И на краю земли — окутанные мглой
 Дома и башни городов.

Что толку мне в лесах, полях и спелых нивах,
 В мерцанье первых звезд, заката переливах,
 Коль вместе их красой не любоваться нам?
 Что мне до тех руин и замков знаменитых,
 Когда не шелестят на их замшелых плитах
 Легчайшие шаги вослед моим шагам?..

Я должен без тебя следить, как дни мелькают,
 Как зори надо мной встают и угасают;
 Улыбку не ловить и взор не видеть твой;
 А в тихий час, когда мечтаю молчаливо, —
 Не чувствовать, как ты закроешь вдруг шутливо
 Глаза мне ласковой рукой.

И все же должен я, терзаясь бесконечно,
 Писать по вечерам спокойно и беспечно:
 «Я бодр и весел вновь. Утешься, слез не лей», —
 В то время как гнетет тягчайший груз разлуки!
 В тревоге за тебя мои несчетны муки,
 И каждый час — как меч над головой моей.

А ты что делаешь? У камелька садишься
 И, карту развернув, за мною вслед стремишься,
 Шепча: «Где он теперь? Пускай на всех путях

Найти друзей, приют судьба ему поможет,
И душу добрую, чей друг, как мой, быть может,
В далеких странствует краях.

О, как он далеко! Я знаю, он оставил
Тот город позади и дальше путь направил,
Через леса и мост, где некогда кипел
Великий бой... Теперь он едет по долине —
По той, где мрачный крест напоминает ныне,
Что год назад... О, пусть проехать бы успел!..»

И старый мой отец слезу твою заметит
И, внучку приласкав, с улыбкою ответит:
«Не бойся! Мы его увидим в добрый час.
Он весел и здоров. Он с увлеченьем бродит,
Надгробья древние, развалины находит
И думает всегда о вас.

Ты знаешь, что его приводят в восхищенье
Былого зодчества наивные творенья, —
Об этом столько раз он говорил тебе:
Средневековый свод, пришедший к нам с Востока,
Или романский шпиль, вздымающий высоко
Столб восьмигранный свой в причудливой резьбе».

IV

И старый ветеран начнет воспоминанья,
Чтобы тебя развлечь, про долгие скитанья,
Про славные дела и битвы дней былых,
Про императора... И шопотом он будет
Тебе рассказывать и, верно, не разбудит
Младенца на руках твоих.

Там, где кончается мир.

I

Так — я перелистал историю народов!
Все есть в той книге — скорбь, величье, блеск
походов.

И дух мой трепетал при смене царств и лет,
Когда скрывала тьма мужей великих лица,
Гремя, откидывалась медная страница
И век злодеев шел вослед.

Теперь ту книгу мы закроем — не пора ли!
В надежде пламенной мы сфинкса вопрошали —
Немое чудище в личине божества,
Но разве разрешит его загадку лира?
Лишь кровью и огнем он в летописи мира
Заносит темные слова.

II

И кто поймет их смысл? — Искатель правды смелый,
Усни, усни, поэт, над лирой онемелой!
К чему нести на торг заветной думы плод?
Зачем ты пел, скажи, то гневно, то уныло?
Пытливой мысли нужно было
В движение увидеть народ.

Дух революции я вызвал беспокойный?
Но хаос нужен был, чтоб мир воздвигнуть стройный!
Я слышал некий глас в безмолвии ночном,
И я воззвал к толпе, чтобы могучим словом
Век отошедший с веком новым
Соединить одним звеном.

Народ внимающий необходим поэту —
Он должен жечь сердца, будить, вести их к свету,
Он должен видеть мир бескрайный пред собой,
Он к небу воспарил, раскрыв крыла впервые,
И что ж — он как в родной стихии
Над бездной моря голубой.

Он мощь обрел свою. Взмахнув крылом могучим,
То волн коснется он, то унесется к тучам,
В любой предел стремится безудержный полет.
Он в вихре кружится, как буря чужд покою,
Ногою став на смерч, рукою
Поддерживая небосвод.

Май 1828

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Вот шиповник средь долин,
Скромный тмин
С розой, лилией, гвоздикой
Пышно стелют свой наряд
И горят
Юной радостью великой.

Милый сердцу чародей
Соловей,
Притаясь в тени древесной,
До утра на сто ладов
Петь готов,
Трепеща мечтой чудесной.

Реми Белло.

Как вечер тих и дали чисты!
Сегодня дождь шумел с утра;
Пойдем скорей на влажный, мшистый
Простор зеленого ковра!
Вон птица влажными крылами
Трепещет, прячась под ветвями,
Забыв о высях голубых,
И голос пробует несмело,
Дивясь, как ярко заблестело
Гнездо в алмазах дождевых.

Иссякла влага дождевая,
Вновь стали небеса синеть.
На землю тучную, сверкая,
Легла серебряная сеть.

Ручей потоком стал шумливым,
В своем струенье торопливом
Травинки, ящериц несет
И, с камня падая стремниной,
Он Ниагарой муравьиной
Волною мутной в берег бьет.

Попав во власть водоворота,
Букашки живы до поры,
Найдя подобие оплота
На утлых крыльях мошкары.
Карабкаясь из злой стихии,
К плывущим листьям льнут иные,
Счастливый празднуя исход,
Когда былинка полевая
Листок удержит возле края
В пучину падающих вод.

Бегут по отмелям потоки,
Восходят к небесам пары,
Струится край земли далекий,
Как марево от их игры.
То здесь, то там во мгле туманной
Сверкнет звездой непостоянной
Изгиб ручья иль водоем,
И тени сходят грозовые
С холмов, и крыш бока крутые
Блестят, омытые дождем.

Пойдем бродить по влажным травам,
Одни мы в этот час с тобой.
Дай руку. К липам величавым
Мы проберемся стороной.
Еще закат багряный длится,
И, прежде чем с холма спуститься,
Постой и оглянись назад,
Где стены, кровли городские —
В лучах заката золотые —
На небе меркнушем горят.

Взгляни, как улетают дымы,
Ползет над крышами туман...

Там жены нежные любимы,
Сердца не знают тяжких ран.
Жизнь такова: не верим в счастье,
А солнце победит ненастье...
Но вот склоняется оно,
В лучах весь город утопает,
И оком огненным пылает
На башнях каждое окно.

Вот радуга! В цветенье ярком
На небосвод вознесена, —
Каким божественным подарком
За грозы радуга дана!
О, сколько раз просил я крылья,
Какие напрягал усилья,
Чтобы, взлетев до самых звезд,
Увидеть мир блаженный, вольный,
Куда ведет от жизни дольной
Высокий семицветный мост.

Июнь 1828

ФЕЯ

И королева Маб ко мне явилась тенью.
Когда мы спим, она низводит к нам виденья.

Эм. Дешан. «Ромео и Джульетта».

Будь то Урганда иль Моргана, —
Но я люблю, когда во сне,
Вся из прозрачного тумана,
Склоняет фея стебель стана
Ко мне в полночной тишине.

Под лютни рокот соловьиный
Она поет мне песни те,
Что встарь сложили паладины, —
И я вас вижу, исполины,
В могучей вашей красоте.

Она за все, что есть святого,
Велит сражаться до конца,
Велит сжимать в руке суровой
Меч рыцаря, к боям готовый,
И арфу звучную певца.

В глуши, где я брожу часами,
Она, мой вездесущий друг,
Своими нежными руками
Луч света превращает в пламя
И в голос превращает звук.

Она, укрывшись в речке горной,
О чем-то шепчет мне тайком,
И белый аист, ей покорный,
Со шпилья колокольни черной
Меня приветствует крылом.

Она у печки раскаленной
Сидит со мною в поздний час,
Когда на нас из тьмы бездонной
Глядит, мигая утомленно,
Звезды зеленоватый глаз.

Влечет видений хороводы,
Когда блуждаю меж руин,
И эхо сотрясает своды,
Как будто там грохочут воды,
Подобные волнам стремнин.

Когда в ночи томят заботы,
Она, незрима и легка,
Приносит мне покой дремоты,
И слышу я то шум охоты,
То зов далекого рожка.

Будь то Урганда иль Моргана,
Но я люблю, когда во сне,
Вся из прозрачного тумана,
Склоняет фея стебель стана
Ко мне в полночной тишине.

К ТРИЛЬБИ

Лесному духу из Аргайля

Вы, эльфов легких стая
Что, крылья раскрывая,
Несетесь далеко
И с песнею звенящей
Лесов тенистых чащи
Колеблется легко,

Вам приношу цветы я —
Фиалки голубые
С гвоздиком полей,
А также розы эти —
Свежей их нет на свете —
И целый сноп лилей!

Старинная песня.

Трильби, с солнечным сияньем
Ты ль влетел в мой темный скит?
Вот уж ласковым дыханьем
Ты касаешься ланит!
Вот уж ты явился взгляду,
Сыплешь блесток мириады,
И небесною отрадой
Песня крыл твоих звенит.

Я узнал твой голос милый,
Только ты успел вздохнуть.
В келье строгой и унылой,
Милый Трильби, гостем будь!

Но хозяйку молодую
Ты искать здесь будешь все,
Чтоб ласкаться к ней, целуя
Приоткрывшую грудь.

С кем же ты здесь ищешь встречи?
С духом огонька? Но он
За моей остывшей печью
Робко прячется, смущен.
Или с феей, чье сверканье
Мне приносит в час свиданья
Днем — блаженные мечтанья,
По ночам — волшебный сон?

Ищешь, где мои ундины
В бледных лилиях речных?
Рассердить ли без причины
Хочешь карликов моих?
Или в бешеном круженье
Пробудить от сновидений,
Раздразнить бывшего тени,
Задевая саван их?

Но, увы! Твоих собратий,
Дорогих моих гостей,
Нет здесь, предана проклятью
Вся семья твоих теней!
Задушив ундин, злодеи
Пригвоздили к стенке фею
И, чтоб было два трофея,
Мышь летучую над ней!

Карлик, сторож мой вчерашний,
Гнева полный до сих пор,
Затрубить не смеет с башни,
Совершая свой дозор.
Сильфу крылья оборвали —
О, как плакал он в печали! —
И оружием разогнали
Мой волшебный, дивный двор.

Так беги же, Трильби милый.
Бой давно неравным стал.

Вот такой же страшной силой,
Вспомни, был отмщен Дугал.
Вкруг жилья его порою
До сих пор, окутан мглою,
Бродит призрак над водою;
На скале сидит Фингал.

Тот, кто в этот край равнинный
С дальних гор сошел с тобой,
Жил надеждою единой,
Как и ты, он жил мечтой.
За судьбой его унылой
Долго родина следила.
Как Гомер, он в край немилый
Только песни взял с собой.

То печалась, то ликуя,
Он, поэт, любить готов
Бездну темноглубую
И бескрайный лет орлов,
Роз осенних увяданье,
Золотых комет скитанья
И в немом небес сиянье
Жалобы колоколов.

Любит он уединенье
И свободу диких стран;
Хуже смертного томленья
Для него раба аркан.
Он, на зов людского рода,
Станет светочем народа,
И того огня свободы
Не задуть тебе, тиран!

Да, таков Нодье! Лети же,
Расскажи ему о том,
Что враги к тебе все ближе
Подбираются тайком.
Он спасет тебя. В услугу
Пой ему в часы досуга,
Ночью ж на челе у друга
Засыпай спокойным сном.

Не стремися в мир безбрежный!
Знай, не дремлет вражий стан!
Не забудь, как сильф мой нежный
От жестоких плакал ран.
Схватят, закричат: «Мы — сила!» —
И покроют их чернила
Плащ твой светлый, белокрылый
И рубиновый султан!

Или, чтобы с фавном пьяным
В пляс пуститься заодно,
Меж сатиром и сильваном
Образуешь ты звено,
И тебя, страшны для взгляда,
В круг потащат без пощады
Их увядшие наяды,
Мертвые давным-давно!

Апрель 1825

Прекрасна смерть, коль умереть любя.

Депорт. Сонет.

«Созвал ополчение Бретани
Наш герцог, ее властелин.
От Нанта до самой Мортани
Собрал он на подвиги брани
Всех воинов гор и долин.

«Пошли и бароны седые
В доспехах тяжелых своих,
И рыцари все молодые,
Пошли и солдаты простые,
А с ними — мой милый жених.

«Высокий, в колете багряном,
В плаще из парчи золотой,
Ни в чем не уступит дворянам
И кажется всем капитаном,
Хоть он и литаврщик простой.

«С тех пор я объята тревогой,
Святую Бригитту молю:
— Спаси его! Будь нам подмогой!
Он встретит опасностей много,
А я... я его так люблю!

«Отец! — я сказала аббату, —
Молитесь за наши полки!
Примите мой дар небогатый,
По свечке поставьте у статуи
Святого Петра и Луки.

«Обет я дала: — О Мадонна,
Коль жизнь ты ему сохранишь,
Коль будешь к нему благосклонна,
Схожу в монастырь отдаленный,
Все сделаю, что повелишь!

«Не мог он, хоть время бежало,
Подарок иль весть мне послать:
Нет слуг и пажей у вассала;
Ведь сам он — слуга феодала,
Чью волю привык исполнять...

«Но весть по Бретани несется
Про герцога с войском его,
И сердце так радостно бьется:
Сегодня любимый вернется!
Сегодня у нас торжество!

«Победное старое знамя
Вернулось к селеньям родным...
Идите глядеть вместе с нами,
Как шествует герцог с полками!
Жених мой возлюбленный — с ним.

«Наверное, он восседает
На рослом коне, что храпит,
Султаном из перьев кивает,
И так горделиво ступает,
И огненным глазом косит...

«Подружки, вы медлите что-то;
Вдруг мимо проследует он!
Спешите скорей за ворота,
Ведь всем вам послушать охота
Литавр ослепительных звон.

«Он — с шарфом, который под ивой
Я вышила шелком сама,
И в каске он с конскою гривой,
Веселый, кудрявый, красивый...
Ах, я от него без ума!

«Цыганка мне, правда, сказала, —
Накличет колдунья беду! —
Что пышный кортеж феодала
Напрасно я так поджидала
И в нем жениха не найду.

«Потом, показав мне рукою
На склеп, где ночует она,
Шепнула с усмешкою злою:
— Такая же нынче, не скрою,
Обитель тебе суждена!

Прогнать эти мысли смогу ли?
Уже барабаны гремят,
Все двери уже распахнули,
И дамы к окошкам прильнули,
Знамена победно шумят.

«Идут впереди эскадроны,
За ними — копейщиков полк;
Затем выступают бароны:
На мантиях — львы и короны,
И бархат алеет, и шелк.

«Вот в ризах блестящих прелаты,
Герольды на белых конях,
В стальные закованы латы,
Где лев нарисован крылатый,
Внушавший противникам страх.

«В кольчугах, в плащах своих белых
Храмовники гордые тут.
А далее — луки и стрелы:
Швейцарцы, отважны и смелы,
В кафтанах из кожи идут.

«Верхом, в окружении свиты,
Сам герцог, любимец солдат.
Вот рыцарей ряд родовитых,
Штандарты их лавром увиты...
А вот и литавры звенят!»

Любимого взором искала
Невеста... Но скоро в пыли
Все скрылось... Она застонала
И мертвою наземь упала —
Литаврщики мимо прошли...

Октябрь 1825

СЕЧА

Войска сходятся, столкновение ужасно,
воины ужасны, раны ужасны, сеча ужасна.

Гонзало Берсео. «Симанкская битва».

Пастух, сверни с пути. В долине, под горою,
Ты копий видишь ли два движущихся строя,
Два войска вражеских, идущих в смертный бой?
По знаку двух вождей, друг к другу полных злобы,
Они пред битвою остановились оба.
Вот крики. Ты дрожишь? То гимн их боевой.

«Спешите, роковые птицы,
Стервятник, ворон и орел!
Как на раскрытые гробницы,
Летите в этот страшный дол.
Пусть, нашим поражен булатом,
Здесь нынче враг падет с закатом.
Молебствий истекает час.
Их пастырь перед близкой битвой
Пропел последние молитвы,
И наш — благословляет нас».

Ронан, валлийский принц, Хальберт, барон
норманнов —
Стоят здесь во главе равно могучих станов.
Норманны опытни, кипит в валлийцах страсть.
Они идут на бой в тяжелых, звонких латах,

Другие ж, варвары, в уборе шкур косматых,
И шлем их — волчьих морд оскаленная пасть.

«Нам безразлично горе вдовье
И плач оставшихся сирот,
Мы руки, залитые кровью,
Омоем завтра в лоне вод.
Тесней сомкнемся для удара!
Пусть наши громкие фанфары
Оледенят сердца врагов.
Они напрасно рвутся к бою:
Для них земля под их ногою
В могильный превратится ров».

Вот, наконец, сигнал. В пыли, столбом подъятой,
Поспешный топот ног — как грозные раскаты.
Как черных два коня, грызущих удила,
Как мощных два быка, две массы из булата
Взревели бешено и, яростью объаты,
Столкнувшись, треснули, как медных два чела.

«Бойцам нестись в атаку любо!
Вперед, вперед, рази, клинок!
Саксонские завывли трубы,
Норманнский заиграл рожок.
Мечи, и копья, и кинжалы,
В крови омоченные алой,
Сминая латы на врагах,
Над обездоленной долиной
Сплетайтесь острою щетиной,
Как иглы терний на кустах!»

А солнце? Где оно? Сквозь тучи дымной пыли
Краснеет, словно щит в пылающем горниле.
В кровавом облаке блестит мечей булат.
Как раскаленный горн, озарена равнина.
Как будто бы земли разверзлась середина
И в ней, грохочущий, раскрылся самый ад.

«Предела нет утехам бранным,
Ряды теснятся в глубь рядов,

Стопы живых скользят по ранам
Еще трепещущих бойцов.
Вперед, над страхом торжествуя!
Здесь пеший грудь коня стальную
Грызет, неистовством объят.
Там остря мечей со звоном
Скользят по кованым попонам,
И кони, взмылены, дрожат».

В кровавом хаосе бьют копыта по доспехам!
Валлийцы, все в крови, окутанные мехом,
Хватают лезвия, и виснут на щитах,
И падают мертвы, упорно, ряд за рядом,
Бросаясь к рыцарям, как к крепостным громадам,
Что высятся, крепки, на боевых конях.

«Пусть обломавший в схватке шпагу
Ногтями рвет, зубами ест,
Чтоб обмануть волков отвагу,
Что бродят алчные окрест.
Вперед! Ни плена, ни пощады!
Умрем, но славно, если надо!
Падем, мертвы, на мертвецов,
Чтоб завтра днёвное светило
Обломки копий озарило
В руках изрубленных бойцов!»

Пойдем, пастух: уж ночь, но только больше крови,
Все больше страшных искр, удары все суровей.
Вот конь несется прочь, порвав узду свою.
Пойдем, оставим их во власти ослепленья.
Все завтра отдохнут от страшного сраженья —
И тот, кто победил, и тот, кто пал в бою.

Сентябрь 1825

ПОСЛУШАЙ МЕНЯ, МАДЛЕНА...

Любите жѣ меня, покуда вы прекрасны.

Ронсар.

Послушай меня, Мадлена!
В лесах расцветает вербена,
Зима отступила с лугов.
Я жду среди рощи открытой
Один, без докучной свиты,
Под пение дальних рогов.

Приди! Посмотри, Мадлена:
Веснадохнула мгновенно,
И розы полны надежд.
Здесь, для твоей забавы,
Она побросала в травы
Цветы со своих одежд.

Желал бы я стать, Мадлена,
Овечкою белопенной, —
Твоя с ней играет рука.
Желал бы сделаться птицей,
Чтобы к тебе стремиться
На зов твой издалека.

Желал бы я стать, Мадлена,
Духовником из Томблена
В исповедальне святой.

Когда, уста к его уху
Прижав, ты вверяешь слуху
Вчерашний проступок твой.

Ночным мотыльком, Мадлена,
Я стал бы, не зная измены,
Порхать за твоим стеклом
И поздним вечером темным
Стучаться в твой дом укромный
И бить о стекло крылом, —

В тот час, как стоишь ты, Мадлена,
Освобождаясь от плена
Тяжелых черных шелков,
И вдруг на свое отражение,
Зардевшись в девичьем смущенье,
Бросаешь ревнивый покров.

Скажи лишь слово, Мадлена,
Склонят пред тобой колена
Вассалы и сотни пажей,
А бедной часовни арки
Затянутся шелком ярким
До каменных ступеней.

Скажи лишь слово, Мадлена,
И вместо пучка вербены,
Что твой украшает убор,
Ты будешь, как знатные жены,
Носить золотую корону,
Где жемчуг ласкает взор.

Скажи лишь слово, Мадлена,
И станешь женой сюзерена,
Ведь я — граф Роже! В мой дом
Войди же, оставь свою долю,
Но коль на то твоя воля —
Я сделаюсь пастухом!

Сентябрь 1825

ТУРНИР КОРОЛЯ ИОАННА

Более шестисот копий было сломано; бились пешие и конные, через барьер, мечами и копьями, и ни оборонявшиеся, ни нападавшие не совершили ничего противоречащего взаимному уважению; это вдвойне прославило великие турниры. На последнем из них дворянин по имени де Фонтен, шурин Шандиу, главного прево маршалов, был смертельно ранен; и еще на втором Сент-Обэн, другой дворянин, был убит ударом копья.

Старинная хроника.

Конюх! Скуке нет конца:
Оседлай мне жеребца!
С плеч свалится словно бремя,
Как закинешь ногу в стремя
И отъедешь от крыльца.

Ну, рыжак мой, не дремля, —
Скоком-летом на поля!
Выбирай дорогу шире —
И как раз мы на турнире
Иоанна короля.

Пусть обрюзглый кармелит
За чернильницей сидит;
Пусть белица у решетки,
Перенизывая четки,
На коленях голосит.

Слава богу, мы с тобой
Крови рыцарской прямой!
Должен быть нам бой кровавый
Благородною забавой
И любимую игрой!

В замке дедовском моем
Чуть не стал я байбаком,
Чуть от скуки не взбесился;
Меч мой ржавчиной покрылся,
Бабым стал веретеном!

Этот город... посмотри ж:
Вон сереет тучей крыш,
Весь разубран, разукрашен...
Сотни шпилей, сотни башен...
Этот город — сам Париж.

Здесь — кадрили: пляши и пой!
Там — разгул и пир горой!
Люд валит волной гремучей,
А на кровлях — целой кучей —
Голова над головой!

Старый Лувр — и он открыт...
Век суров и век молчит
Под броней своей всегдашней,
А теперь и в Луврской башне,
Будто в улье, рой жужжит.

Чу! герольды там и там:
Кинут жеребий для дам;
Кто ж царицею турнира,
Солнцем рыцарского пира
И наградой удалцам?

Что тут ждать? Две пары шпор —
Под балкон во весь опор:
На красавиц яснооких,
Белолицых, розощеких
Наведем умильный взор...

Вот идет видам седой
За женою молодой:
Не одной пришлось соседке
Позавидовать брюнетке
С беломраморной рукой!

Весь балкон, во всех рядах —
Словно вешний луг в цветах:
Вот Алиса, Женевьева,
Габриэль и королева,
Вся в парчах и в жемчугах...

Говорит из дам одна:
«Королева все грустна?»
Отвечает королева:
«Да, мне грустно, Женевьева,
И душа моя смутна».

Началось... гудит земля...
Бьет набат... Рубя, коля,
Стал громить один другого —
В честь Георгия Святого
И во имя короля.

Скошен бурею цветок —
Сброшен в сече на песок
Паж красавец... он страдает,
Он аббата призывает —
Поздно: жребий вынул рок.

Над покойным хор белиц
Крест и свечи клонит ниц,
И по нем во мраке ночи
Будут плакать сумрак-очи
С зорь вечерних до денниц.

Будут плакать оттого,
Что душой с душой его
Неразлучна Изабелла...
Сколько слез!.. Да нам нет дела:
Нам турнир важней всего!

Эх, товарищ верный мой!
Не пора ли нам домой,
На гнездо, в наш замок чтимый?
Там, под кровлею родимой,
Оба мы найдем с тобой:

Ты — на завтрак овсеца,
Я — почтенного отца,
Авгусгинского монаха:
Сокрушит меня — неряха —
Он латынью до конца!

Все над книгами сидит,
Все над свитками корпит
И десницею своею
День и ночь он ахиною
На пергаменте чертит.

Благородный дворянин
Сам не пишет, помня чин:
Челядь есть на то простая,
А рука его честная
Знает только меч один.

Июнь 1828

Из книги
«Восточные мотивы»

1829

КАНАРИС

Действовать молча.

Старый девиз.

Когда разбитый бриг блуждает по волнам,
Когда в изнеможенье
Свисают паруса, ядром то здесь, то там
Пробитые в сражение,

Когда на палубе всё мертвецы кругом,
Обломки такелажа
Да снасти, с черных рей висающие клубком,
Как спутанная пряжа,

Когда корабль в дыму и грохоте кружит,
Как колесо большое,
И с носа до кормы поток людей бежит
В отливе и прибое,

Когда уже команд не слушает солдат
И волны ужас будят,
А пушки сорваны с лафетов и скользят,
Сшибаясь в общей гряде,

Когда морской колосс уже открыл волнам
Зияющие раны
И развороченный в обшивке медной шрам
Обрызган кровью рдяной,

Когда он без руля по воле волн летит
С пробитой сердцевиной,
Как рыба мертвая, чье брюхо серебрит
Зеленая пучина, —

Честь победителю! Канат он укрепил
Над вражеской кормою
И, как могучий гриф, свой коготь в грудь вонзил
Добыче, взятой с бою, —

Свой поднимает флаг на мачте он чужой,
Чтоб знамя трепетало,
Чтоб отражение, колеблемо волной,
Струило отблеск алый.

Всегда бывало так, когда иной народ,
В сраженьях вознесенный,
Мог пурпур, серебро, лазурь над лоном вод
Развертывать в знаменах.

И в ткани тех знамен был гордой власти знак,
Победой упоенье,
Как будто в зыби волн оставить может флаг
Свое напечатленье!

У Мальты был свой крест, Венеция, как знак
Могущества морского,
Изображенье льва взяла себе на флаг,
Грозящего сурово.

Цвета Неаполя на синеве морской,
Летя по ветру долго,
Струятся на морях живою полосой
Из золота и шелка.

Испания вплела в цвета своих шелков,
В узоры ткани старой
Зубцы Кастилии, Леона гордых львов,
Златую цепь Наварры.

Скрещает Рим ключи, на флаге чтит Милан
Дитя в зубах дракона.
Фрегатам Франции трилистник лилий дан
На синем цвете фона.

Серп полумесяца изобразил Стамбул,
А Новый Свет богатый,
Как небо звездное, широко развернул
Свой вымпел полосатый.

Штандартам Австрии привычна тень орла
С двойною головою;
На запад и восток глядит он, полный зла,
Грозя врагам войною.

Другой двойной орел, его соперник, стал
Эмблемой царской власти —
Два мира стережет, а третий мир зажал
В когтях, чтоб рвать на части.

Ликуя, Англия воздвигла на морях
Разбойной чести знамя
Надменное, оно скользит, внушая страх,
Над бурными волнами.

Властители земли венчают с давних пор
Своим гербом стихии,
И стал уделом тех, кто побежден, — позор
Нести цвета чужие.

Когда суда врагов уводит в дальний порт
Соперник величавый,
Своим разросшимся отныне флотом горд
Под вымпелами славы,

Он горделивый флаг взвывает над кормой,
Изведавшей все беды,
Чтоб враг пронес на лбу позор тягчайший свой
И честь чужой победы.

Канарис же, смельчак, внушая туркам страх,
В морском бою с врагами
Не зная на чужих взвывает кораблях,
А ярой мести пламя!

Ноябрь 1828

O horrible! o horrible! most horrible!

Shakespeare. Hamlet.

О ужас, ужас! О великий ужас!

Шекспир. «Гамлет».

I

Бездонный свод ночной, усеянный огнями,
Был морем повторен, был отражен волнами;
Окутан сумраком, смеющийся Стамбул,
Упав на берегу залива, полный лени,
Меж звездных трепетов и звездных отражений
Как в шаре пламенном уснул.

Как будто гениев полуночных отряды
Воздвигли в воздухе безмолвные громады
Гаремов и дворцов, что в сон погружены,
Лазурных куполов, что с небом спорят цветом,
Где полумесяцы, блестя по минаретам,
Как бы затмили блеск луны.

¹ Эта ода перепечатывается в том виде, в каком написана и опубликована в июне 1826 г., в дни разгрома Миссолонги. Читая, надо помнить, что все европейские газеты оповестили тогда о смерти Канариса, убитого в своем брандере турецкою бомбою вблизи города, которому он шел на помощь. Вскоре, к счастью, это роковое известие было опровергнуто. (*Прим. авт.*)

Глаз различает там старинных башен грани,
Мечети стройные, приземистые бани
И крыши плоские бесчисленных домов,
Балконы узкие, похожие на клетки,
С резьбой узорною, и пышные эгретки
Огромных пальм вокруг дворцов.

Слоновой костью там белеют минареты,
Как мачты стройные, чьи копыя в небо вздеты;
Киоски там пестрят; маяк струит лучи,
И над громадою сераля, тяжки, немые,
Тяжелым оловом, как бы гигантов шлемы,
Сто куполов блестят в ночи.

II

Сераль!.. Сегодня он дрожит от ликования.
На шелковых коврах под гром и завыванье
Флейт, барабанов, труб — султанш веселый пляс:
Дворец, как властелин, дарующий широко,
Шесть тысяч подарил поклонникам пророка
Голов, отрубленных зараз.

Зловещие, они, чредой свисая длинной,
Собою тяготят зубцы стены старинной,
Среди расцветших роз, что внемяют соловью;
Печальна, точно друг, и, точно друг, утешна,
На бледность мертвую луна, скользя неспешно,
Льет бледность нежную свою.

И как бы властвуя, среди стены фатальной
Три головы висят над аркою центральной,
Где вороны порой к их приникают лбу;
И роковой удар одну на поле битвы
Постиг в разгар борьбы, другую — в час молитвы,
Последнюю — уже в гробу.

Когда недвижимые, как и они, тупые,
Оцепенелые дремали часовые, —
Три этих головы заговорили вдруг.
Их голос походил на песни в снах туманных,
На смутный ропот волн у берегов песчаных,
На ветра гаснущего звук.

Первый голос

Где я?.. О брандер мой! На весла! На ветрила!
 Нас Миссолонги ждет кровавая могила:
 Турецкий флот пришел к его стенам святым.
 Вернем их корабли в их гавани и станы!

И пусть мой факел, капитаны,
 Вам будет маяком и молнией будет им!

Вперед! Прощай, Коринф, мой город величавый,
 Моря, где каждый мыс покрыт бессмертной славой,
 Гряды подводных скал, поднявшихся со дна,
 Созвездья островов, цветник архипелага,
 Чьи краски пышные днем отражает влага,
 Чьим ароматом ночь полна!

Прощай, мой гордый край, о Гидра! Спартой новой,
 Свободы юной песнь ты мчишь в борьбе суровой;
 Лес мачт у стен твоих, родной матросам град.
 Прощай! Люблю тебя, о колыбель надежды, —
 Твои зеленые одежды
 И — в бурях и громах — твоих утесов ряд!

Коль Миссолонги мне спасти дано судьбою,
 Я церковь новую на берегу построю,
 А если я паду велением судеб
 И кровь мою пролью на вековом граните, —
 В страну свободную мой прах перенесите,
 На солнце мой постройте склеп.

О Миссолонги мой! Там турки! Братья, надо
 Их пушки сбить с валов! Пусть дымом их армада
 Рассеется! Сожжем их адмирала мы!
 Вперед! Пусть брандеры огней готовят стаю,
 И я пожаром начертаю
 Мой лозунг боевой у вражеской кормы!

Победа, братья!.. О! На ялик мой, пылая,
 Вдруг бомба падает, непрочный борт ломая...
 Вода врывается в пробитые бока!
 Напрасно я кричу, глотая ток соленый!

Прощайте! Я обрел покров волны зеленой
На нежном ложе из песка!

Но нет! Я вновь гляжу!.. Но страшно мне и странно.
Руки не чувствую на ручке ятагана!

Что за чудовище глядит, здесь рядом, вдаль?..
Я слышу музыку... вот пенье льется в уши...

То не блаженные ли души?
Быть может, я в раю?.. Нет, всюду кровь!.. Сераль!

IV

Второй голос

О да, Канарис, да: сераль! С тобой мы оба
Их пир украсили. Исторгнут я из гроба;
В земле меня настиг турецкой злобы взрыв.
Мой череп стал для них добычею военной;
Что от Боццариса осталось в яме тленной,
То украшением взял калиф!

Я спал в моем гробу, спокойный и бесстрастный;
Вдруг: «Миссолонги взяты!» — раздался крик ужасный!
Я рвался, бился там, я проклинал мой рок;
Я слышал пушек рев и треск мушкетов дикий,
С рыданьем смешанные клики,
Железа страшный лязг и топот быстрых ног!

Я слышал в грохоте и сутолоке боя
Мольбы и жалобы, рыданье гробовое:
«Спаси от подлых орд несчастный твой народ,
О тень Боццариса!» — Я бился в тьме могильной,
Я кости раздробил, стучась в тоске бессильной
О мраморный холодный свод.

Вдруг, как вулкан, земля вся сотряслась глубоко,
Объята пламенем. Все смолкло. Смертных око
Того не видело, что мой увидел взгляд:
С земли, из волн, из недр пожара вылетая,
Смятенных душ витала стая:
Одни летели в рай, другие мчались в ад.

И победители мой гроб открыли сами,
Срубили голову; с другими головами
В татарские мешки швырнули вместе нас.
Дрожь радости ожгла поруганное тело:
За Грецию, за крест судьба мне повелела
Еще один погибнуть раз!

Наш кончен путь земной. Стамбул, волнуясь яро
От Семибашенной твердыни до Фанара,
На жатву страшную глядит, от крови пьян.
И наши головы, предмет насмешек черни,
Обвив сераль, погрязший в скверне, —
Полакомят тебя, друг коршунов, султан!

Герои наши — здесь! Вот Гелла с Икарии;
Вот Коста, паликар; вот Христо, сын стихии;
Вот Китцо, Байрона любимый друг; в углу —
Он, Майер, чья судьба нам руку протянула:
С вольнолюбивых Альп потомкам Фразибула
Принес он Теллеву стрелу!

А эти головы, с приплюснутыми лбами, —
В рядах стоических представшие рабами, —
Потомки Сатаны, Иблиса мерзкий род;
То — турки, темное, запуганное стадо:
Их убивают, если надо
Голов отрубленных сравнять ужасный счет.

Как черный Минотавр, кого боялись предки,
Жив лишь один султан в своей презренной клетке,
Где наши черепа толпу страшат из тьмы:
Ведь все свидетели его веселий смрадных,
Евнухи гнусные, среди снов их кровожадных, —
Такие ж мертвецы, как мы.

Ты слышишь крик?.. Сейчас — его нечистой страсти
Сонм наших дев и жен находится во власти;
Цветы их юности увянут в этот час.
Рыча от радости, султан блуждает тигром,
Считая дань ужасным играм:
Дев наших — в эту ночь, а завтра утром — нас!

Третий голос

О братья, пастырь ваш, Иосиф, здесь я, с вами.
 Наш город пал. На смерть отважившись, на пламя,
 Избег он голода и отвратил позор —
 И, с турками делаясь бедой своею гордой,
 Он, жертва грозная, поджег рукою твердой
 Сам свой карающий костер.

Глядя, как двадцать дней не видят люди хлеба,
 Призвал я: «Все сюда! Покорны воле неба,
 Здесь, в храме, скажем мы родной стране *прощай*.
 Из слабых рук моих за траурной обедней
 Примите, братья, хлеб последний, —
 Насытит душу он и путь укажет в рай».

О час причастия! Избранники могилы,
 Облатку бравшие, собрав остаток силы,
 Губами синими; ослабшие бойцы,
 Еще грозящие, чьи руки точно плети;
 И у грудей сухих измученные дети,
 В кровь иссосавшие сосцы!

И ночью все ушли. Враги ж, в ночных потемках,
 Бродили стаями меж трупов и обломков;
 Под их ударами открылась дверь моя;
 Здесь их последняя добыча ожидала;
 Здесь голова моя упала...
 Не знаю, кто меня сразил: молился я.

Но жалок он, Махмуд. Средь дикости рожденный,
 От бога и людей величьем отделенный,
 Свой взор поднять, слепой, он к небесам не мог;
 И на его венце, что свалится однажды,
 Кровавой головой зубец украшен каждый...
 И, может быть, он — не жесток!

Он — жертва вечная томительного страха,
 Он расточает дни бесплодной горстью праха —
 Невозвратимые! Вокруг него — враги.

Все время — скука, плен. Как идола немого,
Издалека любить готова
Его орда рабов из-под бича спагй.

А ваши подвиги запишут на граните:
Вы здесь побеждены — в веках вы победите!
Бог вас благословил на страшной башне сей!
Не угасила смерть высокой вашей славы,
Ваш гордый памятник — венец голов кровавый,
И ваши трупы — ваш трофей!

Пускай отступники завидуют вам, братья!
Кто осквернил купель, тем вечное проклятье!
Их в книге живота искать — напрасный труд.
Их ангелы не ждут в обители блаженных;
Звук их имен, навек презренных,
Уста людей, как яд, на землю изблюют!

Европа! Слышишь ли ты голос нашей муки?
Когда-то — нам помочь — ты простирала руки;
Отряды рыцарей святой Луи повел.
Так избери ж теперь, пока бог дремлет в небе:
Исус или Омар? крест или меч — твой жребий?
Тюрбан иль ореол?

VI

Да, тени светлые, — моряк, епископ, воин! —
Она услышит вас: ваш дух того достоин;
Она увидит знак, что вам чело обжег!
И, воскрешая дни, истлевшие в пожаре,
Вам славу воспоют на арфе и кифаре
Два грека скорбные, ваш вспоминая рок:

«Полны величия, спокойны, тверды, строги,
Вы, жертвы гордые, бойцы и полубоги,
Свой непреклонный дух прославили в бою.
Вас поруганию подвергли злые силы;
Голгофа ваша здесь, там — ваши Фермопилы,
Где жертвенную кровь вы пролили свою!

Но коль Европа все ж, по брызгам вашей крови,
К сералю не пойдет с оружием наготове, —
Ей участь горькую предвозвестит творец.
Вас алтари зовут в стране единоверцев,
Олимп и небеса даруют вам венец, —
Героев триоца, плеяда страстотерпцев!»

Июнь 1826

Вперед, о юнша! Вперед! Иди же!

Андре Шенье.

Скорее в Грецию! Пора! Ей вся любовь!
Пусть мученик-народ отмстит врагам за кровь,
Которую там проливают.
Скорее в Грецию, друзья! Свобода! Месты!
Тюрбан на голове, кривая сабля есть...
Скорей! Пусть мне коня седлают!..

Когда же в путь? Сейчас! Отъезда день решен.
Оружия! Коней! И кораблей в Тулон!
Да, кораблей иль крыльев птицы!
Остатки гвардии мы доблестной возьмем,
И турок, как газель, перед ее лицом
Постыдно в бегство обратится.

Веди нас в бой, Фавье, как лучший из вождей!
Там стал ты на посту, где нету королей.
Веди рядами нас в сраженье!
Ты — римлянина тень средь греков молодых,
Отважный воин наш! Теперь в руках твоих
Судьбы народной назначенье.

Воспряньте ж, наконец, от долгих душных снов,
Ружье французское и музыка боев —
Орудья, ядра и кларнеты!

Увижу ли коней, что скачут напролом,
И сабли, гибельным сверкнувшие клинком,
И с меткой пулей пистолеты?

Хочу быть первым я там, где вокруг враги,
Хочу увидеть строй стремительных спаги,
Пехоты смелой дерзновенье.
Горячих скакунов, летящих по песку,
Клинки, что головы срезают на скаку!
Вперед! Но тщетное волненье...

Увы, я лишь поэт. Порыв напрасен мой.
Лишь старики меня в свой принимают строй.
Кто я? Способен ли я к бою?
В дыхании ветров я лишь сухой листок,
Когда его волной уносит вдаль поток.
И я живу одной мечтою.

Мечта со мной всегда: она — луга, леса...
Меня волнует все: гобоев голоса
И шум дубовых рощ могучих.
В вечерних сумерках, когда безмолвен бор,
Люблю я зеркало сияющих озер,
Когда в него глядятся тучи.

Люблю горячий я и красный диск луны,
В тумане над рекой глядящий с вышины,
И светлый серп под тучей с края;
Люблю в ночной тиши за фермой стук колес,
Который ветерок ко мне в окно донес,
И в тьме далекий отзвук лая.

ГОРЕ ПАШИ

Расставшись со всем, что было
мне дорого, я чахну в горести и оди-
ночестве.

Байрон.

— Что с ним? — спросил дервиш, почти дрожа от
страха, —

Ужель с такой казной стал скуп он, тень Аллаха?
Задумчив, сумрачен, улыбки нет живой.

Иль притупилась сталь отцовской сабли старой?

Иль у его дворца бушуют янычары,
Как волны моря пред грозой?

— Что сделалось с пашой, с визирем войск
покорных? —

Твердили пушкари, толпясь у пушек черных. —

Иль строгостью имам смутил его мечту?

Или нарушил он законы рамазана,

И видится ему, возникший из тумана,

Сам ангел Азраил над адом на мосту?

— Что с ним? — придворные шептали арабчата. —

Иль потонул корабль, чей груз дороже злата —

Коренья, пряности, что молодость сулят?

Иль шлет ему Стамбул немилость и изгнание?

Или какой-нибудь цыганки предсказанье

Оледенило страхом взгляд?

— Что нежный наш султан? — в тревоге шепчут
жены. —

Застал ли сына он в саду под миртом сонным

С наложницей своей, чьи очи — как эмаль?
Иль благоволия в бассейн не те налиты?
Иль из мешка феллах не вытряхнул на плиты
Кровавой головы, которой ждал сераль?

— Что с повелителем? — тревожатся рабыни.
Все ошибаются! Всегда один отныне,
Как воин, неудач переносящий стыд,
Как старец сгорбленный, закрыв рукою очи,
Уже три долгих дня, три бесконечных ночи
Он, в думу погружен, сидит.

Нет у него в дворце внезапного восстания;
Гарем не осажден, и факелов пыланье
В покои мрачный свет не бросило пока;
Отцовский грозный меч еще не притупился;
Не виден Азраил, еще не появился
Зловещий посланец с петлею из шнурка;

Аллаха тень блюдет запреты рамазана;
Жена ему верна; сын не свершил обмана;
Корабль, избегнув бурь, уже пристать готов;
Надежны евнухи; нет недостатка в дани;
Серали комнаты полны благоуханий,
И много срублено голов.

Нет, не гнетут его ни городов руины,
Ни в выжженных песках скелеты жертв невинных,
Ни Греция в огне — добыча янычар,
Ни слезы жен и вдов, ни матерей стенанья
При виде их детей убитых, ни рыданья
Дев, уводимых на базар.

О нет, не призраки, не ужас сновиденья,
Не вставшие во тьме кровавые виденья
Исторгли из груди глубокий скорби вздох.
Так что ж случилось с тем, кто слал врагу угрозы,
А ныне, сумрачный, как женщина льет слезы?
Его нубийский тигр издох.

1 декабря 1827

ПЛЕННИЦА

И трели птиц были сладостны, как стихи.

Саади. «Гюлистан».

Мне все здесь было б мило:
И ночи мрак немой,
И моря плеск унылый,
И пальмы ствол прямой,
И звезды огневые, —
Когда б не часовые,
Не сабли их кривые,
Не плен печальный мой.

Я родилась в нагорной,
Далекой стороне,
И этот евнух черный
Постыл и страшен мне.
На воле, не в серале,
Росли мы без печали
И юношам внимали
Свободно в тишине.

Но все же обаянья
Исполнен край, где мы
Не ведаем дыханья
Безжалостной зимы;

Теплы здесь ливни летом,
И блещет самоцветом
Светляк в саду, одетом
Фатой душистой тьмы.

Воистину, о Смирна,
Ты чудо красоты!
Весну улыбкой мирной
Навек пленила ты.
Победно реют флаги,
И в бирюзовой влаге
Твои архипелаги
Пестреют, как цветы.

Я радуюсь мечетям,
Блестящим куполам,
Высоким башням этим,
Игрушечным домам;
И на слоне могучем,
Под южным солнцем жгучим,
Я отдаюсь летучим
Надеждам и мечтам.

В моих покоях пышных
Я слышу тихий зов
Таинственных, чуть слышных
Пустыни голосов,
И мне порою мнится,
Что духов вереницы,
Как сказочные птицы,
Поют в тиши без слов.

Милы мне ароматы,
Разлитые кругом,
И ветки узловатой
Шуршанье за окном,
И ключ с водою чистой
Под пальмою тенистой,
И аист серебристый
На шпиле золотом.

Что может быть прелестней,
Чем рой моих подруг,
Когда испанской песней
Я оглашаю луг
И под навесом белым
В саду оцепенелом
Несется в танце смелом
Их беззаботный круг!

Но все-таки милее,
Всего милее мне
Сидеть, в мечтах немая,
И, словно в полусне,
Следить, как море плещет,
Как лунный веер блещет,
Струится и трепещет,
Раскрывшись на волне.

7 июля 1828

ЛУННЫЙ СВЕТ

Per amica silentia lunae.

Vergilius.

Луна дружелюбно молчала.

Вергилий.

Луна на глади волн сплетает кружева.
Окно распахнуто. Все спит в ночном просторе.
Султанша юная одна. Пред нею море
Серебряной каймой обводит острова.

Вдруг под ее рукой затих аккорд гитары.
Она прислушалась... Там, где-то, плеск глухой.
Турецкий ли корабль плывет во тьме ночной,
И весел слышатся тяжелые удары?

Иль стая птиц морских там бороздит волну
И жемчугами брызг их обдает пучина?
Иль долетел из тьмы зловещий голос джинна,
Который стен зубцы швыряет в глубину?

Кто волны так смутил под окнами сераля?
Нет, это не баклан, одетый в лунный блеск,
Не камни старых стен, не равномерный плеск
Весла, что чуть гребет, ночную тишь печалю.

То тяжкие мешки, где слезы, где слова
Как будто слышатся, где тела очертанья
Возможно угадать средь лунного сиянья.
Луна на глади волн сплетает кружева.

20 сентября 1828

ЧАДРА

Молилась ли ты на ночь, Дездемона?

Шекспир.

Сестра

Что, братья, стало нынче с вами?

Легла забота на чело,
И точно траурное пламя —
Глаза сверкают тяжело;
Вы пояса почти сорвали
И много раз, видала я,
Наполовину обнажали
Своих кинжалов лезвия.

Старший брат

Не подымалась ли вчера чадра твоя?

Сестра

О, я из бани возвращалась,
Из бани возвращалась я,
От глаз гяуров укрывалась,
Лицо в густой чадре тая;
Но душны наши паланкины,
Я от жары изнемогла
И лишь на миг, на миг единый,
Лишь край чадры приподняла.

Второй брат

А там мужчина был? Глядел из-за угла?

Сестра

Да... кажется... но дерзким взглядом
Меня коснуться он не мог!..
Вы шепчетесь? Вы встали рядом!
Ужель меня постигнет рок?
Вам крови надо? О, за что же?
Клянусь, меня не видел он!
Ужель сестру убить без дрожи
Жестокий вам велит закон?

Третий брат

Гляди: он весь в крови — закатный небосклон!

Сестра

Нет, пощадите! Умоляю!
Ах! в грудь четыре лезвия!
Я вам колени обнимаю!
Чадра моя, чадра моя!..
О, поддержите! Нету силы!
По пальцам — крови жаркий бег!
Темно в глазах... чадра могилы
Спустилась у бессильных век.

Четвертый брат

И этой не поднять тебе чадры вовек!

1 сентября 1828

Если гибель смертного записана в роковой книге судеб, что бы ни делал он, ему никогда не избежать скорбного грядущего; смерть преследует его повсюду; даже на ложе она настигает его, жадно пьет его кровь и уносит его на плечах.

Панаго Суццо.

Али-паша скакал. И знать сгибала спины
Пред арнаутами властителя Янины.
«Аллах!» — народ кричал кругом.
Вдруг дервиш немощный с седою головою
Прохожих растолкал, схватил узду рукою
И молвил шамкающим ртом:

«Прославленный Али, среди светил светило!
Повелеваешь ты несметной войска силой,
Ты высоко себя вознес,
В Диване первый ты, ты выше всех намного,
Ты падишаха тень, а падишах — тень бога,
Но ты лишь шелудивый пес!

Дымятся факелы, что ждут тебя у гроба,
Как чаша полная, ты через край льешь злобу
На чернь, простертую во прах.
Ты над людьми как серп, грозящий робким травам,
Ты горд своим дворцом, роскошным, величавым,
А он построен на костях.

Но ведай: близок час! Падет твоя столица,
И в ней, у ног твоих, раскроется гробница;
И не уйдешь ты от цепей,
Под деревом сегодшин прикован без пощады,
Где души грешные седьмого круга ада
Дрожат, нагие, меж ветвей.

И демон перечтет по книге преступлений
Всех жертв твоих, Али. К тебе слетятся тени,
И будет больше тех теней
Кровавых, — эта кровь текла в их жилах ране, —
И будет больше их, чем жалких оправданий
В гортани сжавшейся твоей.

И не спасут тебя от этих страшных судий
Ни крепости твои — огнем своих орудий,
Ни флот твой — быстротой ветрил,
Хотя б Али-паша, как древле муж проклятый,
Пред черным ангелом смятением объятый,
В час смерти имя изменил!»

Был под плащом Али клинок кривой, блестящий,
Кинжал за поясом, мушкет, как гром гремящий,
И пистолеты на боку.
Али не прерывал суровых слов теченья;
Потом задумался, с улыбкой, на мгновенье,
И плащ свой отдал старику.

8 ноября 1828

”Еррѣсо.
Будь здрав.

Что волны думают, лобзая в час заката
Подножие скалы, сверкающей, как латы?
Иль отраженная им не видна скала,
Дробящая их грудь, с той крепостью надменной,
Чьи там, на высоте, белеющие стены
Похожи на тюрбан, обвитый вокруг чела?

Что делают они? Чем вызван гнев их ярый?
Вперед! Ожесточись, обрушь свои удары,
О море, на утес! Дай отдых морякам!
Грызи, пили скалу, скорей добейся цели
И, расшатав ее, с зубцами цитадели
Обрушь вниз головой, отдай навек волнам!

Скажи, как долго бить тебе волной упорной,
Чтоб рухнула скала, а с ней и замок черный?
День? Год? Иль целый век? Не отдыхая, бей
В разбойничий притон, мутя волну у кручи!
Что время для тебя, о океан могучий?
Век — это только зыбь над бездною твоей!

Покрой собою риф! Сотри его волною —
Пусть зыбь твоя над ним проходит чередою!
Пусть водорослей лес все стены оплетет,
Пусть, лежа на боку, утес с его твердыней

Неясной глыбою чернеет в бездне синей
От башенных зубцов до каменных ворот!

Чтоб не осталось здесь уж ничего для мира
Из башен крепостных Али, паши Эпира!
И пусть, плывя вдоль скал, где вил гнездо разбой,
Где море пенится в развалинах утеса,
Воронкою крутятся, моряк с крутого Коса
Промолвит спутникам: «Здесь крепость под водою».

Май 1828

Он на холм высокий всходит,
Зорким взором даль обводит,
Навалившись на копье.
Там бегут его солдаты,
И его палатки смятой
Бархат виснет как тряпье.

Эм. Дешан. «Родриго в час битвы».

«Аллах! Кто мне вернет моих бойцов бесстрашных,
Эмиров, конницу — царицу рукопашных,
Мой боевой шатер, блестящий лагерь мой,
Что ночью столькими во тьме сверкал огнями,
Как будто звездный дождь пролился над полями,
Чтоб овладеть ночью тьмой?

Где беи грозные, не знавшие дремоты?
Моя милиция, мои тимариоты?
Где ханы пышные? Где быстрые спаги?
Где смуглые мои красавцы бедуины,
Любившие, смеясь, пугать жнецов равнины,
Когда в полях маис валился, как враги?

Их кони пылки с точеными ногами
Летали саранчой над сочными лугами;
Мне больше не видать, как в бешеной игре,
Преодолев холмы и смерти беглый случай,
На неприятеля они слетались тучей —
Ударить молнией в карре!

Они мертвы, и кровь на чепраках застыла;
От крови розовым на крупах стало мыло;
Наездник шпоры бы об их бока сломал,
Чтоб к жизни воротить галопы огневые;
И возле них лежат их всадники немые —
Проводят в их тени полуденный привал!

Аллах! Кто в мире был моих бойцов бесстрашной?
И вот они лежат, разбросаны на пашне,
Как слитки золота на недоступном дне.
Да! Кони, всадники, арабы и татары,
Чалмы и скачки их, знамена и фанфары —
Все это будто снилось мне!

О чуткие бойцы, о верные их кони!
Где вопль их боевой, крылатые погони?
Всё позабыв, они глядят в пустую твердь.
Забиты трупами долины и отроги.
Здесь ужас надолго засел в своей берлоге.
Сегодня пахнет кровь, запахнет завтра смерть.

Что было армией, то стало только тенью!
Бойцы дрались весь день, весь пыл отдав сраженью,
Удары нанося в безумии своим.
Ночные саваны весь горизонт объемлют.
Нет больше храбрецов, — они недвижно дремлют,
И вóроны слетают к ним.

Уже, почистив клюв о перья крыльев черных,
Из глубины лесов, с высот утесов горных
Они слетаются на мертвые тела;
И эта армия, еще вчера на страже,
Еще вчера — грозна, теперь не в силах даже
Ни воронов прогнать, ни испугать орла.

О, если б армия была еще со мною!
Я покорил бы мир могучею рукою,
Я бросил бы во прах враждебных королей,
Она была бы мне сестрой, женой, любимой!
Но что свершила смерть, косою неукротимой
Сразив храбрейших из людей!

Зачем я не убит! Зачем на поле брани
Нет головы моей в блистательном тюрбане!
Вчера я был могуч; драбанты средь полков,
Надменно выпрямясь на седлах полосатых,
Перед моим шатром три бунчука крылатых
Везли, их оперев о спины скакунов.

Сто барабанщиков вчера меня встречали,
И пятьдесят агà в лице моем читали
Со страхом — кроток я иль гневом обуян?
В замену каронад с галер широконосых
Сто пушек я имел на четырех колесах
И канониров-англичан.

Я господином был садам великолепным;
Я греков продавал евреям раболепным;
Был у меня гарем, большой был арсенал.
Сегодня, наг и нищ, разбит во тьме несчастий, —
Бегу... Распалось в прах величье прежней власти,
И грозный замок мой — аллах! — я утерял.

Вот я бегу, — паша! — я — визирь трехбунчужный —
Неведомо куда во мраке ночи южной,
Таясь, униженно, не смея глянуть вкруг,
Как вор затравленный, что шороха боится,
Кому в любом дубке тень виселицы мнится,
Простершей пальцы жадных рук!»

Так говорил Решид в ночь после поражения.
Немало эллинов погибло в том сраженье,
Но он бежал, один; его судьба темна.
Он саблю алую обтер платком расшитым;
С ним рядом два коня взметали пыль копытом,
И праздно о бока звенели стремяна.

7—8 мая 1828

О horror! horror! horror!

Shakespeare. «Macbeth».

О ужас! ужас! ужас!

Шекспир. «Макбет».

Здесь турок страшный след: развалины, зола.

Хиос, отчизна вин, — лишь голая скала, —

Хиос в беседках винограда,

Хиос, что отражал в заливе лес густой,

Свои холмы, дворцы и танец дев живой,

В часы, когда плывет прохлада!

Пустынно все... Иль нет — вот мальчик среди камней,

Голубоглазый грек, один в тоске своей

Поник уныло головою.

Боярышник густой ему отныне дом —

Куст, свежий, как и он, увенчанный цветком,

Что спасся чудом среди боя.

«О бедное дитя! Кровь на ногах твоих...

Чтоб высушить слезу глаз ясных, голубых,

Как небо иль волна морская,

Чтоб в их голубизне, где слез остался след,

Вновь вспыхнул радости мгновенный легкий свет,

Чтоб ты воспрянул, воскресая,

Что надобно тебе? Как сделать, чтоб могла
Опять волна кудрей вдоль смуглого чела
Лежать свободно и красиво?
Не тронуты они губительным клинком
И все ж висят вдоль щек в отчаянье немом,
Подобно листьям скорбной ивы.

Что может разогнать печаль твою сейчас?
Не ирис ли, чья синь твоих синее глаз, —
Цветок Ирана, полный лени, —
Иль плод от дерева, чья так пышна листва,
Что и лихой скакун в сто лет едва-едва
Уйдет из необъятной тени?

Иль птичка редкая в лесу, в тени густой,
Чья песенка звучит то нежно, как гобой,
То словно гром сквозь листьев шорох?
Чего же хочешь ты? Цветок? Ту птицу? Плод?» -
«Нет! — гордо отвечал мне юный сулиот. —
Дай только пули мне и порох!»

8—10 июня 1828

КУПАЛЬЩИЦА ЗАРА

Лучи на лик ее сквозь ветви темной чащи
Бросали тень листвы, от ветра шелестящей.

Альфред де Виньи.

Зара в прелести ленивой
Шаловливо
Раскачалась в гамаке
Над бассейном с влагой чистой,
Серебристой,
Взятой в горном ручейке.

С гамака склонясь к холодной
Глади водной,
Как над зеркалом живым,
Дева с тайным изумленьем
Отраженьем
Восхищается своим.

Каждый раз, как челн послушный
Свой воздушный
Совершает легкий путь,
Возникает на мгновенье
В отраженье
Ножка белая и грудь.

Осторожно, но отважно
Холод влажный
Зара ножкою толкнет:

Огражение покачнется —
Засмеется
Зара, чуя холод вод.

Спрячься под листвою темной
Гость нескромный!
Омовенье совершив,
Выйдет Зара молодая,
Вся нагая,
Грудь ладонями прикрыв.

Как прекрасное виденье,
Остановится, — но вдруг
На мгновенье
Затрепещет влажным телом —
И несмело
Озирается вокруг.

Вот она стоит под ивой
И пугливо
Ловит слухом ветерок.
Пролетит ли шмель над нею, —
Вспыхнет, рдея
Как гранатовый цветок.

Видишь все, что закрывало
Покрывало.
В голубых ее глазах
Словно искры пробегают, —
Так играют
Звезды в синих небесах.

Отряхнулась, и, как слезы
С листьев розы,
Дождь по телу побежал,
Словно жемчуг драгоценный
На колена
С белой шеи вдруг упал.

Но ленивица лукава
И забавы
Не желает прерывать.

Над водой прозрачной рея,
Все быстрее
Начинает напевать:

«Если б я была султаншей
Или ханшей,
Я не мылась бы в пруде,
А в купальне золоченой,
Возле трона,
В амброй пахнущей воде.

В сетке шелковой, атласной
Ежечасно
Я летала бы, как пух,
На тахтах спала богатых,
В ароматах,
Чтоб захватывало дух.

В ручейке с волною зыбкой
Юркой рыбкой
Я б резвилась поутру,
Не боясь, что кто-то может
Потревожить,
Подсмотреть мою игру.

Пусть рискует головою,
Кто со мною
Познакомиться готов —
Встретит сабли стражей черных,
Мне покорных
И свирепых гайдуков!

Я смогу без наставлений
В милой лени
Бросить где-нибудь в углу
Пару вышитых сандалий,
Чтоб лежали
Вместе с платьем на полу».

Так, по-царски наслаждаясь,
Колыхаясь
Над водою взад-вперед,

Попрыгунья позабыла
Быстрокрылый
Вечный времени полет.

Ливень брызг она небрежно
Ножкой нежной
Посылает на песок,
Где свернулся змейкой черной
Весь узорный
Позабытый поясок.

Между тем ее подружки
Друг за дружкой
Направляются в поля.
Вот их ветреная стая,
Пробегая,
Песню завела, шая.

И летит через ограды
Винограда
Вместе с песенкой упрек:
«Стыдно девушке ленивой,
Нерадивой,
Что не встала к жатве в срок!»

Июль 1828

Esperaba desesperada.

Потеряв надежду, все же надеялась.

Ты, белочка, на дуб могучий
Взберись проворно, ближе к туче,
Где ветка гнется под тобой;
Ты, аист, чье гнездо высоко,
Взлети, взлети в мгновенье ока
С той колокольни одинокой
На выступ башни крепостной;

И ты, орел седой, суровый,
Сядь на утес многовековый,
Где блещет снега полоса;
И ты, певец зари лучистой,
Ютящийся в траве душистой,
Ты, жаворонок, с трелью чистой
Лети, лети под небеса!

Ну, а теперь, с вершины дуба,
И с башни — с каменного зуба,
С утеса в синей вышине,
Вам видно ль, где туман крадется,
Как взмыленный скакун несется
И как перо на шляпе вьется,
Как милый мой спешит ко мне?

1 июня 1828

А та женщина была очень красива.
Вторая Книга Царств, гл. XI, стих 2.

Взгляните, вот она! То по песку дорог,
То в роще, где расцвел шиповника цветок,
 Меж алых маков, по пшенице,
По торной колее, по узеньким тропам,
По горным выступам, по рощам, по лугам,
Везде мелькает чаровница.

Вот, высока, стройна, бежит по мураве
С корзиною цветов на юной голове,
 Полна веселого задора,
А руки подняты высоко над челом, —
И мнится издали: над древним алтарем
 Белеет дивная амфора.

Беспечна, босиком и с песней на устах,
То носится она над озером, в кустах,
 За стрекозою изумрудной,
То, платье приподняв, прыгнёт через ручей,
То стала, то летит, и, право, птицу ей
 В полете обогнать не трудно.

А если вечером сберется хоровод,
В часы, когда домой, не торопясь, идет,
 Звenea бубенчиками, стадо,
О том, что ей к лицу, не думает она,
И в косы черные лишь роза вплетена,
 Что затмевает все наряды.

О, за нее бы дал седой паша Омер
Свою флотилию трехъярусных галер,
Свои сады, свои палаты,
Убор своих коней, руно своих овец,
Халат свой шелковый, с камнями ларец
И с головы тюрбан богатый.

Он дал бы за нее гремющий свой мушкет,
Тяжелый, в серебре, старинный пистолет,
Испытанный на поле боя,
На шкуре тигровой колчан монгольских стрел
И то ценнейшее, чем до сих пор владел, —
Дамаска лезвие кривое;

Казнохранителя со всей его казной,
Албанцев бронзовых с винтовкой нарезной,
Наложниц триста из сераля;
Он стремя отдал бы, он отдал бы чепрак
И свору резвую охотничьих собак
В ошейниках с цветной эмалью.

Евреев отдал бы, и франков-смельчаков,
И баню, где блесит мозаика полов
Своим узором прихотливым,
И башен крепостных высокие зубцы,
И пестрый свой шатер, и летние дворцы
Над Киренаики заливом, —

Все, вплоть до белого лихого скакуна:
Летит — и пеною вся грудь увлажнена,
Горит уздечка золотая.
Все, вплоть до молодой испанки, хоть она
В фанданго пламенном носиться рождена,
Юбчонку легкую вздымая.

Но знайте, не паша, а горец молодой,
Чьи очи словно ночь, увел ее с собой,
И даром, — такова природа.
Лишь небо у него, ключа студеной ток,
Да старого ружья испытанный курок,
Да горы, а в горах — свобода!

14 мая 1828

ЖЕЛАНИЕ

Как розы, что всегда красивы,
Спешат в садах Сарона рвать, —
В долинах ваших так должны вы
Меж лилий деву выбирать.

Ламартин.

Будь я листком, что может мчаться,
Гонимый свежим ветерком,
Иль на волнах легко качаться,
Теченьем в дальний край влеком, —

Навек бы с веткой я простился,
Хотя мороз еще далек,
И в путь неведомый пустился
С ручьем иль с ветром на восток.

Поток, по скатам гор гремющий,
Ущелья сумрачный провал
И глушь непроходимой чащи
Бесстрашно я бы миновал.

Берлога темная волчицы,
И роща в золоте лучей,
И тихий дол, где серебрится
В тени трех пальм живой ручей;

И скал заоблачные пики, —
Отчизна бурь и непогод, —
И берег сумрачный и дикий
Озерных неподвижных вод;

И край, где правит мавр угрюмый,
Чей беспощаден ятаган,
Чей лоб отмечен грозной думой,
Как пенным валом — океан;

И Арты пруд, и твердь утеса,
Что отделяет, как стеной,
Коринф от белого Микоса,
Мелькнули б в дымке подо мной.

Влекомый силой непонятной,
В час утренних обильных рос
Узрел бы я внизу квадратный
И ослепительный Микос.

Там, черноока, белолица,
Священника седого дочь
Беспечно целый день резвится
И песнями встречает ночь.

На белокурый, опаленный
Горячим солнцем завиток,
Шурша, скользнул бы я — влюбленный,
Покинувший свой дом листок, —

И замер, шелестя несмело,
Над девичьим склоненным лбом,
Как плод зеленый, незрелый,
На древе рая золотом.

И я судьбой своей смиренной
Не поменялся б в этот миг
С пером, украсившим надменно
Султана величавый лик.

Сентябрь 1828

И живите с нами; земля сия пространна пред вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение.

Книга Бытия, глава XXXIV.

Не радуют тебя в моей стране счастливой
Ни стройной пальмы тень, ни пышные оливы,
 Ни изобилье, ни покой,
Ни то, что голос твой любви тревогой знойной
Волнует грудь подруг, летящих в пляске стройной
 На склоне горном под луной.

Прощай, мой белый друг! Конь, выбранный тобою,
Уже оседлан мной, чтоб верною тропою,
 Тебя не сбросив, он понес...
Он землю бьет ногой, и грудь его литая,
Чернея, лоснится, — так лоснится, блистая,
 Волной отточенный утес.

Ты любишь вечный путь. О, если бы пределом
Поставил ты своим досуг в жилище белом —
 Шатра гостеприимный кров!
О, будь мечтателем, что под луной двурогой
Сказанья слушает у мирного порога
 И к звездам улететь готов:

Когда б остался ты, то девушка любая
Служила бы тебе, все в мире забывая
 В открытой хижине своей.

И над тобой склонясь, твой сон бы охраняла
И сладко пела бы, колыша опахало
Из свежих пальмовых ветвей.

Но ты покинул нас. И мчишься одинокий
Кремнистою тропой, и конь твой быстроногий
Рой искр из-под копыт метет...
Об острие копья, что пронеслось, сверкая,
Незрячих демонов полуночная стая
Порой с налету крылья рвет.

Когда вернешься ты неведомо откуда,
Взберись на черный холм, что схож с горбом верблюда,
И отыщи мой бедный дом, —
Узнаешь ты его, он как домик пчелиный,
А дверь распахнута и смотрит в те долины,
Откуда ласточек мы ждем.

Но если не придешь — припоминай порою
Тех дочерей пустынь, что легкою стопою
Босые пляшут на песке.
О юноша-орел! К чужим берегам летая,
Не забывай меня! Наверно, не одна я
Тобою бредила в тоске.

Прощай же! Путь твой прям. Но солнце беспощадно,
Нас золотит оно, а вас сжигает жадно, —
О берегись его, мой друг!
И берегись старух, бредущих одиноко,
И тех, кто вечером на берегу потока
Жезлом волшебным чертят круг!

24 ноября 1828

Нет такого дикого зверя, которого
там не было бы.

Хуан Лоренсо Сегура де Асторга.

Меж черных скал холма крутого,
Ты видишь, — роща залегла;
Она топорщится сурово,
Как завиток руна густого
Между крутых рогов козла.

Там, в темноте сырой и мгlistой,
Таятся тигры, там рычат
Шакал и леопард пятнистый,
Гиены выводок нечистый
И львица, спрятавшая львят.

Там чудища — отрядом целым:
Там василиск, мечтая, ждет,
Лежит бревном оцепенелым
Удав, и рядом — с тучным телом,
С огромным брюхом — бегемот.

Там змеи, грифы с шеей голой
И павианов мерзкий круг —
Свистят, шипят, жужжат, как пчелы,
И лопаухий слон тяжелый
Ломает на ходу бамбук.

Там каждой место есть химере;
В лесу — рев, топот, вой и скок:
Кишат бесчисленные звери,
И слышен рык в любой пещере,
В любом кусте горит зрачок.

Но я смелей пошел бы в горы,
В лес этот дикий, в эту даль,
Чем к ней, чьи безмятежны взоры,
Чей добр и нежен лепет скорый, —
Чем к этой Рыжей Нурмагалы!

25 ноября 1828

E come i gru van cantando lor lai
Facendo in aer di se lunga riga,
Così vid'io venir traendo guai
Ombre portate dalla detta briga.

Dante.

Как журавлиный клин летит на юг
С унылой песней в высоте нагорной,
Так предо мной, стеная, неся круг
Теней, гонимых вьюгой неоторной.

Данте.

Порт сонный,
Ночной,
Плененный
Стеной;
Безмолвны,
Спят волны, —
И полный
Покой.

Странный ропот
Взвился вдруг.
Ночи шопот,
Мрака звук,
Точно пенье
И моление
Душ, в кипенье
Вечных мук.

Звук новый льется,
Бренчит звонок:
То пляс уродца,
Веселый скок.
Он мрак дурачит,
В волнах маячит,
По гребням скачет,
Встав на носок.

Громче рокот шумный,
Смутных гулов хор
То звонит безумно
Проклятый собор.
То толпы смятенной
Грохот непреклонный,
Что во тьме бездонной
Разбудил простор.

О боже! Голос гроба!
То джинны!.. Адский вой!
Бежим скорее оба
По лестнице крутой!
Фонарь мой загасило,
И тень через перила
Метнулась и застыла
На потолке змеей.

Стая джинов! В небе мгlistом
Заклубясь, на всем скаку
Тиссы рвут свирепым свистом,
Кувыркаясь на суку.
Этих тварей рой летучий,
Пролетая тесной кучей,
Кажется зловещей тучей
С беглой молнией на боку.

Химер, вампиров и драконов
Слетелись мерзкие полки.
Дрожат от воплей и от стонов
Старинных комнат потолки.
Все балки, стен и крыш основы
Сломаться каждый миг готовы,

И двери ржавые засовы
Из камня рвут свои крюки.

Вопль бездны! Вой! Исчадия могилы!
Ужасный рой, из пасти бурь вспорхнув,
Вдруг рушится на дом с безумной силой.
Все бьют крылом, вонзают в стены клюв.
Дом весь дрожит, качается и стонет,
И кажется, что вихрь его наклонит,
И оторвет, и точно лист погонит,
Помчит его, в свой черный смерч втянув.

Пророк! Укрой меня рукою
Твоей от демонов ночных, —
И я главой паду седою
У алтарей твоих святых.
Дай, чтобы стены крепки были,
Противостали адской силе,
Дай, чтобы когти черных крылий
Сломились у окон моих!

Пролетели! Стаей черной
Выются там, на берегу,
Не пробив стены упорной,
Не поддавшейся врагу.
Воздух все же полон праха,
Цепь еще звенит с размаха,
И дубы дрожат от страха,
Вихрем согнуты в дугу!

Шум крыл нетопыриных
В просторах без границ,
В распахнутых равнинах
Слабее писка птиц;
Иль кажется: цикада
Стрекочет в недрах сада
Или крупинки града
Скользят вдоль черепиц.

Этот лепет слабый,
Точно ветерок;
Так, когда арабы
Трубят в дальний рог, —

Дали, все безвестней,
Млеют нежной песней,
И дитя чудесней
Грезит долгий срок.

Исчадий ада
Быстрей полет:
Вернуться надо
Под адский свод;
Звучанье роя
Сейчас такое,
Как звук прибоя
Незримых вод.

Ропот смутен,
Ослабев;
Бесприютен
Волн напев;
То — о грешной
В тьме кромешной
Плач утешный
Чистых дев.

Мрак слышит
Ночной,
Как дышит
Прибой,
И вскоре
В просторе
И в море
Покой.

28 августа 1828

Dixóle: — Díme, buen hombre,
Lo que preguntarte queria.

Romancero general.

Сказал: — Ответь, сделай милость,
На то, что спросить я хотел бы.

Романсеро.

Дон Родриго на охоте,
Но в тревоге и заботе
Он прилег, укрывшись в тень.
Полдень душен, полдень зноен,
Дон Родриго, храбрый воин,
Безоружен в этот день.

Рыцарь жаждет смерти скорой
Для племянника, который
Мавританкой был рожден.
Для племянника Мударры,
Брата тех инфантов Лары,
Что убил когда-то он.

Всю Испанию до края
Он объехал бы, желая
С ним сойтись наедине —
Пусть умрет на поединке!..
В это время по тропинке
Кто-то едет на коне.

Спящий на траве зеленой
Рыцарь, мавр или крещеный,
Бог тебе защитой будь. —
— Всадник, близко, далеко ли

Едешь ты, господня воля
Пусть тебе укажет путь.

— Рыцарь, мавр или крещеный,
Спящий на траве зеленой,
Кто, скажи, тебе отец?
Назовись, коль род твой честен;
Знать хотел бы я — известен
Ты как трус или храбрец?

— Что ж, ты слышал не однажды
Про Родриго. Знает каждый —
Я из Лары. Говорят,
В церкви при моем крещенье
Падре сделал сообщенье,
Что я доньи Санчи брат.

Жду в тени у сикоморы.
Всех — от Альбы до Саморы —
Я расспрашивал, бродя,
О племяннике проклятом,
Что командует фрегатом
Мавританского вождя.

Попадись он мне навстречу —
Я всегда его замечу:
Он с кинжалом без ножон.
Родовой кинжал богатый
С рукоятью из агата
Постоянно обнажен.

Да, клянусь душой нетленной, —
Под мечом моим презренный
Свой закончит путь земной!
Не дождусь счастливей мига...
— Так зовут тебя Родриго?
Дон Родриго здесь со мной?

Вот, сеньор, перед тобою
Мститель, посланный судьбою!
Всюду в поисках блуждал
Я, Мударра знаменитый.
Так ищи теперь защиты. —
Тот в ответ: — Ты долго ждал! —

— Я — племянник твой проклятый
С мавританского фрегата,
Маврам преданный вассал.
Я, кинжал и жажда мести, —
Все втроем сегодня вместе
Пред тобой! — Ты долго ждал!

— Но зато теперь, надменный,
Будет смерть твоя мгновенной!
Что ж, Родриго, ты молчишь?
Жизнь твою возьму, предатель,
Душу пусть берет создатель,
Душу ангелу вручишь!

Для тебя клинок отточен,
Как всегда удар мой точен,
В том порукой честь моя!
Я судья и обличитель!
Из груди твоей, мучитель,
Вздох последний вырву я!

Много лет, готовый к бою,
Жаждал встречи я с тобою,
Жажду кровью утолю.
Срок настал для искупленья,
Ты умрешь без промедленья!
— О племянник, я молю,

Если час настал расплаты,
Дай мне взять мой меч и латы...
— Разве слушал ты мольбу
Братьев, что тобой убиты?
К ним под каменные плиты
Ты опустишься в гробу.

Свой клинок из стали лучшей
Я держал на всякий случай
Обнаженным для того,
Чтобы все возмездье стерло
И твое, убийца, горло
Стало ножами его!

Май 1828

ГРАНАДА

Quien no ha visto á Sevilla,
No ha visto á maravilla.

Кто не видел Севильи,
Тот не видел чудес.

На испанской равнине
Иль в арабской пустыне
Город сыщешь ли ты,
Что б для сердца и взгляда
Лучше был, чем Гранада, —
Идеал красоты, —
И, раскинут широко,
Пышной неги Востока
Отражал бы черты?

Весь Кадикс — рощи пальм, а в Мурсии — лимоны,
В Хаэне есть дворец, на скалах вознесенный,
В Агреде — монастырь, где жил святой Эдмонд,
В Сеговии — алтарь, паломников отрада,
И длинный акведук, весь на тройных аркадах,
Берущий воду с гор, и ясный небосклон.

В Льере — форт, в Барселоне
Есть маяк на колонне,
Там, где волны шумят.
Чтит Тудела законы
Королей Арагона,
Их гробниц строгий ряд.

Есть в Толозе заводы,
Чьи подземные своды
Входом кажутся в ад.

И, очи Товию целившая слепые,
Вновь рыба плещется в водах Фуэнтарабii;
Есть в Аликанте храм, и минарет стоит,
Есть в Кампостеле крест, а в Кóрдове, в мечети,
Не счесть лепной резьбы, чудеснейшей на свете;
Горд Мансанаресом Мадрид.

Над Бильбао надменно
Встали башни и стены,
Мягко стелется луг;
Бедность прячет Медина
В плащ отваги старинной,
Гор замкнув полукруг.
Вся она в сикоморах.
Мост в арабских узорах,
Римских дней акведук.

Валенсия полна трехсот часовен звона,
У Алькантары есть турецкие знамена,
Свисающие в ряд вдоль каменных столбов,
А в Саламанке смех звучит с холмов старинных.
Она и спит под мандолины
И просыпается под крики школяров.

Богомольна Тортоза,
Мрамор в ней словно роза,
Как в Пуйсерде, в горах,
Туя башню вздымает;
Таррагона вздыхает
О былых королях.
Есть Дуэро в Саморе,
Альказар весь в узоре,
Вся Севилья в зубцах.

Горд Бургос и богат монашеской святыней;
Стал графом Пеньяфлор, Хирона — герцогиней;
Вивар избрал себе монахини наряд;

Готовые к боям, твердыни Пампелуны,
Пред тем как задремать в сиянье ночи лунной,
Смыкают грозных башен ряд.

В дымке призрачно-синей
Высоко на равнине
Виден Сьерры венец.
Пусть, забрав цитадели,
Ею мавры владели, —
Для всех верных сердец
Колокольни в ограде
Длили звон. И в Гранаде
Есть Альгамбра — дворец.

Альгамбра! Чудо ты, что гении и джинны
Волшебной грезой воздвигли средь равнины.
Ты — крепость из зубцов и каменных аркад,
Где пенье слышится, где ночью в теплом блеске
Лучи луны, пройдя сквозные арабески,
Как лилий лепестки лежат.

Меньше зерен в гранате,
Чем чудес есть в Гранаде, —
Не пытайся их счесть!
Благородна Гранада,
И в бою она рада
Защищать свою честь.
Под стеною Гранады
Пламя мечут гранаты,
К ней врагу не пролезть!

Прекрасней ничего ты не найдешь на свете,
Чем кружево пилястр, колонны, арки эти,
Чем сказочный дворец, весь в башенках резных,
Чем разукрашенный всей роскошью калифа
Простор садов Хенералифе
С высокой башнею на скалах вековых.

Колокольни Бермехи
В переливчатом смехе
Говорят с ветерком.
Алькакава сурово
Бьет в свой колокол снова
Перед праздничным днем,

С африканской твердыни
Ей в ответ в Альбасине
Меди слышится гром.

Соперниц всех своих прекраснее Гранада.
Ее колокола нежны, как серенада,
И краски яркие даны ее домам.
А легкий ветерок готов смирить дыханье,
Когда по вечерам выходит на гулянье
Цветник гранадских юных дам.

К внучке Африки знойной
Мавров род беспокойный
Из пустынь шел сухих,
Но надежна ограда,
Католичка Гранада
Гнала недругов злых.
Мы бы все ее чтили,
Как другую Севилью,
Если б две было их!

3—5 апреля 1828

ВАСИЛЬКИ

То правда или нет, — он здесь
не должен быть.
И все-таки его я не хочу забыть.

Хуан Лоренсо Сегура де Асторга.

Покуда звездочки в июле
Среди хлебов в полдневный зной
Горят на ниве золотой,
Как искорки ляпис-лазури!
Пока на поле у реки
Не косит их коса, летая,
Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

Прекрасней всех под небесами
Средь андалусских городов
Наш Пеньяфьель — краса лугов
И нив, усеянных снопами.
Там старых стен зубцы крепки,
Там башня высится седая...
Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

Там, гордость веры христианской,
Есть монастырь, его б могли
Святынею родной земли
Счесть папа и король испанский!
К нему бредут и старики
И дети, четками брящая...

Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

Найдешь ли женщин ты прекрасней,
Что в танце кружатся живом,
Чьи розы ярче над челом,
Чья грудь вздыхает сладострастней
И где таинственней зрачки
Таит мантилья кружевная?
Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

Алиса — роза Пеньяфьеля,
Перл Андалусии родной.
Ее уста — цветок живой,
Приманка пчел в побегах хмеля.
Те дни, увы, так далеки!
Она для всех теперь чужая...
Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

Тот край, где мирно люди жили,
Пришлец надменный посетил.
Он мавр или испанец был?
Из Мурсии или Севильи?
Иль из Туниса, где пески
Под солнцем тянутся, пылая?
Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

Никто не знал его. Алиса
В него влюбилась. Сам влюблен,
Их нежный грех доверил он
Лужайке под листвою тисса.
Шаги их были так легки,
Светили звезды им, мерцая...
Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

Был город дальний как в тумане...
Луна, влюбленных нежный друг,
Вставая, осветила вдруг
Зубцы ворот, скопление зданий,

Уступы стен и крыш коньки,
На шпильях искрами сверкая...
Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

Мечтая о судьбе подруги,
О юноше страны чужой,
Под шелковицею густой
Плясали девушки округи.
Рога им пели и смычки,
Неслась, кружа, кадриль живая...
Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

В гнезде спокойно дремлет птица,
А коршун кружится над ней...
Алиса вся в любви своей,
И ей от сна не пробудиться.
А он, цель счастья и тоски, —
Король Жуан, властитель края...
Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

Да, принцев нам любить опасно...
Однажды ночью, в тишине,
Ее насильно на коне
Умчали из страны прекрасной.
Крепки монастыря замки,
Где жизнь томится молодая...
Вам все бы, девушки, гуляя,
Срывать в колосьях васильки!

17 апреля 1828

МЕЧТЫ

Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno
Toglieva gli animal che sono'n terra,
Dalle fatiche loro.

Dante.

День уходил, и неба воздух темный
Земные твари уводил ко сну
От их трудов.

Данте.

Оставь меня сейчас. Тревожный и туманный,
Подернут небосвод какой-то дымкой странной,
Огромный красный диск на западе исчез,
Но в желтизне листвы еще таится пламя:
В дни поздней осени, под солнцем и дождями,
Как будто ржавчиной покрылся темный лес.

За мною по углам роится мгла густая,
А я задумчиво смотрю в окно, мечтая
О том, чтоб там, вдали, где горизонт померк,
Внезапно засиял восточный город алый
И красотой своей нежданной, небывалой
Туманы разорвал, как яркий фейерверк.

Пусть он появится и пусть в мой стих печальный
Вдохнет былую жизнь и пыл первоначальный,
Пусть волшебством своим зажжет огонь в глазах,
Пусть, ослепительно прекрасен и украшен,
Сияньем золотым дворцов и стройных башен
Он медленно горит в лиловых небесах.

5 сентября 1828

Все люди перед ним как прах земной;
нет ему ни в чем запрета, и никто
не смеет противиться ему, и никто
не смеет спросить: «Зачем ты это
сделал?»

Даниил.

О грозный Нуреддин, властительный султан,
Сурово правишь ты, и люди многих стран
Подвластны твоему закону.
Повергнутые в прах, трепещут короли
И, молча пред тобой склонившись до земли,
Дорогу устилают к трону.

Обширный твой сераль садами окружен,
И взоры пылкие твоих прелестных жен
Лишь для тебя горят приветом.
Меж сыновей своих ты шествуешь, халиф,
Как солнце между звезд, их слабый блеск затмив
Величия слепящим светом.

Зеленую чалму венчаешь ты пером.
Ты видишь по утрам, как входит в водоем,
Смущая отдых вод спокойных,
Толпа резвящихся, поющих без забот
Алеппских девушек, чья кожа — словно мед,
И девушек Мадраса стройных.

Едва ты ятаган сожмешь рукой своей,
Как делается он и тверже и острей.

Неуязвим, суров, бесстрашен,
Летишь ты в бой, туда, где слышен рев слонов,
Где люди падают и где земной покров
Кровавой влагою окрашен.

Безмерно счастлив ты, обласканный судьбой.
Когда ты говоришь — подобен голос твой
Гремящему на небе грому.

Чредою дни твои волшебные летят
И чашу полную блаженства и услад
Передают один другому.

И все же, Нуреддин блистательный, порой
Бывает возмущен души твоей покой
Внезапной думою унылой:
Так в солнечные дни нам иногда видна
На небе голубом бесплотная луна, —
Теней печальное светило.

Октябрь 1828

Я сказал ему: «Ты знаешь, что
роза в саду живет недолго и время
цветения роз проходит быстро».

Саади.

Когда, под шум ветров гуляя на просторе,
Дни осень затемнит и заморозит зори,
Когда ноябрь в туман оденет яркость дня,
Листва закружится в лесу, как хлопья снега, —
О муза, ищешь ты в душе моей ночлега,
Как зябкое дитя, что жметяся у огня!

Пред сумрачной зимой шумящего Парижа
Востока меркнет луч, спускается все ниже.
Мечта об Азии уходит, ты глядишь
С тоской на улицы поток неудержимый,
Туман в моем окне и на волокна дыма,
Что растекаются по скатам черных крыш.

Уже развеялись султанши и султаны,
Громады пирамид, галеры, капитаны,
И кровожадный тигр, и дремлющий верблюд,
И джиннов злобный рой, и в пляске баядеры,
Жирафы пестрые, в пустыне дромадеры,
Что на горбе своем арабов вскачь несут.

Да, белые слоны процессии священной,
Дома и купола в эмали драгоценной,
Имамы, колдуны, жрецы — как легкий сон,
Рассеялись, ушли. Где минареты, горы,
Серaley цветники и капища Гоморры,
Чей жаркий отсвет лег на черный Вавилон?

Вокруг зима, Париж. Не вторят песне сирой
Надменные цари, танцовщицы, эмиры,
И клефту вольному несносен город мой:
В нем Нилу воли нет, бенгальской зябко розе,
И пери холодно и грустно на морозе
В полях, где нет цикад и где не пышет зной.

С тоскующей душой, в Восток и свет влюбленной,
Приходишь, муза, ты печальной, обнаженной
И говоришь: «О друг, ужель в душе твоей
Нет песни для меня? Так тягостно, так скучно
Глядеть на дождь в окне, струящийся беззвучно,
Мне, чье окно всегда сверкало от лучей!»

И греешь пальцы мне ты ласковым дыханьем.
Садимся рядом мы, окружены молчаньем,
И начинаю я тихонько вспоминать
О детских днях моих, об играх в школе тесной,
О клятвах юности, о девушке прелестной,
Которая сейчас уже жена и мать.

Я говорю о том, как там, в родном поместье,
Я слушал колокол, меня зовущий к мессе,
Как, дикий и живой, блуждать я всюду мог,
Как в десять лет порой, мечтатель одинокий,
Я вглядывался в лик луны зеленоокой —
В ночи раскрывшийся таинственный цветок.

Потом — как я ступал на шаткие качели,
Как ветви дерева страдальчески скрипели,
Как я взлетал, как мать смиряла мой азарт.
Я вижу вновь друзей, в те годы неразлучных,
Мадрид, его коллеж, часы уроков скучных
И пыл ребячьих драк за имя «Бонапарт»;

И своего отца и девочку с косою,
Четырнадцать лет умершую с зарею...
Ты жадно слушаешь про юную любовь —
Про бабочку с крылом, так радостно горевшим,
И ставшую в руках комочком почерневшим,
Про легкий счастья сон, что не вернется вновь.

15 ноября 1828

Из книги *«Осенние листья»*

1831

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРОХОЖЕГО О КОРОЛЯХ

Внимайте же вы, повелевающие толпами и гордящиеся перед народами, потому что вы не соблюли закона справедливости и не поступали по воле бога.

Книга премудрости Соломона, VI.

Недавно видел я, как на придворный бал
Король Неаполя со свитой проезжал.
Я только что забрел на площадь Карусели,
Кишевшую людьми. Одни из них глазели
На выезд короля, — в четырехсотый раз, —
А кое-кто пришел взглянуть, который час.

Я шел медлительно, подхваченный толпою —
Так следует волна за бурною волною —
И думал: вот народ, что римлянам сродни;
Он древней вольности наследник в наши дни;
Он взял Бастилию, твердыню тирании.
Тут преградили нам дорогу часовые.

Под гул приветственный, под барабанный бой
В огромный двор въезжал карет парадный строй.
Кругом военные навытяжку стояли.
Султаны их слегка, фанфарам в такт, кивали,
Полотнища знамен склонялись до земли.
И кони медленно и горделиво шли.
Но вдруг, как бы в ответ всеобщим восхваленьям,
Старуха нищая промолвила с презреньем,

Качая головой трясущейся своей:
«Король? Да мало ль я видала королей?»

И словно сгнули надменные лакеи,
И золото карет, и красные ливреи.
Я шел, в глубокое раздумье погружен,
Забыв, что шумною толпою окружен.
Старуха, к ратуше шаги свои направив,
Исчезла, мыслей рой на память мне оставив:
Так птица на лету заденет лист крылом,
И, тихо шелестя, трепещет он потом.

«О философия! — я размышлял, — к народу
В низины ты сошла, с ним делишь хлеб и воду.
Как судия глядит на богача бедняк!
Народ шел медленно, был труден каждый шаг,
И все же он пришел. Исполненный презренья,
Он смотрит на вельмож без страха, без волненья,
И произносит им суровый приговор.
В упрямый мозг его, как в дерево — топор,
Событья грозные вонзались год за годом.
И вот история постигнута народом».

О ком заботится король? Кем занят трон?
Кто изгнан? — Много раз об этом думал он,
И ныне королям он — судия верховный
И праведный. В себя он верит безусловно,
Он может пощадить, он может покарать.
Властитель власти он. Его нельзя изгнать.

Пируют короли. Меж тем под их ногами,
Как зыбкий океан под легкими судами,
Волнуется, бурлит, подобен бездне вод,
Непроницаемый для королей народ.

Твердит безумие, предательство внушает:
«Вы короли земли, и кто вам помешает
Доверить бремя дел угодливым рукам?
Усните. Размышлять, владыки, вредно вам:
Венчанной голове, сияньем окруженной,
Не выдержать забот и мысли напряженной.

Нет, короли, нельзя вам безмятежно спать.
Вам не отнять того, что мы сумели взять.

Пусть королевская узда разумно правит, —
Иначе, вздыбившись, свобода вас раздавит.
Внемлите разуму и помните: народ
Мужает с каждым днем, час от часу растет.

Прислушайтесь: вдали уловит ваше ухо
Какой-то гневный гул. Порой звучит он глухо
И, словно нехотя, чуть слышно шелестит.
Порой раскатисто грохочет и гремит.
То приближается народ, то вал прилива
Спешит обрушиться на берег молчаливый.
Под этой мчащейся всегда вперед волной
Исчез железный век, исчез и золотой,
Исчезли статуи, и нравы, и законы,
Как исчезает мыс под влагою соленой.
Творения людей бесследно поглотив,
Слегка лишь вспенился стремительный прилив.
Возврата нет тому, что в этой бездне сгинет.
Беда безумному, что берег не покинет,
Хоть, бурею грозя, дрожит от гула мрак
И бегством в ужасе спасается рыбак.
Спешите, короли! Не будьте с веком в споре.
На древний ваш предел нахлынет скоро море.
Народ идет. Настал его прилива час.
Смывая прошлое, навек он смоев вас!

Так, словом женщины безвестной пораженный,
Я шел, в глубокое раздумье погруженный,
Пока не крикнул мне угрюмый часовой:
«Эй, солнце уж зашло: ступай-ка, брат, домой».

18 мая 1830

O altitudo!

O беспредельность!

Случалось ли всходить вам на гору порой —
Туда, где царствуют безмолвье и покой?
У Зундских берегов иль на скалах Бретани
Кипела ли волна под вами в океане?
Склонясь над зеркалом безбрежной синевы,
К великой тишине прислушались ли вы?

Вы б услышали то, что слух мой приковало
Под небом, на краю гигантского провала,
Где был мой дух немым восторгом обуян,
И здесь была земля, а там был океан,
И голос зазвучал, какой еще от века
Не волновал души смущенной человека.

Сперва то был глухой, широкий, смутный гул,
Как будто жаркий вихрь в лесу деревья гнул.
То песней лился он, то обращался в шопот,
То рос, как шум грозы, как дальний конский топот,
Как звон оружия, когда гремит труба
И жатвы новой ждут разверстые гроба.
Он ширился, гремел, струясь вокруг вселенной,
Он лился музыкой нездешне вдохновенной, —
В надмирной глубине, что синевой цвела,
Волнами обтекал небесные тела,
Изменчивый и все ж хранящий постоянство,
Как форма и число, как время и пространство.

И необъятный строй блистающих светил,
Как в воздухе земля, в стихии звуков плыл.
Повсюду — без конца, без меры, без начала
Неизъяснимая гармония звучала.

И зачарованный эфирных арф игрой,
Как в море я тонул в том голосе порой.

Но, вслушавшись в тот звук, я вдруг услышал ясно
В одном — два голоса, звучавшие согласно:
Всемирный гимн творцу вздымая в небеса,
Земля и океан сливали голоса,
Но розно слышались в том ропоте глубоком, —
Так две струи, скрестясь, текут одним потоком.

Один летел от волн — гимн славы, песнь хвалы,
И пели эту песнь шумящие валы.
Другой был от земли — глухая песнь печали,
И в нем людские все наречия звучали.
И каждый человек, и каждый в море вал
Неповторимый звук в великий хор вплетал.

Тот гимн, бушующим рожденный океаном,
Дышал и радостью и миром несказанным.
Как струны арф твоих, ликующий Сион,
Восторженной хвалой творенье славил он.
Пред ликом божиим, в дыханье буйном шквала,
Пучина грозная все громче ликовала,
Не молкло пенье волн — лишь падала одна,
Подхватывая песнь, другая шла волна.
Но вдруг, как ярый лев при виде Даниила,
Свой неумный рык пучина прекратила,
И, глядя на закат, узрел я над водой
Десницу божью на гриве золотой.

И в голосе другом, — как визг железа ржавый
Вплетался он в аккорд фанфары величавой;
Так конь в испуге ржет, так стонут и скрипят,
Впуская грешников, затворы адских врат;
Так медную струну пилит смычок железный, —
Проклятье таинствам, последний крик над бездной,
Как вызов, брошенный велениям судьбы,

Брань, богохульства, плач, угрозы и мольбы,
Все в общий гул слилось, — так птиц полночных стая
Шумит, над сонною долиной пролетая.
Но что же было то? Мне не забыть вовек:
То плакала земля и плакал человек.

Два этих голоса, два непостижных зова,
То умолкали вдруг, то возникали снова.
«Природа!» рокотал один сквозь бездну лет,
И «Человечество!» гремел другой в ответ.

И я задумался. Мой дух на той вершине
Обрел крыла, каких не обретал доныне.
Еще подобный свет не озарял мой путь.
И долго думал я, пытаюсь заглянуть
В ту бездну, что внизу, под зыбью волн таилась,
И в бездну, что во тьме души моей раскрылась.
Я вопрошал себя о смысле бытия,
О цели и пути всего, что вижу я,
О будущем души, о благе жизни бренной.
И я постичь хотел, зачем творец вселенной
Так нераздельно слил, отняв у нас покой,
Природы вечный гимн и вопль души людской.

27 июля 1829

Однажды Атласу, завистливо-ревнивы,
Холмы сказали так: «Взгляни на эти нивы,
На свежие луга, где, страх забыв, одна,
Гуляет девушка, в мечты погружена.
Суровый океан, порыв смирняя гневный,
Целует ноги нам, баюкая напевно;
Короны из цветов, обрызганных росой,
Увенчивают нас в палящий летний зной.

Но почему, гигант, орлов угрюмых стая
Кружится над тобой, вершину задевая?
Зачем ты безднами туманными изрыт?
Что за гроза всегда над скалами гремит?
И отчего спина гранитная клонится,
Как ветка, где гнездо себе свивает птица?
Кто ледяной твой лоб, где лето не цветет,
Морщинами покрыл? Зачем обильный пот
Течет с него? Зачем ты горбишься, тоскуя?

И Атлас отвечал: «Мир на себе несу я».

24 апреля 1830

ПРЕЗРЕНИЕ

Yo contra todos y todos contra yo.

Romance del Viejo Arias.

Я против всех, и все против меня.

«Романс об Арьясе».

I

Кто знает, как много работы бесчестной,
Отчаянной зависти, лжи повсеместной,
Глухой неприязни за каждым углом,
Как умные люди исполнены дури,
Какие безумствуют черные бури
Вкруг этого юноши с ясным челом!

Он мимо идет. А меж тем уже рядом
Сплетенные змеи с погибельным ядом,
И друг изменяет, и ближний солжет,
И заговор зреет, и, прячась в засаде,
Готов уже кто-то накинуться сзади, —
Но юноша смотрит вперед.

А если души чья-то брань и коснется,
Крыло его пламенем гневным рванется,
Внезапная молния ринется в тьму, —
Но прежде чем вырвется лава наружу,
Но прежде чем руки прибегнут к оружию,
Он сам усмехнется и скажет: «К чему?»

Он вспомнит, лишь стоит в былое взглядеться,
Свободу и юность, отчизну и детство,
И лиру, и сцену в гирляндах огней,
И Наполеона, что был нам кумиром,
И многих, куда не понятых миром,
Властителей будущих дней.

II

Ну что же, завистники! Слепо и тщетно
Теснитесь вокруг гения стаяей несметной!
Раскаянья нет. Перемирия нет.
Начните сначала! Удвойте старанья!
Победой своей наслаждайтесь заранее!
Поет и не слышит и грезит поэт.

Все ваши стенанья и вопли глухие
Ничто перед силой творящей стихии.
Хор славы не сложен и многоголос.
И демонов крики, и ангелов пенье, —
Все это — на площади людной скрипенье
Несчетных каретных колес.

Он вас и не знает. Он скажет, пожалуй,
Что летом кузнечикам петь надлежало,
Что розам шипы отрастила весна,
Что он и кузнечика не уничтожит,
Что, кажется, роза в Бенгалии может
Цвести без шипов, да не пахнет она.

Да что разбираться! — Друзья ли, враги ли,
Любой успокоится в тесной могиле.
Души вдохновенной не тронут уже
Ни лавры, ни трон, ни победные клики.
Любое венчанье земного владыки
Поэт презирает в душе.

До хрипа кричали вы, — нет ему дела.
Ведь горькая пена кормы не задела.
Ступайте, не помнит он ваших имен.
Трясли его зданье, губили работу,
Дошли до одышки, до смертного пота, —
Не знает о вашей усталости он.

Захочет, — и вашим ученым писакам
 Одним только взглядом, одним только знаком
 Их выклики в глотку вобьет,
 Придет и смешает их скопище грубо,
 Как ветер морской, и, куда ему любо,
 В далекую даль унесет.

Несчетные полчища ваши в смятенье.
 Он всех покрывает одной своей тенью,
 Одним мановеньем ресниц,
 Одним дуновением с горной вершины
 Сметает он крохотный танец мышиный,
 И всех повергает он ниц.

Светильники, ярко горящие в храме,
 Кумиры в цветах над ночными пирами,
 Очаг ваш, хранящий огонь,
 Ваш блеск, если даже других ослепит он, —
 Все меркнет от искры, что выбьет копытом
 Его пролетающий конь.

26 апреля 1830

Oh primavera! gioventù dell' anno!
Oh gioventù, primavera della vita!

О весна, юность года!
О юность, весна жизни!

О письма юности, любви живой волнение!
Вновь сердце обожгло бывшее опьянение,
Я к вам в слезах приник...
Отрадно мне, забыв о прочном, тихом счастье,
Стать юношею вновь, тревожным, полным страсти,
Поплакать с ним хоть миг.

Мне восемнадцать лет... Я жил, в мечтах сгорая,
Звезда светила мне, надежда золотая
Ткала мне дивный сон.
Я всем был для тебя, души моей святыня...
Я был тем мальчиком, перед которым ныне
Краснею, умилен.

О пробуждение сил, дни светлой благодати!..
Похитить твой платок, следить мельканье платья,
Ждать — не пройдешь ли ты...
От жизни требовать любви и славы вечной
И верить радостно, тепло, чистосердечно
В мир светлой красоты!

Я жил, я все познал, изведал в полной мере;
И обольщений рой к моей скрипящей двери
Не прилетит, о нет!

Безумный возраст тот, весь в грезах и смятенье,
Тревожный, трепетный, как яросток он в сравненье
Со счастьем зрелых лет!

В чем, годы юности, я виноват пред вами?
Зачем, недолго так меня пьянив мечтами,
Расстались вы со мной?
Не унести меня лазурным вашим крыльям!
Зачем же дразните цветущим изобильем,
Утраченной весной...

Когда нам молодость улыбкою отрадной
Блеснет на миг один, о, как мы ловим жадно
Край золотых одежд...
Миг ослепительный! Он молнии короче!
Очнувшись, слезы льем, — в руках одни лишь клочья
Блеснувших нам надежд!

Забыть, все позабыть! Да, юность миновала,
И пусть уносит нас порывом злого шквала
К закату наших лет!..
Все бренно на земле! Не разрешив загадки,
Как тени мы скользнем по нашей жизни краткой,
И наш сотрется след.

Май 1830

Sinite parvulos venire ad me.

Jésus.

Пустите детей приходить ко мне.

Нисус.

Впустите всех детей. О, кто сказать посмеет,
Что резвый детский смех лазурный шар развеет,
Мной сотворенный в тишине.

Друзья, кто вам сказал, что игры их и крики
Тревожат гордых муз божественные лики?
Бегите, малыши, ко мне!

Резвитесь вокруг меня, кричите и пляшите!
Мне взор ваш заблестит, как в полдень луч в зените,
Ваш голос труд мой усладит.
Ведь в мире, где живем без радости и света,
Лишь детский звонкий смех, звуча в душе поэта,
Глубинный хор не заглушит.

Гонители детей! Вам разве неизвестно,
Что каждый, в хоровод детей войдя чудесный,
Душой становится нежней.
Иль мните, что боюсь увидеть пред собою
Сквозь творческие сны, где кровь течет рекою,
Головки светлые детей.

Сознайтесь! Может быть, настолько вы безумны,
Что вам теперь милей, чем этот гомон шумный,
Дом опустелый и немой.

Детей моих отнять?! Осудит жалость это, —
Улыбка детская нужна душе поэта,
Как светоч темноте ночной.

Не говорите мне, что крик детей веселый
Наитий заглушит священные глаголы,
Что песню шепчет тишина...
Ах! что мне, муза, дар поэзии и слава!
Бессмертье ваше — тлен, тщеславная забава, —
Простая радость мне нужна.

И я не жду добра от жребия такого, —
Зачем мне вечно петь для отзвука пустого,
И для тщеславных петь забав,
И горечь пить одну, и скуку, и томленье,
И искупать весь день ночные сновиденья,
Могиле славу завещав.

Куда милее мне в кругу семейном радость,
Веселье детское и мирной жизни сладость;
Пусть слава и стихи мои
Исчезнут, смущены домашней кутерьмою,
Как перед школьников ватагой озорною
Взлетают к небу воробы.

О нет! Среди детей ничто не увядает,
И лютик, радуясь, быстрее раскрывает
Свой золотистый лепесток,
Свежей баллады слог, и на крылах могучих
Взмывают оды ввысь, парят в гремящих тучах
Отряды величавых строк.

Стихи средь детских игр — и звонче и нетленней,
Благоуханный гимн цветет, как сад весенний.
А вы, что умерли душой,
Поверьте мне, друзья, стихам на этом свете
Поэзию дают резвящиеся дети,
Как зори поят луг росой.

Сбегайтесь, дети! Вам — и дом и сад зеленый!
Ломайте и полы, и стены, и балконы...
И вечером и по утрам

Носитесь радостно, как полевые пчелы,
Помчится песнь моя и с ней мой дух веселый
По вашим молодым следам.

Есть нежные сердца, к житейскому глухие,
Им сродны голоса и звуки золотые,
Те, что услышаны в тиши,
Обрывки яркие симфонии могучей,
В ней гул морских валов и листьев рой летучий,
Святая музыка души.

Каков бы ни был мир грядущих поколений,
И нужно ль вспоминать, или искать забвений,
Карают иль прощает бог, —
Я жить хочу всегда с моей мечтой на свете,
Но только в доме том, где обитают дети,
Чтоб гомон их я слышать мог.

И если ту страну увижу в жизни снова,
Страну, чье возлюбил я царственное слово,
Чьи скалы радуют меня,
Где в детстве видел я полки Наполеона,
Сады Валенсии и крепости Леона,
Испания — страна моя!

О, если посещу я снова край старинный,
Где римский акведук протянут над долиной,
Где древни призраки дворцов, —
Пусть вновь везут меня под сводом золоченым
Повозок, что всегда полны серебристым звоном
Веселых круглых бубенцов.

Май 1830

Where should I steer?

Вуроч.

Куда мне плыть?

Байрон.

Когда страницы книг, где мысль находит сон,
 Когда домашний круг, семейные волнения
 Иль ропот города безумного — гуденье,
 В котором слышится так часто чей-то стон, —
 Когда вся суета забав, несчастий, долга,
 Что заполняет нам дней тесный кругозор,
 Как гнет, мне голову давила слишком долго,
 К земле души моей приковывая взор, —
 Она вдруг вырвется! Спешит! В долину мчится,
 Дорогой, что всегда ведет к одним местам,
 Порой заблудится и снова возвратится,
 Как осторожный конь, что путь находит сам.
 Она летит вперед — туда, где тень лесная
 Полна вся шелеста, лучей и голосов...
 Под деревом Мечта сидит там, поджидая:
 Тогда они вдвоем уходят в глубь лесов!

27 июня 1830

Все, что подходит тебе, о мироздание, подходит и мне. Ничто для меня ни слишком рано, ни слишком поздно, если оно своевременно для тебя. Все, что приносят твои часы, о природа, есть благой плод. Все — из тебя, все — в тебе, все — в тебя.

Марк Аврелий.

Когда вокруг меня все спит, сижу часами
Под звездным куполом, сверкающим над нами,
И чутко слушаю ночные голоса.
Пусть крылья времени трепещут надо мною, —
С волненьем я гляжу на празднество ночное,
Которым чествуют природу небеса.

И кажется тогда, что в мирозданье спящем
Лишь я один согрет огнем светил палящим,
Что одному лишь мне постигнуть их дано,
Что я — пустая тень, немой, случайный зритель —
Ночного торжества чудесный повелитель,
И небо для меня во тьме озарено.

Ноябрь 1829

ЖЕНЩИНЕ

Душа ее прелестна.

Диуро.

Дитя, будь я царем, я отдал бы державу,
Порфир моих дворцов и царственный убор,
Поверженный народ и трон мой величавый,
И весь могучий флот, в морях стяжавший славу,
Вам за единый взор!

Будь я всевышний бог, я подарил бы горы,
И хаос вековой, и шелест сонных струй,
И сонмы демонов, и ангельские хоры,
Пространство, и миры, и горние просторы
Тебе за поцелуй!

8 мая 1829

Quien по ама, по vive.

Кто не любит, не живет.

О, будь вы молоды, стары, бедны, богаты,
Но коль по вечерам, тревогою объаты,
Не вслушивались вы в легчайший шум шагов,
Коль белый силуэт, мелькнув в аллее спящей,
Вам сердце не пронзал, как метеор слепящий
Пронзает на лету угрюмой тьмы покров;

Коль вам пришлось узнать лишь по стихам
влюбленных,

Страданьем, радостью и страстью опаленных,
Блаженство высшее, без меры и границ, —
Незримо властвовать над чьим-то сердцем милым
И видеть пред собой, подобные светилам,
Любимые глаза в тени густых ресниц;

Коль не случилось вам под окнами устало
Ждать окончания блистательного бала
И выхода толпы разряженных гостей,
Чтоб в свете фонаря увидеть на мгновенье
Прелестного лица весеннее цветенье
И голубой огонь единственных очей;

Коль не терзались вы ни ревностью, ни мукой,
Узрев в чужих руках вам дорогую руку,
Уста соперника — у розовой щеки;
Коль не следили вы с угрюмым напряженьем
За вальса медленным и чувственным круженьем,
Срывающим с цветов душистых лепестки;

Коль не бродили вы среди холмов лесистых,
Отдавшись вихрю чувств, божественных и чистых;
Коль поздним вечером, в тот молчаливый час,
Когда на небе звезд мерцает вереница,
Вдвоем, под тенью лип, вы не сближали лица,
Шепчась, хотя никто не мог услышать вас;

Коль дрожь руки в руке была вам незнакома;
Коль, услышав слова «люблю тебя», вы дома
Не повторяли их потом все вновь и вновь;
Коль жалости в себе не ощущали к тронам
И к тем, кто жаждет их, кто тянется к коронам,
Забыв о том, что есть великая любовь;

Коль по ночам, когда, одетый мглы убором,
Молчит Париж с его готическим собором,
С саксонской башнею, с громадами домов,
Когда полет часов безудержен и волен,
Когда, двенадцать раз срываясь с колоколен,
Они влекут вослед рой несказанных снов;

Коль вам не довелось тогда, в тиши дремотной,
Пока, вдали от вас, свежа и беззаботна,
Она вкушает сон, — метаться, и стонать,
И горько слезы лить, и звать ее часами
В надежде, что она появится пред вами,
И горький свой удел бессильно проклинать;

Коль взоры женщины, вам душу обновляя,
Не открывали врат неведомого рая;
Коль ради той, чьи дни спокойны и легки,
Кто в ваших горестях лишь ищет развлечений,
Не приняли бы вы и смерти и мучений, —
Любви не знали вы, не знали вы тоски!

Ноябрь 1831

Amor, ch'a null' amato amar perdona,
 Mi prese del costui piacer si forte
 Che, come vedi, ancor non m'abbandona.

Dante.

Любовь, любить велящая любимым,
 Меня к нему так властно привлекла,
 Что этот плен ты видишь нерушимым.

Данте.

Следить купанье девы милой,
 С плеч тонких сбросившей покров;
 Движенье белого ветрила,
 На небесах ночных — светила,
 В траве — мерцанье светляков;

Глядеть, когда в цветущих долах
 Султанши водят хоровод;
 Иль видеть бал в огнях веселых,
 Иль на таинственных гондолах
 Огни над зыбью синих вод;

Смотреть, как месяц серебрится,
 Дремать под ивой в летний зной,
 Быть королем, когда царица
 Не столько скипетром гордится,
 Сколь белоснежною рукой;

Романсам сладостной печали
Внимать, когда по вечерам
Вдруг андалуски из-под шали
С балконов пригоршни азалий
Бросают путнику к ногам;

Мечтать, когда роса ночная
С небес Испании падет
И в ароматный сумрак мая,
Как бы ракетой расцветая,
Трель соловьиная плывет;

Предавшись неге и покою,
Глядеть в лазоревый простор,
Где дух несется над землею
И оставляет за собою
Огнистый след, как метеор.

Срывать фиалки цвет лиловый —
Дар воскресающей земли;
Чрез роковые годы снова
Увидеть города родного
Шпиль, вырастающий вдали;

Нет! И благих судеб даянье,
И блеск полуденных красот
Свое теряют обаянье,
Лишь синих глаз твоих сиянье
Мне в очи черные сверкнет.

12 сентября 1828

Какие нежные шептала уверенья
 Алина в пору роз и вешнего цветенья!
 О легкий ветерок, ты мимо пролетал
 И, верно, все богам беспечно разболтал.

Сегрэ.

Взгляни на эту ветвь: она суха, невзрачна,
 Упрямо хлещет дождь по ней струей прозрачной,
 Но лишь уйдет зима и скроется вдали —
 Появятся на ней зеленые листочки,
 И спросишь ты тогда: как тоненькие почки
 Сквозь черствую кору прорезаться могли?

Спроси ж меня: зачем, когда к душе угрюмой,
 К душе, истерзанной тоской и тяжелой думой,
 Ты прикасаешься, о милая, любя, —
 Зачем, как прежде, кровь мне наполняет жилы,
 Зачем душа в цвету, раскрывшись с новой силой,
 Стихи, как лепестки, роняет вкруг себя?

Затем, что для всего есть время в мире этом,
 Что мгла сменяется луны дрожащим светом,
 Что радость следовать за горестью должна,
 Что нужен ураган и нужен ветер зыбкий,
 Что мне, скорбящему, даны твои улыбки,
 Что кончилась зима и что пришла весна.

7 мая 1829

Obscuritate rerum verba saepe obscurantur.

Gervasius Tüleriensis.

Сложность предмета ведет

к сложности выражения.

Гервасий Тильберийский.

О не тревожьте рой мечтаний сокровенных,
Не удаляйтесь в глубь своих садов священных
И, спящий океан завидя пред собой,
Страшитесь бездны вод коварно-голубой,
Затем что мысль мрачна! Уклон неощутимый
От мира зримого уводит в мир незримый.
Пред нами — лабиринт протяжен и глубок,
Он ширится, растет, сливается в клубок,
И, в жажде уловить загадку роковую,
Мы в сумрачном пути сгораем зачастую.

Недавно дождь прошел, просторы замутив,
Был праздник летних дней и ветрен и дождлив
И май во всей красе не встал перед глазами —
Он, как апрель, мешал улыбку со слезами.
Я штору отвернул, и, солнцем залиты,
Предстали мне вдали деревья и цветы.
На свежей зелени рассветное светило,
Играя радугой, дождинки золотило;

Мне в душу ворвался, как радость без границ,
Крик резвой детворы и гам влюбленных птиц.
Париж, расцветший вяз, собор, лачуги, зданье —
Все это плавало в торжественном сиянье
Светила майского, чей луч, скользя во мхах,
Жемчужины зажег на острых стебельках.
И повлекло меня в прекрасное соседство —
К тройной гармонии весны, рассвета, детства;
И Сена, прихоти своей, подобно мне,
Послушная, текла, — и в солнечном огне
Парами мглистыми на отмели безлюдной
Согласно таяла с моею грезой чудной.

И вот вокруг меня возникла череда
Друзей — я видел их такими же, когда
Сходились под вечер: и вычертились резко
Пред взором мысленным — вы с кистью, полной
блеска,

И вы, чьей волею, дышавшей торжеством,
Крылатый стих взмывал в полете огневом.
Я всех вас разглядел своим всезрящим оком —
Всех, даже тех из вас, кто был в пути далеком.
Потом умершие предстали мне на миг,
Какими некогда я знал при жизни их.
Прошло мгновение, как силою чудесной,
Их сонм увидел я в своей камерке тесной,
И мне почудилось, что, дрогнув, их черты
Тускнеют медленно, как дымкой повиты.
И все вокруг меня в кипенье небывалом
Мелькало, как поток, несущийся по скалам.
Безумие, чему нет меры и границ,
Хаос неведомых шагов, наречий, лиц!
Громады городов, их гул, превосходящий
Гуденье тысяч пчел иль ропот дикой чащи,
Пустыней огненной идущий караван,
И моряки, чей дом — господний океан, —
Они, кто словно мост над бездной изумрудной,
След от страны к стране проводят килем судна, —
Так по ветру паук свою пускает нить,
Чтоб сетью легкою дубы соединить.

Два полюса. Моря и суша, — круг всесветный,
Вершины снежных Альп и черный кратер Этны,
Зим, весен, осеней и лет живая связь,
Долины, что к морям сбегают, становясь
Заливами; морей бескрайные просторы,
Куда врезаются причудливые горы,
Материки во мгле иль в зелени сплошной,
Глодаемые злой, упорною волной, —
Все, будто в камере-обскуре, отражалось
В моем сознании; все в нем жило, качалось,
Дышало, двигалось, то ручьевою волной
Бурля, то мгlistою волнуясь пеленой.
Усердствуя, вперед в стремительном порыве
Летела мысль моя, сменяясь прихотливей
Дыхания ветров и поступи времен.
И в беспредельные просторы унесен, —
Я мчался и видал порою, как в угаре,
Близ бурных городов обоих полушарий
Другие, странные обличьем, города,
Могильники времен, угасших навсегда,
Строй башен, строгий ряд гранитных изваяний —
С подошвами в морях, с вершинами в тумане.
Иные высились и там — по городам,
Где нынче слышался живых тревожный гам,
И с древности глухой и по сегодня зримо
Являлись мне черты трехъярусного Рима;
Когда же, сообщая подъемля голос свой,
Живые города гудели, как прибой,
Народным ропотом иль поступью военной, —
Былые города, молчальники вселенной, —
Ни звука в глубине и ни дымка извне, —
Что улы без роев, коснели в мертвом сне.
Я слушал. Гул вставал. То — мертвецы без счета,
Тех городов жильцы, стремясь открыть ворота,
Живым подобные, толпой угрюмой шли
В тяжелой, по ветру клубящейся пыли.
От башен, пирамид, и арок, и пилонов
Сходил я к таинствам древнейших Вавилонов,
Я видел Карфаген, Тир, Фивы и Сион —
Марш нескончаемый народов и племен.

И вот я обнял все: лик древности — и вместе
Лик настоящего; пропавшие без вести
Дни прошлые — и те, каким цвести черед;
Был весь, как на духу, людской несметный род,
Все, разом говоря, там жаждало огласки:
Этрусск Эвандра, с ним Орфеевы пеласги,
Колосс египетский, Ирмина письма
И Новый Свет, чья речь настолько же темна.
Но, милые друзья, едва ли на холсте я
Изобразить бы смог мечты моей затей:
То зданье грузное, хаос пространств и лет,
И тружеников тех, чей несмываем след,
Чей неустанен труд, размеренный и строгий,
Кто вверх взбираются, скрестив свои дороги,
И, речи заводя, друг друга не поймут;
И, как потерянный, блуждая там и тут,
У встречных я искал ответа исступленно
На лестницах крутых колосса-Вавилона.
Так, в мрачной грезе той, средь сонма диких див,
Вся ночь безумная прошла, мой дух смутив.
В краях, куда ничье не проникало око,
Где без числа людей, где море тьмы глубокой,
Все было тайн полно... Лишь некий вздох порой,
Взметнувшись для того, чтобы в дали глухой
Мне скопища людей представить вековые,
Из тьмы выхватывал прорывы световые, —
Так ветер бороздит равнины хмурых вод
Иль на разлив хлебов волнистый след кладет.
Внезапно мрак возрос, глубокий, как в могиле,
Исчезли образы, и дали отступили,
И я, придя в себя, вернулся в бытие,
И охватила дрожь все существо мое.
Я был один. Кругом все сгнуло. Просторы
Чернели, — лишь вдали, сквозь мрак, ловили взоры
Рои, кипящие в пространстве и веках,
Как море в яростно клокочущих волнах.
О, это мрачное, двойное это море,
В чью даль корабль людской плывет, с судьбою
споря,
Я рвался в глубь его, наперекор волнам,
Чтоб некий клад в песках открыть и вынести вам,
И рассказать вам, где века его ютили —

Среди замшелых скал иль в поседлом иле.
На дно безвестных вод мой дух меня увлек,
И в бездне плавал я и наг и одинок,
От несказанного к незримому блуждая.
Вдруг, с воплем ужаса, покинул те места я,
Подавлен, угнетен, сгорая, как в огне,
Затем что вечность я нашел на дальнем дне.

Май 1830

Ave, Maria, gratia plena.
Радуйся, благодатная Мария.

Высокий чистый лоб и глаз прозрачных томность;
Хотя таить от всех вас побуждает скромность

Сокровища души,

Но вдохновение повеет вдруг над вами,
И разгорается в вас сердце, словно пламя,
Дремавшее в тиши!

О, к зову дивному прислушивайтесь чаще!

Под трелью соловья вы родились звенящей,

Сверкал вам хор светил!

Чтоб вам счастливой быть и щедро одаренной,
Быть может, светлый бог, склонясь к новорожденной,
В вас искру заронил.

Две девственных сестры, две музы сладкогласных,
Соткали облик ваш из многих черт прекрасных,

Двойной вдохнули дар, —

То заблестает он в живом стихотворенье,
То, разбудив клавиш, он затрепещет в пенье,
Где чувства дышит жар!

О вас поэт грустит вечернею порою,

О вас мечтает он, когда полночной мглой

Затянет небосвод!

Душа мечтателя любовью так богата,

Что, как ночной цветок, раскрывшись в час заката,

При свете звезд цветет!..

9 декабря 1830

ЗАКАТЫ

Чудесны картины, которые взор
открывает мысли.

Ш. Нодье.

I

Я вечера люблю; мне нравится закат,
Когда его лучи внезапно золотят
Усадьбы, скрытые листвою;
Когда вдали огнем объят густой туман;
Когда меж облаков небесный океан
Сверкает ясной синевою.

О, на изменчивый взгляните небосвод!
Вдруг ветер облака все вместе соберет,
И движается их лавина;
И озаряется далеких туч волна,
Как будто сабля там была обнажена
Заоблачного исполина!

А солнце все еще блесит сквозь облака,
То кровлю осветит лачуги бедняка
Подобно куполу собора;
То дали озарит, у мглы их силой взяв;
То с высоты небес прольет на сумрак трав
Лучей блестящие озера.

Вот в небесах повис огромный крокодил
С широкою спиной и пасть свою открыл,

Зубами острыми сверкая;
Свинцовым животом он лег на небосклон;
Пылают облака, он ими окружен —
Сияет кожа золотая.

Вот воздвигается из облаков дворец,
Дрожит, колеблется; он рухнул, наконец, —
И вид небес пугает взоры;
Засыпал небосвод обломков алых рой,
Висят развалины у нас над головой,
Как перевернутые горы.

В железных, золотых и медных тучах спят
Смерч, буря, ураган, и молния, и ад —
Дыханье слышно их глухое.
Господь на небеса повесил облака,
Как воин вешает на балки потолка
Свое оружие боевое.

Все ярче в небесах становится пожар!
Горячей бронзою сверкает солнца шар,
С размаху брошенный в горнило;
Сквозь тучи падая, он рвет их на лету,
И брызги облаков взлетают в высоту —
След от падения светила.

Гляди на небеса! Во мраке вечеров
Всегда, везде смотри с любовью на покров
Небес, горящих дивным светом.
Они таинственной сияют красотой;
Как будто в трауре, они черны зимой
И вышиты звездами летом.

Июнь 1828

II

Уходит с неба день; звезда вдруг заблистала,
Из-под прозрачного взглянула покрывала;
Вступает ночь на трон угрюмый вечеров;
Восток уже померк, а запад спорит с тьмою;
Приходит сумрак вслед за алою зарею
И умирает сам среди черноты холмов.

А там, свои огни, как звезды, зажигая,
Громада города вздымается у края
Небес, разрезанных, как длинною пилой,
Собором стрельчатым, высокими церквами,
Рядами острых крыш и крепости зубцами,
И башнями дворца, и башнею-тюрьмой.

О, если б мне взойти на башню ночью звездной,
Чтоб город подо мной внизу разверзся бездной!
Там голос города неясен и далек,
Тот голос, что звучит истошным вдовьим криком
И стонет громче днем, чем воет в гнев диком
Меж каменных мостов мятущийся поток!

Я видел бы внизу бегущие кареты —
Они встречаются, как в небесах кометы;
Я видел бы внизу на площади народ
И дым над трубами; я видел бы, как пламя
Вдруг зажигается и гаснет над гербами
Внизу — на улицах, у сумрачных ворот.

И я услышал бы, как старый город сонный
Вздыхает тяжело, трудами утомленный;
Уснул бы великан. Не спал бы я один.
Средь шорохов глухих, над изголовьем стоя
Ночного города, я б слушал шум прибоя
И видел бы тогда, как дремлет исполин.

22 июля 1828

III

Вперед! Идем вперед! Люблю гулять на воле,
Когда становятся длиннее тени в поле.
Но город здесь — со мной. Его так близок вид!
И слышу я его: своим скрипучим шумом

Париж моим мешает думам,
Над ухом у меня жужжит.

Я убегу в леса от этого тумана,
Висящего над ним подобием султана,
От вечной мглы его, что царствует с утра, —
Чтоб голоса его вдали исчезла сила

И чтобы город заглушила
Своим гуденьем мошकारа.

IV

Туда, под облака! На крыльях
 Подняться дайте мне с земли!
 Довольно изнывать в усилиях
 Напрасных — от небес вдали.
 О! В мир другой, где все мне ново!
 Искать во мраке ночи слово —
 Искать маяк — довольно мне.
 Довольно грез! О, выше! Выше!
 И здесь внизу едва лишь слышу
 Тот голос, внятный в вышине.

На крыльях иль под парусами —
 Вперед! Лети, корабль! Вперед!
 Я новыми пленен звездами,
 И Южный Крест меня зовет.

На той земле необычайной,
 Быть может, овладею тайной,
 Постигну мирозданья строй:
 Быть может, прочитатъ об этом
 Нам — лиры сыновьям, поэтам —
 Легко в небесной книге той.

Август 1828

V

Вечерний ветер вдруг завесу рвет паров,
 И открываются далеких облаков
 Обманчивые очертанья;
 Уступов множество на небесах горит:
 В сиянье золотом необычаен вид
 Возникшего внезапно зданья.

За этим зданием следит в испуге взор —
 Оно уносится на острове в простор,
 Ввысь — за пределы небосклона,
 И кажется, достичь безмерной высоты
 Стремятся лестницы, и башни, и мосты
 Невиданного Вавилона!

Сентябрь 1828

Сегодняшний закат окутан облаками,
 И завтра быть грозе. И снова вечер, ночь;
 Потом опять заря с прозрачными парами,
 И снова ночи, дни — уходит время прочь.

Все эти дни пройдут — пройдут они толпою
 Над волнами морей и над цепями гор,
 Над серебром реки, над темнотою лесною,
 Где слышен призраков неуловимый хор.

И будут горные вершины все в морщинах,
 Но не состарятся; и — так же, как всегда, —
 Помолодеет лес, и будет течь в долинах
 Бегущая к морям с высоких гор вода.

А я теряю пыл среди веселья мира,
 Все ниже голову склоняю с каждым днем.
 Уйду я с празднества в разгаре самом пира,
 Но будет все сиять попрежнему кругом.

Апрель 1829

“Ὅλος νόος, ὅλος φῶς, ὅλος ὀφθαλμός.

Clém. Alex.

Весь — ум, весь — свет, весь — око.

Климент Александрийский (греч.).

Когда вам говорят невежды, что искусство —
Лишь звонких фраз поток, где нет живого чувства,
Что это почестей и славы фимиам,
Иль прихоть праздная толпы в гостиних скучных,
Иль рифмы в поисках своих подруг созвучных, —
Не верьте их словам.

О иступленные, могучие поэты!
Ваш путь лежит туда, где, льдинами одеты,
Под ветром северным немеют пики гор;
В пустыни, где душа покой и мир находит,
В леса, где по листве опавшей осень бродит,
На берега глухих, затерянных озер;

Туда, где ласкова и радостна природа,
Где спит пастух в тени разрушенного свода,
Где дикая коза душистый ищет дрок,
Где сочную траву с мычаньем щиплет стадо,
Где хлещет по скале струями водопада
Вечерний ветерок;

Туда, где стаи птиц летают на просторе, —
Пусть это будет бор, пусть это будет море,
Пустынный островок или веселый луг,

Немое озеро или поток бурливый,
Утесы, океан, пески, снега иль нивы, —
На запад, на восток, на север и на юг;

Туда, где холм к холму спускается покато,
Где удлинится тень дуба в час заката;
Туда, где есть поля, деревни, города;
Туда, где птицы пьют росу с листов зеленых,
Где падают плоды с ветвей отягощенных, —
Идите петь туда!

Ваш путь лежит в леса, ваш путь лежит в долины,
Разноголосый шум сливайте в хор единый.
Пытайтесь разгадать всегда, везде, во всем —
Печальной ли зимой, или весной беспечной —
Значенье тайное природы бесконечной.
Прислушайтесь к тому, что говорит вам гром.

Природа — это храм, и бог в том храме правит;
Все мироздание поет его и славит,
И гимны в честь его со всех сторон звучат;
В его творении все — радость, все — улыбки,
Далекая звезда дарит вам свет свой зыбкий,
Цветок — свой аромат;

Пусть все пленяет вас, рождает вдохновение;
Ночного путника задумчивое пенье,
Тревожная листва, ручьи, крутой откос,
И первые цветы, которым март дивится,
И воздух, и вода, и небеса, и птицы,
И в тишине лесной унылый стук колес.

Поэты, вы орлам сродни! Любите кручи,
Когда свирепый вихрь, тяжелый и певучий,
Крутясь и буйствуя, идет на них грозой,
И воздух сумраком и влагой наполняет,
И боязливые деревья наклоняет
Над пропастью немой;

Любуйтесь чистотой рассвета несказанной,
Когда густой туман белеет над поляной,
Когда из-за лесов, в блистающем венце,

Восходит медленно шар солнца усеченный
И ослепляет взор, как купол золоченый
На дальнем и еще невидимом дворце;

Пленяйтесь сумраком, когда роятся тени,
Как смутный хоровод бесчисленных видений,
И на реке лучи рисуют свой узор,
И кажется гора лежащим исполином,
Который оперся на локоть и к долинам
Склонил лениво взор.

Да, если вы в душе взволнованно таите
Незримый мир любви, раздумий и наитий,
Желаний, образов и пламенных страстей, —
Чтоб этот скрытый мир принес живые всходы,
Вы слить его должны со зримою природой,
Должны всем существом соединиться с ней.

Искусство — это звук глубокий, сокровенный,
Простой, таинственный, богатый, вдохновенный,
Подвижный, как ручей иль утренний туман:
Им отзывается на взмах руки могучей
Все мироздание — огромный и певучий,
Невиданный орган!

8 ноября 1831

Плачь, добродетель, если я умру...

Андре Шенье.

Друзья, скажу еще два слова и потом
 Без грусти навсегда закрою этот том.
 Похвалят ли его, или начнут глумиться?
 Не все ль равно ключу, куда струя помчится?
 И мне, глядящему в грядущие года,
 Не все ли мне равно, в какую даль, куда
 Дыханье осени умчит остатки лета —
 И сорванный листок, и вольный стих поэта?

Да, я пока еще в расцвете лет и сил.
 Хотя раздумья плуг уже избородил
 Морщинами мой лоб, горячий и усталый, —
 Желаний я еще изведаю немало,
 Немало потружусь. В мой краткий срок земной
 Неполных тридцать раз встречался я с весной.
 Я временем своим рожден, и заблужденья
 В минувшие года туманили мне зренье.
 Теперь, когда совсем повязка спала с глаз,
 Свобода, родина, я верю только в вас!

Я угнетение глубоко ненавижу,
 Поэтому, когда я слышу или вижу,
 Что где-то на земле судьбу свою клянет
 Кровавым королем истерзанный народ;
 Что смертоносными турецкими ножами
 Убита Греция, покинутая нами;

Что некогда живой, веселый Лиссабон
На пытку страшную тираном обречен;
Что над Ирландией распятой — ворон вьется;
Что в лапах герцога, хрипя, Модена бьется;
Что Дрезден борется с ничтожным королем;
Что сызнова Мадрид объят глубоким сном;
Что крепко заперта Германия в темницу;
Что Вена скипетром, как палицей, грозит
И жертвой падает венецианский лев,
А все кругом молчат, от страха онемев;
Что в дрему погружен Неаполь; что Альбани
Катона заменил; что властвует в Милане
Тупой, бессмысленный австрийский произвол;
Что под ярмом бредет бельгийский лев, как вол;
Что царский ставленник над мертвою Варшавой
Творит жестокую, постыдную расправу
И гробовой покров затаптывает в грязь,
Над телом девственным кощунственно глумясь, —
Тогда я грозно шлю проклятиѣ владыкам,
Погрязшим в грабежах, в крови, в разврате диком.
Я знаю, что поэт — их судия святой,
Что муза гневная могучею рукой
Их может пригвоздить негодованьем к трону,
В ошейник превратив позорную корону,
Что огненным клеймом отметить может их
На веки вечные поэта вольный стих.
Да, муза посвятить себя должна народу.
И забываю я любовь, семью, природу,
И появляется, всесильна и грозна,
У лиры медная, гремущая струна.

Ноябрь 1831

Из книги
«Песни сумерек»

1835

ПРЕЛЮДИЯ

О, как тебя назвать, слепое утро века?
Струится мутный пот у каждого с чела.
В небесной вышине и в сердце человека
Сливаются в одно сияние и мгла.

Отчаянье, любовь, надежда, упование —
Не на дневном свету, но и не в тьме они.
Весь мир скрывается в обманчивом тумане.
Полуокутан мглой, но в этой мгле — огни.

И эта мгла гудит, ошеломляя разум.
В ней все сливается: вот слышен птицелов,
Вот в шорохе листвы мы различаем разом
И щебет птенчиков и шелест лепестков.

В ней все сливается: шаги того, кто волен
Искать иных путей в неведомых полях,
И предвечерний звон высоких колоколен,
И шорох в гнущихся зеленых камышах,

И плющ, трепещущий на каменных чертогах,
И буря, кормчему грозящая бедой,
Повозки, на лесных застрявшие дорогах,
Где ось цепляется, как наша мысль порой;

И слезы нищенки, едва влачащей ноги,
И слуги дьявола, и слуги Еговы,
Стук сердца юного, шаг чей-то на дороге
И замирающий, невнятный глас молвы;

Стихия волн — лишь бог ведет им счет несметным, —
И ветер, и ручей, бегущий по камням,
И все, что, покорясь людским стремленьям тщетным,
Плуг говорит земле и колесо — пугам;

Ладья, где слышатся во мраке звуки лиры,
Ладья, которую уносит вдаль река,
Орган лесов в горах, над суетою мира,
И голос городов, где слезы и тоска;

И человек, чей стон не знает облегченья,
В наш век, где надо всем смеется зло мудрец,
Чуть утвердится что, сейчас спешит сомненье
Осадком пагубным осесть на дно сердец, —

И эти голоса, грозя иль обещая,
Сливаются в напев, что в муках родовых
Поет эпоха нам, во мгле приготавлиая
Иль мертвецам гробы, иль зыбку для живых.

Восток, восток, восток! Что видно там, поэты?
Туда направьте мысль, туда вперите взор!
И слышим мы в ответ: «Там близок час рассвета,
Бледнеет небо там и рдеют гребни гор».

Но странен этот свет над полосою горной,
Безмолвен горизонт, белеющий слегка
Так далеко в ночи сверкает пламень горна,
Хоть не слышны еще удары молотка.

Но нам неведомо, действительно ли это
Сияньем солнечным лучи зари горят,
Иль то, что в этот час таинственного света
Восходом кажется, — быть может, то закат?

За утро, может быть, мы вечер принимаем?
И солнце дивное, горящее светло,
Которого мы ждем над позлащенным краем,
То солнце, может быть, наоборот, зашло?

Как! Неужели же заря не очевидна?
Тревожней, что ни миг, биение сердец.
Уже не видно нам или еще не видно?
Что ж это, небеса, — начало иль конец?

Всю землю в сумерках томленье охватило.
Мир, для которого в пространствах неземных
Блестит от нас иль к нам идущее светило,
Тот мир закрыл глаза иль открывает их?

Быть может, голоса, встающие без счета,
Смущающие нас повсюду на пути, —
То крыльев веянье, раскрытых для отлета?
Быть может, в этот миг земля кричит: «Прости!»

Быть может, этот звук, что льется, слух лаская,
Как лютни нежный звон, как вздоха легкий след, —
То песня нового, проснувшегося рая?
Быть может, в этот миг земля кричит: «Привет!»

Вот дрогнула листва: от счастья иль печали?
Вот щелкнул соловей: смеется ль, плачет он?
Вот океан шумит: то радость ли, тоска ли?
Вот голоса людей: то песня или стон?

В туманных сумерках никто не видит цели.
Вот на скамье, склонясь над книгой древних лет,
Священник, старенький и грустный, еле-еле
Читает по складам божественный завет.

Но пастыря, увы, напрасен труд упорный!
Не внемлет человек божественным словам.
Сомнение кругом взошло травой сорной.
И есть угроза тут, и есть надежда там.

Что сами мы судьбу вершим свою, не верьте!
Во сне и наяву, всегда над нами рок.
И к жизни ль мы идем, несемся ль прямо к смерти,
Но час свершения — уже он недалек.

Вдали, где все звучит, окутанное тенью, —
Там разгорается иль гаснет небосвод?
О смертный, подожди еще одно мгновенье:
Иль ночь опустится, иль солнце нам блеснет.

На сумрачный восток взирая, как другие,
Впивая каждый звук, суров иль нежен он, —
И голоса небес, и голоса земные,
И мощный ропот всех и каждый слабый стон, -

Все отразил поэт. В творениях поэта,
Как в эхо горестном, нашли себе исход
Все чаянья земли, все то, о чем планета
Кричит, поет, твердит, пока во мраке ждет.

20 октября 1835

I

О братья, и для вас настали дни событий!
Победу розами и лавром уберите
И перед мертвыми склонитесь скорбно ниц.
Прекрасна юности безмерная отвага,
И позавидуют пробитой ткани флага
Твои знамена, Австерлиц!

Гордитесь! Доблестью с отцами вы сравнились!
Права, которые в сраженьях им достались,
Под солнце жизни вы вернули из гробов.
Июль вам подарил, чтоб дети в счастье жили,
Три дня из тех, что жгут дотла форты бастилий,
А день один был у отцов.

О да! Вы их сыны! Отцовской крови сила
Закалку вам дала и кровь воспламенила.
Они вступали в бой. Пришел и ваш черед.
Мать-Франция дала вам щедрую природу —
Она, которая на диво всем народам
Вместила век в единый год.

От злобной Англии до пламенной Эллады
Европа целая с вас не спускает взгляда.
Из-за морей нам шлет Америка привет.
Трех дней хватило вам, чтобы разбить оковы!
О да, вы первенцы людей породы новой,
Сыны титанов и побед!

Могилами отцов вдоль всех полей сражений
Для вас отмечен путь, достойный удивленья.
Он вел из Франции, охватывая мир,
Сей баснословный путь, сей труд необычайный
Жемаппом начался, окончен в Монмирайле,
Обняв Кадикс, Москву, Каир.

А вы, ученики воинственных лицеев,
Под зовы трубные и перечень трофеев
Играли в детстве вы в тени родных знамен.
Он проходил меж вас, могучих мыслей полный,
И вы вокруг него толпились, словно волны, —
На вас глядел Наполеон!

Но ты, орлиный стяг, водивший их в сраженья,
Рассеяно твое повсюду оперенье,
А молнии твои взяла морская гладь!
О, выведшая их в гнезде между скалами,
Смотри и радуйся, кричи и бей крылами!
Орлята оперились, мать!

II

Когда наш город потрясенный
Свой утренний отбросил сон
И увидал, что незаконный
Ему навязан был закон,
Сказали вы в негодованье:
«Измене этой нет названья!
Народы движутся вперед.
Изменится ли ход вселенной,
Коль вывеску рукой презренной
Повесят задом наперед?

Преграды разрушает слово,
Оно, как молния, разит,
А истина к борьбе готова
И кляп зубами раздробит.
Ее из Лувра гонят в шею.
Король велит позвать лакея
И придушить ее вконец.

Но истина горит и жжется;
Закрыть ей рот не удастся,
Как вы закрыли ей дворец!

Как! Все, что время утвердило,
Отцов суровый бранный труд,
Что человечество скопило, —
Они все это отберут?
Законы? Хартии? — Мечтанья!
Недолговечные созданья!
И мы увидим в летний день,
Как созданное год за годом
Трудолюбивою свободой
При них исчезнет, словно тень!

Иль это ради них сверкали
Клинками Север, Юг, Восток
И с плахи головы слетали
На окровавленный песок?
Для этих сателлитов злобных
Отцы в сраженьях бесподобных
Затмили древности мужей?
Для них селения пустыли,
И там, где нивы зеленели,
Белеют кладбища костей?

Глупцы, кто этот бред лелеет,
Не видят разве, что с тех пор,
Как правят нами, все темнеет
Над нами неба кругозор?
Не видят разве в ослепленье,
Что мера кончилась терпенья,
Что всяк в их сторону глядит,
Что блещут грозные зарницы
И что народ, подобно львице,
Уж точит когти, хоть молчит?»

III

Мужчины, женщины и дети встали разом.
Кто мог владеть рукой, в ком сердце есть и разум,
Сбежались, притекли. Весь город, как река,
На королевские обрушился войска.

Напрасно гаубицы и пушки загремели.
Снаряды и картечь на стены полетели,
Но тысячи людей рвут камни мостовых,
И груды мертвецов — защита для живых.
Мортиры средь толпы пробили коридоры, —
Толпа сомкнулась вновь, как будто волны моря.
Предместья хрипло звал к восстанию набат,
И между башнями гремел его раскат.

IV

Три дня, три ночи, как в горниле,
Народный гнев кипел кругом;
Он рвал повязки цвета лилий
Иенским доблестным копьем.
На помощь смятому кордону
Улан крылатых батальоны
Бросались в бой во весь опор, —
Но их когорта за когортой,
Как горсть осенних сучьев мертвых,
Могучий пожирал костер.

О город! Как ты мог смирить свой гнев державный,
Когда, спустя три дня, ты одолел врага?
Народ, ты обуздал поток самоуправный
И, как река, вошел обратно в берега.
Землетрясение! И буря! Грохот боя!
И грозный смех толпы, спешащей отомстить!
Где силы взял Париж, чтоб овладеть собою
И выбрать, прежде чем разить?

Не потому ль, что стойкость — свойство,
Нередкое в твоих сынах,
Что юность, полная героизма,
Сражалась смело в их рядах?
В любой безжалостной судьбине
У вас одна душа отныне,
Она свой свет на подвиг льет.
Прославим дней минувших были!
Вчера вы лишь толпою были,
Сегодня вы уже народ!

А вы, советчики, учителя бесчестья!
Осмелились поднять вы руку на народ!
Вы только бич небес, который бог возмездья
Последним королям в их день последний шлет!
Несчастные! Они прониклись мыслью ложной
(Бог ослепляет тех, кто должен умереть),
Поверив, что убить свободу можно,
Поймав ее, как птицу, в сеть.

Мы все запомним... След раненья
Прекрасен на лице бойца!
Пусть город, вынесший сражение,
Хранит на память знак рубца.
Почтим и жертву и героя,
Пусть в Пантеоне упокоят
Бойцов под клики шумных толп.
Нас не томят былого тени:
Луи Капету — мрак забвенья,
Наполеону — гордый столп.

V

Злосчастный род! Ему — хоть слово состраданья!
Изгнанников былых постигло вновь изгнанье,
Революционный вихрь унес их трижды прочь.
Проводим с миром их, сих королей опальных,
Трехцветный стяг, склонись, отдай салют прощальный
Знаменам, уходящим в ночь.

Над головами их не занесу секиры;
Не станет оскорблять в прощальной песне лира
Тех, кто в изгнанье шел нетвердою стопой.
Дух милосердия привык щадить руины,
Не возложу венец терновый на седины
Былых властителей, поверженных судьбой.

Увы, несчастные! Еще не заключаю
Я песнь об их судьбе и горестях без края:
Изгнанье и гроба моим стихам сродни.
Уж новая заря грядет заре на смену,
А песне все бродить от скал святой Елены
До усыпальниц Сен-Дени.

Да будет их судьба уроком тем пигмеям,
Кто, честолюбие безмерное имея,
Сажает королей на троны, как хотят, —
Но, в камень обратив страны живые силы,
Присев на корточки, они дыханьем хилым
Жар Революции под пеплом раздражат.

VI

О, будущее так обширно!
Французы! Юноши! Друзья!
В прекрасный век, достойный, мирный
Прямая нас ведет стезя.
Нам каждый день несет победы,
И день грядущий заповедан,
Когда у мира на глазах
Восстанет вольность на просторе
И разольется, словно море,
Непобедимая в веках.

Главой касаясь небосвода,
Верша великие дела,
Когда-то Франция народы
Под покровительство брала.
Для них она вела достойно
Освободительные войны,
И славили ее они
И, позабыв очаг разбитый,
Искали для себя защиты
В наполеоновой тени.

Таким же пламенным стремленьем
У вас душа поглощена.
Свободу дайте убеждениям!
Пусть сами правят племена!
Пусть образ вольности желанной
Для нас блеснет во мгле туманной!
Идите, пробивая путь,
Чтоб, двигаясь к заветной цели,
В согласье дружном мы сумели
Преграды все перешагнуть.

Пусть вольный ум, не зная скуки,
Над музами легко парит
И лоб задумчивой науки
Крылом широким осенит.
Пусть, внемля каждому моленью,
Всем королям на поученье,
Так будет расположен трон,
Чтоб эхо умножало шумно
Любой совет благоразумный
И горести малейший стон.

Молитесь с нами за убитых,
Священники! У христиан
В пещерах Рима прозелиты
Не знали золотых сутан.
Вернитесь! Но без митры алой,
Без блеска церемониала, —
Зачем во храме ставить трон?
Добро, молитва — вот основы.
Алтарь из камня, крест дубовый —
Господний для людей закон.

VII

Отныне душ людских вам вверен клад бесценный!
Бедны, как сам народ, как женщины смиренны,
Не бойтесь ничего! Ведь вера — ваш оплот!
В груди Везувия давно грома грохочут,
И лава, как вино, внутри его клокочет
И красной пеной в жерло бьет.

Неаполь в ужасе. В отчаянье, с рыданьем
Народ припал к земле, внимая содроганьям,
Моля о милости разгневанный вулкан.
Увы, пощады нет! Вершина пышет кровью!
Как шея коршуна с высокого гнездовья,
Над пламенной горой встал дымовой фонтан.

Сверкнула молния. Из глубины бездонной
Извергся черный столп и прыгнул, разъяренный.
Вдали упал фронто́н. Прощай, античный храм!

Зарделись паруса на всех судах залива,
И лава из горы, как огненная грива,
Стекает по ее плечам.

Так вот, так вот она, таинственная лава —
Та, что живит поля и строит переправы!..
И трепет пробежал по глади водяной.
Неумолимые струи текут и блещут,
Высокие дворцы в Неаполе трепещут, —
Гонимый бурей, так бьется лист лесной.

Хаос! Все улицы засыпал пепел жаркий.
Земля колеблется. Взлетают своды, арки.
Вот кровля здания на ближний дом легла.
Кипит вдали залив, и зарево в долинах.
Дома качаются. На башнях-исполинах
Безумолку звонят колокола.

Но (вижу божий перст!), селенья разрушая,
Меняя лик равнин и острова взрывая,
Глубоко всколыхнув и сушу и залив,
В движение приведя земную твердь и воды,
Щадит Везувий скит, где в кратере у входа
Отшельник молится, колена преклонив.

10 августа 1830

Те, кто за родину смиренно жизнь сложили,
Достойны, чтоб народ стекался к их могиле:
Нет славы выше их и равной нет другой.
Величье их имен с другими не сравнимо.

Подобно матери любимой,
Отчизна смертный их баюкает покой.

Мы славу пропоем отчизне
И тем, кто посвятил ей жизни, —
Самоотверженным борцам,
В ком вольности пылает пламя,
Кто жаждет места в этом храме
И кто готов погибнуть сам!

Для этих мертвецов вознес гостеприимно
Высокий Пантеон свой купол в небе дымном.
Тысячешатенный Париж внизу лежит.
Что перед ним и Тир и стены Вавилона?

Венцом уходят ввысь колонны,
И с каждою зарей он золотом горит.

Мы славу пропоем отчизне
И тем, кто посвятил ей жизни, —
Самоотверженным борцам,
В ком вольности пылает пламя,
Кто жаждет места в этом храме
И кто готов погибнуть сам!

Когда герои там улягутся в гробницы,
Забвенье, эта ночь, стирающая лица,
Не прикоснется к ним безжалостной рукой.
Как солнце ясное, так слава золотая,
Над ними каждый день вставая,
Их станет наделять все новой красотой.

Мы славу пропоем отчизне
И тем, кто посвятил ей жизни, —
Самоотверженным борцам,
В ком вольности пылает пламя,
Кто жаждет места в этом храме
И кто готов погибнуть сам!

Июль 1831

Огромен зал. Столу нет ни конца, ни края.
Здесь празднества идут, и, вечно возникая,
Волшебный длится пир, сияющий игрой
Бокалов, серебра, посуды золотой.
За пиршественный стол лишь мудрый не садится,
Зато отыщешь там все возрасты, все лица:
И воинов-рубак суровые черты,
Юнцов безусых, дев лилейной красоты,
Лепечущих детей и стариков брюзжащих,
Томимых голодом и с жадностью едящих;
И всех жаднее те, чей рот уже прогнил,
И те, кто и зубов еще не отточил.

Султаны, кивера, победные знамена,
Орлы двуглавые, лев с золотой короной,
И россыпь звездная на ржавчине щита,
Рой пчел на багреце и лилий чистота,
Шевроны и мечи, цепей и копий груды —
Все то, что на гербах начертано причудой, —
Крылатый леопард, серебряный грифон, —
Все в пляске кружится, цепляясь за плафон,
И, арабесками к ногам гостей спускаясь,
Бесстыдно к чашам льнет, нектаром упиваясь.
Полотнища флажков спадают с потолка
К сидящим за столом, чтоб легче ветерка
Коснуться их волос, — так ласточка крылами
Қасается травы, порхая над лугами.

И все поет, звучит и светится вокруг,
В магический клубок сплетая свет и звук.

Летит в лазурь небес гул празднества нестройный...
Венки, гирлянды роз... Воздвигнуть трон достойный
Пирующий спешит тщеславью своему,
И, цепью страшною прикованный к нему,
Уйти бы рад иной, да цепь все тяжелее, —
И крепче всех гостей хозяин скован ею.

Всесильная любовь, которая подчас
В титанов иль в богов преображает нас
И в дивном пламени своем, смешав дыханье
Мужчин и женщин, плоть приводит в содроганье;
И похоть — оргий дочь, чей взор, сжигая кровь,
Бессильно гаснет днем, чтоб ночью вспыхнуть вновь;
Охоты бешенство, зеленые просторы,
Призывный клич рогов, псаря и гончих своры,
Альковы, где шелка, кедр, бархат, анемон
Вновь будят чувственность и отгоняют сон,
Чтоб, женщину раздев, затейливые игры
Могли вы с ней вести на мягкой шкуре тигра;
Дворцы надменные, безумные дворцы —
Чьей наглой роскошью пленяются глупцы,
И парки, где вдали за дымкой синеватой
Средь нежной зелени мелькает мрамор статуй,
Где рядом с тополем раскинул ветви вяз,
Где струны над прудом звучат в вечерний час;
Стыдливость красоты, сдающейся без боя,
Честь судей, что ведут торг истиной святою,
Восторги зрителей, смиренных жалкий страх,
Высокомерье тех, кто держит власть в руках,
И зарево войны, волненья и тревоги
Походов и боев; полип тысяченогий —
Пехота, что идет, все повергая ниц,
Разноголосый гул огромнейших столиц
И все, чем армии и города затмили
Лазурный свод небес, — дым, гарь и клубы пыли;
И чудо из чудес Левиафан-бюджет,
С утробой вздувшейся от множества монет
И золотом из ран своих кровоточащий,
Но вечно жаждущий и новых жертв просящий, —

Вот яства дивные, которые вокруг
На блюдах золотых разносят сотни слуг.
Но яства новые, внизу, в подвале черном,
В лаборатории своей, склонясь над горном,
Готовит для гостей искусною рукой
Угрюмый чародей, зовущийся Судьбой.

Хоть вечно требует каприз амфитриона
Все новых блюд и яств, но, ими пресыщенный,
Не знает гость иной, чего б еще поестъ;
Тут для пирующих один советчик есть —
Их совесть или то, что совестью зовется.
Она их зоркий гид, но так уже ведется,
Что няньки будущих владык и королей
Глаза во время игр выкалывают ей.

Так вот избранные, властители вселенной,
Чья жизнь полна чудес и счастье неизменно.
Вот празднество богов... Как дивно все кругом,
Как сладко все пьянит на пиршестве таком,
Как в этой роскоши, скользя мгновенной тенью,
Обворажают вас волшебные виденья,
Как озаряет смех, что льется без конца,
Блаженной радостью счастливые сердца.
Как жадный взор спешит полнее насладиться
Всем, что пылает здесь, сверкает и струится.

Но вдруг в тот час, когда хмельные струны лир
Вас, кажется, забыть заставили весь мир,
Когда уже весь зал — со слугами, гостями —
Стал факелом живым, пылающим цветами,
И льется музыка все звонче и сильнее, —
Увы, когда уже достигнут апогей
Разгула пьяного и только и осталось,
Чтоб это сборище еще поиздевалось
Над мерзнувшей внизу толпою бедняков, —
Вдруг с лестницы летит невнятный шум шагов,
Там кто-то близится, стоит у входа в залу —
Нежданный гость, хоть ждать его и надлежало.

Не закрывать дверей... Пошире их открыть...
Кто путь пришедшему посмеет преградить!

С ним спорить нечего... Там смерть или изгнание,
Могила черная иль горести скитаний!
Приходит смерть с косою, изгнание держит плеть,
Но призрак не дает себя и разглядеть.

И, затмевая все огромной страшной тенью,
По залу он идет, притихшему в смятенье,
И, мигом отыскав добычу средь гостей, —
Подчас из тех, кто был в тот вечер всех пьяней, —
Уносит прочь ее с примолкнувшего пира,
Не дав ей даже с губ стереть остатки жира.

20 августа 1832

Сверкает ратуша в огнях... Сегодня бал!
Великолепно все: вельможи, принц и зал.
Над пышным обществом струятся волны света,
Так вдохновением горит чело поэта!
Но это пиршество бессмысленно, друзья,
Не праздничных затей ждет Франция моя,
Нам не балы нужны, нам стыдно веселиться,
Когда несчастьями осаждена столица!

Правители страны! Не лучше ль нам скорей
Заняться ранами и нуждами людей:
Воздвигнуть лестницу, чтоб нас вела к вершине,
Работу дать цехам и отдых гильотине,
Дать детям-сиротам и пищу и приют,
Дать обездоленным и веру в жизнь и труд,
Чем разбросать цветы по залам озаренным
И тешить праздный сброд весельем пустозвонным!

О жены верные! Вы — символ чистоты!
Вы — наших очагов душистые цветы!
Всей добродетелью обязаны вы счастью:
Судьба не мучила вас горем и напастью,
Голодная, не вам твердила нищета:
«Есть у тебя товар: любовь и красота!»
Богатство вас хранит от изменных желаний.
У вашей чистоты побольше одеяний,
Чем у египетской Изиды покрывал...
Для вас горит зарей роскошный этот бал!

Спешите вы на пир... А где-то скорбь и стоны,
Но к бедам глухи вы, святые наши жены...
Судьба к вершинам вас, избранниц, вознесла,
И не увидеть вам — так ваша жизнь светла,
Так ослепляет вас несметных благ блистанье —
Растоптанных в ночи безмерного страдания!..

Да, сладок ваш удел: принц, богачи и знать
Любимицам судьбы стремятся угождать.
Вы всем пленяете: нарядом, красотою!..
Вас опьяняет бал веселой суетою,
И, словно бабочки, на яркий блеск свечи
Спешите вы к дверям, откуда бьют лучи!
Спешите вы на бал, не видя в ослепленье,
Что там среди толпы, застывшей в восхищенье
Вокруг нарядных слуг и гербовых карет,
Немало женщин есть, глядящих вам вослед,
Красивых, молодых, блистающих для торга,
Для уличной любви, дешевого восторга,
В крикливой пышности — приманка жадных глаз, —
Сбежавшихся взглянуть украдкою на вас,
Прикрыв усмешкой скорбь, — в цветочном их уборе,
Но с грязью на ногах и с яростью во взоре!..

Май 1832

Как легко мы забыли, Канарис, тебя!
 Мчится время, про новую славу трубя.
 Так актер заставляет рыдать иль смеяться,
 Так господь вдохновляет любого паяца:
 Так, явившись в революционные дни,
 Люди подвигом дышат, гиганты они,
 Но, швыряя светильник свой яркий иль чадный
 Одинаково скроются в мрак беспощадный.
 Меркнут их имена средь житейских сует.
 И пока не появится сильный поэт,
 Создающий вселенную словом единым,
 Чтоб вернуть ореол этим славным седидам, —
 Их не помнит никто, а толпа, что вчера,
 Повстречав их на площади, выла «ура»,
 Если кто-нибудь те имена произносит,
 «Ты о ком говоришь?» — удивленная спросит.

Мы забыли тебя. Твоя слава прошла.
 Есть у нас и шумней и крупнее дела,
 Но ни песен, ни дружбы былой, ни почтения
 Для твоей затерявшейся в памяти тени.
 По складам буржуа твое имя прочтет.
 Твой Мемнон онемел, солнце не рассветет.
 Мы недавно кричали: «О слава! О греки!
 О Афины!..» — мы лили чернильные реки
 В честь героя Канариса, в честь божества.
 Опускается занавес пышный. Едва
 Отпылало для нас твое славное дело,

Имя стерлось, другое умом завладело.
Нет ни греков-героев, ни лавров для них.
Мы нашли на востоке героев иных.
Не послужат тебе ежедневно хвалами
Журналисты, любое гасящие пламя, —
Журналистам-циклопам который уж раз
Одиссей выжигает единственный глаз.
Просыпалась печать что ни утро, бывало,
Разрушала она, что вчера создавала,
Вновь державной десницей ковала успех,
Справедливому делу — железный доспех.
Мы забыли.

А ты, — разве ты оглянулся,
Когда вольный простор пред тобой развернулся?
У тебя есть корабль и ночная звезда,
Есть и ветер, попутный и добрый всегда,
Есть надежда на случай и на приключение,
Да к далеким путям молодое влечение,
К вечной смене причалов, событий и мест,
Есть веселый отъезд и веселый приезд,
Чувство гордой свободы и жизни тревожной.
Так на парусном бриге с оснасткой надежной
Ты узнаешь излучины синих дорог.
Так пускай же в какой-то негаданный срок
Океан, разгрызающий скалы и стены,
Убаюкает бриг белой кипенью пены;
Так пускай ураган, накликающий тьму,
Взмахом молнийных крыльев ударит в корму!

У тебя остаются и небо и море,
Молодые орлы, что царят на просторе,
Беззакатное солнце на весь круглый год,
Беспредельные дали, родной небосвод.
Остается язык, несказанно певучий,
Ныне влившийся в хор итальянских созвучий, —
Адриатики вечно живой водоем,
Где Гомер или Данте поют о своем.
Остается сокровище также иное —
Боевой ятаган да ружье нарезное,
Да штаны из холста, да еще тебе дан
Красный бархатный, золотом шитый кафтан.

Мчится бриг, рассекает он пенную влагу,
Гордый близостью к славному архипелагу.
Остается тебе, удивительный грек,
Разглядеть за туманами мраморный брег
Иль тропинку, что жметя к прибрежным откосам,
Да крестьянку, лениво бредущую с возом,
Погоняя прутон своих кротких быков,
Словно вышла она из далеких веков,
Дочь Гомера, одна из богинь исполинских,
Что изваяны на барельефах эгинских.

Октябрь 1832

О грек прославленный, что позабыт толпой,
 Скажи мне, почему всем сердцем я с тобой?
 Скажи мне, почему — пусть ночь кругом глухая —
 Я мыслю о тебе, твой образ воскрешая,
 В то время как у нас витий немало есть,
 Стремящихся в стихах себе услышать лесть?
 Скажи мне, почему к тебе влекусь я снова,
 К тебе, на ком печать забвения людского?
 В венке лавровом ты и прост был и велик.
 Есть общий у певцов и воинов язык:
 Поэта чтут бойцы, как он того достоин,
 Бард воспевает то, что совершает воин.
 Герой всегда могуч, и песнопевец свят,
 Чей вдохновенный жар года не загасят.
 Такой поэт похож на кратер тот гигантский,
 Что, верно, ты видал в лазури итальянской.
 На Этну он похож, клокочущий титан,
 В шипах — его чело, в груди его — вулкан.

Священен долг певцов: когда огни и дымы
 Сливаются в хаос и вихрь неодолимый
 Борцов и мудрецов ввергает в злую ночь,
 Забвенья избежать должны мы им помочь.
 Как в грозные часы, когда бушует море,
 Спасаем мы пловцов, что гибнут с бурей в споре,
 Поэту надлежит для вечности спасти
 И тех, кто позабыт, и тех, кто пал в пути.

Нет, ты не сожале́й! Есть участь пострашнее:
В Париже дни влачить, страдая и старея,
В Париже, что поет, рыдает, ищет ссор,
Иллюзий мишурой свой ослепляя взор,
Как вспышками страстей безумных — куртизанка;
В Париже, где видна всей роскоши изнанка,
Где надо на людей ничтожных и пустых
Обрушивать, как вал, свой возмущенный стих;
Быть редкостным плодом в людской дремучей чаше,
То озариться вдруг успехом преходящим,
То слушать гул толпы — зловещей бездны гул,
Где столько́х звук имен навеки потонул;
Коль нравы явятся, царившие когда-то,
Пером их сокрушать, как крепость супостата,
И в брешь, пробитую всей прессой наконец,
Врываться, как в донжон — измученный боец;
Выслушивать и тех, кто отдан на глумленье,
И тех, в чьей власти вся машина управленья,
Застрявшая, как плуг на трудной полосе:
Правители — быки, а лемеха — мы все;
Трагедии писать, что жгут, как пламя в горнах,
Что силою страстей, то светлых, то позорных,
Как мощною рукой сжимают все сердца,
Чтоб капли слез из них сочились без конца;
В смешенье языков, здесь, в Вавилоне новом,
С трибуны грохотать, разя клеймящим словом,
Потоком огненных, бичующих речей
Деяния тупых, бесчувственных властей;
Гигантом быть в среде, где пыжаты́сь пигмеи,
Кустом среди травы, и в обществе, где змеи
Свой смертоносный яд стремятся в кровь излить, —
Давить их яростно, безжалостно давить! —
О благородный грек! Как этому сравниться
Со счастьем по морской безбрежности носиться,
Где аргонавтов путь пролег по лону вод,
Порою опускать на дно пучины лот,
Иль различать вдали, сквозь легкий дым сигары,
То Мантинеи брег, то древний лик Мегары.

Архипелага сын! Когда б нас видел ты
В часы, когда печать кричит до хрипоты:
«Спасайте те права, что власть отнимет скоро!» —
Когда судьбу вручить мы рады без разбора
Любому, кто готов на приступ повести,
Чтоб штурмовать закон и мелюзгу смести, —
Какой бы ты тогда низверг поток презренья
На детских этих игр пустые достижения,
Ты, разбивавший вмиг железный плен оков
И отправлявший в рай, шутя, без долгих слов,
Под грохот буйных волн и орудийных шквалов,
С гаремом заодно, турецких адмиралов.

Тебе ль печалиться из-за бездушья тех,
Чьи мысли и дела твой возбудили б смех?
Тебе ль взывать к сердцам из камня и из воска
К той памяти, где все, как пыль, серо и плоско?
Смотри! Вот граждан бич — налогов откупщик:
Как губка, впитывать он золото привык.
А вот — развратный мот, с чертами идиота —
У этого юнца всегда одна забота:
Блеск пышных выездов и милость светских дам;
А вот еще купец, он пригвожден к счетам.
Европой ты забыт! В ней все так быстро течет...
Но что тебе она, живущая беспечно?
Что для тебя Париж? Он погрузился в сон,
И, в ожиданье дня, кошмары видит он.
Что Лондон, занятый лишь биржей да бегами?
Что Рим? Он только тень, венчанная веками.
Ты выше всех владык — султанов и пашей,
Глумящихся теперь над Грецией твоей,
И бледных северян, не тронутых загаром,
Новейших варваров, пришедших к паликарам,
Чтоб обновить страну, законы, нравы, власть,
Элладу воскресить и Фидия украсть.

Ты — искренность сама, и мил всегда мне будешь,
Хоть кончишь, может, тем, что сам себя забудешь.

Что нужды! В час, когда глядишь, как моряки
По трапу катят вниз с товарами тюки,

Иль, на берег сойдя, в порту, где многолюдно,
Ведешь с британцем торг, пред тем, как взять на
судно,

Иль, встретивши друзей, с кем неразрывна связь,
Приветствуешь их круг, так весело смеясь, —
Тогда, быть может, дочь Коринфа иль Аргоса,
По улице идя, смугла, черноволоса,
Невеста юная иль мать большой семьи,
Твой облик вдруг узнав и подвиги твои
Припомнив, о герой сражений легендарных,
С тебя не сводит глаз больших и благодарных,
И, слов не находя, трепещущая вся,
Проходит, за тебя молитвы вознося.

18 сентября 1835

Ему двадцатый шел. Успел он погубить
 И опоганить все, что можно полюбить.
 Все обесцвечивал своим прикосновеньем.
 В ночные логова к порочным наслажденьям
 Он мимо темных стен проскальзывал, как тень.
 И длились оргии. Горел он ночь и день
 И таял словно воск, в который въелось пламя.
 И, лето скоротав, зимою вечерами
 Он в Опере торчал, чтоб Моцарт или Глюк
 Заполнили его бессмысленный досуг.
 Не мог он заглянуть хотя б на миг единый
 В стихию Шекспира, в гомеровы глубины.
 Не верил ни во что, не грезил ни о ком.
 И пробуждался он, как засыпал, — с зевком.
 Его ирония, бессильные нападки
 Всему великому пытались вгрызться в пятки.
 Себя он одного на свете признавал.
 Любовь он покупал, а бога продавал.
 Природу, океан, небесные светила
 И все, что для души, как ветер для ветрила,
 Он сердцем сумрачным не мог воспринимать.
 Он не любил полей. Ему постыла мать.
 И вот хмельной, больной, безумный от безделья,
 Без злобы, без любви и, как всегда, без цели,
 Пресыщенный еще не наступившим днем,
 Он вздумал, — пистолет в тот вечер был при нем! —
 Закинуть душу ввысь к недостижимым странам,
 Как в потолок буян швыряется стаканом.

Юнец, бессмысленно ты канул в смертный мрак,
И нам тебя не жаль. Коль гибнет сорный знак,
Кто ж плачет? Не тебя, ничтожного и злого,
Но жалко мать твою, мать детища такого.
Воистину скорбим о женщине мы той,
Которая в своей покорности святой
Чело заботами о сыне омрачала:
Не колыбель твою, — свой гроб она качала!

Не о тебе скорбим, но мы о том скорбим,
Что, и поругано, останется святым:
Дитя печальное, она в мансарде пела.
Ведь были чистыми душа ее и тело!
Как солнечный восход сиял ты для нее.
Мечтала, поймана на золото твое,
Что голод позади, а счастье — под рукою.
И вот ее душа растоптана толпою.
О ваза бедная! Увяли все цветы;
Их аромат убил своим дыханьем ты!

Нет, нам не жаль тебя. Ты был ничтожной тенью,
Ты даже в счет не шел, ты не имел значенья,
Но имя честное ты погубил вконец.
Ведь старой гвардии отважный был боец
Отец покойный твой. И сон его спокойный
Нарушил ты своей кончиной непристойной.
Нам жаль твою родню, твоих покорных слуг,
Твоих приятелей, толпившихся вокруг
И ставивших на тень. Мы плачем над судьбою
Ввязавшихся в игру, связавшихся с тобою.
И пса домашнего нам жалко твоего —
Ведь он любил тебя, ты не любил его!

Гордец безрадостный! Бесплоден, бессердечен,
И жил бессильно ты и умер незамечен.
Бесплодно нашумев, наделав суеты,
В ночь, в одиночество, в ничто вернулся ты.
И ладно! С пира ты спесиво удалился,
Но факел ни один при этом не затмился;
Воды не всколыхнув, ты канул в водоем.

А век идет вперед в величии своем —
И вовсе не таков твой саркофаг убогий,
Чтоб встал кому-нибудь он поперек дороги.
Ну, хлопнул дверью ты. А что за ней нашел?
Хотел прославиться — в забвение ушел!

Апрель 1831

Конечно, эта смерть не может обесславить
Наш век. И ничего ей не дано убавить:
Взглянули искоса, забыли в тот же день.
Но вот слепая тень, самоубийства тень,
Унылый небосвод повсюду застилает
И под свое крыло все больше душ вмещает,
И гасит, вопреки намереньям творца,
Умы блестящие и пылкие сердца.
И вот Робер, чья кисть блистательно пылала,
С мятущейся души срывает покрывало
И до заката дня бросает свой бокал,
Который он всегда любовью наполнял.
И Кастельри, слепень, что жалил Бонапарта, —
Бритт, в коем смешаны и Карфаген и Спарта, —
Коварства исчерпав, по горло властью сыт,
Себя ввергает в смерть, — она все разъяснит!
Альфону Раббу яд несет успокоенье.
Подобно загнанному дряхлому оленю
Гро в воду кинулся, чтоб только не попасть
Рычащей зависти в разинутую пасть.
И от родителей дух гибели струится
К потомству, и семья готова развалиться.
И старики спешат уйти во мрак могил
От солнечного дня, что прежде так манил.
И мужи зрелые, и школьники все эти
С охапкой старых книг — прелестнейшие дети,
Но преждевременно созревшие, увы! —
В мечтаньях золотых превыше головы
Взлетают к небесам среди парижских зданий
И наземь падают с высот своих мечтаний
О славе, мужестве, свободе и любви.
Столкнувшись с обществом, лежат мертвы, в крови.
И отпеваем их, и нас вопрос тревожит:

О, человечество торопится, быть может?
Сонм душ спешит куда? Куда стремится век?
И много ли нашел и понял человек?
Ведь вот они, лежат! Надежду схоронили,
Споткнулись о гроба и голову разбили,
Как будто скорлупу негодного яйца,
Где нет зародыша, не будет и птенца!
Рождаясь в муках, век все губит. В чем же дело?
Быть может, дело в том, что вера ослабела,
И, где-то по пятам за разумом плетясь,
Она, как солнца диск, тускла в закатный час?
Наверное, живем мы, с богом не считаясь,
И давит мрак ночной, все более сгущаясь,
Там в тупиках сердец, куда бы ясность внес
Лишь яркий светоч твой, о Иисус Христос!
Не время ль морякам, боровшимся с волнами,
Построить снова храм, склониться в этом храме?
Жалеть ли нам сейчас о мощных днях былых,
Когда и мертвецы считались за живых, —
Днях крепкой веры, днях, когда библейским светом
Был ослеплен народ? Жалеть ли нам об этом?

Соображения неясные весьма,
Проблемы страшные! Вопросов этих тьма
Поэту на пути встает в ночных кварталах,
Когда встречает он прохожих запоздалых
И нерешительностью полон каждый взор,
И появляется откуда-то дозор —
Выходят стражники, как призраки ночные,
Прощупывать углы глухие городские.

4 сентября 1835

Не смейте осуждать ту женщину, что пала!
Кто знает, как она боролась и страдала,
Как бремя голода безропотно несла?
Кто знает: может быть, она изнемогла?
Но прежде, чем ее лишила сил усталость,
Она за честь свою отчаянно цеплялась...
С повисшей капелькой не схожа ли она,
В которой синева небес отражена?
Трепещет и дрожит та капля до паденья:
Не может жемчуг в грязь упасть без принужденья..
Богач, ты виноват! Но знай, что иногда
Таится и в грязи чистейшая вода.
Чтоб капелька ее опять на свет явилась,
Опять в жемчужинку чудесно превратилась,
Достаточно, чтоб луч ей солнечный блеснул,
А падшей кто-нибудь слова любви шепнул...

6 сентября 1835

О ты, Анакреон, любви живой родник!
На высях мудрости античной ты возник,
Прозрачный, ты бежишь меж берегов зеленых,
И мы любуемся тобой на горных склонах.

Желанна мне твоя певучая струя...
Когда стремительно ведет нас ввысь стезя
И солнце утомит — передохнуть мы рады
У светлого ручья под горною громадой.

21 августа 1835

Чтоб я твою мечту наполнить мог собою,
 Когда ты ждешь меня, утомлена ходьбою,
 Под тенью дерева, у озера, одна,
 И смотришь вниз, туда, где сонная долина
 Дымится, заткана туманной паутиной,
 Как чаша дивная, куреньями полна, —

Пусть все, что видишь ты, — поля и косогоры,
 Кустарники в цвету, душистые просторы,
 Багряный луч в окне,
 Тропинки узкие, что вьются меж селений,
 Овраги, где листвы узорчатые тени
 Колышутся на дне, —

Пусть этот дом, и сад, и лес, и луг, и туча,
 Чью тень далекую поглотит полдень жгучий,
 Пусть все неясное, что там, вдали, дрожит,
 Пусть зрелые плоды, пусть небосвода просинь,
 Пусть кистью сентября расписанная осень,
 Пусть все, что вокруг тебя поет, звенит, жужжит, —

Пусть эта цепь вещей, звено которой — ива,
 Что отдых твой хранит так нежно и ревниво,
 К тебе листы клоня, —
 И волны, и земля, и солнца свет, и колос, —
 Пусть станет всей душой, пусть обретет свой голос
 И назовет меня!

14 октября 1834

О, если я к устам поднес твой полный кубок,
 И побледневшим лбом приник к твоим рукам,
 И часто из твоих полураскрытых губок
 Твое дыханье пил, душистый фимиам;

И было мне дано делить с тобою грезы,
 Все тайные мечты и помыслы делить,
 И твой услышать смех, твои увидеть слезы,
 Со взором взор сливать, уста с устами слить;

И если надо мной звезда твоя сияла
 Так ласково и все ж — так грустно далека!
 И роза белая нечаянно упала
 На мой тернистый путь из твоего венка —

То я могу сказать: — О годы, мчитесь мимо!
 Ваш бег не страшен мне! Я не состарюсь, нет!
 Увянуть все цветы должны неотвратимо,
 Но в сердце у меня не вянет вешний цвет.

Все так же он душист и свеж... Ни на мгновенье
 Не иссякает ключ, что жизнь ему дарит.
 Душа полна любви, не знающей забвенья,
 И вам не погасить огонь, что в ней горит!

1 января 1835

Шептала мотыльку застенчивая роза:

«О милый мой!

Не схожи мы судьбой: я вечно здесь, как греза
Ты надо мной!

Друг друга любим мы: моя земная доля

Тебе близка,

И часто кажется, что на просторе поля
Мы — два цветка!

Но я прикована, а ветерка дыханье

Тебя влечет,

И тщетно я хочу струить благоуханье
На твой полет!

Вспорхнув, ты радостно уносишься над лугом

В лазурный день!

А я слежу, как здесь меня обходит кругом

Моя же тень!

То улетаешь ты, то близко, то со мною,

То в небесах.

А я покорно жду, но с каждою зарею

Я вся в слезах.

О царь мой! Чтоб могли мы оба, без усилья,

Дышать любя,

Прильни к земле, как я, иль дай мне тоже крылья,

Как у тебя!»

Смерть угрожает всем: и мотыльку и розе
 Один конец,
 Но даст нам позабыть о роковой угрозе
 Союз сердец;

Привольно ли тебе плыть в синеве лучистой —
 Мы будем там;
 Благоухаешь ли ты розою душистой —
 Прильну к лугам!

Кем хочешь, друг, ты будь: дыханием небесным
 Иль лепестком,
 Раскрытой чашечкой иль мотыльком чудесным,
 Крылом, цветком, —

Но только б вместе быть! Пусть нам прекрасный
 жребий
 Блеснет лучом,
 А там уж выберем — и на земле и в небе
 Светло вдвоем.

7 декабря 1834

О, погляди сюда: прекрасная картина!
 Без края и конца раскинулась равнина,
 Поля, ручьи, луга, древесных куп венцы;
 У собранных снопов веселые жнецы;
 Там океана ширь — равнины продолжение;
 Залива выгибы — двух мощных рук творенье!
 Досоздал человек здесь то, что бог ваял,
 И башенки возвел на темных ребрах скал;
 Леса и пустоши, и горных троп извивы;
 Пещеры — волн приют, когда растут приливы;
 Гора, что, вознесясь до облачных высот,
 Зеленый, свежий дол меж складок бережет,
 Как резвое дитя цветов в подоле ворох;
 И город, скрывшийся в синеющих просторах,
 Ряды несметные теснящихся домов;
 И шорохи ветвей, и смутный шум шагов,
 И голоса, и песнь, что в светлых далях тонет,
 И волны, что прибой на берег вечно гонит,
 А в них морской травы зеленые клубки.
 И отраженья скал — так зыбки и легки!..
 Здесь птица — у гнезда, другая — там в просторе,
 Плуг — на груди земной, киль корабля — на море
 Неповторимый след проводит тут и там;
 Деревья, станы мачт, подвластные ветрам,
 А в далях, где холмов встает нагроможденье,
 Тонов изменчивых, неясных форм роенье;
 И эти все тела — туманны иль светлы,
 Живущие в лучах иль под завесой мглы,

Роясь, особняком, в покое иль мелькая,
Луга, моря, леса — все это жизнь земная!..

А в вышине — взгляни: клубятся облака,
Закат их облачил в пурпурные шелка;
Лазурь, что скроется в пучине бесконечной;
Миры, лежащие в гармонии извечной;
И солнце дивное, чей лучезарный лик
Обличье форм любых преображает вмиг:
Блеснет ли невзначай сквозь брызги дождевые —
И в воздухе встают руины вековые,
Нагроможденье глыб, сверкающий хаос, —
Медь, бронза, серебро и золото — вразброс,
Доспехи, и щиты, и панцыри, и латы...
На спинах облаков блестит чепрак богатый!
Воздушный океан, синеющий эфир,
Без берегов и дна, что наполняет мир,
Меж тем легчайший взмах и вздох его колышет,
И все, что мчится в нем, что кружится и дышит,
Плывет в своей волне — в течении одном;
Где перемешаны в просторе голубом
И вихри и тепло, закаты и рассветы,
И ледяной мороз и пламенное лето;
Цветочный аромат и пряный дым кадил;
На небе полночи узор живых светил;
Туманы и звезда, горящая из дáли,
Как блеск яркая на темном покрывале;
Сражений грозный гул, могучий клик солдат;
И шорохи гнезда — любви счастливой лад;
Туманы, эхо, дым, стихий живых дыханье
И множество еще явлений без названья,
Волн звуковых поток и световых лучей,
Все, что трепещет днем, встает во тьме ночей,
И ясная лазурь, и сумрачные бездны,
Текущий океан, мир красоты надзвездной
В свеченье, в пламени, прозрачно голубой,
Куда так тянемся всем сердцем мы с тобой
И где ведет в пути неведомая сила.
Здесь ниже — стаи птиц, а в вышине — светила...
Да, всеобъемлющей купели чуда,
И свет ее и мрак... — все это небеса!

Да, хороша земля, и небо величаво!
Но ты передо мной... глаза твои горят...
Легко ступаешь ты, чуть приминая травы,
И звук твоих шагов нежней, чем лирный лад!

Когда улыбкою своей ты, как лучами,
Вдруг озаришь весь мир, меня животворя,
И, восходя от уст, ее живое пламя
Окрасит нежный лоб, как небосвод — заря!

Когда мне издали твой голос слышен чистый,
Неуловимых слов напевный легкий звон —
Журчание воды в затоне серебристой,
Весенней птички трель, что слышишь как сквозь сон;

Когда поэзия моя, людьми гонима,
Так сладостно прильнув к тебе, вкусит покой,
Тобой душа моя печальная хранима,
Как огонек свечи заботливой рукой;

Когда сидим вдвоем среди цветов долины;
Когда душа твоя засветится в глазах
И, как изгнанница, глядит она с чужбины
На подвиги земли, на звезды в небесах!

Когда из-под ресниц метнут живое пламя
Поблекшие, но все ж прекрасные глаза,
И, вспомнив горести, пережитые нами,
Ты улыбнешься мне, но упадет слеза!

Когда вся жизнь во мне всей полнотой звучанья
Дыханью твоему откликнуться спешит,
Когда руки моей коснешься ты случайно
И светлая струна вдруг в сердце зазвенит;

Когда люблюсь я, прелестная, тобою;
Когда душа твоя сквозит в твоих глазах,
И кажешься ты мне горячей купиною
Во всем ее цвету, во всех ее лучах!..

Все, что в тебе живет и дышит в обаянье,
Как аромат цветов, рождаясь вновь и вновь,
И затмевает все красоты мирозданья —
Да, это дивная, всесильная любовь!

7 октября 1834

О, если нас зовет в луга цветущий май —
 Пойдем! И вольно ты с душой своей смешай
 Природу, и леса, и сень листвы над нами,
 Просторы лунные над спящими волнами,
 Тропинку, что ведет к дороге там вдали,
 И воздух, и весну, и на краю земли
 Огромный горизонт, с отрадой неизменной
 Одежд небесных край лобзающий смиренно.
 Пойдем! Пусть все вокруг: пусть звезд стыдливых
 Взгляд.

Стремящийся к земле сквозь тысячи преград,
 Листва, таящая и песнь и ароматы,
 Дыханье знойное полудня с нивы сжатой,
 И зелень, и волна, и тень, и солнца свет,
 Природы всей кругом сияющий расцвет,
 Пусть вся она твоё цветение удвоит:
 Челу даст красоту, душе — любовь откроет!

21 мая 1835

**НАПИСАНО НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ
КНИГИ ПЕТРАРКИ**

Когда в моей душе, любовью озаренной, —
О Лауры певец! любовник просветленный! —
Вдали от холода вседневной суеты
Рождает мысль моя волшебные цветы,
Тогда беру твой том, зажженный вдохновеньем,
В котором об руку с священным исступленьем
Покорность предстает с улыбкой роковой;
Стихи твои, журча кристальною волной,
Капризно льющейся по отмели песчаной,
Звучат поэзией любви благоуханной!
Учитель! К твоему ключу спешу опять —
Твой стих таинственный и сладостный впитать.
Сокровище любви, цветок, на радость музе
Благоухающий, как в старину в Воклюзе,
Где через пять веков, с улыбкой на устах
Я, прочитав его, молюсь тебе в мечтах.

Вдали от города, его тревог и шума
Песнь чистая твоя, элегия и дума,
Дев нежных профили, сестры взор голубой
Мелькают предо мной прекрасной чередой,
Храня в изваянных сонетах, как в амфорах,
Твой дивный стиль, и с ним — метафор свежих
ворох!

24 октября 1835

Из книги
«Внутренние голоса»

1837

ВЕРГИЛИЮ

Вергилий, о поэт, учитель дивный мой!
Уйдем из города, — он шумом, суетой
Наскучил мне... Гигант, не спит он ни мгновенья,
Гранитом берегов стеснив реки течение.
Деревней жалкою в дни Цезарей была
Лютеция... Теперь домов в ней — без числа.
Парижем названа, вселенною любима,
Затмила блеск Афин, размах и славу Рима.

Тебе, любившему бродить в тени лесов,
Тебе, чей стих звучал под мирный шум листов.
Понравилось бы в том леске уединенном,
Который я нашел меж Бюком и Медоном.
Я написал «Медон», а думал: «Тиволи».
Там есть, о мой поэт, от суеты вдали,
Вдали от всех тревог, прелестная долина.
Цветами луг пестрит, вокруг — кусты калины.
Для любящих сердец — отрада и покой!
Там ивы гибкие склонились... В летний зной
Там легкий ветерок листву едва колышет,
Там все — овраг и лес — прохладой свежей дышит.

Долину эту я так радостно искал
В час утренний, когда рассвет глаза ласкал,
Искал я для тебя, сопровождаем тою,
Кому любой секрет своей души открою,
Да, с тою, кто была б во дни, когда ты жил,
Мне Ликоридою... когда б я Галлом был.

В душе ее живет любовь к природе, к песне,
Подобная цветку — и нет цветка чудесней!
Ей милы, как и нам, поэт, те голоса,
Которыми полны долины и леса.
Ей любви, как и нам, и воды без движенья,
И в озере — холмов покатых отраженья,
И путника шаги в вечерний тихий час,
Когда еще закат багровый не угас,
И скромной хижины приют гостеприимный,
И все, что день и ночь поет природе гимны, —
Потоки, и луга, и лес, и выси гор,
И светом солнечным пронизанный простор!

Фиалки, ландыши в траве уже приметны...
Не хочешь ли, поэт, тропкою незаметной,
Стараясь не будить ночную темноту,
Втроем — верней вдвоем — пойдем в долину ту.
Уединения загадочные тайны —
Кто знает — подсмотреть удастся нам случайно.
Там, на прогалине, где узловатый ствол
С горбатым стариком вдруг сходство приобрел,
В густой тени раки́т замечен будет нами
Костер, который был зажжен не пастухами.
Внимая медленной мелодии стихов,
Сквозь зыблющийся свет луны между дерев
Сатиров пляшущих увидим мы, робея...
Быть может, с них брала пример Альфезибей.

23 марта 18..

Придите, я хочу вас видеть, чаровница!
 Назвать вас ангелом и Дант не побоится.
 Вергилий — тот бы вас возвел в богини сан
 За ножку легкую, за грациозный стан,
 За гордое чело, камеи профиль тонкий...
 Могли бы вы носить тунику амазонки,
 Сударыня! Любой сераль и гинекей
 Гордился бы, клянусь, красой таких очей.
 Челлини оценить сумел бы прелесть вашу:
 Он вычеканил бы серебряную чашу,
 Где лотос в женщине чудесно воплощен,
 Иль кубок золотой для вас отлил бы он,
 Где лилии сплелись, как женские фигуры...
 Те странные цветы не вылепить с натуры!

Придите, я люблю блеск ваших дивных глаз!
 Когда мы встретились случайно в первый раз,
 Был чудный летний день. Воспоминанье это
 Живет у вас в душе, как и в душе поэта.
 Вы улыбаетесь... Подайте руку мне!
 Навстречу мы пойдем смеющейся весне,
 Туда, в ближайший лес, где дуб стоит ветвистый
 И где зеленый мох постелью лег пушистой.

21 апреля 1837

В густых лесах, где ток животворящей мглы
 Питают крепостью древесные стволы,
 Не правда ль, сколько раз, добравшись до просеки,
 Испуган, побледнев, поднять не смея веки,
 Ты ускорял, дрожа, свой судорожный шаг,
 О Дюрер, пестун мой, о живописец-маг!
 По всем твоим холстам, которым мир дивится,
 Нельзя не угадать, что взором духовидца
 Ты ясно различал укрывшихся в тени
 И фавнов лапчатых, и лешего огни,
 И Пана, меж цветов засевающего в засаду,
 И с пригоршней листвы бегущую дриаду.

Ты в лесе видел мир, нечистый испокон:
 Двусмысленную жизнь, где все — то явь, то сон.
 Там — сосны льнут к земле, здесь — на огромном
 вязе

Все ветви скрючились в замысловатой вязи,
 И в чаще, подвижной, как водоросль на дне,
 Ничто не умерло и не живет вполне.
 Кресс тянется к воде, а ясени на кручах
 Под страшным хворостом, в терновниках ползучих
 Сгибают черных стоп узлистые персты;
 Лебяжьешее глядят в ручей цветы,
 И, пробужденное шагами пешехода,
 Встает чудовище и, пальцами уroda
 Сжимая деревья широкие узлы,
 Сверкает чешуей и мечет взор из мглы.

О прозябание! О дух! О персть! О сила!
Не все ль равно — кора иль кожа вас покрыла?

Учитель, сколько раз я ни бродил в лесах,
Мне в сердце проникал тебе знакомый страх,
Чуть дунет ветер, и я увижу, как повисли
На всех ветвях дерев их сбивчивые мысли.
Творец, единственный свидетель тайных дел,
Творец, который все живущее согрел
Скрытым пламенем, он знает: неслучайно
Я всюду чувствую биенье жизни тайной
И слышу в сумраке и смех и голоса
Чудовищных дубов, разросшихся в леса.

20 апреля 1837

Раз всякое дыханье
Приносит в дар
Напев, благоуханье
Иль сердца жар;

Раз все прекрасной даме
В дни первых грез
Несут, увы, с шипами,
Охапки роз;

Раз май несет с собою
Зеленый шум,
А ночь — часы покоя
Без тяжких дум;

Раз каждой ветке птичку
Шлют небеса,
Фиалку-невеличку
Поит роса;

Раз, подходя вплотную
К подножью скал,
Дарит им поцелуи
Соленый вал, —

То приношу тебе я,
Подруга дней,
То, что всего ценнее
В душе моей:

То — дар, в груди сокрытый,
То — мысль моя;
Росою слез омыта,
Она твоя.

Тебе — мои обеты,
Им нет числа;
Тебе — все дни поэта,
Их блеск и мгла;

Тебе — восторгов взлеты,
Бездумье снов
И ласки (нет им счета)
Монх стихов;

Тебе — мой дух мятежный:
Во тьме ночной
Ему лишь взор твой нежный
Горит звездой;

И музу шлю тебе я —
Пускай она
Грустит тоской твоею,
Коль ты грустна,

И сердце, дар поэта, —
Возьми его:
В нем, кроме страсти этой,
Нет ничего.

19 мая 1836

Ты рану скрыл, поэт! Но все открылось мне,
Что, гордый, ты хранил в сердечной глубине.

Ты не видал ее ни разу. Это было
В тот час, когда взошло вечернее светило.
Она впорхнула в зал — вся пламень, вся порыв,
Красавиц первых круг безжалостно затмив.
Алмазы в волосах искрились и мерцали,
И онемело все в замороженном зале.
Лишь пел один смычок и замирал, дрожа.
Стройна, как гурия, блистательно свежа,
Она скользила там цветущая, живая,
Значенья полные слова порой роняя,
Как колос золотой из пышного снопа.
Глядела, не дыша, безмолвная толпа
На этот чистый лоб, еще любви не знавший,
На этот алый рот, улыбкою сверкавший,
На мрамор белых плеч, на пламень черных глаз,
В которых ни на миг огонь души не гас, —
Так в огнедышащем жерле пылает лава.
Она, восторгов дань приемля величаво,
Бросая жар в сердца, дурманя и пьяня,
Казалась птицею, возникшей из огня...

Ты подойти не смел — страшится искры порох! —
Но ты следил за ней, скрывая страсть во взорах.

26 мая 1837

Пред белой фермою, где в полдень на порог
 Выходит иногда погреться старичок,
 Где роются в пыли и громко хлощут куры
 И пес, хранитель сна, поглядывает хмуро,
 Как голосит петух, рассвета часовой,
 С надменностью подняв пурпурный гребень свой, —
 Стояла как-то раз большущая корова,
 С огромным выменем, тучна, белоголова,
 Смирна, кротка, как лань, когда детеныш — с ней...
 Под брюхом у нее была гурьба детей,
 Чумазных шалунов, что радостно визжали,
 И с жадностью сосцы набухшие сосали,
 И звали маленьких: «Идите-ка сюда!»
 Те ковыляли к ним, порой не без труда.
 На цыпочки привстав, к кормилице покорной
 Тянулись и они... Струею животворной
 Бежало молоко; его хватало всем,
 Большим и малышам... Корова между тем,
 Благожелательна, щедра, им не мешала,
 Хотя порою дрожь по боку пробегала
 Пятнистому, совсем как леопарда бок;
 Она рассеяннo жевала стебелек.

Не такова ль и ты, великая Природа,
 Мать наша общая? Хоть разного мы рода:
 Ученый и поэт, философ и артист,
 Мечтатель пламенный, сухой матерьялист —

Все без различия к твоим сосцам припали,
Чтоб щедро и равно всех нас они питали...
Мы голодны, спешим, чтоб время не ушло,
Впиваем с жадностью твой свет, твоё тепло,
Цвета и запахи... И плотью нашей, кровью
Становятся они, твореньями, любовью,
Пока, источник благ, покоя, красоты,
В тиши задумчиво о чём-то гредишь ты.

15 мая 1837

Ты жалок, юноша, хоть сказочною чащей
Владеешь ты, хоть парк, тебе принадлежащий,
Перед окном твоим широкой лег дугой,
Весною — радостный, задумчивый — зимой,
И восемь миль вокруг одето тенью синей —
Лишь кое-где ручей блестит по луговине.

Твой парк меня влечет, но как мне жалок ты,
Владелец этих роц, их гордой красоты!
Ведь рядом с роскошью весеннего чертога
Ты непригляднее развалины убогой,
О дряхлый юноша, чей пыл давно иссяк.
Безрадостный богач, бедняга из бедняг:
Средь мертвой пустоты твоей души угасшей
Хранятся лишь одни недопитые чаши,
Которые на дне ни смеха не таят,
Ни чувства чистого — а только скуки яд.

Да, да, ты жалок мне! Ты чванишься не тем ли,
Что здесь, вокруг тебя, твои простерлись земли,
Как пышной рамою, своею красотой
Коварно оттенив твой облик испитой?

Ты мнишь — она твоя, цветущая держава,
Где липа старая, как купол, величава,
Где золотит закат волну озерных вод,
Где над аллеями сомкнулся темный свод,
Где башня с высоты глядит сторожевая,
Где столько прелести найдет душа живая?

Священные места для тех, кому весь свет,
Луга, ручьи и дол, что зелению одет, —
Всё лика вечного бросает отсвет ясный,
Что в суете людской искали б мы напрасно!

Что делаешь ты здесь? Взглянуть ты не спешишь,
Как первые лучи румянят шифер крыш;
Не склонишься к цветку, что протянул пернатым
Бокал, наполненный росой и ароматом;
Не замечтаешься среди дороги вдруг —
Любимый том едва не выронив из рук, —
Лишь только ветерок, гуляя по затишьям,
Напевы родника разрежет в полустышья.

Ведь никогда холмов далекая гряда
Тебя, твоей мечты не манит. Никогда
Их отраженья ты не видел в глади чистой,
Где вербы крепкий ствол, как воин мускулистый,
Бессменно на посту. С тобою древний вяз
Своими тайнами делился ли хоть раз,
Склонясь над этою раскинутой равниной,
Подобно мудрецу над книгою старинной?

В полдневный знойный час, когда ленивым
сном —

Испанской съестою — все сковано кругом,
И лес оцепенел, и птицы молчаливы, —
На отдых прикорнув, еще олень пугливый
Ни разу не видал сквозь частые кусты,
Чтоб в сумраке лесном, вдали от суеты,
В раздумье ты бродил, боясь спугнуть шагами
Дремоту тишины над бархатными мхами.

Луга, и зелень рощ, и в небе облака —
Что это все тебе? Унынье и тоска.
Ведь ты не тот чудак, своей судьбой довольный,
Чья радость — понимать природы голос вольный,
Благодарить творца, что в мире весны есть,
Разглядывать гнездо иль в удивленье сесть

На землю близ гриба, лесного чуда-юда, —
Ты в золотых снопах лишь денег видишь груду!
В апреле тысячей зеленых гибких рук
Леса зовут бродить с возлюбленной сам-друг
Иль в одиночестве, вздыхая и мечтая.
Пленяет и тебя деревьев сень густая:
Там, подсчитав стволы, себе ты говоришь,
Что зябнет каждый год зимой старик Париж,
Что, по реке змеясь, лес подплывет товаром
К дощатым пристаням по набережным старым.
Как хороши луга и нивы! Для тебя ж
Колосьев золото — мука, трава — фураж,
А пахарь — лишь батрак, который просит платы.
Увидев в воздухе дымок голубоватый,
Ты лишь досадуешь на чад от камелька,
В котором варится похлебка бедняка.

Когда заря горит атласным переливом
И гонят пастухи стрекалом торопливым,
Сверкая бронзой рук, твоих быков домой,
И к яслям те бегут нестройной чередой, —
Ты, лошадь придержав на выбитой дороге,
Лишь запродать корма мечтаешь, свесив ноги:
Доходы уж не те — ведь ренту как-никак
Дон Карлоса порой колеблет тяжкий шаг.

Но вот и сумерки. Свой день закончив скучный,
Засел ты в комнатах, хоть лаской простодушной
Овеяла холмы осенняя теплынь.
Зачем тебе она? Куда ты взгляд ни кинь,
Везде вокруг тебя прелестные созданья
Уселись весело, затеяв вышиванье;
Играет отсвет ламп на розовых щеках,
И темный шелк волос круглится на висках,
И, безразличные, легко струятся речи,
Хоть, может быть, в сердцах цветет мечта
о встрече —

Застенчивый цветок, его не сыщет взгляд,
Но ближе наклонись — и слышен аромат.
Что это все — тебе? Элегия пустая!
С натянутым смешком, свой вечер коротая,
Ты за зеленый стол уж игроков повлек,

К четырехсвечнику, в особый уголок, —
Горланов не отвлечь от ломбера и виста.
А за окном — луна и сумрак серебристый!

Бесчувственный глупец! Луга, простор равнин,
Где в мягкой зелени уютных котловин,
Как птичьи выводки, шумят под вечер села,
Поля, где воробьи чинят разбой веселый,
Где строгой прелестью прекрасна и зима, —
Все это — не твое: не твоего ума!

Пойми: прохожие, и дети, и поэты,
Пришедшие в твой лес, в игру теней и света;
Художник молодой, что в синь и ширь влюблен;
Влюбленный, помнящий одно лишь из имен,
Кому для сладких грез нужны лесные сени,
Как мудрецу — для дум, для терпких
размышлений, —

Все те, кто здесь готов, впивая без конца
Красоты этих мест, душой искать творца;
Все те, кто, сбросив здесь томление людское,
Отраду почерпнул в безмерности покоя
И, позабыв тоску, набрался новых сил;
Кто славы не искал и денег не скопил,
Кого ты обгонял в карете по дороге,
Надменно оглядев натруженные ноги, —
Богаче все тебя: зовешь ты парк своим,
Меж тем принадлежит он не тебе, но им, —
Хоть, правда, волен ты сжимать его в заборах,
Кромсать деревьев тень, распродавать их шорох!

Кто знает, что и лист бесплодно не падет,
Для тех бесценный клад таит зеленый свод.
Там мудрость бьет ключом с неистощимой силой.
Душе, в которой страсть навеки отбурлила,
Сродни увядший лес, развалины моста.
В лесу так сходно все — малейшая черта! —
С иными дебрями, — они зовутся души.
Как жар былой любви, погас костер пастуший.
Все здесь рождает мысль, улыбку или вздох...
Как взгляд завистника, колюч чертополох;

Лист учит нас расти; ручей, бегущий с кручи,
Журчит о том, что жизнь — поток быстротекущий.
Все дышит, теплится, все говорит вокруг...
Вид перышка в крови встревожит душу вдруг,
И шепчут нам цветы, впивая влагу жадно,
Что слезы о былом душе впивать отрадно...
Для нас во тьме пещер таится звездный сон.
Мы, ясным вечером на синий небосклон
Сквозь ветки поглядев, охватим сразу взглядом
На ветках — голубей, звезду — в просвете, рядом,
И сладостны для нас, средь горечи потерь,
Зов голубя: люби! звезды значенье: верь!

Да, чистой радости для душ осиротелых
Полны твои леса, — но ты не разглядел их!
Потоком золота их шопот, полутьма —
Лесов отрадный дар, — густых ветвей дрема,
Игривый шум ветров, деревьев отзвук гулкий
Стекают у тебя в раскрытый зев шкатулки!
Влюбленные сердца чарует лес — ну что ж!
За ложу в Опере его ты отдаешь.

И хоть бы музыка влекла тебя! — Пустое!
Ты замкнут гнусною оградой золотою.
Кто понял музыку — тому открыт весь свет,
Но в Опере ты спишь! Ты не постигнешь, нет,
Сокровища лесов в кошель свой уминая,
Что Глюк — дремучий лес, а Моцарт — глубь
речная.

Нет, мода над тобой господствует одна;
При звонком имени воспрянув ото сна,
Ты музе долг воздашь — теперь уж есть причина! —
Но лишь с условием, чтоб музой был мужчина:
Твою заденет спесь, когда, случится тут,
Творенье скорбное тебе преподнесут,
Что женщина теплом заветных дум согрела,
И душу всю свою вложила без раздела!

Что ж, роскоши лесной незванный господин,
Кремень, втесавшийся во рдеющий рубин,
Хозяин пажитей, им тайно ненавистный,
Омела жадная, что в дуб широколистный

Впилась! Коль это жизнь — живи, богач-бедняк,
Без дум, без нежности, без веры — просто так!
Да, в золотой грязи, в тщеславии унылом
Бесплодно прозябай, раз кровь течет по жилам, —
Хоть о творце тебе тростник зашепчет зря,
Зря птица запоеет и возвестит заря!
Ты улыбаешься красавицам холодным,
В восторг приходишь ты перед романсом модным,
Но где дымком лачуг курится косогор,
Среди листвы, в цветах, на берегу озер,
В садах — бессмысленно влачишься там один ты,
Весь мир поет вокруг, но жадности инстинкты
Одни ты сохранил, утратив слух и толк...
Так за добычею угрюмый рыщет волк.

22 мая 1837

Как хорошо в саду! Вот старых лип аллея...
 В прохладной их тени, в густой траве белея,
 Кадилом кажется раскрывшийся цветок.
 С зари до вечера ложатся на песок,
 На фавнов мраморных, на белые ступени
 Горячий солнца луч, дерев сквозные тени.
 Мечтатель, я любил — вы знаете меня! —
 Часами наблюдать, в сиянье тихом дня,
 В свои раздумия и грезы погруженный,
 И ласточек полет, и трепетанье клена,
 В то время как малыш, чей лоб я целовал,
 Меня взяв за руку, нетерпеливо звал
 Взглянуть скорей на грот, где плющ зеленой
гровкой
 С камней, обросших мхом, свисает прихотливо...

20 февраля 1837

О ком я думаю? О детях, что далеко,
 О вас, с которыми расстался я до срока,
 Надежде, гордости и радости моей,
 О новых отпрысках от полных сил корней,
 О душах молодых, что ныне расцветают, —
 Пускай лучи зари подольше им блистают!
 Сперва о малышах я думаю, о тех,
 Чьи слезы так легко переходили в смех...
 Как звонок лепет их! Как радовали взоры
 Их игры милые и милые раздоры
 С утра до вечера... О старших, наконец,
 Я часто думаю, встревоженный отец.
 Они глядят на мир уже не шаловливо:
 Одна — задумчиво, другой же — так пытливо...

Я песни слушаю, что мне поет матрос;
 Печален, одинок, всхожу я на утес.
 Оттуда я гляжу, как грудь морская дышит
 Сквозь тысячи ноздрей, как бриз ее колышет,
 И эхо гулкое от моря и земли
 Доносится ко мне, чтоб замереть вдали.
 Я думаю о вас... Встают воспоминанья:
 Веселье за столом... В камине — дров пыланье,
 Наш дом, где вас хранят заботливо от бед
 И любящая мать и добрый старый дед...
 Меж тем как океан неугомонно плещет
 Внизу, у ног моих, и в нем луна трепещет,

И кормчий пробует, взглянув на небосвод,
С безбрежностью небес сравнить безбрежность вод,
Меж тем как предо мной бегут морские волны, —
О вас я думаю, о вас, любовью полный,
О милые, и нет границ любви моей:
Огромный океан так мал в сравненьи с ней!

*Июль 1836,
Сен-Валери-ан-Ко, на берегу моря.*

НОЧЬЮ, КОГДА БЫЛ СЛЫШЕН ШУМ НЕВИДИМОГО МОРЯ

Что за гул и вой
К нам несутся с моря?
То, с волнами споря,
Ветер штормовой
Рыщет на просторе.
Чей-то крик, далек,
Гул тот прерывает...
Ветер дует в рог,
Ветер завывает...

Дождь все льет и льет,
И нетерпеливо
Бьет прибой в обрывы.
Черен небосвод,
Близок час прилива.
Я совсем продрог,
Так зимой бывает...
Ветер дует в рог,
Ветер завывает...

Горе рыбакам!
Кто во мраке стонет?
Буря их погонит
К рифам и камням,
Лодка их затонет...

Якорь не помог,
Шторм его срывает.
Ветер дует в рог,
Ветер завывает...

Мрак ночной навис,
Рыбаки, над вами.
Ветер, как зубами,
Паруса изгрыз,
Вы — как в черной яме.
Кто на руль налег,
Кто изнемогает...
Ветер дует в рог,
Ветер завывает...

Но маяк блеснул,
Рыбаки спасутся,
К берегу несутся...
Волн не страшен гул,
Пусть о скалы бьются!
Яркий огонек
Сквозь туман мигает.
Ветер дует в рог,
Ветер завывает...

17 июля 1836

Любовь, о девушка, — как зеркало сперва,
Куда глядишься ты, задорна и резва,
Порою — с думою во взоре.
Потом любовь уже — стремительный поток...
Чтоб молодой душой не овладел порок,
Она ее омоет вскоре.

Но если лишний шаг ты сделаешь — беда!
Нога твоя скользит, и скоро без следа
Водоворот тебя схоронит...
Страшись любви! Она опасности таит.
Так в озеро дитя сначала лишь глядит,
Потом купается... и тонет.

25 февраля 1837

Описывая Ад, жизнь описал поэт.
Да, это — жизнь его, для нас сомненья нет!
Тропами темными, наощупь, долго брел он
Сквозь лес таинственный, что призраками полон.
И падал и опять влачился наугад...
По краю пропасти, где дна не видел взгляд,
Змеился путь его опасною спиралью,
И адские круги дымились, скрыты далью.
В тумане этом шла дорога под уклон,
На ней сидела Скорбь и сдерживала стон,
И тени грешников, угрюмы и бескровны,
В крошечном мраке шли со скрежетом зубовным.
Химеры были там, видения и сны.
Тела любовников витали, сплетены,
Терзаемы своей неуголимой страстью,
И слезы горькие точило там Несчастье.
И Голод рядом с ним, свирепой Мести брат,
В обглоданную кость вперял угрюмый взгляд.
Близ жалкой Нищеты, иссохшей и костлявой,
Шло Честолюбие, что гонится за Славой,
И Зависть гнусная, и Скупости фантом,
На сердце и на мозг лежащий свинцом.
Вдали Измена, Страх и Трусость с ними рядом
Вели презренный торг отмычкою и ядом,
И наконец внизу, с гримасой на устах,
Стояла Ненависть и всем внушала страх...

Да, это жизнь твоя, мечтатель одаренный,
Тернистый, тяжкий путь, никем не проторенный.
Но как бы ни была дорога нелегка —
Идешь ты не один: ты взял проводника.
То — добрый гений твой, хотя он и без крылий...
— За мной! Продолжим путь! — зовет тебя Вергилий.

6 августа 1837

О муза, подожди! Ты гимны можешь петь,
 В которых слышится торжественная медь;
 Ты муза истины и права, ты, как пламя,
 Могла б испепелять горящими словами,
 Что вырываются, как искры, из души.
 Но нет, твой срок придет, пока же не спеши.
 Будь строго сдержанной, как подобает девам,
 С улыбкой на устах, чуть искаженных гневом,
 Который в пламенной груди твоей сокрыт.
 В наш век и тот, кто добр, и тот, кто зло творит,
 Как грозовой поток бесцельно мчатся оба.
 Во всех сердцах живет бессилие и злоба.
 Упрямец тащит груз, хоть и не нужен он,
 И наземь падает, раздавлен, как Самсон;
 Лишь тот силен, что мощь взнуздal свою уздою;
 Так грозный океан невозмутим порою.
 Скорей, чем думают, заветный день придет,
 Молчи же; кто молчит, тот внутренне растет.

Будь посреди других богиней величавой,
 Которая одна карать имеет право
 И, силы дивные храня в душе своей,
 Могла бы покарать, да не угодно ей.

Смотри: и небсса и суша пред тобою.
 Иди, и пусть все те, кто совершают злое, —
 Над денежным мешком дрожащие купцы,
 Изменчивую речь ведущие лжецы,

Прикрывшие свои двуличные расчеты
Фальшивой доблести наружной позолотой,
Все, кто отмечены печатью роковой, —
Ревнивый выродок, завистливый и злой,
И тот трибун-лакей, как женщина коварный,
Кто речи продает среди толпы бульварной,
Кто может обмануть и власти и народ,
Кто, не стыдясь, за мзду заткнет закону рот,
И тот лукавый друг, что сеет злобы семя,
И те, что день и ночь свое проводят время
В роскошных оргиях безумной суеты, —
Пусть они глядят, когда проходишь ты,
Достойнейшим в толпе приветственно кивая,
Невозмутимая, суровая, немая.

Глубоко в их сердца вонзай горящий взгляд.
И пусть, когда они, дрожа, заговорят:
«Кого ж из нашего испуганного ряда
Настигнет молния карающего взгляда?» —
Пусть каждый, свой порок припомнив и кляня,
Трепещет, думая со страхом: «Вдруг меня?»

Пока же пребывай бесстрастной и великой,
Их грязи не коснись божественной туникой;
И пусть преступники дрожат уже сейчас,
Увидев, как лежит, к ногам твоим склонясь
И львиной лапою касаясь лиры стройной,
Твой гнев, твой дивный гнев, пока еще спокойный.

Сентябрь 1836

Из книги
«Лучи и тени»

1840

* * *

Как в дремлющих прудах, среди лесной глуши,
Так видим-мы порой на дне людской души
И ясную лазурь, где проплывают тучи,
Где солнца луч скользит, беспечный и летучий,
И тину черную, где мрак угрюмо спит,
Где злобных змей клубок невнятно шелестит.

7 мая 1835

УСПОКОИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА

Все хорошо. Все в ярком свете.
Трудолюбивый паучок
Бросает кружевные сети
На нежный шелковый цветок.

Стрекозы с легкими крылами,
С глазами как большой сапфир,
Кокетничают над прудами,
Где затаился целый мир.

Бутон и роза в гуще сада
Друг в друга словно влюблены.
Напевы птиц полны отрады,
Леса сиянием полны.

И славят голоса лесные
Того, кто в мудрости своей
Дал зори — веки золотые
Для неба голубых очей.

В затишье леса полусонном
Косули прыгают, робки.
Блестит на бархате зеленом
Живое золото — жучки.

Луна дневная словно встала
С одра болезни — так бледна:
Спешит раскрыть глаза-опалы,
И нежно вниз глядит она.

Резвятся пчелы, а левкои
Целуют изгородь садов,
И борозде уж нет покоя
От пробудившихся ростков.

И все ложится так красиво:
Свет — на раскрытый мой балкон,
Тень тучки — на ручей шумливый,
Синь неба — на зеленый склон.

В долинах радуются всходы,
Весенним цветом луг одет...
Не бойся, человек! Природа
Великий ведает секрет.

1 июня 1839

Люблю я, Фландрия, вечерний перезвон
 В старинных городах, где возведен в закон
 Семейственный уклад, где север, обогретый
 Кастильским солнцем, спит в объятьях южных лета.
 Вечерний перезвон — безумие зари!
 Вот он танцовщицей прикинулся, смотри:
 В проеме золотом небесной двери зрима,
 Она нам явится, быстра, непостижима,
 В магической игре над летаргией крыш
 Тряхнет серебряным передником — и в тишь
 Все звуки выбросит, сон разогнав усталый,
 И вдруг на цыпочках проскачет пташкой малой,
 Вдруг задрожит, как в цель вошедшая стрела!
 По хрупкой лестнице граненого стекла
 Взовьется, трепетная, вестницей крылатой...
 А восхищенный ум, бессонный соглядатай,
 Весь обратившись в слух, еще ловить готов
 Хрустальный тонкий звон и отзвуки шагов.

Август 1837

**В САДУ НА УЛИЦЕ ФЕЛЬЯНТИНОК
В 1813 ГОДУ**

Вы снова, дети, здесь! С задумчивым лицом,
Высоколобые, толпитесь вы кругом;
И снова: «Почему?» И снова ваш философ
Обязан дать ответ на тысячу вопросов
О неразгаданном, о чем и самому
Мне впору бы спросить по-детски: «Почему?»
Все замыслы мои перемешав, все думы,
Вы убегаете, а я сажусь угрюмый
И долго водворить на место не могу
Все, что вы сдвинули опять в моем мозгу,
Нечаянно задев, — упрямых дум предметы:
Бог, вера, человек, пророчества поэта,
Рассудок и мечта, безумие и сон,
И остоны систем и совести закон.
Что в детстве я любил? Своим вопросом, дети,
Вы растревожили воспоминанья эти;
Хотите вы узнать, чем жил я с юных дней,
Узнать мою судьбу? Послушайте о ней.

Мои учителя... В кудрявом детстве, помню,
Их было трое: мать, священник, сад укромный.

Тенистый старый сад! За каменной стеной
Он тихо прятался, таинственный, густой;
Лучистые цветы глядели там в глаза мне,
Букашки и жучки там бегали по камню;
Сад, полный отзвуков... Там был лужок и лог,
А дальше словно лес! Священник старичок

Был в Грецию влюблен, в священный град Приама
И в Тацита. А мать была... ну, просто мама!

Под тем тройным лучом я рос, ровесник ваш.

Но раз... Когда б Готье мне дал свой карандаш,
Я б начертил штрихом, послушным вдохновенью,
Того, кто к матери явился грозной тенью —
Самодовольного ревнителя наук
С едва приметным лбом, — и верно, все вокруг
Вы разразились бы тем смехом искрометным,
Который в душу вдруг отрадный свет вольтет нам,
И злоба замолчит! Однажды ввечеру
Играл я. Гость вошел, и я забыл игру.

Был тот недобрый гость директором коллежа.

Сатиры у Ватто под сенью бука свежей,
Рембрандтовы волхвы и Гойи горбуны
Иль искусители, посланцы сатаны,
По прихоти Калло скулящие с издевкой
Вокруг Антония, те бесы и бесовки —
Уродливы они, но все ж полны души:
Сокрытым пламенем их лица хороши,
А глаз их иногда в тебя метнет зарницей!
...Наш гость уродом был и вместе с тем тупицей!

Да что ж это? Я зол, как школьник! Стыд и срам!
Забудьте, милые, что насаждал я вам.
Но с детских, ясных лет, что отравил безлобый,
Я милосердья чужд, я полон горькой злобы.

Плешивый, чопорный, надменный господин...
Затрепетал пред ним — увы! — не я один:
Я видел, мать, и та, покорно сгорбив плечи,
Внимала медленной наставнической речи.
Он говорил: нужна на мальчика узда;
С учебником в руках уходит он всегда
Мечтать к реке и в лес; растет травинкой сорной!
Наука ж любит труд, суровый и упорный;
Она воспитана в стенах монастыря.
И лампа, с копотью под потолком горя
Для ста учеников, склонившихся сутуло
Над книгой Ливия, Назона иль Катулла,

Неясный древний текст им озарит верней,
Чем солнце летнее сквозь кружево ветвей!
Ученику, вдали от матери и няни,
Нужны ярмо, и труд, и горечь наказаний.
А потому коллеж — услужливый коллеж! —
С улыбкой поглядев на маленьких невеж,
Раздольем, воздухом, свободой опьяненных,
Предложит им ряды пюпитров в классах сонных
И мрачный дортуар, где мальчики с тоски
Изрезали ножом дверные косяки;
Предложит менторов, за шалость в злобе низкой
Карающих дитя постом и перепиской.
А вместо яблони, ручья и трав — забор,
Которым огражден большой мощный двор.

Пришлец откланялся, а мать в тоске угрюмой
Сидит, встревоженная неотвязной думой.
Унылый ли коллеж, или счастливый дом,
Что выбрать? Злой вопрос! Как поглядишь кругом,
Кто к жизненным трудам вернее подготовлен —
Ребенок, выросший один под мирной кровлей,
Или воспитанный коллежем озорник?
Ей, тихой женщине, кому не чтеньем книг
Даны душа и ум, а небом — как таланты, —
Как переспорить ей надменного педанта,
Самоуверенного, властного на вид,
Который именем латинян говорит?
Священник, спору нет, учен — но знания те же
Прочнее, говорят, усвоятся в коллеже.
К тому ж... Случается, пошлейший из глупцов
Сражает умника оружием гордых слов:
«Так нужно», «принято», «так повелел обычай», —
А женщина всегда невольница приличий...
Заботливая мать! Сомнения и страх
Ее замучили! Держать, как на весах,
Сыновнюю судьбу и видеть в тайной муке,
Что стрелка клонится к коллежу и к разлуке,
Что счастье будущего тянет тяжелей
На роковых весах, чем счастье детских дней!

Ночами сон не в сон и днем тревога та же.

Шло лето. В тихий час, когда стоит на страже
Звезда над явором, когда ночная сень
Почти как день светла и ласковей, чем день,
Там, в парке, где лучи играют в прятки с тенью,
Печально мать брела, не приходя к решению,
И, спрашивая лес, ручей и лунный свет,
В случайном шорохе ловила их ответ.

И вот в тот час мой сад, учитель мой любимый,
Над черноталами рой мошкары незримой,
Двух ящериц игра, замельтешивших вдруг
В колодце высохшем; тяжелый майский жук,
Растенья клейкие (я их и рвал и щупал)
В надтреснутом горшке и Вальдеграса купол,
Восточный, сумрачный, и монастырь да склеп —
Руины милые; и буйный курослеп,
И заскользившая по статуе беззвучно
Тень от лозы; вьюнок; ромашка в травах тучных;
Цветы, цветы, цветы на тысяче ветвей —
И те, что прячутся под листьями стыдливо,
И те, что золотом пылают горделиво
На черном дереве — а отсвет их дрожит
По зеркалу воды под пологом раки;
И небо над листвою в сиянии спокойном,
И там, над крышами дымок, такой родной нам, —
В тот час, я говорю, мой рай, мой старый сад,
Все камни мшистые его глухих оград,
Задумчивые те и мирные предметы,
К печальной матери склонились для ответа,
Свой голос с говором листвы и волн сплетя,
И тихо молвили: — Оставь на нас дитя!

На нас оставь дитя, забудь свои сомненья!
Высокий этот лоб, неомраченный тенью,
Две восхищенные звезды горящих глаз,
Огонь нетронутой души — оставь на нас!
Не брось дитя в толпу, где властелином случай;
Толпа — безудержный поток: волной кипучей
Он рушит все. Дитя ж... Детей, как малых птах,
Смущает иногда неизъяснимый страх.
Росе и воздуху, ветрам с дыханьем мятным
Отдай ты этот рот, что ложью не запятнан,

Так звонко, радостно смеющийся подчас,
Заботливая мать, оставь дитя на нас!
Мы в полдень обратим его рассвет лучистый,
Мы помыслы его направим к правде чистой.
Увидит он творца, как видит друга друг;
Затем, что мы — заря, мы — дерево и луг,
Сама природа мы, извечный ключ, где каждый
Ополоснет крыло и успокоит жажду.
Родник, леса, поля — лишь мудрый их постиг,
Взрастили мудрого леса, поля, родник!
Пусть наш широкий шум беседует с ребенком,
Наш звон таинственный. Мы благовоньем тонким
Его насытили б: на небе рождено,
В укромных уголках у нас живет оно
И ввысь, на родину, стремится струн звучаньем,
Любовью, верою, восторгом, упованьем.
Проникнет взором он во мрак коры земной
И в таинство того, что топчут под пятой.
И мужем станет он — и станет он поэтом.
Чтоб дух его всегда цвел беспокойным цветом,
Твой выбор упадет на нас! Покажем мы
Ребенку твоему, как от звезды до тьмы
Жизнь, все наполнив — звук, туман, струю,
зарницу, —

Тысячеликая, шумит и веселится!
Мы сильным и простым тебе его вернем
И небо видящим; зажжется страстно в нем
Та жалость к ближнему и ко всему живому,
Которая, увы, не каждому знакома!
Оставь ребенка нам! Ему подарим, мать,
Мы сердце жаркое — чтоб женщину понять;
Ум ненасмешливый, в котором перевиты
Химера с грезой, которому открыты
Чудесной книгой — бог, грамматикою — лес,
И душу чистую, где, тайный дар небес,
Огонь мечты горит, как солнце над полями,
Всем помыслам даря свое живое пламя!

В уснувшем городе деревья, луч, луна
Так говорили ей — и слушала она.

Исполнены или нет обетованья эти?
О том не мне судить. Одно я знаю, дети:
Мать им поверила, и потому-то я
От школьной каторги избавлен был, друзья!

Пичуга вольная, покуда на закате
Не призовет урок для правильных занятий,
Бывало, по саду брожу я день-деньской,
Свободный, радостный, наедине с собой.
Плод золотом горел над речкой серебристой,
Цвело созвездие, мерцал цветок лучистый,
Клен шелестел листвою — а позже плод и клен
Мне в зеркале стиха отображал Назон.

Любите, дети, дол и заводи с осокой,
Вечернюю тропу и звон травы высокой,
Родник и борозду, где рядом из земли
Бессонный колосок и мысли проросли.
В поля, бегом в поля! Что может быть красивей,
Чем золото снопов на выкошенной ниве?
Учитесь азбуке по письмам зарниц
И слову божьему внимайте в свисте птиц!
Жизнь, столкновения страстей разноречивых
Вас ждут. Так будьте же отзывчивы, правдивы —
И будьте братья! В мир, где разум развращен,
Любовь и доброту несите, как закон;
И твердо помните: душе простой, смиренной,
Сроднившейся с лучом и с песней вдохновенной,
И сердцу, что всегда откликнется, как друг,
На неразгаданный, но полный смысла звук, —
В журчанье, в ропоте ли, в громе ль с небосвода
Свой дружеский совет дает сама природа!

Май 1839

Скрой жизнь свою; поэт: свой голос в мир пошли.

Пригорок весь в цвету, гряда холмов вдали,
 Где стадо белых коз разбросано по склонам;
 Долина, скрытая ветвей шатром зеленым,
 Где легкий ветерок порхает меж вершин,
 Откуда вдруг блеснет, как золотой цехин,
 Случайно брошенный небрежною рукою,
 Луч, пробудив тебя от твоего покоя;
 Утес, заботливо поставленный творцом,
 Чтоб эхо слышалось в лесочке молодом, —
 Вот где тебе, поэт, дышать и мыслить надо.
 Печален ли твой дом, царит ли в нем отрада,
 Вот где живи, поэт, где схорони свой кров,
 И воздыхай о тьме подземных тайников,
 И тихо радуйся, в спокойствии душевном,
 Смиренного житья заботам повседневным.
 Любовью пусть всегда твоя пылает грудь.
 Будь ласковым с детьми, усопшим верен будь.
 А вместе с тем пускай вдаль от родного дома,
 Своей фантазией и прихотью влекомы,
 В далекие края, за грань румяных гор,
 Летят стихи твои на солнечный простор,
 В безмолвные поля, в столицы с жизнью бурной,
 Легко касаясь уст и наполняя урны.
 Да не померкнет ввек кристальная струя!
 В безбрежный океан поэзия твоя,

Животворя и ум и сердце человека,
Пускай идей и грез живую катит реку,
И пусть вливаются в великий тот поток
Дождинка каждая и каждый ручеек.
А ты таись в тени. В безмолвии окрестном,
Достоин и велик, останься неизвестным —
Вот счастье твое, мыслитель и мудрец!
Случится ль, что больной, задумчивый пришлец
Случайно забредет в твое уединенье,
Пусть у тебя найдет он мир и утешенье
И отдохнет от мук, не ведая о том,
Что так же алчно пьют в источнике твоём
Народы всей земли на всем ее просторе.

Будь малым, как ручей, и будь большим, как море.

26 апреля 1839

Друг! Когда твердят про славу,
 Рассмеяться я готов:
 Верят ей, но лжет лукаво
 Обольстительницы зов!

Зависть факел свой багряный
 Раздувает и чадит
 В очи славе — истукану,
 Что у входа в склеп сидит.

Власть, богатство, все, что ценят,
 Изменяет вновь и вновь,
 И одна лишь не изменит
 Молчаливая любовь!

Голос твой, твоя улыбка —
 Вот и все, чего хочу, —
 Да в дубраве сумрак зыбкий,
 Уступающий лучу.

Пить хочу твое дыханье
 В горе, в радости, всегда!
 Видеть ясное сиянье
 Глаз твоих, моя звезда!

Рдея скрытым дивным светом,
 Веки сонные твои
 Мир таят — но в мире этом
 Я ищу одной любви.

Мысль моя — родник волшебный,
Жизни в нем кипит волна!
Но к его струе целебной
Припадаешь ты одна!

Пой, буди огонь томленья!
Смейся! Смех твой — тихий свет.
Что нам бури и волненья,
Суета людских сует?

Упоенный сплю — а в сон мой,
Как воинственная рать,
Ворвались поэтов сонмы,
Наш союз хотят порвать!

С именитыми не споря,
Предпочел я, шум презрев,
Барабанам, бьющим зорю,
Колыбельный твой напев.

Имя пусть мое на небе
Среди звезд должно светить —
Но душе отрадней жребий
Здесь остаться и любить, —

Не со страстью, не с укором —
Всех печальней, всех нежней!
Ведь печаль — тот мрак, в котором
Свет любви горит живей.

Ангел ты с лучом во взоре,
К небесам мой дух стреми!
Утолительница горя,
Сердце друга в дар прими.

12 октября 1837

Монету бросив им, замедлил шаг прохожий,
Увидев восковой обтянутые кожей
Запавшие виски и желтизну их щек.
Усевшись вчетвером под деревом в кружок,
По-братски малыши делили меж собою
Хлеб, доброхотною протянутый рукою,
И был так сумрачен, так горестен их вид,
Что, с ними встретившись, заплакала б навзрыд
Любая мать. Одни, одни на целом свете,
Среди чужих людей затерянные дети,
Без дома, без угла... Прикрытые тряпьем,
Босые, жалкие... и только на одном
Болтались башмаки, большие, не по росту,
В которых и шагать не так-то было просто.
Как зябнут малыши, должно быть, поутру,
В канаве пробудясь иль в поле на ветру, —
Когда, от пенья птиц проснувшись пред рассветом,
Деревья на небе проступят силуэтом.
Не мало горестей досталось малышам.
В воскресный день они бредут по деревням
И, выпросить на хлеб стремясь, поют нестройно
Куплеты грязные, хоть смысл их непристойный
Совсем невнятен им. В зловонье кабака
Поют, чтоб пьяного потешить старика,
И если счастье им сопутствует, в награду,
Как дьявола плевок, как милостыню ада,
Швырнут им жалкий грош, которым каждый рад
Отделаться от них. И вот они едят

Все вчетвером свой хлеб, в тени деревьев сидя,
Всегда дрожащие, привычные к обиде,
Привычные к тому, что бьют и гонят их,
Что снова у дверей — у ваших, у моих —
Стоять голодными придется им не мало
И вновь за старшим вслед брести куда попало.

...Прохожий глянул ввысь, и встретил взор его
В бездонной синеве небес лишь волшебство
Слепительных лучей и тонких струй эфира...
И полные тепла, благоуханья, мира,
Роняли небеса, по благости своей,
Веселый щебет птиц на этих малышей.

3 апреля 1837

Сиял лучистый день в лазури без предела.
И зелень на полях еще не поредела;
Цвел, как весною, луг,
Был воздух напоен дыханьем аромата,
Когда вернулся он под небо, где когда-то
Изведал столько мук.

Леса с крутых холмов склонялись над долиной,
Их осень золотой одела паутиной,
Был небосвод в огне,
И птиц согласный хор творцу слагал моление,
Звучало как хорал торжественное пенье
В прозрачной тишине.

Он жаждал вновь узреть и пруд в заветном месте,
Лачугу бедняков, что посещали вместе,
И одряхлевший вяз,
То дерево — оно в глуши лесной укрыто,
Убежище любви, где души были слиты
И губы много раз.

Упорно он искал и дом уединенный,
Ограду и густой, таинственный, зеленый
Знакомый сад за ней.
Печален он бродил, а перед ним в смятенье
Под каждым деревом, увы! вставали тени
Давно минувших дней.

Он слышал средь ветвей тот ветер, что тревожит
И листья легкие, и сердце, и, быть может,
Забывшую мечту,
Колеблет дерево и нежное растение
И оживляет все, чего хоть на мгновенье
Коснется на лету.

Опавшая листва, шагам его внимая,
Шуршала под ногой, стараясь, как живая,
Подняться вверх с земли.
Так мысль бессильная, когда душа томится,
Пытается взлететь, как раненая птица,
И вновь лежит в пыли.

Он созерцал в полях природы лик чудесный,
Скитался он, пока на синеве небесной
Не вспыхнула звезда.
Он грезил целый день, блуждая по долине,
Любуясь то зарей на глади темносиней,
То зеркалом пруда.

Увы! он вспоминал далеких дней отраду.
Отвержен, одинок, взирая за ограду,
Безмерно утомлен,
Он целый день бродил, и вечером уныло,
Когда душа была печальна, как могила,
Скорбя, воскликнул он:

«О горе! я пришел в тоске невыразимой,
Усталый, жаждущий, волнение затая,
Хотел увидеть то, что было так любимо,
Часть сердца моего, что здесь оставил я!

Как безвозвратно все уносится забвеньем,
Природы ясный лик изменчив без конца,
И как она легко своим прикосновеньем
Рвет узы тайные, связавшие сердца!

Знакомый старый вяз безжалостно срубили,
Зеленый наш приют терновником зарос,
И в пышном цветнике, который мы любили,
Ломают детвора кусты душистых роз.

Стеною скрыт фонтан, откуда в полдень душный
Пила, придя с холмов, любимая моя.
Прозрачная вода в ладонь лилась послушно,
Стекала по руке жемчужная струя.

Теперь замощены неровные дороги,
Где рядом с ней мы шли, всегда рука в руке,
Где оставляли след ее босые ноги —
Едва заметный знак на глине и песке.

Ограда старая дорожного откоса,
Когда-то часто ей служившая скамьей,
Теперь изломана: ее дробят колеса
Телег, что вечером торопятся домой.

Здесь прежней рощи нет, там новая окрепла,
Как мало я нашел от прошлого живым.
Воспоминания, как горсть седого пепла,
Несутся по ветру и тают, словно дым.

Все разве кончено? Все было мимолетно?
Печаль бесплодная мне счастья не вернет.
Я плачу, а листва лепечет беззаботно,
Мой дом покинутый меня не узнает.

Пройдут другие там, где мы бродили ране,
Настал других черед, а нам не суждено.
Наш вдохновенный сон, и мысли, и желанья
Дано продолжить им, но кончить не дано.

Для каждого из нас настанет пробуждение,
Пред бесконечностью все смертные равны,
Мы просыпаемся, не кончив сновиденья,
Но кто-нибудь потом увидит те же сны.

Да, очередь других. Они под эти своды
Шатра зеленого, как мы, придут не раз
Искать в лесной глуши сочувствия природы,
Приюта для любви, таящейся от глаз.

Все будет для других — луга, тропинки в чаще,
Твой лес, любимая, — теперь он для других,
Другие женщины придут к воде журчащей,
Которая тогда касалась ног твоих.

Не может быть! Чтоб так прошло бесследно счастье!
Долины мирные для нас не сберегли
Ни нашей нежности, ни страсти. Без участия
Природа стерла все с поверхности земли.

Скажите мне, поля, ручьи, лесные склоны,
Деревья с гнездами среди густой листвы,
Ужели для других ваш шопот благосклонный
И песнь заветную другим поете вы?

Мы так доверчиво, с таким благоговеньем
Старались разгадать таинственный язык,
Всем вашим голосам и вашим откровеньям
Наш жадный слух внимать восторженно привык.

Ответь, цветущий дол, где некогда мы двое
Скрывались от тревог, ответь, тенистый сад!
Когда мы с ней уснем в торжественном покое,
Как только мертвецы в могиле тесной спят.

О, неужели вы спокойно и беспечно
Услышите, что мы исчезли без следа,
И будете справлять свой праздник бесконечно,
И ликовать всегда, и песни петь всегда?

И разве, увидав наш призрак, неизменно
Блуждающий средь гор, равнин или полей,
Вы нам не скажете той тайны сокровенной,
Которую хранят для избранных друзей?

Вы разве сможете без горьких сожалений
Встречать нас мертвыми в долине прежних грез,
Без жалобы смотреть, как гробовые тени
Влекутся к бездне той, где скрыт источник слез?

И если где-нибудь под вашей кровлей пышной
Влюбленные таят свой вдохновенный пыл,
Шепнете ли вы им, хотя бы еле слышно:
«Живые, вспомните о тех, кто прежде был».

Но время краткое дарует нам природа
Леса шумящие, долины и холмы,
Ручьи и золото в лазури небосвода —
Все, что так дорого, все, что так любим мы!

Потом конец всему, и нашей страсти тоже,
Угас огонь в душе, и снова ночь темна,
В краю покинутом, который всех дороже,
Сотрутся без следа и наши имена.

Ну что ж, забудьте нас, и дом, и сад, и поле, —
Пусть зарастет травой покинутый порог,
Журчите, родники, и птицы, пойте вволю, —
Вы можете забыть, но я забыть не мог!

Вы образ прошлого, любви воспоминанья,
Оазис для того, кто шел издалека.
Здесь мы делили с ней и слезы и признанья,
И здесь в моей руке была ее рука...»

Все страсти с возрастом уходят неизбежно.
Иная с маскою, а та сжимая нож —
Как пестрая толпа актеров безмятежно
Уходит с песнями, их больше не вернешь.

Но над тобой, любовь, бессильно даже время:
Как факел пламенный, ты светишь сквозь туман,
Мы в старости твое благословляем бремя
И часто в юности твоих страшимся ран.

Когда на склоне лет бесцветной вереницей
Влачатся наши дни, бесцельны и пусты,
И сердце, охладев, становится гробницей,
Где похоронены стремленья и мечты;

Когда душа скорбит наедине с собою
И в темной глубине ей явственно видны,
Как трупы воинов на страшном поле боя,
Надежды павшие, несбывшиеся сны, —

Тогда любовь, как тот, кто в поисках упорно
Со светочем в руке обходит все углы,
Спускается туда, где в недрах бездны черной
Отчаянье и скорбь таятся среди мглы.

И вот в глухой ночи без проблеска дневного,
В могильной тишине, под кровом темноты
Душа вдруг чувствует — ты оживаешь снова,
Воспоминание, — как сердце, — бьешься ты.

Октябрь 183..

Да, все крылатое меня всегда пленяло!
Подростком в лес густой я уходил бывало,
И, крошечных птенцов из теплых гнезд забрав,
Я клетки им сплетал из камыша и трав
И бережно растил их там на мху и ветках!
Поздней мои птенцы в открытых жили клетках,
Не улетаю прочь... А если в сень дубов
Случалось упорхнуть — слетались вновь на зов!
Дружили нежно мы с голубкою моею...
Я даром приручать сердца теперь владею...

12 апреля 1840

С тростинкой хрупкою надежды наши схожи,
 Дитя мое, в руках господних наши дни,
 Всеи нашей жизни нить в суровой власти божьей,
 Прервется нить, — и где веселия огни?
 Ведь колыбель и смерти ложе, —
 От века на земле сродни.

Я некогда впивал душою ослепленной
 Чистейшие лучи моих грядущих дней,
 Звезду на небесах, над морем Альциону
 И пламенный цветок среди лесных теней.
 Виденья этой грезы сонной
 Исчезли из души моей.

И если близ тебя, дитя, рыдает кто-то,
 Не спрашивай его, зачем он слезы льет, —
 Ведь плакать сладостно, когда томит забота,
 Когда несчастного жестокий рок гнетет.
 Слеза всегда смывает что-то
 И утешение несет.

2 июня 1839

Вас сколько, моряки, вас сколько, капитаны,
 Что плыли весело в неведомые страны,
 В тех далях голубых осталось навсегда!
 Исчезло сколько вас — жестокий, грустный жребий!
 В бездонной глубине, при беспросветном небе,
 Навек вас погребла незрячая вода!

Как часто путь назад не мог найти к отчизне
 Весь экипаж судна! Страницы многих жизней
 Шторм вырывал и их бросал по волнам вмиг!
 Вовек нам не узнать судьбы их в мгле туманной.
 Но каждая волна неслась с добычей странной:
 Матроса та влекла, а та — разбитый бриг.

И никому не знать, что случилось с вашим телом,
 Несчастные! Оно, по сумрачным пределам
 Влачась, черепом о грани камней бьет.
 А сколько умерло, единой грезой живших,
 Отцов и матерей, часами стороживших
 На берегу возврат того, кто не придет!

Порой по вечерам ведут о вас беседы,
 Присев на якорях, и юноши и деда
 И ваши имена опять твердят, смешав

¹ (Встает) с океана ночь (лат.).

Конец 250-го стиха 2-й песни «Энеиды» Вергилия: «Двигается между тем небосвод, С океана встает ночь». *Vertitur interea caelum et ruit oceano nox.*

Со смехом, с песнями, с рассказами о шквале
И с поцелуем тех, кого не целовали, —
Тогда как спите вы в лесу подводных трав.

Мечтают: «Где они? На острове безвестном,
Быть может, царствуют, расставшись с кругом тесным
Для лучших стран?» Потом — и имена в туман
Уходят, как тела ушли на дно бесследно,
И Время стелет тень над вашей тенью бледной, —
Забвенье темное на темный океан.

Вас забывают все — с тем, чтоб не вспомнить снова:
Свой плуг есть у того, свой челн есть у другого!
И только в ночь, когда шторм правит торжество,
Порой еще твердит о вас вдова седая,
Устав вас ожидать и пепел разгребая
Пустого очага и сердца своего.

Когда и у нее закроет смерть ресницы,
Вас некому назвать! — ни камню у гробницы
На узком кладбище, пугающем мечту,
Ни иве, что листья роняет над могилой,
Ни даже песенке, наивной и унылой,
Что нищий пропоет на сгорбленном мосту!

Где все, погибшие под голос непогоды?
О, много горестных у вас рассказов, воды
(Им внемлют матери, колена преклонив!),
Их вы поете нам, взнося свой вал мятежный, —
И потому у вас все песни безнадежны,
Когда вы катите к нам вечером прилив!

Июль 1836

ИЮНЬСКИЕ НОЧИ

Ночами летними цветущая долина
Пьянящий аромат подьѣмлет к небесам,
И, взор смежив, ты спишь как бы наполовину,
Внимая полночи далеким голосам.

Тень кажется нежней, светлее звезды всходят,
Под вечным куполом таинственно горя,
И кажется, всю ночь у края неба бродит,
Нежна и ласкова, рассветная заря.

1837

ПРИЛОЖЕНИЯ

Так как большинство читателей обычно проявляет настойчивое желание узнать до конца судьбу каждого действующего лица, которыми их пытались заинтересовать, то мы предприняли поиски, чтобы удовлетворить это желание и выяснить дальнейшую судьбу капитана Леопольда д'Овернэ, его сержанта и его собаки. Читатель, быть может, помнит, что мрачная задумчивость капитана была вызвана двумя причинами: смертью Бюг-Жаргалья, иначе говоря Пьеро, и утратой горячо любимой Мари, которая была спасена во время пожара форта Галифэ как будто лишь затем, чтобы вскоре погибнуть во время первого пожара в Капе. Что касается самого капитана, то вот что мы узнали о нем.

На другой день после большого сражения, выигранного войсками Французской республики у союзной европейской армии, дивизионный генерал М..., назначенный главнокомандующим, сидел один в своей палатке и, по донесениям начальника штаба, готовил для Национального Конвента доклад об одержанной накануне победе. Вошел адъютант и доложил ему, что с ним желает говорить присланный к нему народный представитель. Генерал не выносил послов этого рода, в красных колпаках, отправляемых Горой в войска, чтобы разлагать и опустошать их ряды, — этих заведомых доносчиков, которым палачи поручали шпионить за славой. Однако отказаться

¹ Это послесловие Гюго к роману «Бюг-Жаргаль» было опубликовано впервые в 1826 г.

принять одного из них было опасно, особенно после победы. Кровожадный идол тех времен любил прославленные жертвы, и его жрецы с площади Революции радовались, когда могли одним ударом сразить и голову и венец, будь он из одних шипов, как у Людовика XVI, из цветов, как у верденских дев, или из лавра, как у Кюстина и Андре Шенье. Итак, генерал приказал ввести этого представителя.

После нескольких сдержанных и кислых поздравлений по поводу победы, только что одержанной республиканскими войсками, делегат подошел к генералу и сказал ему вполголоса:

— Это еще не все, гражданин генерал: мало победить внешних врагов, надо еще уничтожить врагов внутренних.

— Что вы хотите сказать, гражданин делегат? — спросил удивленный генерал.

— В вашей армии, — ответил комиссар Конвента многозначительно, — есть некий капитан Леопольд д'Овернэ. Он служит в тридцать второй полубригаде. Знаете ли вы его, генерал?

— Как же, знаю! — ответил генерал. — Я как раз читал сейчас донесение командира тридцать второй полубригады, в котором говорится о нем. Он был отличным капитаном.

— Что вы, гражданин генерал! — воскликнул делегат надменно. — Неужели вы его повысили в чине?

— Не скрою от вас, гражданин представитель, таково было действительно мое намерение...

Тут комиссар властно прервал генерала:

— Победа ослепляет вас, генерал! Будьте осторожны в своих словах и поступках! Если вы отогреете на своей груди змею — врага народа, берегитесь, как бы народ не раздавил вас вместе с нею! Этот Леопольд д'Овернэ — аристократ, контрреволюционер, роялист, фельянтинец, жирондист! Общественное правосудие требует его к ответу. Вы должны немедленно выдать его мне.

Генерал ответил холодно:

— Я не могу.

— Как, не можете! — вскричал комиссар, вспыхнув от гнева. — Разве вы не знаете, генерал, что я один наделен здесь неограниченной властью? Республика приказывает вам, а вы не можете? Слушайте же. Я хочу, в награду за

ваши успехи, прочесть вам сведения, полученные мной об этом д'Овернэ; я должен отправить их вместе с его особой общественному обвинителю. Это выдержка из списка имен, и я думаю, вы не захотите, чтобы я закончил его вашим. Слушайте: «Леопольд Овернэ (бывший д'Овернэ), капитан тридцать второй полубригады, уличен: *primo*, в том, что рассказывал в кружке заговорщиков какую-то контрреволюционную историю, с целью опорочить принципы равенства и свободы и возродить старые предрассудки, известные под именем *королевской власти и религии*; *secundo*, в том, что, говоря о некоторых памятных событиях, например об освобождении бывших рабов в Сан-Доминго, он употреблял выражения, отвергнутые всеми истинными санкюлотами; *tertio*, в том, что во время своего рассказа постоянно пользовался словом *господин* и ни разу не сказал *гражданин*; и, наконец, *quarto*, что упомянутым рассказом он открыто подготовлял заговор против Республики, в пользу партии жирондистов и бриссотинцев. Он заслуживает смерти». Итак, генерал? Что вы скажете на это? Будете вы защищать этого предателя? Будете колебаться теперь, отдавать ли под суд этого врага своей родины?

— Этот враг своей родины отдал за нее жизнь, — с достоинством ответил генерал. — На отрывок из вашего доклада я отвечу отрывком из моего. Теперь слушайте вы: «Леопольду д'Овернэ, капитану тридцать второй полубригады, мы обязаны новой победой, одержанной нашими войсками. Коалиционная армия построила грозный редут; он был ключом к победе; взять его было необходимо. Смельчака, который бросился бы на него первым, ждала верная смерть. Капитан д'Овернэ пожертвовал собой; он взял редут, погиб на нем, и мы победили. Около него было найдено тело сержанта Тадэ из тридцать второй и убитая собака. Мы предлагаем Национальному Конвенту отметить в декрете большие заслуги капитана Леопольда д'Овернэ перед родиной». Вы видите, — продолжал спокойно генерал, — как различны наши задачи. Каждый из нас посылает свой список в Конвент. В обоих списках мы находим одно и то же имя. Вы называете его предателем, а я — героем; вы хотите его опозорить, я — прославить; вы предлагаете воздвигнуть ему эшафот, я — триумфальную арку. У каждого своя роль. Какое счастье,

однако, что ему удалось благодаря этой битве избежать вашей кары. Слава богу! Тот, кого вы хотели предать смерти, уже умер. Он опередил вас.

Делегат, в ярости, что вместе с главным заговорщиком пропал и весь его заговор, пробормотал сквозь зубы:

— Он умер! Очень жаль!

Генерал услышал эти слова и воскликнул, возмущенный:

— У вас остается еще одна возможность, гражданин народный представитель! Подите, отыщите тело д'Овернэ среди развалин редута. Как знать? Быть может, вражеские ядра пощадили голову убитого, сохранив ее для гильотины!

КОММЕНТАРИИ

Первое произведение Гюго «Бюг-Жаргаль» было написано им в шестнадцатилетнем возрасте, для сборника «Рассказы в походной палатке», задуманного им вместе с группой школьных друзей в 1818 году. В 1820 году «Бюг-Жаргаль» был напечатан в журнале «Литературный консерватор», издававшемся В. Гюго вместе с его братом Абелем.

В 1825 году Гюго вернулся к рассказу, расширил, переработал его и опубликовал за подписью «Автор Гана Исландца» в 1826 году и в том же году, вторично, под своим именем. Редакцию 1826 года Гюго считал окончательной

Вариант 1820 года представляет собою небольшую новеллу, в центре которой стоит яркий образ благородного и великодушного негра Бюг-Жаргаля, трагическую историю которого рассказывает французский офицер, капитан Дельмар. Образ Бюг-Жаргаля целиком перешел во вторую редакцию, но произведение в целом сильно изменилось, новелла о судьбе одного негра превратилась в роман о восстании чернокожих рабов во французской колонии Сан-Доминго (северо-западная часть острова Гаити) в 1791 году.

Гюго писал роман на основе исторических документов, рассказов очевидцев, газетных материалов; он показал восстание 1791 года в ярких красках, со многими историческими подробностями

Злободневность темы была главной причиной успеха «Бюг-Жаргаля» у первых читателей. Как отмечает сам автор в предисловии к изданию 1826 года, волнения негров и мулатов на Гаити к середине 20-х годов XIX века вновь создали угрозу для господства колонизаторов. Отсюда и живой интерес к роману.

По сравнению с вариантом 1820 года значительные изменения претерпел и сюжет «Бюг-Жаргаля». Появился совершенно новый

образ — Мари, и новый мотив: любовь Бюг-Жаргалья к невесте его белого друга, о чем не было и речи в первом варианте. Бегло очерченный капитан Дельмар превратился в героя с развернутой характеристикой — капитана Леопольда д'Овернэ. В романе возник ряд новых эпизодов и второстепенных персонажей, в том числе гротескный образ злого карлика Хабибры.

Первый роман Гюго отличается идейной и творческой незрелостью; жизненная правда переплелась здесь с неправдоподобными мелодраматическими положениями, с наивной сентиментальностью. Монархические убеждения молодого Гюго привели к искаженному освещению восстания негров, к преувеличению жестокости восставших, к идеализации французского дворянина д'Овернэ. В «Послесловии» Гюго повторяет легитимистскую клевету на французскую революцию, изображает революционных якобинцев кровожадными чудовищами, а поэта-монархиста Андре Шенье, генерала Кюстина, осужденного за измену Республике, и «верденских дев» — группу аристократок, замешанных в организации предательской сдачи города Вердена прусским войскам в 1792 году, — представляет невинными мучениками. Однако между «Послесловием» и романом нет органической связи; «Послесловие» противоречит всей идейной направленности произведения. Стремление к правдивости в искусстве толкало юношу-Гюго на верную дорогу: в героическом образе Бюг-Жаргалья и его друзей негров, в разоблачении зверств, низости и трусости белых плантаторов уже виден Гюго-демократ; не случайно единственный белый в романе, проявивший достоинство перед казнью в лагере Биасу, — это плотник, человек из народа, а самые горячие симпатии молодого автора — на стороне восставшего раба.

Стр. 42. ...когда тебя обнял Латур д'Овернь, первый гренадер Франции. — Латур д'Овернь Теофиль (1743—1800) — французский солдат времен Первой буржуазной революции; совершал многочисленные подвиги во имя Республики. Убит в сражении. Посмертно ему было присвоено почетное звание «первого гренадера Франции». Вокруг его имени создались легенды.

Стр. 46. ...во время резни, с которой началось восстание рабов в этой богатейшей колонии. — Имеется в виду восстание негров в Сан-Доминго в августе 1791 г., послужившее материалом для романа Гюго «Бюг-Жаргаль». Население Сан-Доминго к концу XVIII в. делилось на несколько резко обособленных и враждебных групп. Первенствующее положение занимали «крупные белые» — богатые землевладельцы-креолы (то есть французы, родившиеся в колонии), за

ними следовали «мелкие белые» (ремесленники, коммерсанты, юристы). Особняком стояли мулаты (или «свободные цветные»), не имевшие политических прав, но пользовавшиеся привилегиями по сравнению с неграми. Среди мулатов были крупные плантаторы и коммерсанты. На последней ступени общественной лестницы находились сотни тысяч чернокожих рабов, которых ни белые, ни мулаты не считали за людей и жестоко эксплуатировали.

Классовая борьба в Сан-Доминго обострилась под влиянием начавшейся во Франции в 1789 г. буржуазной революции. Мулаты отправили во Францию делегацию с требованием политического равноправия для «цветных», но ничего не добились и 21 октября 1790 г. подняли восстание против белых плантаторов Сан-Доминго. Восстание было жестоко подавлено. Однако уже 16 августа 1791 г. запыхали усадьбы плантаторов, началось восстание чернокожих рабов, которое приняло широкие размеры и охватило всю страну. Белые и мулаты объединились против восставших негров. Буржуазная революция не способна была разрешить вопрос о положении угнетенных масс в колониях. Декрет Конвента об уничтожении рабства, принятый лишь 4 февраля 1794 г., дошел в колонию только в 1795 г. и не был проведен в жизнь. Борьба продолжалась. Воспользовавшись ослаблением позиций французских рабовладельцев, Испания и Англия к середине 1794 г. оккупировали Сан-Доминго.

Стр. 49. *Клуб Массиак*, или «Корреспондирующее общество французских колонистов» (назван по имени маркиза де Массиак, в парижском особняке которого в 1789 г. происходили собрания членов клуба) — организация французских рабовладельцев, ставивших задачей в обстановке начавшейся буржуазной революции сохранить в колониях рабовладение и работорговлю; Гюго, очевидно, смешивает «Клуб Массиак» с «Обществом друзей чернокожих», возникшим в Париже в то же время и действительно требовавшим во имя «гуманности» и «прав человека» освобождения рабов.

Стр. 53. *Бланшланд Филибер* — генерал французских колониальных войск, назначенный губернатором Сан-Доминго после восстания мулатов.

В начале буржуазной революции 1789 г. крупные колониальные рабовладельцы, опасаясь отмены рабства, потребовали отделения Сан-Доминго от революционной Франции и 1 ноября 1789 г. организовали в городе Кап-Франсэ (Северная провинция Сан-Доминго) провинциальное собрание, объявившее себя верховной властью и соединившееся вскоре с такими же собраниями плантаторов Южной и Западной провинций. Затем было созвано колониальное собрание, которое открылось 25 марта 1790 г. в городе Сен-Марк под именем

«Генерального собрания французской части населения Сан-Доминго», или «Сен-Маркского собрания», и втирало конституцию, означавшую фактически автономию Сан-Доминго.

Белое население колонии разделилось на две партии: «красных помпонов» — сторонников Сен-Маркского собрания, и «белых помпонов» — монархистов, противников отделения от Франции.

Вновь назначенный губернатор Бланшланд пытался проводить декреты французского правительства, но «красные помпоны» сумели возбудить против него, как представителя старого режима, солдат и матросов, прибывших из Франции в Порт-о-Пренс, что привело к военному бунту 4 марта 1791 г., после которого сепаратисты захватили власть в Западной провинции Сан-Доминго, а Бланшланд предстал перед революционным трибуналом в Париже.

Модюи дю Плесси Тома — яростный враг французской революции и освобождения негров; собрал в Сан-Доминго роялистский отряд, отказался подчиниться Бланшланду, учинял кровавые насилия, издавал фальшивые декреты от имени французского правительства. Разоблаченный прибывшими из Франции солдатами, был зарублен своими же гренадерами во время бунта 4 марта 1791 г.

...об этой борьбе за первенство между Капом и Порт-о-Пренсом. — Белое население города Порт-о-Пренс (Западная провинция) не поддержало сепаратистов Севера.

Стр. 78. *...ваше собрание в полном составе отправилось во Францию...* — Сен-Маркское собрание не получило поддержки населения Сан-Доминго и в начале августа 1790 г., под нажимом войск губернатора, окруживших г. Сен-Марк, вынуждено было пойти на самоликвидацию. Оставшиеся 85 членов Собрания сели на военный корабль «Леопард», экипаж которого был на их стороне, и отплыли во Францию, где якобинцы, неосведомленные об их сепаратистских тенденциях, устроили им торжественную встречу. Однако уже 12 октября 1790 г. Учредительное собрание особым декретом признало деятельность Сен-Маркского собрания незаконной.

Стр. 79. *Букман* — негр-священник, такой же раб, как и его товарищи; поднял восстание чернокожих рабов в районе Кап-Франсэ 16 августа 1791 г. Погиб в бою в разгар восстания.

Стр. 90. *Биасу... Жан-Франсуа* — исторические личности, вожди негритянской армии во время событий в Сан-Доминго в 90-х гг. XVIII в.

Стр. 106. *Это был портрет мулата Оже.* — Оже — вождь восстания мулатов в Сан-Доминго в октябре 1790 г. После подавления восстания ему удалось бежать на испанскую территорию острова; выданный испанским губернатором по требованию Северного провин-

циального собрания, Оже, вместе со своим братом и своим помощником Шаваном, был колесован в Кап-Франсэ.

Стр. 109. *Тусен-Лувергюр* (1743—1803) — негр, сын раба из Сан-Доминго, талантливый организатор и полководец. Примкнул к восстанию и в 1794 г. возглавил негритянскую армию. Тусен помог французским войскам вытеснить из Сан-Доминго англичан и испанцев (см. примечание к стр. 46) и, установив негритянскую монархию, стал неограниченным властителем Сан-Доминго. Изменнически схваченный по распоряжению Наполеона (тогда первого консула), был отправлен во Францию и умер в заключении.

Стр. 115. *Риго* — историческое лицо, возглавил восстание мулатов в 1791 г.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ

«Последний день приговоренного к смерти», написанный в конце 1828 года, открывает собой долголетнюю борьбу Гюго против буржуазного законодательства. Книга появилась в свет 7 февраля 1829 года, после чего многократно переиздавалась.

Гюго называл «Последний день» «аналитическим романом», изображающим «внутреннюю драму» человека, в отличие от «романа фактов», построенного на внешнем действии («внешней драме»). Книга имела конкретную социальную задачу: «Цель «Последнего дня приговоренного к смерти» — внушить высшим классам отвращение, а низшим ужас перед смертной казнью». (Заметка Гюго, датированная 1 апреля 1832 г.) Для достижения этой цели Гюго стремился придать книге достоверность: собирал газетные материалы, посещал тюрьмы, наблюдал заковывание в кандалы, отправку на каторгу (впоследствии эти наблюдения были вновь использованы им для романа «Отверженные»).

В «Последнем дне» Гюго сознательно оставляет в стороне вопрос о существовании совершенного героем преступления; когда первый издатель книги, Гослен, посоветовал автору «в интересах продажи» дать в книге картину преступления, Гюго наотрез и с возмущением отказался это сделать. Весь смысл книги заключался для него тогда в принципиальном осуждении смертной казни, в разоблачении преступного насилия буржуазной государственной машины над человеком.

Знаменательно появление «Последнего дня» накануне революции 1830 года, во время усилившегося политического брожения в народе.

Беспощадная правдивость книги вызвала резкие нарекания со стороны реакционной прессы. Так, монархическая газета «Котидьен» писала:

«Успех — не оправдание для писателя, талант — не извинение; мы никогда не простим ему упорного стремления запятнать человеческую душу, поколебать покой целой нации... Избавьте нас от такой обнаженной правды».

Нападки реакционной критики привели Гюго к необходимости предпослать «Последнему дню» в четвертом издании своеобразное драматизированное предисловие «Комедия по поводу трагедии», в которой он беспощадно высмеял своих политических и литературных врагов, следуя примеру Мольера, подобным же образом защищавшего свою комедию «Урок женам» в одноактной сатире «Критика на «Урок женам». «Комедия по поводу трагедии» направлена против реакционного романтизма с его идеализацией средневековья, против оторванности литературы от насущных вопросов жизни народа; она изобилует намеками на определенных лиц и представляет боевой литературный памфлет, утверждающий общественное значение искусства.

В «Последнем дне приговоренного к смерти» протест против смертной казни носит еще абстрактно-гуманистический характер. Но исторический опыт последующих лет — революция 1830 года и народные волнения первых лет июльской монархии — заставил Гюго переосмыслить вопрос о смертной казни, понять его как проблему социальную. Накануне первого восстания лионских ткачей и республиканского восстания в Париже Гюго пишет в марте 1832 года большую статью о смертной казни, в которой прямо говорит о пристрастности буржуазного суда и становится на защиту угнетенных. Статья эта была использована в качестве предисловия к пятому изданию «Последнего дня».

Стр. 199. *Гревская площадь* — площадь в Париже, на которой происходили публичные казни.

Стр. 200. *Беккариа* Чезаре (1738—1794) — итальянский юрист и публицист, распространитель идей французского Просвещения в Италии. Ему принадлежит книга «О преступлениях и наказаниях», в которой он выступает против смертной казни.

Стр. 201. *...похоронить прах Наполеона под Колонной...* — Имеется в виду так называемая Вандомская колонна, воздвигнутая на Вандомской площади в Париже в 1806 г., в память военных побед Наполеона.

...точь-в-точь пятый акт из пьесы Лашоссе. — Нивель де Лашоссе (1692—1754) — французский драматург, автор сентиментальных «слезных комедий», прославлявших буржуазные семейные добродетели.

Четыре светских человека... — После Июльской революции, в декабре 1830 г. в Париже происходил суд над реакционными министрами свергнутого короля Карла X. Прогрессивная общественность требовала для четырех из них смертной казни; народные толпы не раз грозили приступом взять тюрьму. Суд пэров приговорил министров к пожизненному заключению, а через несколько лет они были амнистированы.

Стр. 202. *Дворец Укалегона в огне.* — По древнегреческому мифу о Троянской войне, пожар в сожженной греками Трое начался с дворца старика Укалегона.

Стр. 203. *...как слабо развит ум их главаря... уцелевшего от заговоров 1804 года...* — Имеется в виду один из ненавистных народу четырех министров французского короля Карла X Жюль-Арман Полиньяк (1771—1847), ярый реакционер и мракобес. 8 августа 1829 г. возглавил кабинет министров, вызывающе реакционный курс которого ускорил события 1830 г. В прошлом Полиньяк вместе со своим братом принимал участие в одном из многочисленных заговоров 1804 г. против объявившего себя императором Наполеона.

...из Тюильрийского дворца в Венсенский замок... — Тюильри — королевская резиденция в Париже. — Венсенский замок — политическая тюрьма в окрестностях Парижа.

Стр. 204. *Тулон... Клармар.* — В Тулоне уголовные преступники отбывали каторгу на галерах. — Клармар — кладбище в Париже, где с 1789 г. хоронили казненных.

Стр. 209. *...механизм доктора Гильотена...* — Гильотина введена была во Франции по предложению врача Жозефа Гильотена и названа по его имени.

Бисетр — исправительный дом для нищих и бродяг; использовался как место заключения.

Стр. 211. *...возродите... Фариначчи... Монфокон...* — Просперо Фариначчи — итальянский юрист начала XVII в., служивший при папе Клименте VIII. Отличался крайней жестокостью. — Монфокон — холм на окраине Парижа; на вершине его в XIII в. была сооружена огромная виселица и происходили казни.

Стр. 213. *...свои классические образцы... Беллар и Маршанжи... Расин или Буало...*

Беллар Никола — французский юрист, выдвинувшийся в годы Первой буржуазной революции. Во времена реставрации Бурбонов примкнул к крайне-реакционному лагерю и получил должность генерального прокурора, отправляя на казнь своих бывших политических соратников (в том числе популярного в народе маршала Нея, в

1815 г.). — *Маршанжи* Луи-Антуан — французский адвокат, в годы Реставрации опубликовал бездарную эпопею «Поэтическая Галлия», в которой подражал главарю французского реакционного романтизма Шатобриану. — *Расин* Жан (1639—1699) — один из крупнейших писателей французского классицизма. — *Буало-Депрео* Никола (1636—1711) — французский поэт и теоретик классицизма; в начале XIX в. Расин и Буало считались образцами для подражания.

Делиль Жак (1738—1813) — французский поэт, переводчик Вергилия, питавший пристрастие к так называемым классическим перифразам, то есть описательным выражениям, употреблявшимся вместо прямого наименования «непоэтических» предметов и явлений.

Сансон — фамилия семьи, члены которой на протяжении многих лет были палачами во Франции. Один из них казнил короля Людовика XVI.

Стр. 216. ...по милости *Вольтера* и *Пиго Лебрена*. — Имя *Вольтера* (1694—1778), великого французского писателя и философа эпохи Просвещения, до середины XIX в. было для французской буржуазии символом вольнодумства. — *Пиго-Лебрени* Шарль-Антуан (1753—1835) — французский писатель и драматург, автор многочисленных бульварных романов, полных мелодраматических ужасов и преступлений.

Монтескье породил Беккариа. — *Монтескье* Шарль-Луи (1689—1755) — французский политический писатель раннего периода буржуазного Просвещения. В своем главном сочинении «Дух законов» (1748) выдвинул против абсолютизма теорию правового государства с твердыми законами и с разделением властей, которая легла в основу буржуазных конституций.

Стр. 220. ...назад, к *Ронсарам* и *Бребэфам*. — *Пьер Ронсар* (1524—1585) — крупнейший французский поэт эпохи Возрождения. — *Гильом Бребэф* — французский поэт XVII в.; писали разнообразными стихотворными размерами, чего не допускала догматическая поэтика классицизма.

Стр. 221. ...начинается в морге, а кончается на *Гревской площади*... — Имеется в виду первый появившийся в печати роман Гюго — «Ган Исландец» (1823).

«...Двадцать пятого июня пятьдесят седьмого года...» — стихотворная строка из драмы Гюго «Кромвель» (1827).

Стр. 224. *Мальзерб* Кретьен (1721—1794) — французский юрист, занимавший ряд видных государственных должностей при королях Людовике XV и Людовике XVI и подвергавшийся с их стороны преследованиям как сторонник реформ. Несмотря на это, во время Первой буржуазной революции сохранил монархические взгляды, высту-

пал как защитник на процессе короля; был обвинен в заговоре против Республики и умер на гильотине.

Стр. 226. *О таких вещах не говорят больше даже на улице Муфтар.* — Улица Муфтар, в предместье Парижа, была во время Первой буржуазной революции местом скопления вооруженных народных толп, которые именно здесь заставили короля надеть фригийский красный колпак (символ свободы) и в сентябре 1792 г., при известии о вторжении во Францию пруссаков, отсюда отправились в тюрьмы для расправы с врагами народа.

...в год казни Дамьена. — Дамьен Робер (1715—1757) — слуга, который, действуя «для народа и для бога», ранил перочинным ножом короля Людовика XV, желая «предупредить» его, что «Франция погибает». После двухмесячных чудовищных пыток душевнобольной Дамьен был присужден к не менее чудовищной казни, которая длилась целый день и завершилась четвертованием осужденного.

Стр. 240. *...четверых ларошельских сержантов.* — В 1822 г. четверо юношей сержантов гарнизона крепости Ла Рошель (Бориес, Губен, Помье и Рауль), состоявшие в республиканском тайном обществе карбонариев, были обвинены в заговоре против династии Бурбонов и приговорены к смерти. Молодость и мужественное поведение осужденных вызвали горячее сочувствие к ним по всей стране.

КЛОД ГЕ

19 марта 1832 года, через четыре дня после окончания работы над предисловием к «Последнему дню приговоренного к смерти», Гюго прочитал в «Судебной газете» отчет о процессе рабочего Клода Ге, присужденного к смертной казни за убийство тюремного надзирателя.

«Снова казнь, — находим запись в бумагах Гюго, — когда же они устанут? Неужели не найдется такого могущественного человека, который разрушил бы гильотину? Эх, ваше величество, ведь вашему отцу отрубили голову!»

Писатель немедленно начинает готовить речь о Клоде Ге, целые страницы из которой вошли в одноименную повесть.

Повесть «Клод Ге» выросла на почве революционного подъема французского народа: 9 апреля 1834 года началось второе восстание ткачей в Лионе; как отклик на него, 13 апреля вспыхнуло народное восстание в Париже, за ним последовала кровавая расправа над восставшими. Непосредственно после этих событий, 23 июня, В. Гюго заканчивает «Клода Ге», и 6 июля повесть выходит в свет.

«Клод Ге» отражает идейный рост Гюго по сравнению с «Последним днем приговоренного к смерти». Героический образ человека из народа, наделенного умом, волей, высокой нравственностью, заменяет место пассивной жертвы, обрисованной в первом произведении. Если там Гюго сознательно отвлекался от существа преступления, то здесь он поднимает вопрос о его причинах и обвиняет буржуазное общество в том, что оно принудило Клода совершить преступление.

Убийство Клодом представителя власти изображается не как преступление, а как акт восстановления социальной справедливости. Клод действует не в одиночестве; его окружает молчаливое сочувствие других заключенных, то есть он связан с коллективом, с миром угнетенных, противостоящих угнетателям. Самое имя героя, удачно найденное автором в жизни, может быть воспринято как социальный символ: «Ге» (gueux) буквально значит «нищий», но «нищие», «гезы» (gueux) — это также боевая кличка нидерландских народных повстанцев, боровшихся с испанским игом. Поэтому имя «Клод Ге» может означать не только «Клод бедняк», но и «Клод бунтарь». Повесть показывает живой интерес Гюго к судьбе обездоленных народных масс.

Стр. 305. *...разрозненный томик «Эмиля»...— «Эмиль»* — педагогический роман французского революционного просветителя Жан-Жака Руссо (1712—1778), в котором, как и во всем творчестве писателя, дается резкая критика социальной несправедливости, уродующей нравственный облик доброго по природе человека.

Стр. 309. *...принялся за работу... как Жак Клеман принялся бы за молитву.* — Жак Клеман — молодой французский монах XVI в., отличавшийся фанатической религиозностью. По наущению крупных феодалов, вожakov католической Лиги, убил французского короля Генриха III (1589) и сам был зарублен на месте.

Стр. 318. *...никогда не слыхал о Федре, Иокасте, Эдипе, Медеи или Родогуне.* — *Федра, Иокаста, Эдип, Медея* — персонажи древнегреческих мифов. Их необычайная трагическая судьба послужила сюжетом для трагедий французских драматургов классицизма XVII в., крупнейшими из которых были Пьер Корнель (1606—1680) и Жан Расин (1639—1699). — *Родогунa* — парфянская царица, героиня одноименной трагедии Корнеля.

Стр. 321. *...вспомните о том, что на свете существует книга более философская, чем «Кум Матье», более популярная, нежели «Конституционалист», более долговечная, чем харгия 1830 года... — «Кум Матье» (1765) — вольнодумный философский роман аббата Анри-*

Жозефа Дюлорана, писателя, близкого к французским просветителям. Ввиду содержавшейся в романе едкой сатиры на католическую церковь и иезуитов он пользовался огромной популярностью и приписывался Вольтеру. Был переиздан в 1831 г. — «Конституционалист» — одна из наиболее популярных газет «левой» (умеренно-либеральной) группировки буржуазии в период Реставрации. — *Хартия 1830 г.* — конституция, провозглашенная после Июльской революции во Франции, отдававшая власть в руки банкиров и промышленников.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОДЫ И БАЛЛАДЫ

В этот сборник, издававшийся неоднократно и в разном составе, вошли стихотворения Гюго, написанные в 1817—1828 годах.

В начале Реставрации юноша Гюго находился под влиянием монархических идей и устоявшихся литературных традиций классицизма. Семнадцатилетний поэт обратил на себя внимание властей одой «На восстановление статуи короля Генриха IV» и, продолжая восхвалять династию Бурбонов в «классических» стихах, вскоре получил ряд литературных призов, денежных поощрений и пенсию от короля.

В 1822 году Гюго публикует сборник «Оды и другие стихотворения», а в 1824 году — «Новые оды».

Однако уже к середине 20-х годов поэт отходит от классицизма, сближается с левым прогрессивным крылом романтиков и возглавляет литературный бунт против мертвой догмы классицизма, за свободу творчества от всякого рода «правил».

Гюго переиздает свои «Оды», присоединив к ним ряд живописных романтических баллад («Оды и баллады», 1826). Он расширяет тематику своих произведений, обращается к запретным для классицизма историческим периодам («Турнир короля Иоанна»), к образам народной фантазии («Фея»), к живой природе («Летний дождь»). Он ломает традиционный александрийский стих, вводит вольные размеры и ритмы, обогащает поэтический словарь за счет разговорной речи. Условная «торжественность» классической оды уступает место живой интонации, разнообразным звукам и краскам реального мира. Это приближение искусства к жизни было выражением идейного роста поэта: в конце 20-х годов он начинает борьбу за новую тематику и новые формы в литературе, которую понимает как часть своей борьбы против политической реакции.

Стр. 330. Два острова. Стихотворение «Два острова» характеризует определенный этап в идейном развитии Гюго. В ранней юности, под влиянием легитимистских идей, Гюго безусловно отрицательно относился к Наполеону, как к политической силе, враждебной Бурбонам («Моему отцу»). Впоследствии Гюго меняет свою оценку личности и деятельности Наполеона, к которому теперь относится двойственно: с одной стороны, Наполеон привлекает его как яркая индивидуальность, как полководец, образ которого становится в эти годы для поэта символом величия Франции; с другой стороны — Гюго осуждает его как деспота и показывает закономерность гибели человека, который пошел против интересов народа. Эта двойственность в отношении к Наполеону проявилась в стихотворении «Два острова».

Стр. 332. *Диван* — тайный совет при султане. — *Конклав* — собрание кардиналов для избрания папы римского.

Стр. 334. *Долина Иосафата* — место, где, по библейскому мифу, будет происходить Страшный суд.

Стр. 348. К Трильби. Стр. 350. *Нодье* Шарль (1780—1844) — французский писатель-романтик, находившийся одно время под влиянием реакционного немецкого романтизма; писал главным образом фантастические новеллы.

Стр. 361. Турнир короля Иоанна. Ироническое изображение рыцарского турнира в этой балладе отличает ее от произведений реакционных романтиков, в которых безудержно прославлялось рыцарское средневековье.

В настоящем издании баллада дана в сокращенном переводе Л. Мея.

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ

Сборник «Восточные мотивы», опубликованный в январе 1829 года, является важной ступенью в идейном и творческом развитии Гюго.

Внимание поэта привлекает освободительная борьба народов Восточной Европы, и в первую очередь — греческое восстание против турецкого ига (1821—1829). Гюго высказывает горячее сочувствие греческим героям-патриотам, негодует против деспотов и угнетателей.

Создавая живописные картины Востока, поражающие ослепительными красками, яркостью образов и красотой слова, поэт не просто следовал романтической традиции «местного колорита»; «Восточные мотивы» отмечены серьезным интересом к жизни народов, стремле-

нием проникнуть в их национальное культурное своеобразие. Гюго изучает по подстрочным переводам образную систему и особенности стиха арабских и персидских поэтов, восхищается испанскими народными романсами и малайской любовной песенкой. В качестве приложения к «Восточным мотивам» Гюго выписывает особенно поразившие его фрагменты восточной поэзии и называет их «горстью драгоценных камней, наспех и случайно выхваченных из великих россыпей Востока».

Стр. 365. *Канарис*. *Канарис* Константин (1790—1877) — капитан на судах греческого флота, один из деятелей освободительного восстания против турецкого ига. Во главе нескольких храбрецов Канарис подплывал на брандере к турецким кораблям и поджигал их. В 1822 г. он сжег адмиральский корабль турок и принудил их флот отступить от греческих островов, в 1824 г. таким же образом спас остров Самос, в 1825 г. пытался сжечь союзный туркам египетский флот. Греческий народ поднес Канарису лавровый венок.

Стр. 368. *Головы в Серале*. *Миссолонги* — город на западном берегу Средней Греции, во время освободительного восстания стал центром обороны греческих патриотов. В 1825 г. четырехтысячный гарнизон Миссолонги несколько месяцев выдерживал осаду с суши и с моря более чем десятикратно превосходящих сил турецких войск. Но в городе начался голод; попытка прорвать осаду 22 апреля 1826 г. не удалась. Тогда защитники Миссолонги взорвали пороховой погреб и погибли под развалинами вместе с ворвавшимися в крепость турками. Оставшееся в живых греческое население города было вырезано почти поголовно.

Стр. 371. *Боццарис* Марко (1788—1823) — прославленный вождь греков в период освободительного восстания 1821 г., неоднократно наносивший туркам поражение; организатор героической обороны Миссолонги. Погиб в одном из сражений.

Мой череп стал для них добычей военной... — В 1826 году, когда создавалась поэма Гюго, французские газеты сообщили, что турки вскрыли могилу Боццариса, чтобы преподнести череп героя султану.

Стр. 372. *Майер* — швейцарский доброволец, редактор газеты «Эллинское обозрение». Сражался и погиб в Миссолонги.

Фразibuл — афинский полководец, который в 404 г. до н. э. свергнул олигархическое правительство «тридцати тиранов» и восстановил демократию.

Стр. 373. *Иосиф* — епископ, «умер в Миссолонги, как священник и солдат» (примечание В. Гюго к первому изданию «Восточных мотивов»).

Стр. 376. *Энтузиазм*. *Фавье Шарль* (1783--1855) — французский офицер, связанный с республиканцами-карбонариями; собрал трехтысячный отряд добровольцев и отправился с ним в Грецию на помощь освободительному движению. Защищал от турок о. *Метану*, в течение четырех месяцев удерживал против *Решид-паши* афинский Акрополь.

Стр. 386. *Дервиш*. В этом стихотворении, так же как в следующем («Крепость», стр. 388), Гюго имеет в виду одного из самых кровавых турецких пашей, *Али-пашу* Янинского. Формально состоя на службе у турецкого султана, этот политический авантюрист захватил часть Албании, с городом Яниной, и *Эпир* и повел с султаном *Махмудом II* междоусобную войну. После двухлетней упорной борьбы, в 1822 г., *Али-паша* капитулировал, был взят в плен и убит.

Стр. 390. *Проигранная битва*. После длительной и безрезультатной осады Миссолонги в 1825 году турецкий султан приказал своему военачальнику *Решиду-паше* под угрозой казни овладеть непокорным городом. Однако 35-тысячному войску *Решида-паши* не удалось сломить стойкость защитников города, которые отбили все приступы турок.

Стр. 392. *Драбанты* — телохранители, личная стража высших начальников.

Визирь трехбунчужный. — *Визирь* — титул высших сановников; *бунчук* — знак власти и сана турецких пашей — конский хвост или несколько хвостов, насаженных на разукрашенное длинное древко.

Стр. 393. *Дитя*. В 1822 г. турки предали огню и разорению цветущий остров *Хиос*, объявивший себя сторонником Греции в освободительной войне. Греческое население острова было вырезано или продано в рабство.

Стр. 400. *Ладзара*. *Ладзара* — по-итальянски — нищая.

Стр. 408. *Джинны*. *Джинны* — духи зла (арабск.).

Стр. 412. *Мавританский романс*. Сюжет «*Мавританского романса*» почерпнут Гюго из средневековой народной поэзии, в кото-

рой отразились междоусобицы и войны времен завоевания Испании маврами (VIII—XI вв.) и последующего вытеснения их («реконкисты»).

В сборнике испанских и мавританских народных поэм и песен «Романсеро» (издан в XVI в.), а также в средневековом испанском театре большое место занимает история трагической гибели «Семи инфантов Лары», предательски выданных маврам дядей их, доном Родриго.

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Сборник, включающий стихотворения 1828—1831 годов, вышел в свет в напряженной политической атмосфере 1 декабря 1831 года. Начиная с Июльской революции 1830 года народные волнения в Париже не прекращались: разгром церкви Сен-Жермен и дворца парижского архиепископа в феврале 1831 года, политические волнения в апреле — июле, возобновившиеся 16 сентября при известии о подавлении польского восстания; стачка и вооруженное восстание лионских ткачей в конце ноября — вот обстановка, в которой создавалась поэзия Гюго начала 30-х годов.

Активное отношение поэта к событиям общественной жизни побудило его прибавить «к своей лире медную струну» — включить в приготовленный к печати стихотворный сборник политическую лирику, которую Гюго предполагал издать отдельной книгой.

Стихотворения сборника носят противоречивый характер. С одной стороны, Гюго протестует против социального зла, предостерегает правителей от народного гнева («Размышления прохожего о королях»), выражает сочувствие национально-освободительному движению и становится на сторону народов в «великой ссоре, разгоревшейся в XIX веке между ними и королями» (предисловие к сборнику; стихотворение «Друзья, скажу еще два слова...»).

С другой стороны, в предисловии к «Осенним листьям» поэт объявляет свое творчество свободным от политических пристрастий и в ряде стихотворений пытается противопоставить социальное «человеческому», природу обществу («Атлас», «Что слышится в горах», «Закаты»).

Стр. 435. Презрение. В этом стихотворении Гюго выступает на защиту памяти Байрона от непрекращавшейся клеветы со стороны реакционных кругов.

Стр. 450. Бездны мечты. Стр. 453. *Орфеевы пеласги*. — Орфей — легендарный певец древней Греции. По преданию, его пе-

ние умирало диких зверей, останавливало реки, сдвигало с места скалы. — *Пеласги* — одно из племен, населявших Грецию в древнейший ее период.

Этрусск Эвандра... — *Эвандр* — союзник Энея, аркадский царь, переселившийся в Италию и принесший древнейшему ее населению — этрускам — основы цивилизации («Энеида» Вергилия).

Ирмина письмана. — *Ирмин* — древнегерманский бог войны; изображался в виде деревянного столба — идола.

Стр. 464. Друзья, скажу еще два слова... В этом стихотворении дается картина разгула реакции в Европе в 1815—1830 гг. после организации «Священного союза» — реакционного союза европейских держав, во главе с царской Россией, Австрией и Пруссией, для борьбы с революционным движением. По словам Энгельса, «Священный союз» представлял собою «расширение русско-австро-прусского союза до степени заговора всех европейских государей против их народов...» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 2, стр. 21—22).

...Что смертоносными турецкими ножами убита Греция... — См. примечание к «Восточным мотивам» (стр. 580).

Стр. 465. *...Лиссабон на пытку страшную тираном обречен...* — С начала XIX в. в Португалии шла непрекращающаяся борьба против реакционного абсолютизма и национального порабощения сперва Францией, потом Англией. В 1820 г. вспыхнула буржуазная революция в Португалии, начавшаяся с восстаний в Оporto и Лиссабоне. Регент — английский генерал Бирсфорд — был свергнут и образовано временное правительство, давшее стране демократическую конституцию, а также провозгласившее отмену инквизиции и феодальных привилегий. К 1823 г. буржуазно-демократическое движение в Португалии было подавлено войсками «Священного союза», абсолютизм был восстановлен, и начался разгул реакции и террора, вызвавший длительную гражданскую войну.

...Что над Ирландией распятой — ворон вьется... — После необычайно жестокого подавления восстаний 1798 и 1803 гг. Ирландия окончательно потеряла национальную независимость, была присоединена к Великобритании и доведена английской колониальной политикой до крайней нищеты и разорения. Непрекращавшиеся народные волнения английское правительство пыталось подавить кровавыми «чрезвычайными законами».

...Что в лапах герцога, хрипя, Модена бьется... — Освободившись от наполеоновского гнета, итальянский народ после 1815 г.

попал под еще более ненавистный гнет Австрии. Страна была искусственно раздроблена. Особенно тяжело было положение в Модене, находившейся во власти австрийских эрцгерцогов. В 1831 г. в Модене произошло народное восстание, вынудившее эрцгерцога Франца IV бежать в Австрию, но вскоре потопленное в крови австрийскими войсками.

...*Что Дрезден борется с ничтожным королем...* — Под впечатлением Июльской революции во Франции, в 1831 г. произошло восстание в Саксонии; в Дрездене народ сжег здание полиции. Саксонский король был вынужден обещать конституцию.

...*Что сызнова Мадрид объят глубоким сном...* — В 1820 г. в Испании произошло восстание под руководством молодого полковника Риго, послужившее сигналом к началу буржуазной революции. По распоряжению Верронского конгресса «Священного союза» на подавление испанской революции была брошена стотысячная французская армия, которая под командованием герцога Ангулемского вторглась в 1823 г. в Испанию и заняла Мадрид. Начался кровавый террор, разгул инквизиции. Абсолютизм в Испании был восстановлен.

...*И жертвой падает венецианский лев...* — Купеческая республика Венеция была вплоть до XVIII в. одним из самых богатых и могущественных итальянских государств; после 1815 г., как и вся Италия, попала под австрийское иго. На гербе Венеции было изображение крылатого льва.

...*Что в дрему погружен Неаполь...* — В 1820 г. произошло республиканское восстание в Неаполе, возглавленное тайным революционным обществом карбонариев. Король Фердинанд IV вынужден был дать конституцию. В марте 1821 г. австрийские войска вступили в Неаполь, подавили буржуазно-демократическое и национально-освободительное движение и восстановили на юге Италии абсолютизм.

...*Альбани Катона заменил...* — С 1815 г. Папская область Италии с центром в Риме была разделена на четыре легатства, которыми управляли кардиналы-легаты, выполнявшие одновременно полицейские функции. — Кардинал Джузеппе *Альбани*, папский легат в Болонье, был известен кровавым подавлением болонского республиканского восстания 1831—1832 гг. — Марк Порций *Катон* Младший (95—46 до н. э.) — древнеримский народный трибун, боровшийся против Цезаря. Не желая пережить падения аристократической республики, лишил себя жизни.

...*Что под ярмом бредет бельгийский лев, как вол...* — В 1815 г. «Священный союз» отдал Бельгию под власть Голландии, присоединив ее к Нидерландскому королевству. 25 августа 1830 г. началась бель-

гийская революция, окончившаяся провозглашением независимой Бельгии (1830—1831).

...Что царский ставленник над мертвою Варшавой творит жестокую, постыдную расправу... — Имеется в виду польское восстание 1830 г. против гнета царизма, жестоко подавленное царским правительством и вызвавшее горячее сочувствие передовой русской общественности.

ПЕСНИ СУМЕРЕК

Сборник «Песни сумерек» появился в октябре 1835 года. Социальная действительность властно вторгается в эти годы в прозу («Клод Ге», 1834), в драму («Мария Тюдор», 1833) и в поэзию Гюго. Ее героями становятся люди из народа, борцы июльских баррикад, простые труженики, бездомные, женщины и дети. Сила и слабость мировоззрения Гюго ясно видны в «Песнях сумерек». С одной стороны, он воспекает высокое нравственное достоинство народа и его героическую борьбу («Гимн», «Писано после июля 1830 года»), обличает безнравственность и бессердечие буржуазии («Пиры и празднества», «Бал в ратуше»), но, с другой стороны, ищет способов примирить классовые противоречия путем филантропии и социальных реформ. Сочувствие социально обездоленным, труженикам приводит Гюго в эти годы к сближению с французским мелкобуржуазным утопическим социализмом; его произведения печатаются в сенсимонистском журнале «Глоб».

Стр. 470. Писано после июля 1830 года. Это стихотворение было впервые опубликовано в сенсимонистском журнале «Глоб» в августе 1830 г. под названием «К молодой Франции» и затем перепечатано книгоиздательством для рабочих в г. Лионе со следующим примечанием В. Гюго: «Эта ода обращена ко всей молодежи. Но молодежь, конечно, одобрит, что студенты политехнической, юридической и медицинской школ представляют ее здесь так же, как они представляли французскую молодежь в великие июльские дни. Славу этой прекрасной молодежи разделяет все новое поколение».

Стр. 478. Гимн. «Гимн» был написан для празднества в честь первой годовщины Июльской революции 1830 г. и в память ее погибших героев. Положенный на музыку композитором Герольдом, «Гимн» Гюго исполнялся в июле 1831 г. в Париже при огромном стечении народа.

Стр. 486. К а н а р и с у. *Канарис* — см. примечание к стр. 365 — ...*Твой Мемнон онемел...* — Герой Мемнон, сын богини утренней зари Эос, пал под стенами Трои (греческий миф). Колоссальная статуя Мемнона в г. Фивах была устроена так, что, когда на нее падал первый луч солнца, она издавала гармонический звук (Мемнон как бы приветствовал свою мать зарю). По преданию, персидский царь Камбиз, завоевавший Египет в VI в. до н. э., расколол статую, желая раскрыть ее акустический секрет; через 250 лет она была восстановлена, но звук исчез — «Мемнон онемел».

Стр. 493. Е м у д в а д ц а т ы й ш е л... В этом стихотворении Гюго развенчивает традиционного героя французского реакционного романтизма, якобы «избранную натуру», человека «непонятого» людьми и потому уходящего из жизни. Гюго показывает истинное лицо оторванного от народа индивидуалиста, его глубокий эгоизм и душевную опустошенность.

Стр. 495. *Робер Луи-Леопольд* (1794—1835) — французский художник, жанрист.

Лорд Кастельри (1769—1822) — английский военный министр, потом министр иностранных дел, активный деятель реакционного «Священного союза».

Рабб Альфонс (1786—1830) — французский литератор буржуазно-либерального направления.

Гро Антуан (1771—1835) — французский художник школы Давида.

Стр. 498. О т ы, А н а к р е о н... *Анакреон* — древнегреческий лирик V в. до н. э. В его стихотворениях воспеваются радости жизни — веселье, вино и любовь.

Стр. 507. Н а п и с а н о н а п е р в о й с т р а н и ц е к н и г и П е т р а р к и. *Лаура* — героиня любовной лирики великого итальянского поэта-гуманиста Франческо Петрарки (1304—1374); к ней обращены его сонеты. — *Воклюз* — небольшой городок на юге Франции, близ Авиньона; здесь одно время жил Петрарка.

ВНУТРЕННИЕ ГОЛОСА

Сборник «Внутренние голоса» появился в конце июня 1837 года. Произведения, вошедшие в этот сборник, отражают начало кризиса в творчестве Гюго, связанного со спадом демократического движения во Франции. Наряду с социальной темой в поэзии Гюго появля-

ются мотивы разочарования, печали, религиозных сомнений, а также ноты пантеизма. Поэт продолжает обличать общественное зло («Музе», «Богачу»), но не зовет к борьбе, противопоставляя ей мир и гармонию, которые видит в природе. Большое место отдается частной жизни поэта, в которой в эти годы были тягостные переживания (в 1837 г. умер любимый брат поэта Эжен, в том же году произошел провал Виктора Гюго на выборах в Академию — результат недовольства буржуазии смелыми социальными идеями его творчества).

Стр. 511. Альбрехту Дюреру. *Альбрехт Дюрер* (1471—1528) — знаменитый немецкий живописец и гравер эпохи Возрождения. Его своеобразный реализм связан с рационалистическим переосмыслением средневекового искусства.

Стр. 518. К богачу. Стр. 520. ...ведь ренту как-никак Дон Карлоса порой колеблет тяжкий шаг. — После смерти испанского короля Фердинанда VII (1833) разыгралась ожесточенная борьба за престол между его братом доном Карлосом, опиравшимся на крайне реакционные феодально-клерикальные силы (партия карлистов), и вдовой Фердинанда, Марией-Христиной, регентшей при его малолетней дочери Изабелле (партия христиносов). Под давлением Англии французское правительство обсуждало вопрос о вмешательстве в испанские дела. Буржуазное министерство Сульта требовало послать войска на помощь Христине, легитимисты-землевладельцы поддерживали Карлоса, король Луи-Филипп колебался. Французская биржа нервно реагировала на парламентские дебаты по испанскому вопросу, ибо начало военных действий в первую очередь отразилось бы на курсе земельной ренты.

Стр. 530. После чтения Данте. *Описывая ад...* — В поэме «Божественная комедия» великого итальянского поэта Данте (1265—1321), изображающей видение загробного мира, ад показан в виде воронки, разделенной на девять суживающихся кругов. Проводником Данте по аду является римский поэт Вергилий (I в. до н. э.).

ЛУЧИ И ТЕНИ

Сборник «Лучи и тени», объединяющий стихи главным образом 1839—1840 годов, вышел в свет в мае 1840 года.

Гюго отходит здесь от общественной тематики предыдущих лет, вместо нее появляются философские размышления, воспоминания детства, мотивы умиротворенности и покоя. В предисловии к сборнику

поэт вновь декларирует свою непричастность к политической борьбе и туманные гуманистические идеи: «благожелательность к труженикам и отвращение к тем, кто им мешает, любовь к тем, кто служит людям, и жалость к тем, кто страдает». «Тени» — социальное зло — теперь противопоставляются «лучам» — гармонической природе и светлым сторонам человеческой натуры («Как в дремлющих прудах...», «Встреча»), в которых поэт черпает твердую веру в социальный прогресс и в счастливое будущее человечества.

В этот сборник Гюго помещает свой поэтический манифест — стихотворение «Призвание поэта». Здесь утверждается социально преобразующая роль искусства, поэзия рассматривается как «путеводная звезда» человечества на пути к будущему, а поэт — как «апостол истины». Но «истиной» Гюго считает в эти годы примирение классовых противоречий буржуазного общества, поэт «равно миролюбиво, дружеским взглядом взирает на короля в Лувре и на его противника в тюрьме» (предисловие к сборнику). В «Лучах и тенях» отразилось начало того идейного и творческого кризиса Гюго 40-х годов, из которого он вышел после революции 1848 года.

Стр. 538. В саду на улице Фельянтинок в 1813 году.
Стр. 539. ...*священный град Приама*... — то есть Троя. — *Приам* — троянский царь; о нем рассказывается в «Илиаде».

Тацит Корнелий (I в. н. э.) — знаменитый римский историк, противник политического произвола.

Когда б Готье мне дал свой карандаш... — Теофиль *Готье* (1811—1872) — французский поэт и писатель, сперва примыкавший к умеренно-либеральному романтизму, потом — поборник «искусства для искусства». В молодости думал посвятить себя живописи.

Сатиры у Ватто... Рембрандтовы волхвы и Гойи горбуны... посланцы сатаны, по прихоти Калло скулящие с издевкой вокруг Антония...

Ватто Жан-Антуан (1684—1721) — французский придворный художник; изображал «галантные празднества», переосмысляя в салонно-аристократическом духе сюжеты и образы античной мифологии.

Рембрандт (1606—1669) — великий нидерландский художник эпохи Возрождения; в некоторых картинах реалистически трактовал традиционные сюжеты из библии и евангелия. Здесь имеется в виду его картина «Поклонение волхвов».

Гойя Франциско (1746—1828) — испанский художник, демократ и патриот. В своих гравюрах обличал в острых гротескных образах аристократию, инквизицию, чиновничество.

Калло Жак (1594—1635) — французский гравер и живописец, мастер своеобразного реалистического гротеска; здесь имеется в виду его гравюра «Искушение святого Антония», полная фантастических образов.

Над книгой Ливия, Назона иль Катулла...

Тит Ливий (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский историк, труды которого, не отличаясь научной достоверностью, замечательны красочностью и драматизмом изложения.

Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. — 18 г. н. э.) — римский поэт «золотого века», автор «Метаморфоз» — небольших поэм, созданных на основе многочисленных сюжетов из античной мифологии.

Катулл (80—59 до н. э.) — лирический поэт последнего века Римской республики.

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Гюго—великий французский писатель. <i>В. Николаев</i>	5
Бюг-Жаргаль. <i>Перевод Е. Шишмаревой</i>	35
Последний день приговоренного к смерти. <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	195
Клод Ге. <i>Перевод А. Толстой</i>	295

СТИХОТВОРЕНИЯ

Из книги «Оды и баллады»

1826

История. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	325
Моему отцу. <i>Перевод В. Левики</i>	327
Два острова. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	330
К девушке. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	337
Путешествие. <i>Перевод А. Корсуна</i>	338
Завершение. <i>Перевод В. Левики</i>	341
Летний дождь. <i>Перевод А. Корсуна</i>	343
Фея. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	346
К Трильби. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	348
Невеста литавщика. <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	352
Сеча. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	356
«Послушай меня, Мадлена...» <i>Перевод Е. Полонской</i>	359
Турнир короля Иоанна. <i>Перевод Л. Мея</i>	361

Канарис. Перевод Вс. Рождественского	365
Головы в серале. Перевод Георгия Шенгели	368
Энтузиазм. Перевод Вс. Рождественского	376
Горе паши. Перевод Вс. Рождественского	378
Пленница. Перевод Э. Линецкой	380
Лунный свет. Перевод Вс. Рождественского	383
Чадра. Перевод Георгия Шенгели	384
Дервиш. Перевод В. Давиденковой	386
Крепость. Перевод Вс. Рождественского	388
Проигранная битва. Перевод Георгия Шенгели	390
Дитя. Перевод Вс. Рождественского	393
Купальщица Зара. Перевод Е. Полонской	395
Ожидание. Перевод Е. Полонской	399
Ладзара. Перевод В. Давиденковой	400
Желание. Перевод Э. Линецкой	402
Прощание аравитянки. Перевод Анны Ахматовой	404
Рыжая Нурмагаль. Перевод Георгия Шенгели	406
Джинны. Перевод Георгия Шенгели	408
Мавританский романс. Перевод Н. Зиминой	412
Гранада. Перевод Вс. Рождественского	415
Васильки. Перевод Вс. Рождественского	419
Мечты. Перевод Э. Линецкой	422
Поэт — халифу. Перевод Э. Линецкой	423
Ноябрь. Перевод Вс. Рождественского	425

Из книги «Осенние листья»

1831

Размышления прохожего о королях. Перевод Э. Линецкой	427
Что слышится в горах. Перевод В. Левика	430
«Однажды Атласу, завистливо-ревнивы...» Перевод Э. Линецкой	433
Презрение. Перевод Павла Антокольского	434
«О письма юности...» Перевод И. Грушецкой	437
«Впустите всех детей...» Перевод Анны Ахматовой	439
«Когда страницы книг...» Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник	442
«Когда вокруг меня все спит...» Перевод Э. Линецкой	443
Женщине. Перевод Э. Линецкой	444
«О, будь вы молоды...» Перевод Э. Линецкой	445
«Следить купанье девы милой...» Перевод М. Талова	447
«Взгляни на эту ветвь...» Перевод Э. Линецкой	449

Бездны мечты. <i>Перевод Д. Бродского</i>	450
Марии М. <i>Перевод И. Грушецкой</i>	455
Закаты. <i>Перевод В. Иванова</i>	456
Пан. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	461
«Друзья, скажу еще два слова...» <i>Перевод Э. Линецкой</i>	464

Из книги «Песни сумерек»

1835

Прелюдия. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	466
Писано после июля 1830 года. <i>Перевод Е. Полонской</i> . .	470
Гимн. <i>Перевод Е. Полонской</i>	478
Пир и празднества. <i>Перевод В. Бугаевского</i>	480
Бал в ратуше. <i>Перевод И. Грушецкой</i>	484
Канарису. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	486
Канарису. <i>Перевод Н. Вержейской</i>	489
«Ему двадцатый шел...» <i>Перевод Леонида Мартынова</i>	493
«Не смейте осуждать ту женщину, что пала! ..» <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	497
«О ты, Анакреон...» <i>Перевод И. Грушецкой</i>	498
«Чтоб я твою мечту наполнить мог собою...» <i>Перевод Э. Линецкой</i>	499
«О, если я к устам поднес твой полный кубок...» <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	500
Мотылек и роза. <i>Перевод Валерия Брюсова</i>	501
К*** <i>Перевод И. Грушецкой</i>	502
На берегу моря. <i>Перевод И. Грушецкой</i>	503
«О, если нас зовет в луга цветущий май...» <i>Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник</i>	506
Написано на первой странице книги Петрарки. <i>Перевод М. Талова</i>	507

Из книги «Внутренние голоса»

1837

Вергилию. <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	508
«Придите, я хочу вас видеть, чаровница...» <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	510
Альбрехту Дюреру. <i>Перевод Б. Левина</i>	511
«Раз всякое дыханье...» <i>Перевод В. Давиденковой</i> . . .	513
К Ол... <i>Перевод В. Левика</i>	515
Корова. <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	516
К богачу. <i>Перевод Валентины Дынник</i>	518

«Как хорошо в саду!...» <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	524
«О ком я думаю?...» <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	525
Ночью, когда был слышен шум невидимого моря. <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	527
«Любовь, о девушка...» <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	529
После чтения Данте. <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	530
«О муза, подожди!...» <i>Перевод В. Давиденковой</i>	532

Из книги «Лучи и тени»

1840

«Как в дремлющих прудах...» <i>Перевод Е. Полонской</i>	534
Успокоительная картина. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	535
Написано на стекле фламандского окна. <i>Перевод Н. Вольпиной</i>	537
В саду на улице Фельянтинок в 1813 году. <i>Перевод Н. Вольпиной</i>	538
Поэту. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	544
«Друг! Когда твердят про славу...» <i>Перевод Н. Вольпиной</i>	546
Встреча. <i>Перевод В. Бугаевского</i>	548
Грусть Олимпио. <i>Перевод Н. Зиминной</i>	550
«Да, все крылатое меня всегда пленяло!...» <i>Перевод И. Грушецкой</i>	556
К Л... <i>Перевод Анны Ахматовой</i>	557
Осеано пох. <i>Перевод Валерия Брюсова</i>	558
Июньские ночи. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	560
Приложения	561
Комментарии	567

Оформление художника
С. Пожарского

Редактор Н. Хуцишвили
Художественный редактор А. Ермаков
Технический редактор Г. Каунина
Корректоры В. Покровская
и В. Брагина

*

Подписано к печати 10/VII 1953 г.
А-03621. Бумага $82 \times 108^{1/32} = 9,31$ бум.
л. 30,55 печ. л Уч.-изд. 26,78 + 1 вкл. =
= 26,83. Тираж 150.000. Заказ № 367.
Цена 12 руб.

*

2-я типография «Печатный Двор» им.
А. М. Горького Союзполиграфпрома
Главиздата Министерства культуры
СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.